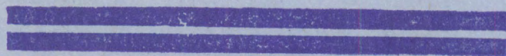


ISSN 0130-7673

НОВОБЫИ МИР

НОВОБЫИ
МИР

12



1982

1982



НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1925 г.

№ 12

Декабрь, 1982 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ГЕОРГИЙ МАРКОВ — Советская многонациональная	1
—————	
ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ — Сергей Смирнов, Григол Абашидзе (перевела с грузинского Елена Николаевская), Емилиан Буков (перевели с молдавского Александр Големба, Алексей Смирнов), Бурдыназар Худайназаров (перевел с туркменского О. Шестинский)	7
АЛЕКСАНДР РЕКЕМЧУК — Тридцать шесть и шесть, роман. Окончание	12
ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ — Расул Гамзатов (перевел с аварского Яков Козловский), Джубан Мулдагалиев (перевел с казахского Вл. Савельев), Юстинас Марцинявичюс (перевел с литовского Лазарь Шерешевский), Уно Лахт (перевел с эстонского Александр Големба), Сибгат Хаким (перевел с татарского Николай Беляев)	121
ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ	
МАРИЭТТА ШАГИНЯН — 50 писем Д. Д. Шостаковича. Публикация и предисловие Елены Шагинян	128
НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ	
ЮРИЙ ЯРЦЕВ — Реальность зла	153
ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ	
СИЛЬВА КАПУТИКЯН — На стыке веков и века. Перевела с армянского Т. Смолянская	191
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
В. ПИСКУНОВ — Авторитет истории	200
ВАДИМ КОВСКИЙ — Вечнозеленое древо жанра. Заметки о современном грузинском рассказе	215

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	
	224
В. Турбин. Аул и мир.	
Григорий Бровман. Постигая связь времён.	
Е. Старикова. Встреча и разлука с Померанцевым переулком.	
Ю. А. Лукин. Поверка современностью.	
<i>Политика и наука</i>	
	245
Валентина Елисеева. Поиск героя.	
София Майданская. Город-легенда.	
Юрий Давыдов. Необыкновенный полковник.	
В. Френкель. Первые шаги Вселенной.	
КОРОТКО О КНИГАХ:	
Д м. Молдавский.—Владислав Шошин. Интернационалисты — МЫ! К проблеме взаимодействия национальных литератур.♦	
Вадим Рабинович.—Юрий Разумовский. Вереница. Стихи. Юрий Разумовский. Цикл стихов.♦	
Владимир Солоухин.—Александр Исполюнов. Мед великанов. Стихи.♦	
Андрей Василевский.—Владимир Рецептер. Представление. Стихи.♦	
Маясур Сафин.—Павел Юлаев. За окном метель.♦	
Светлана Овчинникова.—К. Рудницкий. Мейерхольд.♦	
А. Белорусец.—Покорение бесконечности. Сборник.♦	
С. Таров.—И. Овсяный. 1939: последние недели мира. Как была раз- вязана империалистами вторая мировая война.♦	
С. Кузнецова.—А. И. Ракилов. Историческое познание (Системно- гносеологический подход)	258
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	265
СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР» ЗА 1982 ГОД	266



Леонид Ильич БРЕЖНЕВ

О Б Р А Щ Е Н И Е

Центрального Комитета КПСС,
Президиума Верховного Совета СССР,
Совета Министров СССР

к Коммунистической партии,
к советскому народу

Дорогие товарищи!

Коммунистическая партия Советского Союза, весь советский народ понесли тяжелую утрату. Из жизни ушел верный продолжатель великого дела Ленина, пламенный патриот, выдающийся революционер и борец за мир, за коммунизм, крупнейший политический и государственный деятель современности Леонид Ильич Брежнев.

Вся многогранная деятельность, личная судьба Л. И. Брежнева неотделимы от важнейших этапов в истории Страны Советов. Коллективизация и индустриализация, Великая Отечественная война и послевоенное возрождение, освоение целины и организация исследований космоса — это и вехи биографии славного сына рабочего класса Леонида Ильича Брежнева. Всюду, куда бы ни направляла его партия, Леонид Ильич беззаветно, с присущими ему энергией и настойчивостью, смелостью и принципиальностью боролся за ее великие идеалы.

С именем товарища Брежнева, с его неутомимой работой на постах Генерального секретаря Центрального Комитета КПСС и Председателя Президиума Верховного Совета СССР советские люди, наши друзья во всем мире справедливо связывают последовательное утверждение ленинских норм партийной и государственной жизни, совершенствование социалистической демократии. Он мудро направлял деятельность ленинского штаба партии — ее Центрального Комитета, Политбюро ЦК, показывая образец умелой организации дружной коллективной работы. Ему принадлежит выдающаяся роль в выработке и осуществлении экономической и социально-политической стратегии партии на этапе развитого социализма, в определении и реализации курса на подъем народного благосостояния, в дальнейшем укреплении экономического и оборонного могущества нашей страны.

Непреодоляя заслуги Леонида Ильича Брежнева в формировании и проведении политики нашей партии на международной арене — политики мира и мирного сотрудничества, разрядки и разоружения, решительного отпора агрессивным проискам империализма, предотвращения ядерной катастрофы. Велик его вклад в сплочение мирового социалистического содружества, в развитие международного коммунистического движения.

Пока билось сердце Леонида Ильича, его помыслы и дела были всецело подчинены интересам людей труда. С массами трудящихся его всегда связывали кровные, неразрывные узы. В сознании коммунистов, сотен миллионов людей на всех континентах он был и останется воплощением ленинской идейности, последовательного интернационализма, революционного оптимизма и гуманизма.

Тяжела понесенная нами утрата, глубока наша скорбь. В этот горестный час коммунисты, все трудящиеся Советского Союза еще теснее сплавиваются вокруг ленинского Центрального Комитета КПСС, его руководящего ядра, сложившегося под благотворным влиянием Леонида Ильича Брежнева. Народ верит в партию, ее могучий коллективный разум и волю, всем сердцем поддерживает ее внутреннюю и внешнюю политику. Советские люди хорошо знают: знамя Ленина, знамя Октября, под которым одержаны всемирно-исторические победы, — в надежных руках.

Партия и народ вооружены величественной программой коммунистического созидания, разработанной XXIII—XXVI съездами КПСС. Эта программа неуклонно претворяется в жизнь. Партия будет и впредь делать все для подъема народного благосостояния на основе интенсификации производства, повышения его эффективности и качества работы, выполнения Продовольственной программы СССР. Партия и впредь будет проявлять всемерную заботу об упрочении союза рабочего класса, колхозного крестьянства и народной интеллигенции, об укреплении социально-политического и идейного единства советского общества, братской дружбы народов СССР, об идеологической закалке трудящихся в духе марксизма-ленинизма и пролетарского, социалистического интернационализма.

Неизменна воля советского народа к миру. Не подготовка к войне, обрекающая народы на бессмысленную растрату своих материальных и духовных богатств, а упрочение мира — вот путеводная нить в завтрашний день. Эта благородная идея пронизывает Программу мира на 80-е годы, всю внешнеполитическую деятельность партии и Советского государства.

Мы видим всю сложность международной обстановки, попытки агрессивных кругов империализма подорвать мирное сосуществование, столкнуть народы на путь вражды и военной конфронтации. Но это не может поколебать нашу решимость отстоять мир. Мы будем делать все необходимое, чтобы любители военных авантур не застали Советскую страну врасплох, чтобы потенциальный агрессор знал: его неминуемо ждет сокрушительный ответный удар.

Опираясь на свою мощь, проявляя величайшую бдительность и выдержку, сохраняя неизменную верность миролюбивым принципам и целям своей внешней политики, Советский Союз будет упорно

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

О Пленуме Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза

12 ноября 1982 года состоялся внеочередной Пленум Центрального Комитета КПСС.

По поручению Политбюро ЦК Пленум открыл и выступил с речью член Политбюро ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС тов. Андропов Ю. В.

В связи с кончиной Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР Л. И. Брежнева члены Пленума ЦК почтили память Леонида Ильича Брежнева минутой скорбного молчания.

Пленум ЦК отметил, что Коммунистическая партия, советский народ, все прогрессивное человечество понесли тяжелую утрату. Из жизни ушел выдающийся деятель Коммунистической партии, Советского государства, международного коммунистического, рабочего и национально-освободительного движения, пламенный борец за мир.

Леонид Ильич Брежнев, находясь в рядах ленинской Коммунистической партии более 50 лет, из них 18 лет на посту ее руководителя, внес огромный вклад в укрепление монолитности ее рядов, политического, социально-экономического и оборонного могущества Советского Союза. Исключительно велика его роль в укреплении мира и международной безопасности. Имя Леонида Ильича Брежнева, с которым непосредственно связаны великие свершения в жизни нашей страны — индустриализация и коллективизация сельского хозяйства, историческая победа советского народа в Великой Отечественной войне, послевоенное восстановление народного хозяйства нашей Родины, исследование космоса, все успехи в развитии экономики, науки и культуры Советского государства, — навсегда вошло в историю Коммунистической партии Советского Союза, нашей великой Родины.

Участники Пленума ЦК выразили глубокое соболезнование родным и близким покойного.

Пленум ЦК рассмотрел вопрос об избрании Генерального секретаря ЦК КПСС.

По поручению Политбюро ЦК выступил с речью член Политбюро ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС тов. Черненко К. У. Он внес предложение избрать Генеральным секретарем ЦК КПСС тов. Андропова Ю. В.

Генеральным секретарем Центрального Комитета КПСС Пленум единогласно избрал тов. Андропова Юрия Владимировича.

Затем на Пленуме выступил Генеральный секретарь ЦК КПСС тов. Андропов Ю. В. Он выразил сердечную благодарность Пленуму ЦК за оказанное высокое доверие — избрание его на пост Генерального секретаря ЦК КПСС.

Тов. Андропов Ю. В. заверил Центральный Комитет КПСС, Коммунистическую партию, что приложит все свои силы, знания и жизненный опыт для успешного выполнения начертанной в решениях XXVI съезда КПСС программы коммунистического строительства, обеспечения преемственности в решении задач дальнейшего укрепления экономического и оборонного могущества СССР, повышения благосостояния советского народа, упрочения мира, в осуществлении всей ленинской внутренней и внешней политики, проводившейся при Л. И. Брежневе.

На этом Пленум закончил свою работу.

бороться за то, чтобы отвлечь от человечества угрозу ядерной войны, за разрядку, за разоружение.

В этой борьбе с нами братские страны социализма, борцы за национальное и социальное освобождение, миролюбивые страны всех континентов, все честные люди земли. Политика мира выражает коренные жизненные интересы человечества, и поэтому за такой политикой — будущее.

Советский народ видит в партии своего испытанного коллективного вождя, мудрого руководителя и организатора. В служении рабочему классу, трудовому народу — высшая цель и смысл всей деятельности партии. Непоколебимое единство партии и народа было и остается источником несокрушимой силы советского общества. КПСС свято дорожит доверием трудящихся, постоянно укрепляет свои связи с массами. Народ на практике убедился, что наша партия при любом повороте событий, при любых испытаниях остается на высоте своей исторической миссии. Внутренняя и внешняя политика КПСС, разработанная под руководством Леонида Ильича Брежнева, будет и далее проводиться последовательно и целеустремленно.

Жизнь и деятельность Л. И. Брежнева будет всегда вдохновляющим примером верного служения Коммунистической партии и советскому народу.

Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза, Президиум Верховного Совета СССР, Совет Министров СССР выражают уверенность в том, что коммунисты, все советские люди проявят высокую сознательность и организованность, своим самоотверженным творческим трудом под руководством ленинской партии обеспечат выполнение планов коммунистического строительства, дальнейший расцвет нашей социалистической Родины.

РЕЧЬ ТОВАРИЩА Ю. В. АНДРОПОВА

Товарищи!

Наша партия и страна, весь советский народ понесли тяжелую утрату. Перестало биться сердце руководителя Коммунистической партии Советского Союза и Советского государства, выдающегося деятеля международного коммунистического и рабочего движения, пламенного коммуниста, верного сына советского народа — Леонида Ильича Брежнева.

Из жизни ушел крупнейший политический деятель современности. Ушел наш товарищ и друг, человек большой души и большого сердца, чуткий и доброжелательный, отзывчивый и глубоко гуманный. Беззаветная преданность делу, бескомпромиссная требовательность к себе и другим, мудрая осмотрительность в принятии ответственных решений, принципиальность и смелость на крутых поворотах истории, неизменное уважение, чуткость и внимание к людям — вот те замечательные качества, за которые ценили и любили Леонида Ильича в партии и в народе.

Прошу почтить светлую память Леонида Ильича Брежнева минутой молчания.

Леонид Ильич говорил, что каждый день его жизни неотделим от тех дел, которыми живут Коммунистическая партия Советского Союза, вся Советская страна. И это было действительно так.

Индустриализация страны и коллективизация сельского хозяйства, Великая Отечественная война и послевоенное восстановление, освоение целины и исследование космоса — все это великие вехи на пути труда и борьбы советского народа и в то же время — вехи биографии коммуниста Леонида Ильича Брежнева.

С именем и делами Леонида Ильича неразрывно связаны рост могущества и углубление всестороннего сотрудничества стран великого социалистического содружества, активное участие мирового коммунистического движения в решении исторических задач, стоящих перед человечеством в нашу эпоху, укрепление солидарности всех сил национального освобождения и социального прогресса на земле.

Леонид Ильич Брежнев навсегда останется в памяти благодарного человечества как последовательный страстный и неутомимый борец за мир и безопасность народов, за устранение нависшей над человечеством угрозы мировой ядерной войны.

Мы хорошо знаем, что мир у империалистов не выпросишь. Его можно отстоять, только опираясь на несокрушимую мощь Советских Вооруженных Сил. Как руководитель партии и государства, как Председатель Совета Оборона СССР Леонид Ильич постоянно уделял внимание тому, чтобы обороноспособность страны находилась на уровне современных требований.

Здесь, в этом зале, собрались те, кто входит в штаб нашей партии, который восемнадцать лет бесценно возглавлял Леонид Ильич. Каждый из нас знает, сколько сил и души вложил он в организацию дружной, коллективной работы, в то, чтобы этот штаб прокладывал верный ленинский курс. Каждый из нас знает, какой неоценимый вклад внес Леонид Ильич в создание той здоровой морально-политической атмосферы, которая характеризует сегодня жизнь и деятельность нашей партии.

С именем Леонида Ильича связаны принципиальная борьба нашей партии в защиту марксизма-ленинизма, разработка теории раз-

витого социализма, путей решения самых актуальных задач коммунистического строительства. Его деятельность в мировом коммунистическом движении по праву получила высочайшую оценку братских партий, наших зарубежных братьев по классу, товарищей по борьбе за социализм, против гнета капитала, за торжество великих коммунистических идеалов.

Жизнь Леонида Ильича Брежнева оборвалась, когда его мысли, усилия обращены были на решение крупнейших задач экономического, социального и культурного развития, определенных XXVI съездом КПСС, последующими Пленумами ЦК. Осуществление этих задач, последовательное проведение в жизнь внутреннего и внешнеполитического курса нашей партии и Советского государства, который был выработан под руководством Леонида Ильича Брежнева, — наш первостепенный долг. И это будет наша лучшая дань светлой памяти ушедшего от нас руководителя.

Велика наша скорбь. Тяжела утрата, которую мы понесли.

В этой обстановке долг каждого из нас, долг каждого коммуниста еще теснее сомкнуть наши ряды, еще крепче сплотиться вокруг Центрального Комитета партии, сделать на своем посту, в своей жизни как можно больше для блага советского народа, для укрепления мира, для торжества коммунизма.

Советский народ безгранично доверяет своей Коммунистической партии. Доверяет потому, что для нее не было и нет иных интересов, чем кровные интересы советских людей. Оправдать это доверие — значит идти вперед по пути коммунистического строительства, добиваться дальнейшего расцвета нашей социалистической Родины.

У нас, товарищи, есть такая сила, которая помогала и помогает нам в самые тяжелые моменты, которая позволяет нам решать самые сложные задачи. Эта сила — единство наших партийных рядов, эта сила — коллективная мудрость партии, ее коллективное руководство, эта сила — единство партии и народа.

Наш Пленум собрался сегодня для того, чтобы почтить память Леонида Ильича Брежнева и обеспечить продолжение дела, которому он отдал свою жизнь.

Пленуму предстоит решить вопрос об избрании Генерального секретаря Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза.

Прошу товарищей высказаться по этому вопросу.

РЕЧЬ ТОВАРИЩА К. У. ЧЕРНЕНКО

Дорогие товарищи!

Политбюро поручило мне выступить перед участниками настоящего внеочередного Пленума ЦК.

Наш внеочередной Пленум ЦК носит действительно чрезвычайный характер. Страна и партия в глубоком трауре. Ушел из жизни Леонид Ильич Брежнев.

Советский народ потерял выдающегося руководителя, который почти два десятилетия стоял во главе партии и государства, отдавая все свои силы и огромные способности во имя счастья советских людей, во имя дела коммунистического строительства в нашей стране. Мы можем сказать, что человечество потеряло великого, поистине неутомимого борца за идеалы мира, свободы и социального прогресса. Мы, советские коммунисты, наши братья в социалистических странах, наши соратники в мировом коммунистическом движении потеряли талантливого продолжателя ленинского дела, человека, у которого учились беззаветной верности интересам трудящихся.

Слова бессильны выразить всю горечь нашей утраты. Но в эти скорбные дни великой помощью всем нам служат уроки жизни дорогого всем нам Леонида Ильича.

Леонид Ильич в полной мере обладал даром целиком жить интересами общества, интересами народа. Так было всегда, начиная с юношеских лет и до последнего дня жизни.

Леонид Ильич хорошо знал, что одни благие пожелания — это пустой звук. Мало высказать правильные мысли, нужно подкрепить их четкой организаторской работой, сделать понятными и доступными широким массам трудящихся. Он любил людей. Он умел доверять людям.

Леонид Ильич был человеком исключительного мужества. Он доказал это не только в Великую Отечественную, которую прошел от первого до последнего дня. Мужество не изменяло ему на всем жизненном пути. И он высоко, очень высоко ценил в каждом товарище смелость, принципиальность, стойкость при любых испытаниях.

Быть рядом с Леонидом Ильичом, слушать его, воочию ощущать остроту ума, находчивость, жизнелюбие — это была школа для всех нас, кому выпало счастье работать с ним рука об руку.

Леонид Ильич Брежнев оставляет нам драгоценное наследство. Наша 18-миллионная партия едина и сплочена. Советский народ беззаветно верит в мудрость партии. Нормами нашей жизни стали требовательность и уважение к кадрам, нерушимая дисциплина и поддержка смелых полезных инициатив, нетерпимость к любым проявлениям бюрократизма и постоянная забота о развитии связей с массами, о подлинном демократизме советского общества.

Бережь и развивай этот стиль руководства, дорожить всем, что завещал нам своим словом и делом Леонид Ильич, — наш долг перед его памятью, наш долг перед партией и страной. Прочным залогом того, что так будет, служит руководящее ядро партии, ее Центральный Комитет, Политбюро, сформировавшееся при решающем участии Леонида Ильича.

От имени Политбюро я хочу выразить глубочайшую убежденность, что наш Пленум продемонстрирует перед всей страной, перед всем миром, что партия твердо пойдет дальше ленинским курсом, который на современном этапе четко и полно выражен в решениях

XXIII—XXVI съездов КПСС. Внутренняя и внешняя политика нашей партии, в разработку и осуществление которой громадный вклад внес Леонид Ильич Брежнев, будет проводиться уверенно, последовательно и целеустремленно.

Нашими ориентирами были, есть и будут благо народа и сохранение мира на земле.

У нас есть развернутая, хорошо взвешенная социально-экономическая программа. Экономика должна быть экономной. Такова установка партии. А это означает техническое перевооружение индустриального и аграрного секторов, совершенствование управления и, конечно, улучшение организации труда, рост его производительности. На этой базе будет неуклонно развиваться экономика нашего государства, повышаться благосостояние народа. На этой же базе будет крепнуть обороноспособность страны.

У нас есть широкая, конкретная Программа мира для восьмидесятых годов. Она отвечает чаяниям народа. Разрядка, разоружение, преодоление конфликтных ситуаций, устранение угрозы ядерной войны — вот задачи, которые мы ставим перед собой. Мы хотим надежной безопасности для себя, для своих друзей, для всех народов мира.

Дорогие товарищи!

Все мы, очевидно, сознаем, что крайне трудно восполнить урон, который причинила нам кончина Леонида Ильича. Сейчас вдвойне, втройне важно вести дела в партии коллективно. Дружная, совместная работа во всех партийных органах обеспечит дальнейшие успехи как в коммунистическом строительстве, так и в нашей деятельности на международной арене.

Политбюро ЦК КПСС, обсудив создавшееся положение, поручило мне предложить Пленуму избрать Генеральным секретарем ЦК КПСС товарища Андропова Юрия Владимировича. Думаю, нет нужды рассказывать его биографию. Юрий Владимирович хорошо известен в партии и стране как самоотверженный, преданный делу ленинской партии коммунист, как ближайший соратник Леонида Ильича.

За плечами у Юрия Владимировича разносторонняя деятельность в области внутренней и внешней политики, идеологии. Был он и комсомольским вожаком, и крупным партийным работником, и дипломатом. Немало труда им вложено в укрепление социалистического содружества, в обеспечение безопасности нашего государства.

Леонид Ильич высоко ценил марксистско-ленинскую убежденность, партийность, широкий кругозор, его выдающиеся деловые и человеческие качества. Все члены Политбюро считают, что Юрий Владимирович хорошо воспринял брежневский стиль руководства, брежневскую заботу об интересах народа, брежневское отношение к кадрам, решимость всеми силами противостоять проискам агрессоров, беречь и укреплять мир.

Юрию Владимировичу присущи партийная скромность, уважение к мнению других товарищей и, можно сказать, пристрастие к коллективной работе. Политбюро единодушно считает: товарищ Андропов достоин доверия Центрального Комитета, доверия партии.

Дорогие товарищи! Склоняя свои головы перед светлой памятью Леонида Ильича, мы торжественно обещаем, что будем неустанно продолжать нашу созидательную работу. Все, что не успел совершить Леонид Ильич, что наметила под его руководством партия, будет сделано.



*Генеральный секретарь
Центрального Комитета КПСС
Юрий Владимирович АНДРОПОВ*

ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ АНДРОПОВ

Юрий Владимирович Андропов родился 15 июня 1914 года в семье железнодорожника на станции Нагутская Ставропольского края. Образование высшее. Член КПСС с 1939 года.

Шестнадцатилетним комсомольцем Ю. В. Андропов был рабочим в г. Моздок Северо-Осетинской АССР. Затем его трудовая биография продолжилась на судах Волжского пароходства, где он работал матросом.

С 1936 года Ю. В. Андропов — на комсомольской работе.

Он был избран освобожденным секретарем комсомольской организации техникума водного транспорта в г. Рыбинске Ярославской области. Вскоре его выдвинули на должность комсорга ЦК ВЛКСМ судоверфи им. Володарского в г. Рыбинске. В 1938 году комсомольцы Ярославской области избирают Ю. В. Андропова первым секретарем Ярославского обкома ВЛКСМ. В 1940 году Ю. В. Андропов избирается первым секретарем ЦК ЛКСМ Карелии.

С первых дней Великой Отечественной войны Ю. В. Андропов — активный участник партизанского движения в Карелии. После освобождения в 1944 году города Петрозаводска от фашистских захватчиков Ю. В. Андропов — на партийной работе. Он избирается вторым секретарем Петрозаводского горкома партии, а в 1947 году — вторым секретарем ЦК Компартии Карелии.

В 1951 году Ю. В. Андропов по решению ЦК КПСС переводится в аппарат ЦК КПСС и назначается инспектором, а затем заведующим подотделом ЦК КПСС.

В 1953 году партия направляет Ю. В. Андропова на дипломатическую работу. Несколько лет он являлся Чрезвычайным и Полномочным Послом СССР в Венгерской Народной Республике.

В 1957 году Ю. В. Андропов был выдвинут заведующим отделом ЦК КПСС.

На XXII и последующих съездах партии Ю. В. Андропов избирается членом Центрального Комитета КПСС.

В 1962 году Ю. В. Андропов избирается секретарем ЦК КПСС.

В мае 1967 года Ю. В. Андропов назначается председателем Комитета государственной безопасности при Совете Министров СССР. В июне того же года он избран кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС.

В мае 1982 года Ю. В. Андропов был избран секретарем ЦК КПСС.

С апреля 1973 года Ю. В. Андропов — член Политбюро ЦК КПСС.

Юрий Владимирович Андропов — депутат Верховного Совета СССР ряда созывов.

На всех постах, где по воле партии трудился Ю. В. Андропов, проявлялась его преданность великому делу Ленина, партии. Он отдает все свои силы, знания и опыт претворению в жизнь решений партии, борьбе за торжество коммунистических идей.

За большие заслуги перед Родиной Ю. В. Андропову — видному деятелю Коммунистической партии и Советского государства — в 1974 году присвоено звание Героя Социалистического Труда. Он награжден четырьмя орденами Ленина, орденами Октябрьской Революции, Красного Знамени, тремя орденами Трудового Красного Знамени и медалями.

ГЕОРГИЙ МАРКОВ



СОВЕТСКАЯ МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ

Союзу Советских Социалистических Республик — шестьдесят лет. Со славой выдержав многие грозные испытания, наше государство, претворяя в жизнь ленинскую национальную политику, осуществляя планы Коммунистической партии, добилось всемирно-исторических побед. Эти завоевания общеизвестны, они превратили наше отечество в надежный бастион мира и социализма, в оплот прогрессивного человечества. СССР — одна из самых могущественных стран планеты. На примере развития нашей многонациональной литературы, всей советской культуры все честные люди могут судить, какой поистине великий путь прошла наша страна. Искусство советских народов — и больших и малых, — озаренное идеями коммунизма, раскрылось во всем богатстве национального своеобразия, самобытности художественного гения, принесло человечеству непреходящие ценности.

На 77 языках наций и народностей создается ныне литература СССР! Стоит вдуматься в названную цифру. Значительная часть наших национальных литератур — новописьменные. Только после Октябрьской революции десятки народов бывшей царской империи обрели свою письменность. Это событие явилось в их жизни переломным, приобщило миллионы людей к культуре и просвещению и дало им крылья для полета в просторах истории. Характерная черта советской литературы — рост, активное творческое движение всех ее национальных отрядов. В едином содружестве, на общих идейных позициях партийности и народности в советской литературе успешно трудятся писатели самых различных национальностей. Талант, правда, верное служение партии и народу — таково требование к писателю независимо от того, принадлежит он к многомиллионному народу или к малой народности. Всех советских писателей объединяет беспредельная преданность ленинской партии, готовность отдать все свои силы торжеству коммунистических идеалов.

С трибуны XXVI съезда партии Л. И. Брежнев говорил о новой приливной волне в развитии советской литературы и искусства. Эта волна уже принесла немало талантливых произведений, созданных во всех наших республиках. Хотелось бы подчеркнуть — во всех республиках! Сегодня своим мощным напором новая приливная волна выражает глубинные, определяющие ход истории процессы, которые происходят в общественном сознании советского народа. Об этих процессах, закрепляющих великие завоевания ленинской национальной политики нашей партии, Л. И. Брежнев на XXVI съезде сказал: «Неуклонно укрепляется братская дружба всех народов нашей многонациональной Родины. Наш курс — наращивание материального и духовного потенциала каждой республики и вместе с тем его максимальное использование для гармонического развития всей страны. На этом пути мы добились поистине исторических достижений».

В этом великом и многогранном процессе деятельно участвует и советская литература. Силой своих идей, силой художественных образов она формирует коммунистическое мировоззрение многонационального читателя, воспитывает людей в духе советского патриотиз-

ма и социалистического интернационализма, способствует развитию гордого чувства принадлежности к единой советской Родине.

Основу нашей литературы составляет, конечно же, сама жизнь, живая практика социалистического преобразования, идеи партии, идеалы коммунизма. Этот неиссякаемый источник литературы был и остается могучим двигателем в развитии всех жанров и стилей художественного творчества. Именно советская литература создала новый тип писателя — патриота и пламенного интернационалиста, чья жизнь и творчество, общественная деятельность олицетворяют дружбу и братство народов. В памяти поколений такими писателями навсегда остались Максим Горький и Владимир Маяковский, такими писателями были Александр Фадеев, Константин Федин, Николай Тихонов, Максим Рыльский и Павло Тычина, Мухтар Ауэзов и Мирзо Турсунзаде, Гафур Гулям и Андрей Упит, Петрусь Бровка и Юхан Смуул, Берды Кербабаяев и Самед Вургун... Перечисление имен можно было бы продолжить.

Социалистический интернационализм и советский патриотизм были и остаются неизменной темой в творчестве наших писателей. Вдохновенно воспевая высокое патриотическое чувство советских людей, историческое единство судеб всех братских народов страны, литература постоянно находится в авангарде борьбы с идеологией национализма, националистическими пережитками в сознании людей, с рецидивами национальной ограниченности или национального высокомерия. Однако ответственность художников слова, издателей, всех творческих звеньев Союза писателей СССР за высокое идейно-художественное качество литературы должна быть поднята еще выше. Особенно велика роль в этом процессе нашей литературно-художественной периодики. Она призвана гораздо настойчивее сближать литературу с жизнью народа, поднимать творческую и общественную активность писателей, углублять такие формы работы, как литературное шефство журналов и целых писательских организаций над коллективами строек, заводов, совхозов, институтов, над важнейшими объектами одиннадцатой пятилетки.

Союз писателей имеет многообразную периодику: 86 журналов, 16 газет, десятки альманахов. Более половины наших изданий выходит на языках народов страны, что является еще одним доказательством действенного интернационализма, пронизывающего всю нашу литературную жизнь. Их общий разовый тираж превосходит 11 миллионов экземпляров.

Литературная печать — детище нашей партии, ее большая сила. Она наглядно показывает, что ленинизм, партия, Советское государство дали писателям не только новые принципы революционной литературы, но и материально-организационные условия для ее успешного развития.

Литературная печать, наши издательства — это реальная база, конкретные возможности, позволяющие советским писателям — любой национальности! — на деле осуществлять право на свободу творчества. Советский литератор действительно независим от воли хозяина, от его расчетов и эксплуататорских целей, с чем на каждом шагу сталкивается писатель, живущий в условиях капитализма.

Недавно ЦК КПСС в своем постановлении «О творческих связях литературно-художественных журналов с практикой коммунистического строительства», отметив значительную работу, которую проводит Союз писателей СССР и его печатные органы в этом направлении, поставил перед нами новые огромные задачи. Документ партии — еще одно свидетельство величайшей заботы ленинского Центрального Комитета партии о дальнейшем подъеме литературной печати, всей советской культуры. Указания и советы партии помогут укреплению творческих связей писателей с жизнью народа. Хочется процитировать одно место из этого постановления ЦК КПСС: «Следует исполь-

звать все возможности для повышения воспитательного значения художественного слова, создания произведений высокого патриотического звучания, поэтизирующих служение Родине, делу партии. Для искусства социалистического реализма нет более важной задачи, чем утверждение советского образа жизни, норм коммунистической нравственности, красоты и величия наших моральных ценностей — таких, как честный труд на благо людей, интернационализм, вера в историческую правоту нашего дела».

Обращаясь к историческим истокам советского патриотизма и интернационализма, наша многонациональная литература явила высокий уровень идейно-художественного осмысления многовековых судеб народов страны, их путей к общности и единству. Все лучшее, что создано писателями, включая прежде всего революционно-демократическое наследие прогрессивной мысли, культуры и литературы каждого народа, стало неотъемлемым духовным достоянием современности.

Эпоха подготовки и победы Октябрьской революции, коренное социалистическое преобразование всего общественного уклада наших народов, история героической борьбы партии и рабочего класса нашли яркое изображение во многих талантливых произведениях, продолжая и сегодня привлекать внимание писателей, высвечиваясь новыми гранями на полотнах художников слова всех республик.

Особым вниманием писателей, и зрелых мастеров и самых молодых, пользуется героическая эпоха массового мужества, отваги, самопожертвования — эпоха Великой Отечественной войны. На изображение подвига нашего народа и его армии, одержавших всемирно-историческую победу над немецким фашизмом и японским империализмом, направлена творческая энергия писателей всех республик. И это закономерно. Ибо завоевание победы явилось одним из самых великих деяний всех без исключения народов Советского Союза, торжеством идей ленинской дружбы народов, национальной политики нашей партии.

Полна глубокого смысла такая деталь: более тысячи писателей находились в рядах армии и флота. 417 наших товарищей пали смертью храбрых в боях за свободу и независимость социалистической Родины. Среди них были сыны всех советских республик, всех наций и народностей, населяющих наше отечество. Можно смело сказать: свое литературное братство мы навеки скрепили кровью, пролитой за нашу многонациональную Родину.

Свой могучий творческий потенциал советская многонациональная литература особенно деятельно выявляет в произведениях на современные темы. Многогранно и зримо показывает она нравственную силу советского патриотизма и социалистического интернационализма, которая выявляется в трудовой, созидательной поступи рабочего класса, тружеников сельского хозяйства, работников науки и культуры. Нефтяная и газовая индустрия Западной Сибири, новостройки Севера и Дальнего Востока, Атоммаш, БАМ, Нурек, Набережные Челны, целинные степи Казахстана и Узбекистана, российское Нечерноземье — таковы географические координаты художественных исканий писателей. Социально активный герой нашего времени, изображенный в их произведениях, не может не быть патриотом и интернационалистом. Именно таким он зорко увиден писателями в глубинах народной жизни. Раскройте, к примеру, последние романы и повести В. Кожевникова, А. Чаковского, М. Алексева, П. Проскурина, А. Иванова, Ю. Бондарева, Ф. Абрамова, Д. Гранина, О. Гончара, В. Быкова, Ю. Балтушиса, И. Шамякина, Н. Думбадзе, Ч. Айтматова, А. Ананьева, А. Проханова, В. Карпова, О. Смирнова, Е. Евтушенко, Ю. Нагибина, Ю. Мушкетика — эти книги свидетельствуют об острой проблемности, критической заостренности против недостатков нашего быта, возросшем философско-нравственном свечении

современной литературы. Оговорюсь: все имена названы лишь для примера, их можно было бы умножить.

Многообразие проблемно-тематических направлений сопутствует и многообразию жанрово-стилевых исканий. При этом и то и другое проявляется в спектре национальных форм, богатстве красок, новизне манер и интонаций. Интернациональное и национальное — это две взаимосвязанные стороны единого процесса.

Единство. На современном этапе зрелого социализма оно обретает такие черты и качества, которых не имело и не могло иметь в прошлые десятилетия. Ныне речь идет не просто о взаимосвязи братских советских литератур, за расширение которых мы бились в 30-е и 40-е годы, и не только о взаимодействии, которое определяло наши усилия в 50-е и 60-е годы. Речь идет об интенсивном взаимообогащении литератур. Сегодня в этом суть интернационального единства! Каждая национальная литература вносит в это единство свой вклад. И подобно тому как не существует сегодня отсталых национальных окраин, так же не существует и «малых» национальных литератур.

На памяти нынешних читательских поколений родились, выросли литературы народностей Крайнего Севера, Сибири, Дальнего Востока, Дагестана и других краев. Сегодня они уже не нуждаются в каких-либо снисходительных скидках на молодость или неопытность. Лучшие художники, представляющие эти народности, соединили вековые поэтические традиции устного эпоса с достижениями русской и мировой культуры. На этом пересечении различных художественных традиций родилось новое оригинальное искусство, полное поэтической возвышенности, реалистического своеобразия, обращенное к нашему времени.

Единство национальных литератур — это прежде всего единство писательских поколений, неразрывная преемственность их в борьбе за идейно-художественную зрелость каждой литературы в отдельности и всей советской литературы в целом. Именно этой атмосферой насыщена наша общественно-творческая жизнь. Не случайно поэтому одним из важнейших направлений деятельности Союза писателей СССР является соединение усилий современных писателей с традициями наших классиков, с их громадным наследием. Всенародный размах приобрели у нас в стране празднования памятных литературных дат. Это означает, что культурные ценности каждого из советских народов становятся общенациональной гордостью. Таков урок юбилейных торжеств, посвященных Льву Толстому и Достоевскому, Чернышевскому, Тютчеву, Горькому, Блоку, Франко, Тычине, Вургуну, Айни, Ауэзову, Демирчяну, Авиценне, Янке Купале, Якубу Коласу.

Как большие многонациональные форумы советской литературы прошли всесоюзные творческие конференции писателей и критиков — «Герои великих строек нашего времени и советская литература» в Тюмени, «Осуществление аграрной политики КПСС и задачи современной литературы в изображении тружеников советского села» в Алма-Ате, «С Лениным, по ленинскому пути» в Шушенском, «Ведущая сила в строительстве коммунизма. Рабочий класс общества развитого социализма, научно-технический прогресс и задачи советской литературы» в Харькове, «Правовые проблемы, нравственное воспитание советских людей и задачи литературы» в Ташкенте, «Дружба народов — дружба литератур. Слово писателя — активная сила в интернациональном и патриотическом воспитании советского человека» в Баку, «Художественная литература на страже социалистического отечества. Роль и задачи писателей в патриотическом воспитании советского народа» в Волгограде, «Социалистический образ жизни: молодые города и современная литература» в Набережных Челнах. В яркие, волнующие праздники выливаются встречи писателей и читателей во время Дней советской литературы, которые Союз писателей СССР проводит в союзных и автономных республиках, в

краях и областях Российской Федерации. Трудно переоценить влияние на писателя, на его сознание самой жизни, ее обжигающего потока. Практика творческой работы это подтвердила десятками убедительных примеров.

Роль писателей в деле патриотического и интернационального воспитания прямым и непосредственным образом проявлялась в том, что в нашей стране, самой читающей в мире, вырос и сформировался читатель, который независимо от своей национальной принадлежности воспринимает советскую литературу во всем ее многонациональном богатстве, видит в ней свое необходимое, кровное достояние. Это важнейшая подробность современной духовной жизни советского общества. Работать на благо такого читателя — великий долг и великое счастье.

Нельзя не сказать о той деятельной помощи и поддержке, которую оказывают писательским организациям, а равно и отдельным писателям ЦК КПСС, ЦК компартий союзных республик, крайкомы и обкомы партии. И Всесоюзные творческие конференции писателей и критиков, и Дни советской литературы, и многие другие начинания несут на себе благотворный знак партийного внимания. Советские писатели видят в этом одно из проявлений заботы партии о расцвете советской многонациональной литературы, об углублении ее связей с жизнью народа, с героическими делами трудовых коллективов.

Новые творческие стимулы дали литературе постановления ЦК КПСС «О литературно-художественной критике», «О работе с творческой молодежью», «О дальнейшем улучшении идеологической, политико-воспитательной работы», «О творческих связях литературно-художественных журналов с практикой коммунистического строительства». Документы партии вооружают писателей идейно, поддерживают их художественные искания, гражданскую страсть. Глубоко, с растущим чувством личной ответственности за свою работу изучали писатели постановления ЦК КПСС о шестидесятилетии образования СССР, доклад товарища Л. И. Брежнева на майском (1982) Пленуме ЦК КПСС, Продовольственную программу СССР, вызвавшие новый подъем политической и трудовой активности трудящихся.

Плодотворное влияние на все виды и жанры литературы повсюду оказали книги Л. И. Брежнева «Малая земля», «Возрождение», «Целина», «Воспоминания». В этих книгах советские писатели черпают вдохновляющие уроки идейной целеустремленности, партийной принципиальности, глубокого патриотизма и мужества — уроки жизни, безраздельно слитой с делом партии, с делом народа.

Так на современном этапе зрелого социализма находит свое конкретное воплощение и органическое развитие ленинская концепция литературы и искусства — как части общепролетарского дела. Провозглашенные В. И. Лениным принципы в знаменитой статье «Партийная организация и партийная литература» и по сей день сохраняют для нас значение революционного манифеста.

В процессе взаимообогащения и взаимовлияния братских литератур огромную, если не сказать решающую, роль играет опыт русской литературы, в особенности русский язык, ставший у нас в многонациональной стране языком межнационального общения. Русская литература, и классическая и современная, по общему признанию писателей других наций — подлинная школа художественного профессионализма. Она оказала и оказывает на мастеров национальных культур вдохновляющее влияние, помогает формировать высокие критерии творчества.

Не могу не отметить большое значение труда наших переводчиков. Кто-то верно сказал, что перевод — это мост от народа к народу. Союз писателей постоянно заботится об улучшении переводческого дела, понимая, что в многонациональной семье оно является сердцевиной сближения культур.

Советская многонациональная литература подвергается яростным нападкам наших идеологических противников. Эти нападки заметно усилились в обстановке нынешнего обострения международной напряженности. Империализм перешел к открытым атакам на свободолюбивые народы, на их право жить по-своему, о чем говорит интервенция Израиля в Ливане, истребительная война против ливанского и палестинского народов, развернутая при прямом участии США.

Отравленным оружием национализма недруги нашего социалистического строя тщетно пытаются подорвать интернациональное единство советской литературы, расколоть братство советских писателей. Ничем, никакими средствами обмана, демагогии, вероломства не гнушаются наши враги, чтобы хоть как-нибудь ущемить достоинство советских писателей. Идет, конечно, в ход и обветшалый миф о «насильственной русификации» национальных культур в СССР. Социалистический реализм — наш испытанный творческий метод — изображает примитивным средством нивелировки писательских дарований. Ничего нового наши недруги изобрести не в силах. Все их попытки вбить клин в отношения партии с литературой, с писателями заканчиваются провалом. Доверие партии к писателям нерушимо, как нерушима беспредельная преданность писателей партии и Родине.

Интернациональная миссия советской литературы высока и почетна. Каждый советский писатель — активный борец за мир, за сплочение всех прогрессивных сил планеты во имя социального прогресса и гуманизма. Он убежденный пропагандист внешнеполитического курса Советского государства, его мирных инициатив, направленных против ядерной войны во всех ее вариантах, выдвигаемых американской администрацией в угоду верхушке империалистического бизнеса. Слово писателя, обращенное к совести народов, гневно разоблачающее преступных поджигателей войны, — острое и сильное оружие в борьбе за мир. Оно необходимо людям, потому что воодушевляет их, укрепляет их веру в свои силы, поднимает на борьбу миллионы новых борцов.

Верный своему интернациональному долгу, Союз писателей СССР вносит весомый вклад в великое дело единства братских стран социализма, национально-освободительной борьбы народов Африки, Азии, Латинской Америки, в дело сотрудничества государств с различным общественным строем, создания на планете прочного климата миролюбия и дружбы, превращения культурных обменов в средство познания и духовного обогащения людей.

Труден, а временами и опасен из-за коварства наших врагов путь литературного слова, несущего правду о советской жизни. Нередко это требует не только убежденности писателя, но и известного мужества. Ведь советские писатели все чаще появляются на трибунах стран, в которых господствует капитал. Вопреки всем потугам врагов известность советской литературы растет, международный авторитет ее повышается. Союз писателей поддерживает ныне связи с писателями ста стран мира.

Представляя многие десятки наций и народностей нашей страны, советские писатели, среди которых свыше 60 процентов — коммунисты, тесно сплочены вокруг Коммунистической партии. Непоколебимая верность победоносным ленинским идеям питает их творческую и общественную активность, цементирует нерасторжимую связь с жизнью народа. Нет и не может быть сомнения в том, что советская многонациональная литература и впредь будет большой силой в духовной жизни советского народа, в борьбе за претворение планов и предначертаний нашей родной ленинской партии.

ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ



СЕРГЕЙ СМИРНОВ

Дело Ленина

Это он вошел под гром восстаний
В бурно дебатирующий зал.
Он в ошеломленном вражьем стане:
— Есть такая партия! — сказал.

Есть!
А мы ее однополчане.
И резервов партии не счесть.
Вся огромность нашенских деяний
Подтверждает ленинское:
— Есть!

Современница

Ветерану Панфиловской дивизии Л. А. Жаворонковой.

Вот ведь вы какая, рядом с нами,
Ветеран ударного труда:
Грудь червонно блещет орденами —
Ордена, медали в три ряда.
А над ними
 веточка сирени,
Вид ее цветуще юн и нов.
Как идет вам это нарушенье
Правила
 ношенья
 орденов!

Наследники

Не в грозном образе героя
Нам виден Ленин с давних дней.
В одежде штатского покроя
Он выше, ближе и родней.

И все призывней год за годом
Знакомый голос, взгляд и жест.
...Земля крестьянам!..
...Мир народам!..
...Кто не работает — не ест!..

Мир на два лагеря расколот.
Фронты. Нещадная борьба.
А он — возносит Серп и Молот
В основу нашего Герба.

И мы по ленинским заветам
Идем на штурм любых вершин.
И чтим свой образ жизни
 в этом,
И дело Ленина вершим.

Личный знак

Экслибрис мой не книжный
 признак,
Не штамп, не вензель именной.
Нет, это знак на Книге Жизни
Моей, творимой лично мной.

Насобирал по белу свету
Пять полустершихся подков
И возложил находку эту
На грудь пяти материков.

Скрестил их кумачовой нитью.
И вот — фигура хоть куда:
С боков — подковы, а в зените
Пятиконечная звезда.

Вписал свои инициалы
В сиянье звездное ее.

Да это же — экслибрис алый —
Творенье собственно мое.

Сияй же, белый свет не застя,
Гори светлей да горячей,
Мой личный знак — подковы

счастья
И краснозвездье в пять лучей!..

ГРИГОЛ АБАШИДЗЕ

Гимн родине

С тех пор как он выпал тебе, этот жребий высокий
Владычицей стать этих рек, этих скал, этих гор, —
Здесь труд воцарился и пота не сохнут потоки,
Деснице твоей неизвестна усталость с тех пор...

Ты плавил сталь.
Виноградные лозы растила.
И сердцем своим понимала уже и тогда:
Не только меча боевого могучая сила —
Спасенье твое,
Но великая сила труда.

Ты видела, как племена исчезали без звука...
Отмечена бурей и пламенем доля твоя...
Ты труд постигала как высшую в мире науку,
И сладость труда ты вкусила —
Как смысл бытия.

Под натиском бурь ты —
О, можно ли не поражаться? —
Что было повержено в прах, возносила опять.
С врагами за правду ты не уставала сражаться
И не уставала спасать, поднимать, укреплять...

И вот ты воскресла,
И солнце тебя озарило.
Сколь звучен твой голос —
Он слышен в далекой дали!
И крыльями щедрое время тебя одарило,
Чтоб ты воспарила
Над ширью расцветшей земли.

И вновь пред тобой зеленеют и вьются дороги,
Что с юности найдены...
Блещут на склонах леса.
Сияет над миром твой труд вдохновенный и строгий,
Вселяет надежду и веру родит в чудеса.

Несут с собой жизнь
Перекрытъя, каналы, плотины.
Волнуются нивы...
И радует наши сердца
Все то, что любовью мы создали,
Страстью единой,
Единым стремленьем и волей
Идти до конца!

И ты убедилась:
Вершину одну покоряет —
Желанье идти и идти неотступно вперед.

И ты убедилась —
И сердце твое повторяет,
Что радость грядущего лишь из труда восстает.

И легким путем
Совершенно нелепо кичиться,
Рассеется призрачный блеск, как туман, без следа.
Нет счастья превыше — в достойном труде отличиться,
О есть ли что выше великого счастья труда?!

Вовек не погаснут,
А будут красою нетленной,
А будут сиянием вечным над миром сиять
Создания мысли твоей и души вдохновенной,
Десницы твоей всемогущество и благодать.

И пусть озаряются светом немеркнувшим этим
Волнений и трудностей полные ночи и дни...
Создай красоту величавей,
Чем в прошлых столетях,
И в слове достигнуть
Высот Руставели дерзни!

Ты тайны великих творений пытайся постигнуть,
Огню не давай угасать
Ни на час, ни на миг
И памятник нерукотворный попробуй воздвигнуть,
Достойный и славы,
И всех испытаний твоих!

Перевела с грузинского ЕЛЕНА НИКОЛАЕВСКАЯ.

ЕМИЛИАН БУКОВ

С молдавского

Утренний человек

Утренний человек
вечерних не ведает терний,
утренний человек —
это не то что вечерний,
хоть, впрочем,
в земной немоте пантомим
им — двоим —
одно дыханье дано,
ибо они — одно.

Умытый
росой сновиденья,
смытый
волной пробужденья,
утренний человек,
дремоту гоня,
не свершил еще ничего —
он лишь намек,
обещанье
свершений грядущего дня.

Он еще только возможность —
в нем новорожденного
целомудрия бестревожность,

и еще не возникло
в его разуме или руке,
в синеве на предутреннем
ветерке

то деянье,
действие, действие,
то созиданье, а не злодейство,
то песнопение, подобное
набатному звону,
что его подымет, и увлечет,
и властительно поведет
к ближайшему небосклону.

Утро.
Солнце меж облачных
полотенец,

Утро.
Первого счастья взмах.
Утро —
будто младенец
в малиновых пеленах.

Утро.
Веселье плоти,
день еще надо прочесть!

Утро.
Еще не в полете
великолепная весть.

Будет
расцвет пустыни
в полном разбеге дня,
Утро еще в зачине,
утро ведет меня!
Утро —
как жребий:
вынешь —
и удастся старт.
Где там вечерний финиш?!
Смелых ведет азарт!

Много у дерзновенных
трудных путей-дорог,
выбор —
в артериях, венах,
в сутолоке тревог!

Звездные скинув сети,
варуг пробудилась даль!

Счастье,
что есть на свете
Утренняя Магистраль!
Жизнь
озарилась в чуде,

в рокоте вешних рек —
так
вам вещает,
люди,
Утренний Человек!
Звездные
меркнут сети —
солнце в твоей горсти,—
счастье —
в закатном свете
утренний отблеск нести.

Пусть же
подобно ране
вечно не меркнет в нас
отсвет
рассветной рани
в тот предвечерний час,

где
в потускненье красок,
по мураве ковров
гонит малыш подпасок
тьму золотых коров.

В нем — обещанье света,
утра благая весть.
Знаете,
может быть, это
именно он и есть —
Утренний Человек?

Перевел АЛЕКСАНДР ГОЛЕМБА.

* * *

Купайся, купайся, купайся,
в рассветную реку кидайся!
Греби исступленно и круто.
Жизнь, четверть твоя — это утро.
Девочка, девочка, чудо, фетица,
воротничок твой багряного ситца!
Цвет его яростный в перьях рассвета.
Красное сердце и красная вера.
Крик красногубый — как выдох. Я сжался.
Сжался! Пожалуйста, выслушай. Сжался!
Жар мой, поверь, не измерит и ад.
Дай мне термометр с меридиан!
Люди меня называют поэтом,
но не умею писать я об этом.
Лучше, как шляпу, надвину я солнце.
Как мне легко на флуере поется!
Жажду полета. Кляню ожидание.
С каждым мгновеньем острее желание.
И за спиной притяженью назло
мощным рывком отрастает крыло.

Девочка, утро, река моя, детство,
воротничок, полыхающий дерзко!..

Перевел АЛЕКСЕЙ СМИРНОВ.

БУРДЫНАЗАР ХУДАЙНАЗАРОВ**Хлеб сорок третьего года**

Подползают колюче к порогам пески,
хлеб в печи не пекут,
печь погасла;
опорожнены праздничные бурдюки,
мать давно не сбивает масла.

Не вращаются тяжкие жернова,
и так скорбны голодных детишек слова:
— Дайте хлебца!..—
А скатерть пустая.
— Дайте хлебца!..—
Мать плачет седая.

Сиротами в кибитке сидят малыши,
мать глядит им в глаза виновато;
за войну заржавели у женщин ножи,
что лапшу нарезали когда-то.

В очаге скудный пепел,
ни угля, ни огня,
матерей наших горбит невзгода...
Самым трудным и честным ты был для меня,
горький хлеб сорок третьего года.

Меня ветры сушили,
от солнца я слеп,
стерегла на дороге забота...
Моей совестью будь, сорок третьего хлеб,
если вдруг возгоржусь отчего-то!

О ценности

Полет поднебесных гор
Узнал я на дне долин,
И спутника цену узнал,
Когда остался один.

Прохладную синь весны
Познал я в июльский зной
И свет своего очага
Вдали от земли родной.

И дни по прошествии лет
Я глубже стал понимать

И скорбь чужих матерей,
Утратив родную мать.

Среди гордецов оценил
Я души людей простых,
Готов был губами припасть
К следам их в песках пустых.

Мне теплым казался и снег,
Когда меня ливень стегал...
Именно так человек,
Наверно, мир постигал.

Перевел с туркменского О. ШЕСТИНСКИЙ.

АЛЕКСАНДР РЕКЕМЧУК

★

ТРИДЦАТЬ ШЕСТЬ И ШЕСТЬ *

Роман

8

— Ч[етвертый! — сказал Улитин и поднял руку с загнутым большим пальцем, а четыре других торчали врозь.

Он не стал дожидаться, пока Алексей прошагает весь ковер от двери до редакторского стола, а лишь завидя его, выкинул вверх четыре пальца и произнес, торжествуя:

— Четвертый! Вот так-то, Рыжов.

— Что... четвертый? — спросил недоуменно Алексей, опускаясь в истертое и продавленное кожаное кресло, утопая в нем, держась на одних локтях, которые нашли опору примерно на уровне ушей.

Семен Ильич сощурился канальски:

— Неужто забыл? А мне казалось, что у тебя хорошая память... Но не беда, я напомню. На «Тютчеве», на пароходе, когда мы с тобой сюда плыли, ты меня спросил: а сколько у вас городов? Да еще с подковыркой: один? А я тебе ответил: три, пока три города, пока... Заметь, что я сказал п о к а. Ну, вспомнил теперь?

— Вспомнил, — сказал Алексей.

Ему не очень хотелось вдаваться в подробности того стародавнего разговора на «Тютчеве» уже на подходе к Городу-на-Реке, когда он, испытывая усталость и раздражение от долгого пути, был не слишком вежлив со своим случайным соседом по каюте, — ему не хотелось тормозить воспоминания о том, как он хамил напропалую этому человеку, не предполагая, что всего лишь через несколько дней он окажется в самом прямом и недвусмысленном подчинении у этого человека и тот ни разу не укорит его задним числом за опрометчивое хамство, даже не напомнит о злополучном разговоре, но вот — взял да и напомнил.

— Так вспомнил или нет?

— Вспомнил, — коротко вздохнул Алексей.

— Тогда держи, читай.

Он протянул ему брошюрку свежих «Ведомостей...», где красным карандашом было отчеркнуто: Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от... рабочий поселок... преобразован в город Печорск.

Алексей поднял глаза на карту позади редакторского стола. Шторка была отдернута вправо ровно настолько, чтобы взгляд тотчас уперся туда, где река выкидывает лихое коленце, а под самое коленце бьет членистая, как бы изображающая рельсы и шпалы линия железной дороги.

* О к о н ч а н и е. Начало см. «Новый мир» № 11 с. г.

— Нашел? Увидел? Вот тебе и четвертый город. И вот тебе Печора — поезжай.

— Семен Ильич...

Он сделал попытку выбраться из хляби продавленного кресла, но хозяин кабинета жестом дал ему понять, чтобы сидел и не прыгал, что разговор еще не окончен.

— Поедете бригадой, там одному не управиться. Нужна полоса о новом городе: содержательная, яркая, броская — ведь это для нас событие, четвертый город, да!.. И суть не только в этом. Пойми, Рыжов, проникнись: только что прошла война, сотни городов лежат в руинах, в пепле, сотни погибших городов... Но вот — родился новый город! Как много в этом оптимизма, смысла, а? Тебе сильно повезло, Рыжов. Ведь я не знаю, будет ли у тебя в жизни еще раз такое: рождение города!

— Семен Ильич...

— Ну что?

Алексей, опираясь, цепляясь, все же выгрёбся из ватной трясины, отдышался, наклонился над столом, над гознаковским, в радужной денежной сетке перекидным календарем, пролистал странички: 25-е... 27-е... 30-е... все, а дальше был сентябрь.

Веки Улитина удивленно хлопали, когда он следил за этими листками. Он позабыл. Обо всем помнил, все имел в виду, все предусмотрел, все учел, а вот здесь просчитался, упустил, забыл.

— Мне пора, — объяснил Алексей. — Сколько дней еще парходом тащиться, поездом. А я хочу в Ленинград заехать, к маме, с прошлой зимы не выдались.

— С прошлой зимы, с прошлой зимы... — повторял за ним Семен Ильич, ероша календарные листки, поигрывая морщинами лба, соображая. — Послушай, Рыжов. А что, если тебе задержаться у нас? На пару месяцев. Хотя бы до зимы, скоро уже зима... Да ты сядь, сядь.

— То есть как? — опешил Алексей, но сел. — А институт?

— Да с чем ты явишься в институт? С пустыми руками. Ведь до Печоры ты так и не добрался. Сказок тебе не рассказали и песен тебе не спели. С чем же?

— Ничего, — беспечно усмехнулся он. — Авось не казнят, помилуют.

— Помилуют, конечно, — согласился Улитин. — Но дело не в этом. Ведь ты, Алеша, рвался на Север, на Крайний Север, в Заполярье, в Арктику — не возражай, я лучше знаю, — всей душой рвался, с детства, с малолетства, как все, так и ты. И вот вроде бы до рвался. А что ты видел? Ничего не видел. Потому что настоящий Север начинается, брат, вот отсюда...

Он поднялся и тронул пальцем ту заветную точку на карте, где скрещивались река и железная дорога, где был только что народившийся город Печорск, а чуть выше настойчивой и тревожной строчкой морзянки бежали друг за дружкой, опоясывая макушку Земли, отрывистые тире: Северный полярный круг.

— Отсюда начинается, можешь мне верить... И еще сам подумай: какой же это Север без зимы? Все равно что юг — без лета, а?.. — Он рассмеялся, довольный этим сравнением. — Ну что ты можешь сейчас поведать о Севере там, в Москве, в Ленинграде, своим друзьям, матери своей? Про то, как ты тут загорал на солнышке да в реке купался. Купался или нет?..

Алексей заглянул с подозрением в ягодные глаза Семена Ильича, нет ли там насмешки и подвоха, намек на то, как один корреспондент пробовал самолично гонять бревна на запани. Вроде нет. Он ответил с достоинством:

— Купался.

— Вот. А чтобы Север понять, надо на нем хоть одну зиму пе-

резимовать. Знаешь, когда морозы градусов под пятьдесят. Когда пурга с ног валит и ходят по веревке: за веревку держатся, чтоб на улице не заблудиться и не замерзнуть. Когда ночью — ночь и днем тоже — ночь. Вот это будет Север! И я обещаю тебе, Рыжов...

Он все еще стоял у своей обрамленной шторками полководческой карты — нет, не полководческой, у полководцев карты лежат на столах, а когда со шторками, то ранг еще выше. Семен Ильич чуть приподнял и сдвинул набок правую шторку, обнажая то, что всегда было скрыто, сказал значительно и глухо, будто называя день, час и направление главного удара:

— Я дам тебе командировку, о которой только мечтают: весь Север — насквозь, от сих до сих! Честное слово — дам.

Алексей сглотнул набежавший комок волнения, он всегда набегал, подкатывал к горлу, когда ему обещали что-то несбыточное, и притом обещали всерьез, надежно, под честное слово, под клятву. Хотя ему еще никто и никогда ничего несбыточного не обещал, не предлагал, это в первый раз.

Было трудно не польститься, не клюнуть на такое. Но вместе с тем предложение это было настолько нелепым, самоуверенным и наглым — можешь мне верить, я обещаю, я дам, я то, я се, — что в душе Алексея вспыхнуло чувство протеста, как и тогда, на «Тютчеве», когда этот человек стал ему делать заманчивые и коварные предложения, а он решил поставить его на место, что, безусловно, следовало бы сделать и сейчас, перейдя на изысканный ледяной светский тон: «Я весьма благодарен, весьма польщен... поверьте, мне было очень приятно... тем не менее...»

Однако он не успел высказать вслух даже самого начала этой великолепной тирады.

— Позволь, Семен Ильич?

Улитин тотчас устремился навстречу, приобнял у порога, почтительно и любовно повел к креслу.

— Здравствуй-здравствуй, дорогой Федор Макарович... рад тебя видеть, очень рад... а вот познакомься — наш сотрудник, новенький, Алексей Рыжов. Заговорились мы тут с ним.

— Рыжов? — Вошедший протянул нетвердую руку. — Будем знакомы — Коюшев.

Они все трое расположились в креслах, и теперь Алексей смог наконец рассмотреть воочию Федора Макаровича Коюшева, заведующего промышленным отделом «Северной звезды», в кабинете которого он просидел почти два месяца, отвечая на звонки, что нет, что болеет, поправляется.

Но судя по тому, что он наблюдал сейчас, до поправки еще было далеко. Коюшев выглядел откровенно плохо, хотя Алексей и видел его впервые и сравнивать было не с чем. Его лицо было измождено, землистого цвета, ни кровинки, и какой-то белый налет, нездоровая опушка обметала кожу. И на шее все жилы и вены страшно выпятились наружу, и кисти рук были немощны и бесплотны, как у святого. Все казалось неживым, только глаза еще оставались живыми — и в них сквозила боль, как он ни старался ее пре-возмочь и спрятать.

— Ну как... — начал было вежливый расспрос о здоровье Семен Ильич, но не посмел высказать слово «здоровье», тоже понял, что это было бы кощунством, и завершил фразу иначе: — Как дела, Федор Макарович?

— Дела мои неважные, покойницкие, сам видишь, — сказал Коюшев. — Ложусь под нож, на операцию, врачи велят — другой надежды, говорят, нет. А я полагаю, что и тут надежды нет, скорей для порядка, для чистой совести: мол, сделали все что могли...

— Это ты зря! — замотал головой Улитин. — Хирурги сейчас

чудеса творят, прямо-таки чудеса. Набили они руку, искусились на войне — смело работают, дерзко. Вот мы недавно писали...

— Читал-читал, Семен Ильич,— остановил его Коюшев.— Ты о войне заговорил. И я о ней тоже сейчас много думаю... Гляди-ка, что получается. Ведь я заболел этим еще до войны, сознаю теперь. А на фронт пошел — вроде ничего и нет. Я и забыл о ней, о болезни, под пулями расхаживая, и она обо мне, болезнь, как будто забыла. Будто она меня на войну отпустила — на все четыре года. А теперь обратно оприходовала... Вот где оно — чудо. Мало мы еще о жизни понимаем. И о смерти тоже мало.

Он торкнулся непослушной, чересчур легкой рукой за борт пиджака, поводит там, вытащил тертую-истертую корочку, когда-то, наверное, красного цвета, а теперь коричневого, запекшегося, как сгусток крови.

— Вот возьми, Семен Ильич, партбилет мой... Пехтерев в командировке в районе, сейф партийный у него на замке. А ты пока положи в свой.

Улитин попытался сделать жест протестующий и что-то сказать, но опять не вышло у него, только трепыхнулись ладони, шевельнулись губы, он нахмурился, недовольный собой, взял партбилет, открыл сейф, положил и намеренно долго сопел, запирая его.

— А ты мне лучше вот что скажи,— свершив то трудное дело, за которым пришел, чуть оживился Коюшев.— Как там — в Китае?

— В Китае? — Семен Ильич тоже повеселел, обрадовался перемене разговора. Потянулся к краешку стола, где лежали тассовские листки.— Вот: «Гоминдановские самолеты бомбят плотины на реке Хуанхэ», «Дезертирство среди рекрутов гоминдановских частей», «США вооружают гоминдановские войска»... Но это, други, семечки, а вот только что приняли по радио: «Агентство Синьхуа о контрнаступлении народно-освободительной армии...»

Он значительно глянул поверх плюсовых очков, снизил голос, будто это сообщение поведали не московские дикторы всему свету, а надежные люди, сидящие где надо, сообщили непосредственно ему, редактору «Северной звезды»:

— «...после четырнадцати месяцев партизанской войны и массового уничтожения противника народно-освободительная армия начала великое наступление. 11 августа наши армии, которыми командуют генералы Лю Бо-чен, Дэн Сяо-пин и Ли Сянь-нянь, пересекли Лунхайскую железную дорогу и продвинулись за реку Го...»

Федор Макарович заерзал в кресле, не пряча восхищения

— «...20 августа войска северо-западной народно-освободительной армии, которыми командуют генералы Пын... Пын Дэ-хуай...» Ох и фамилии у них, язык не поворачивается! — покачал головой Улитин.— Но это не важно, главное: «...перешли в контрнаступление. Разгромлено 114 бригад регулярной армии Чан Кай-ши, насчитывающих 900 тысяч человек...» Ну что?

— Добрые вести,— сказал Коюшев.— А как американцы на это смотрят?

Улитин опять заглянул в тассовские листки.

— Вот... «Американская печать, комментируя заявление генерала Ведемейера о нынешнем положении в Китае, считает, что до сих пор политика Соединенных Штатов в Китае терпела поражение... высшим американским кругам придется учесть возможность того, что режим Чан Кай-ши может рухнуть...»

— А мы? Как полагаешь, Семен Ильич, помогаем мы китайским товарищам?

Улитин сощурился, снова подмигнул, замахал руками:

— Опровергаем. Самым решительным образом опровергаем!..

Расхохотался, очень довольный собой.

Алексей тоже не сдержал смеха: уж очень выразительно разыг-

рал этот эпизод редактор, вот какой он, оказывается, мастак играть роли.

— Ну, если мы да еще Китай...— сказал Федор Макарович.

Алеша взглянул и поразился: только что землистое, бескровное лицо вдруг полыхнуло живым румянцем, посвежело, задышало, а глаза, в которых ныла боль, сверкнули вдохновением и радостью предвидения.

Коюшев медленно перевел этот сияющий взгляд на него — и в нем было: вот тебе, молодой товарищ, суждено увидеть то, чего сам я не увижу, и не скрою, что завидую тебе, брат.

Но еще в этом вспыхнувшем и уже остывающем постепенно взоре было и нечто иное: будто бы он, Коюшев, сейчас, в эти считанные мгновенья, проследил наперед всю молодую жизнь Алексея Рыжова и всю его среднюю жизнь и даже заглянул в те бесконечно далекие дали, когда Алексей будет стар, как он, когда ему подкатит пятьдесят.

— Пока я болею, пока в постели валяюсь,— сказал Коюшев, — я не газетчик, а читатель. Газетчик на ногах должен быть, а я — в лежку... Так вот как читатель скажу: заметил я уже на страницах твою фамилию, читал — неплохо, Рыжов...

— Это мы еще не расписались,— встрял Улитин.— Дай срок — мы еще распишемся!

— Желаю успеха.— Федор Макарович протянул ему руку, заворочался в кресле, пытаясь встать.

Улитин тотчас оказался с ним рядом и помог. Проводил до двери.

Алексей заметил, что словно по уговору не было произнесено ни «до свиданья», ни «прощайте».

И следовало бы, наверное, просто помолчать после его ухода, однако Семен Ильич, выждав чуть-чуть, сказал:

— Пошел наш Федор Макарович. Пошел умирать. Вот настоящий большевик... А знаешь, Рыжов, зачем я тебя посадил к нему в кабинет? Не знаешь. Что ж, расколось: думал, выздоровеет, выйдет на работу, присмотрится к тебе... А зачем? Улавливаешь?

— Нет.

— Думал, даст он тебе вторую рекомендацию в партию.

— Вторую? — удивился Алексей.— А первую кто?

— А первую — себя имел в виду. Когда подойдет срок.

Вот теперь они оба надолго замолкли, поняв, что настал черед вернуться к прерванному разговору.

Алексей прислушивался к тому, как в нем самом — в нутре его, как в самоваре, — клокочет и кипит негодование. Ведь его собеседник только что и впрямь раскололся, проговорился невзначай: он назвал срок, в течение которого, по его планам, должен был приглядываться Коюшев к нему, Алексею Рыжову, соседу по кабинету. Срок этот был известен и вполне определен — год, целый год, о чем Улитин поначалу даже не посмел заикнуться. Целый год... Алексей вслушивался, как клокочет в нем негодование, и сам себя ловил на том, что слушает это с некоторым сторонним интересом, даже с любопытством.

Он чувствовал, как безволие и покорность заполняют его, гася пыл и клокотанье. Он не чуял в себе сил сопротивляться, как не было сил выкарабкаться из этого бездонного кресла. Благоразумие остерегало, подсказывало, что встать и уйти значило уйти совсем и навсегда, подобно тому как только что ушел Коюшев, а он не хотел даже подобия этого, ни-ни. Ему пришлось бы теперь пожертвовать многим, к чему он уже привык, с чем освоился, а ради чего, спрашивается, ради каких других выгод? Не было никаких выгод, хотя он и не искал их, а вот все равно не было... И еще ему, конечно же, льстило это: как его нипочем не хотят отпускать, как он

тут пришелся к месту и позарез нужен, как его упрощают, уговаривают, хотя в данный момент (он отдавал себе в этом отчет) никто его особенно и не уговаривал — молчок.

Кажется, и Улитин уже сообразил, что самую трудную и вязкую часть беседы — уговаривание, уговор — можно пропустить, перескочить через нее и сразу быка за рога:

— Может быть, ты возьмешь академический отпуск?

— Я не беременный, — огрызнулся он.

— А ты в этом уверен? — нагло вато ссклабился Семен Ильич.

Алексей одарил его косым и холодным взглядом.

— Впрочем, академический отпуск — в любом случае потерянное время, да. А зачем его терять? Незачем. Лучше, если ты перейдешь на заочное, на годок: и учеба не прервется, и работать можно без помех — пожалуй, это самый лучший вариант... Нет-нет, погоди, я догадываюсь, о чем ты: как все это оформить, верно? Твоих забот тут и не надобно. Я сам напишу в институт, официально, от редакции, мол, так и так, просим уважить, а потом позвоню ректору напрямки — это возьмает, можешь не сомневаться!

— Но мне все равно придется ехать на сессию — в декабре, что ли...

— Поедешь. Дорогу оплатим.

Алексей еще барахтался в кресле, бился из последней мочи:

— Нет, я должен ехать в Москву сейчас. Да что вы, в самом деле? Я же сюда налегке прикатил, вот в этом... нет, не в этом, но... ведь скоро зима, нужно взять зимние вещи, как я без них?

— А что там у тебя — сибирская доха? — навалился на стол Улитин, хитро сощурясь. — Себя от холода страхуя, купил сибирскую доху я?.. Нет? Тогда и не надо: мы тебя здесь обмундируем — будешь молодец и красавец, эх... Есть еще вопросы?

Алексей насутился. Вопросов не было. Расхлябанные пружины кресла осели под ним до самого пола, и он, не трепыхаясь более, канул на дно.

Семен Ильич тоже испустил вздох облегчения, отвалился к спинке, погладил бережно левую титьку, в глазах его теперь был даже укор: намаял ты меня, смотри, до чего довел, ну и характер у тебя — какой несговорчивый и злобный, долго же ты сопротивлялся, вон как пришлось уламывать, будто красну девицу.

— Ладно, — вернулся он к истоку затянувшегося разговора, — значит, так. Нужна полоса о новом городе — о Печорске. Поедете бригадой: ты, Яша Черношварц и Огузов Степан Игнатович... Не знаком еще? Он тоже в гостинице поселился, с семьей, позавчера прибыл: молодой, но видный такой из себя, весь в орденах. Из армейской газеты. Армию недавно расформировали — его к нам, говорит, что сам напросился сюда, северянин родом. Вот видишь, Рыжов, сбываются мои предсказания: скоро понаедут к нам армейские газетчики — это первый... В бригаде он будет за старшего, хотя и новенький, но нужно проверить его по всем статьям, — доверительно объяснил редактор. — Не обижаешься?

Алеша искривил губы, тем самым выказывая полное безразличие, какие тут обиды.

— Да, кстати... — Семен Ильич снова отпер свой сейф, вынул из него листы глянцевого бумажки с убористыми строками вопросов и белыми пятнами меж ними. — Поскольку теперь ты будешь оформляться всерьез — это уже не практика, — заполни-ка, братец, анкету: порядок — он для всех.

Алексей взял, заглянул небрежно: большинству пробелов так и надлежало остаться чистыми — нет, нет и нет. Все в порядке.

— Есть приятный сюрприз... — улыбнулся ему Улитин. — До Спас-Погоста поедете на машине, на легковушке. Мы только что получили «Победу», Егор обкатывает. До Спас-Погоста поедете, как

баре, а там по железной дороге сутки с гаком. Обратно будете ехать — дайте телеграмму, вышлю опять «Победу» за вами на станцию. Вот оно как, Леша дорогой, ну скажи после этого — разве не широкая душа у Семена Ильича Улитина? Ты прямо скажи, не жмись...

— Что? — вежливо переспросил Алексей. — Я вас не совсем понял.

9

Бревенчатая гостиница стояла на крутом берегу, в окружении редких сосен, и лишь утром (они приехали ночью, в глухой непроглядной) Алексею удалось осуществить долгожданное свиданье — выйти к Печоре, увидеть ее своими глазами.

Она была мощна и плавна, не вертлява. Всем видом и повадкой она утверждала свое величие, давала понять, что она — сама по себе. Что есть и другие большие и славные реки — ну, скажем, Вычегда, но и та лишь приток Северной Двины. А она, Печора, ничей не приток, она вбирает в себя, поглощает любые притоки и несет свои воды прямо к морю, в холодный океан.

В ней была та же царственность, что у Невы — так показалось Алексею, — но он и здесь определил различие: ход Невы так же могуч, но он короток, как жизнь, исчерпанная одним великим деянием, порыв — и все. А Печора была примером иного пути: продолжительного, постепенного, робко набирающего силу в ключе, в истоке; смиренно течет она отведенным руслом, похожая на все другие обычные и негромкие реки; если возникнет препятствие — обойдет, а где нельзя обойти — перест и очень осторожно, почти незаметно раздвигает свои берега, будто расправляет плечи; она впитывает все, что может ее напитать, полнится, наливается силой, и когда наконец заметят, что она взматерела сверх всякой меры, что вот-вот она выйдет из повиновения, что надо бы втиснуть ее обратно в надлежащие створы — тут уж поздно: теперь нет ничего, что могло бы ей перечить, не уймешь, не сладишь, не одолеешь, теперь она — владычица...

Алеша ощутил в теле дрожь восхищения и почтительности, но на самом деле его пробрал озноб: тут, на крутогорье, гулял порывистый ветер. И брызги окропили вдруг лицо — сыпанул дождик.

Он сообразил, что за истекшие двое суток пути они очень далеко и основательно продвинулись на север: тут и не пахло благодатью бабьего лета, которое ласкало его в Городе-на-Реке, тут сразу обозначилась разница климата, воздух охладился, небо посуровело, и раскат реки, взъерошенной ветром, как бы отчеркнул границу между тем, что для пущей важности именовалось Севером, и тем, что им было по праву, по сути.

Сзади послышалось фырчанье автомобильного мотора, лязг перетертых рессор, скрежет жести: полуразваленный довоенный автобус подъехал к крыльцу гостиницы.

Дверца открылась, сошла женщина в черном плотном пальто, но с непокрытой седой головой, в пенсне. Она издали присмотрелась к Алексею, а он тоже смотрел на нее, и оба поняли, что это именно они по уговору должны здесь встретиться ровно в девять.

— Товарищ Рыжов? — Она подошла. — Здравствуйте, я Сиротина Галина Тимофеевна, районный архитектор.

— Очень приятно. — Он пожал ей руку. — Вы сказали — районный, но теперь — главный архитектор города?

— Наверное, это будет называться так, — сказала она без рисовки. — Но еще ничего не оформлено, не подписано, ведь для нас самих это новость, хотя мы и ждали со дня на день... Печорой любуетесь? — Она подставила лицо ветру. — Вы здесь впервые?

— Да.

По мосту, который был виден справа — он ступал чередой железных ферм по гранитным быкам, — катился состав угольных хопперов, его волокли два черных паровоза, и дым двумя белыми султанами валил из их труб.

— Этот мост построили в войну, когда немцы захватили Донбасс, — сказала Галина Тимофеевна. — Без северного угля было не обойтись, но его возили по воде, рекой, морем — долго. А требовалось срочно... Так вот: на этот мост пошли стальные конструкции Дворца Советов. Разобрали каркас — опоры, башмаки, ригельные балки — и сюда. Правда, металл не вполне соответствовал — он хорошо работал на сжатие, а на растяжение хуже, ведь и назначение было иным, — однако выбирать не приходилось... да еще в сорок первом году часть каркаса порезали на противотанковые ежи: их ставили в Москве. Но то вершки, а корешки — на Печору...

Алексей настолько поразило услышанное, что он взглянул на Сиротину с некоторым недоверием. И она поняла это.

— До войны я работала на строительстве Дворца Советов. В мастерской Иофана, на Ленивке, знаете?

— Приблизительно, — бормотнул Алексей.

— Вы не москвич?

— Я ленинградец, точнее — Кронштадт. Но вообще...

Она кивнула вежливо, продолжила:

— Мастерскую Иофана эвакуировали в Свердловск, а я еще раньше уехала сюда: здесь работал мой муж, потом он умер.

— Вот как, — сочувственно потупился Алексей. Вытащил из кармана блокнот. — Галина Тимофеевна, об этом писать можно? Насчет Дворца Советов? Я имею в виду стальные конструкции...

В стеклах ее пенсне появилось холодное свечение.

— Алексей Николаевич... кажется, так? Мне поручили показать вам Печорск, что я и сделаю охотно. Расскажу обо всем, отвечу на ваши вопросы... Но о чем можно писать и о чем нельзя — пожалуйста, решайте сами. А сейчас прошу в автобус.

Огузов и Черношварц спозаранку уехали на желдорстрой. «Мы будем ковырять индустрию, базис, — объяснил Степан, распорядясь на правах старшего. — А ты покатайся по городу — общий вид, достопримечательности, словом, разводи сиропчик послаще. Смекаешь?»

Алеша вполне смекал.

Автобус, миновав несколько кварталов, свернул на обширную площадь.

— Это наш центр, — сказала Сиротина. — Райком партии, райисполком — теперь все вывески будем менять на «гор»... Здание общее, Дом Советов. А площадь, между прочим, называется Красной, хотя и наивно... Нет-нет, вы не вставайте, мы еще возвратимся сюда.

Алексей, обернувшись, внимательно рассмотрел этот Дом Советов. Был он бревенчатым, как и гостиница. Деревянная колоннада — цельные стволы, ограненные рейкой, — придавала его фасаду вид торжественный, даже внушительный. Широкая лестница ниспадала мерными маршами к немощной земле, поросшей там и сям клочками осенней травки. Этажи Дома Советов вздымались друг над другом уступчатой пирамидой, невысокой, однако подчеркнутой отвесными ребрами деревянных пилонов, и круглая башня с красным флагом венчала его...

Он догадался, что лишь провинциальная застенчивость и стесненность в средствах да еще отсутствие деловой необходимости помешали зодчему этого удивительного строения дерзко кинуть его этажи — той же уступчатой пирамидой — в небеса... И еще он догадался, каким дорогим сердцу и выношенным годами замыслом

подсказано это решение. И еще он догадался, что его спутница и была этим вдохновенным зодчим.

— Новая школа, напротив — Дом культуры... — пояснила Галина Тимофеевна.

Оба здания были тоже деревянными, и он опять порадовался тому, какое многообразие форм способна сотворить немудрящая плотницкая работа.

Автобус, скрежеща всеми швами, едва не разваливаясь на поворотах, петлял по улицам. То и дело вновь и вновь выезжали на берег — открывалась глазам Печора и размытый горизонт за нею — и опять ехали вспять мимо уютных домов с резными балконами, на которых сушилось белье и вялилась рыба.

— Вы строите только из дерева? — спросил Алексей, наострив карандаш.

— Мы не избегаем камня. Наоборот, сейчас заложена целая улица кирпичных домов. Есть и проект перестройки центра. Но кирпича нам дают мало, в войну же не давали совсем. А лес — он у нас под рукой. Я убеждена, что на Севере мы еще долго не откажемся от дерева. В этом есть своя выгода, своя красота, своя польза. А вам не нравится?

— Мне нравится, — сказал он, записывая.

Еще ему очень понравилось, что все эти деревянные улицы и площади были так естественно и так запросто вписаны в лес, теснившийся на печорском берегу. Сейчас этот лес был в осеннем оперенье: кедры стояли в густо-зеленой хвое, сосны в черной, ели в синей, а лиственницы стояли в огне, раскинув языки желтого пламени, готовые сгореть и остаться до весны обгорелыми корявыми остовами. И внизу, в подлеске, красно польхал осинник и дотлевали на кустах, рассыпавшись угольками, гроздья калины.

Сейчас, пасмурным утром, в мелком дождичке, легшем на стекло моросью дрожащих капель, можно было понять, сколь красна цена этой живой и яркой пестроты.

Он записал.

Но куда он записывал, вокруг внезапно посветлело — не тем светом, который радует, а тем, который настораживает, — он поднял голову и увидел, что они едут голым бесприютным пустырем: сверху волглое небо, внизу раскисшая глина — и все.

— Что, уже кончился город? — спросил Алексей. — Но куда мы едем?

— Еще не кончился. Вы видели только половину города. Сейчас увидите другую половину. Через два километра.

В тоне ее была сдержанность, а в линзах опять появилось мерцанье, не предвещающее ничего доброго.

Резиновые щетки ерзали по лобовому стеклу автобуса, пытались разогнать непогоду, но напрасно.

Сквозь серую мглу едва-едва пробилась такие же серые, лишь потемнее, помрачнее мастью, пятна домов, угловатых и грузных, с крохотными оконцами и плоскими крышами. Они тяжело сидели на земле, и тяжесть усугублялась бетонными шарами, попарно украшающими входы, — Алеше эти шары показались настолько странными и даже неприличными, что он опустил их в своих записях. Осведомился деловито:

— Это кирпич?

— Нет, шлакоблоки, — ответила Галина Тимофеевна. — Между прочим, неплохой материал. И тоже доступный, свой — шлак из паровозных топок... Понимаете, здесь все на первый взгляд кажется вполне разумным и целесообразным: материал дешевый, надежная теплоизоляция — для Севера это вопрос не последний, — и окна маленькие, чтобы не выстуживать тепло, правда они и света пропускают мало, а его на Севере тоже не избыток, особенно зимой...

Впрочем, я уже навязываю вам свои оценки. А вы лучше сами скажите: нравится?

— Нет,— признался Алексей.

Ему определенно не нравилось то, что он видел. Шеренги серых строений — все на одно лицо, да и лица какие-то хмурые, замкнутые, унылые. Стены в копоти, в известковых и ржавых потеках. Низкие крыши, будто заголенные под нулевку лбы. И эти шары, словно ядра, что приковывают цепями к ногам узников.

Еще он обратил внимание на то, что нигде не было видно ни дерева (а только что был лес, свободно забредший в город,— ну, пусть наоборот, город, который забрел в лес),— значит, все тут было вырублено подчистую, сведено.

Они въехали на станционную площадь, которую он сразу узнал, хотя они и прибыли сюда поздней ночью.

— Выйдем,— предложила Сиротина.

Алексей был рад немного размяться. Под ногами захрустел мелкий шлак, присыпавший лужи, глину,— это было даже приятно. Но уже через минуту он ощутил скрип на зубах, почувствовал на языке сладковатый зольный вкус, веки задергались от рези — воздух был полон угольной пыли, и даже дождь, казалось, был пропитан ею.

Совсем близко, отдуваясь, пытели паровозы, лязгала сцепка, вагоны наперебой подталкивали друг друга, слышалась переключка рупоров и гундосое пенье рожков на путях.

Он подумал, что Степан Огузов и Яша Черношварц наверняка гужуются где-то рядом: беседуют, фотографируют, ковыряют базис. Можно было разыскать их без особого труда. Но зачем?.. У них свое задание, своя работа.

Вообще здесь, на станции, Алексей Рыжов поймал себя на двойственном чувстве. Душа его встрепенулась от заполошной и суетной радости, которая неизменно приходит к человеку на вокзалах пополам с грустью. Он мог бы вот сейчас же, не откладывая, учтиво проститься с районным, то бишь городским, архитектором Галиной Тимофеевной Сиротиной — «...мне было очень приятно... но, знаете ли, некоторые обстоятельства...»,— купить билет в кассе, вскочить в последний момент на подножку вагона, ту-ту, и уехать ко всем чертям, в Москву или Ленинград, оставив всех в дураках, ха-ха, счастливо оставаться, не поминайте лихом...

Призывный гудок паровоза донесся из-за станционной крыши.

Однако им владело и противоположное чувство: ему хотелось как можно быстрее убраться отсюда, от вокзальной суеты, с этой чадной, лязгающей, скрипучей, замызанной, скучной станции, вернуться туда, к Печоре, к бревенчатым теремам на крутом откосе, где тихо, где воздух упоительно свеж, где стоят прямо на улицах лиственницы в рыжих лисьих шубах, где гроздья ягод свисают с кустов, уехать туда, тем более что дотуда всего лишь полчаса езды.

— Даже не верится, что это один город,— сказал он.— Все такое разное.

— Да, теперь это один город,— подтвердила Галина Тимофеевна.— Город сложился из двух поселков. Там — пароходство, затон, районные учреждения. Здесь — желдорстрой, сама железная дорога, ее службы. Совсем другое ведомство... Мы просто жили рядом, соседи. А потом половинка к половинке — вот и город, вот и целое. А целого, как видите, нет.

— Что же дальше?

— Не знаю. У них своя проектная контора — строят как хотят, нас не спрашивают. Да спроси они нас — неужели мы разрешили бы строить здесь, на вокзальной площади, эти шлакоблочные бараки? Ни в коем случае... Потому и не спрашивают.

Алексей вхолостую водил карандашом по страничке блокнота, уже обрызганной мелкими каплями. Он понимал, что это интересно и

важно — то, о чем она говорит. Но в то же время он отдавал себе отчет, что это никак не годится для праздничной полосы, посвященной рождению нового города, не годится для его будущей статьи, — нет, это не сласть, наоборот... Он сдул капли, прикрыл обложечку, чтоб не отсырело остальное.

И, по-видимому, Сиротина уловила его колебания, вспомнила, что служебный долг повелевает ей быть объективной, беспристрастной, не так явно обнаруживать свою неприязнь, свое отчуждение. Тронув зажим пенсне на переносице, она заговорила торопливо и даже слегка виноватясь:

— Но учтите, Алексей Николаевич, что порознь мы никак не тянули на город, нет... ни по населению, ни по хозяйству, ни по культуре. Отдельно — никак... А в сложении, в сумме — восемнадцать тысяч населения, несколько заводов, транспорт, две электростанции — у нас их две. Впрочем, у нас всего по паре: две больницы — районная и ведомственная, два Дома культуры — железнодорожников и наш...

Он еще раз бросил взгляд на бетонные шары, попарно украшающие подъезды, и на всякий случай засек это в памяти.

— Четыре школы, шесть детских садов — замечаете, все четное? Плюс да плюс — подавно плюс, если даже имеются некоторые минусы... Вот вам и город!

Галина Тимофеевна впервые с момента их встречи сделала попытку улыбнуться — потянула впальными щеками уголки губ, — но улыбка вышла откровенно натянутой и жалкой. Чтобы скрыть неловкость, она круто повернулась, пошла к автобусу.

Они вновь затряслись в колдобинах и вскоре опять выехали на ничейный пустырь, разграничивающий два поселка и заодно отделявший небо от земли.

— Но что будет, когда... — Алексея вдруг осенила неожиданная мысль. — Когда оба поселка дотянутся друг до друга — и сойдутся вот здесь? Наверное, это будет очень заметным контрастом, поскольку они такие разные: ведь на расстоянии меньше бросается в глаза, а когда они станут вплитык, когда сольются...

— Видите ли, это учли в проектной конторе ведомства, — перебила его Сиротина. — Поэтому они развивают строительство в противоположную сторону, на северо-восток. Да и мы, по правде говоря, стараемся избежать этой встречи: мы развиваемся на юго-восток, вдоль берега Печоры...

— А-а, — протянул Алеша и далее уже ехал молча, наблюдая в окошко, как хлещут косые струи дождя по глине, размывая ее в кисель.

За ним была и другая тема, но та полегче: написать о самом юном гражданине Печорска, который появился на белый свет в тот день, когда вышел указ и Печорск стал городом.

В родительном доме, полистав книги, сообщили, что тогда родились три девочки и один мальчик. Он выбрал мальчика, но не потому, что сам родился мальчиком, и даже не потому, что слово «гражданин» звучало весомей, чем «гражданка». Нет, он просто навел справки о родителях, и этот вариант подошел более всех остальных: отец — военнослужащий, сержант Григорий Костенко, мать — Алевтина, рабочая молокозавода, он приезжий, она здешняя, молодые, недавно получили квартиру в новом доме.

С того дня минуло две недели, роженицу и младенца давно уж благополучно выписали, — воскресным утром Алексей отправился домой к Костенкам.

В квартире, сладко пахнувшей клеевой краской стен и свежей охрой полов, был вполне извинительный ералаш новоселья — ни мать, ни сестра, — лишь самый юный гражданин Печорска вполне

устроено и важно спал в деревянной зыбке, туго спеленатый, почмокивая губами, со всдухшими веками на багровом личике, некрасивый еще.

— Как звать? — справился гость, согнувшись над зыбкой.

— Васькой, — сказал отец, — Василий Григорьевич.

Алексей записал именно так в расчете на читательское умиление: «Василий Григорьевич».

Хозяйка все же нашла им место для беседы — поставила рядом две табуретки, третью не принесла, но и уходить не спешила, не оставляла их вдвоем, чтоб быть уверенной, что все тут скажется как надо, ничего не забудется и лишнего не сболтнется.

Алексей углядел мельком, что ноги ее, пожалуй, чересчур основательны в икрах и руки слишком крупны, однако лицо было моложе рук и ног, сама бяляночка.

Что же касается отца, то он был сильно смугл, цыганисто черноволос и черноок, что не редкость среди украинцев, а грудь в распахнутом вороте рубахи была под самый кадык украшена богатой и содержательной татуировкой.

Оглянувшись на зыбку, он понял, что сейчас еще трудно сказать, на кого из них больше похож мальчик Вася: кожа у него еще не отбелилась, а глазки закрыты, — но это, в сущности, было и не столь важно для статьи.

— Вы сержант, — сказал Алексей, отправляясь от того, что взял на карандаш еще накануне. — Давно ли служите? Род войск?

— С сорокового. В охране.

— Это теперь, — кивнул Алеша, — а до этого? Были на фронте?

— Нет, я с сорокового тут в охране. Как призвали — с этих пор. Сверхсрочно в кадрах.

— Вот как, — Алексей не сумел подавить разочарования.

И это не укрылось от бдительной жены Алевтины.

— Гри-иша, что же ты на человека скуку наводишь? Расскажи ему. Он же на работе. Ты расскажи ему, как двадцать фашистов взял в плен, ну! У тебя же за это награда — часы...

— Двадцать фашистов? — переспросил оторопело гость.

— Семнадцать, — уточнил, коротко вздохнув, Григорий Костенко.

— А говорите — не были на фронте.

— Да не был я. Всю войну тут в охране... Мы фашистов этих у Верхнего Ныра взяли, отсюда девять километров, в лесу.

Алексей моргал, ничего не понимая. Верней, он понимал лишь одно: что не должен так явно обнаруживать перед ними всю меру своего обалдения. Или они разыгрывают его? Непохоже...

— Но как они здесь очутились?

— Десант. С двух самолетов на парашютах... оружие, боеприпасы, рацию тоже на парашютах. Мы потом нашли, подобрали все.

— Они мост хотели взорвать через Печору! — пылко вмешалась Алевтина. — Что б тогда? Представляете? Ни уголь вывезти, ни нефть, ни еще что — как отсекали бы...

— Могли взорвать, — подтвердил муж. — Взрывчатку мы тоже нашли потом.

Алексей промерил в уме расстояние от Берлина досюда. Потом изломал эту прямую на отрезки, на колена: от Берлина до Москвы, от Москвы до Города-на-Реке, а потом еще дальний бросок на север... Но тут же сделал поправку на то, что летели они необязательно из самого Берлина и уж заведомо не через Москву, и вовсе ни к чему им было отмечаться в Городе-на-Реке. И еще нужно было сделать поправку на время, когда это произошло: ведь в разные поры войны расстояние от Берлина до Москвы то сокращалось до предела, то растягивалось безмерно, а потом сокращалось снова.

— Когда это было?

— В сорок третьем году. — Григорий Костенко поднял глаза к

бровям, а бровями собрал лоб в морщины, припоминая.— Пятого июня... нет, шестого. С пятого на шестое, ночью. Ночи-то белые стояли, все как днем...

— Как же их никто не заметил? Через всю Россию летели!

— Нет, они с другой стороны. Из Норвегии через Баренцево море, потом над Печорой, по ниточке, чтоб не сбиться.

Алексей мысленно переиначил ранее вычерченный им маршрут, но и это было невероятно далеко.

Знакомо пошло головокружение, отозвавшись в ушах тихим звоном.

— Над Печорой. Белые ночи...— повторил он.— И никто не заметил?

— А когда б и заметили,— пожал плечами сержант.— Тут что было? Ничего и не было. Ни одной зенитки, ни одного истребителя, ни затемнения, ни слуху, ни духу — летай хоть сколько, высаживай хоть кого... Тут всю войну открыто было. Одни мы при винтовках... Никто и не ждал. Конечно, воспользовались они.

— Гри-иша, да ты расскажи товарищу, как двадцать фашистов взял! — опять взмолилась Алевтина.

— А что их брать-то было? Офицера своего они сами уколошили да к нам вышли — руки вверх.

Алексей спохватился: блокнот лежал у него на коленях, он ничего не записывал, ошарашенный неожиданностью, он уже, черт побери, пропустил весь этот сказ, как недавно упустил из рук неповторимую легенду на неизвестном языке старухи Окси.

— Извиняте, сначала...— попросил он.— Сколько всего было немцев?

— Немцев? — Григорий Костенко опять нагнал на лоб морщины.— Ни одного.

— То есть как?

— Немцев среди них ни одного не было. Все русские.

Карандаш Алексея споткнулся и замер.

— Ну, конечно, не только русские,— поправился сержант.— Еще хохлы были. Татарин был. Один хомяк — здешний, с Печоры, за проводника... Даже ихний офицер, которого они кокнули, и тот русский: еще с Колчака фашист, давно... Он их и набирал в десант, кого за радиста, кого за взрывника...

— Власовцы?

Хозяин долго не отвечал на этот вопрос, сидел, обхватив колени руками, размышляя. И было похоже, что он уже не однажды задавал этот вопрос самому себе.

— Так если б власовцы, разве б они сами вышли? Нет, те отчаянные. А эти первым делом офицера — хлоп. И пошли сдаваться. Проводник, хомяк, их напрямиком на пост вывел — на нас...

— Вот товарищ и подумает, Гриша, что вы тут ни при чем! — возмутилась жена Алевтина.— А те двое, которых вы убили?

— Те двое... те двое хотели в лес уйти. Отстреливались даже. Но мы их достали... Те двое не иначе были власовцы. Из кулачья, наверное. А этих просто по лагерям нахватили, из пленяг. Они еще там, в Норвегии, между собой стговорились...

— Вы напишите про это, интересно будет почитать,— подсказала Алевтина.— И чтоб Грише моему — почет, а не одни часы. Вон и у вас, гляжу, часы. Их ведь купить можно.

Алексей оторвал склоненное лицо от блокнота.

— Разве об этом еще не писали?

— Нет, вы первым будете,— порадовалась она за него.— Вот вам какая удача!

— Да, конечно...

Только сейчас Алексей сообразил, что ведет свои расспросы однобоко: все об отце, о муже, а к его жене, молодой матери, не про-

явил достаточного внимания. Перелистнул страничку, пошел по новой.

— Алевтина Ивановна, давайте о вас. Итак, вы работаете на молокозаводе?

— Да. Только я не работаю сейчас — в декрете.

— Ну, это понятно. А кем вы работаете?

— На сепараторе... Ой, да что вам за интерес? — хохотнула молодая жена. — Кому это надо?

— Надо, — подчеркнул Алексей. — Расскажите подробней.

Он уже понимал, что десант сорок третьего года и связанные с ним подвиги сержанта Костенко могут оказаться совершенно ни к чему на праздничной полосе, посвященной рождению молодого города, — теперь он спасал тему.

Уходя и прощаясь, снова заглянул в деревянную зыбку.

Мальчик Вася, самый юный гражданин Печорска, оказывается, уже проснулся, но никого не оповещал об этом, не подымал крика, а смирно и тихо лежал в деревянной зыбке, даже улыбаясь чему-то. Глазки у него были не черные, как у отца, и не серые, как у матери, а лиловато-синие, не отстоявшиеся в цвете, потусторонние еще.

— Агу-гусиньки, — сказал ему Алексей Рыжов.

Он вдруг подумал, что и ему хотелось бы иметь когда-нибудь вот такого не сильно крикливого младенчика в зыбке, и теплую жену, больше всего озабоченную тем, чтоб не обидели и не обошли ее мужа, и такую вот уютную квартиру с чистыми стенами и свежеевыкрашенным полом, и чтоб вот так же сосны в окне.

Всю неделю они работали врозь, разъезжались по делам ранним утром, съезжались в гостиницу поздним вечером, выдались урывками, мельком, в спешке, и только нынешний воскресный вечер выпал свободным и спокойным, они сидели в номере вдвоем, Алексей Рыжов и Степан Огузов. А Яши не было, где-то носился, то ли недоснял чего и теперь торопился доснять, то ли встретил в Печорске знакомых — они у него были повсюду, — то ли бабничал напропалую: они, фотографы, мастера на сей счет.

— Затон мы сделали... леспромхоз мы сделали... депо... — Степан шел по списку, вычеркивая одно за другим. — Город... роддом... Как у тебя с этим?

— Порядок. — Алексей похлопал себя по карману, где лежал блокнот, вспухший от карандашных записей.

— Завтра к десяти приглашает Чупров, первый секретарь райкома. Будем аминь вершить. Так что если у тебя остались вопросы...

Степан устремил пристальный взгляд на кончик своего носа.

— Ясно, — кивнул Алексей.

Он уже заметил, что Огузов слегка косит, и когда глаза его сходятся на кончике носа, то это значит, что он смотрит на собеседника, на тебя. Алексей улавливал этот взгляд довольно часто и отдавал себе отчет, что Степан Огузов присматривается к нему — так было и при первой встрече в редакции, и в дороге, и уже здесь, — он понял, что Степан Игнатович не принадлежит к числу людей излишне доверчивых, что он будет долго и пытливо вот так рассматривать кончик собственного носа, прежде чем решит, кто ты есть и как с тобою быть.

Впрочем, и сам Алеша ревниво приглядывался к Степану, поскольку знал за собой некоторые преимущества: ведь он раньше него приехал в Город-на-Реке и раньше начал работать в «Северной звезде», его статьи уже кое-кто читал, кое-кто и нахваливал, — а Степану Огузову еще только предстояло показать, на что он способен, чем может блеснуть — или ничем не может, — для него эта командировка была первым служебным испытанием, проверкой сил, даже пробой пера. Еще посмотрим.

Но вместе с тем Алексею хватало здравости понять, что для Степана Огузова все эти испытания и проверки сил — тьфу, ничто, пустяк, потому что он уже прошел через все испытания, имел случай проверить свою силу, проверил, знал ее за собой и нисколько в ней не сомневался. Все это прочитывалось по одному лишь его виду.

На нем был офицерский китель с высоким стоячим воротником, на котором особенно бросалось в глаза отсутствие погон — будто плечи нагие, так очевидно и явно их не хватало, тем более что сами плечи были широки в развороте, прямо созданы для погон, а их уже не было, даже петельки спороты, остались одни лишь дырочки у ворота — для завязки.

Зато на груди у него было не голо. Справа две звезды, лучик к лучику, и слева две звезды на оранжево-черных лентах, еще медали — иконостас.

Степан Огузов был росл, голова светлокудрая, вот только глаза слегка косили и нос был длинноват, в каких-то хрящах, так ведь это еще вопрос, плохо это или хорошо.

— Взяли мы порядочно, — сказал он, захлопывая свой блокнот, — на полосу хватит, еще останется.

— Что останется — не пропадет, — успокоил Алексей. — Газета — зверь прожорливый.

— Это верно, — согласился Степан. — Эх, самим бы чего пожрать, сходить в столовую... Может, пойдем без Якова? На кой он нам?

Но без Якова не обошлось. И, как всегда, оказалось, что он человек незаменимо нужный.

Яша Черношварц ввалился в номер со своим тяжеленным кофром на ремне, с камерой, болтающейся на шее, а обе руки были оттянуты грузными пакетами.

— Держите гостинцы, славяне, — сказал он, выметнув поклажу на стол. — Ну-ка разбирайтесь, что там есть. На станции в буфете у меня человек знакомый, вынес вот так, в закрытом виде, а что — не знаю...

Степан Огузов молчаливо и многозначительно посмотрел на кончик собственного носа, но Алеша угадал, что смотрит он опять на него, давая понять, что ничего иного от Якова и от его знакомых ждать нельзя.

— За ради праздника, — пояснил Яша. — Пошуруйте, что там есть.

Чего там только не было! Бутылка настоящей водки, палка вареной колбасы, щекотнувшая ноздри чесночным духом, добрый пласт сала в темных мясных прожилках, банка крабов, советских, со звездой, но наклейка на английском, банка маринованных огурцов, яйца вкрутую и буханка хлеба, теплого еще.

— А какой праздник? — спросил Алексей, с усилием отрывая взгляд от этих давно не виданных яств, слатывая слюнки.

— Еврейская пасха, — объяснил Степан, подмигнув.

— Ха-ха-ха... — мгновенно оценил шутку Яков, но все же уточнил: — Еврейская пасха бывает весной, перед русской за неделю. А сегодня другой праздник. Вот вы тут сидите, темные люди, скучаете, не знаете ничего — хоть бы радио включили.

Он подбежал к репродуктору, повернул колесико. Музыка духовых оркестров, пытающихся переиграть друг друга — кто громче, вразнобой, — ворвалась в комнату. Но даже эта музыка не могла заглушить уличной веселой разноголосицы, аплодисментов, кликов, того молодого и бодрого голоса, по которому сразу узнавалась столица.

— Знаем, как не знать — восьмисотлетие Москвы, — сказал Степан. — Только ты чего радуешься? Разве ты москвич?

— Нет, я с-под Николаева,— признался Яша, возвращаясь к столу.— Но все равно — Москва, она для всех... Наливайте, ребята.

— Я тоже не московский, вятский,— продолжил рассудительно Степан, сколупывая сургучную печать.— И ты, Леха, не оттуда.

— Я из Питера, точнее — Кронштадт. Но ведь сюда я приехал из Москвы, — возразил Алексей.

— Ты сюда приехал из дыры,— Огузов налил ему в стакан.— Из Дыры-на-Реке. Все мы из одной дыры.

— Ха-ха-ха...— опять свел на шутку эту речь Яша.— А все-таки давайте — за Москву! Восемьсот лет стоит, и пускай она стоит дальше и чтоб все так стояло, как она стоит. Ура! — тихо крикнул он.

Они выпили. Степан и Яша с жадностью набросились на съестное, не споря более.

В репродукторе тем временем шум тоже унялся и голос диктора вещал:

— ...на Советской площади против здания Моссовета заложен памятник Юрию Долгорукому, основателю города Москвы. Сегодня же в восьми пунктах столицы состоялась торжественная закладка высотных зданий. Самое большое из них, тридцатидвухэтажное новое здание Московского университета, будет сооружено на Ленинских горах, у живописной излучины Москвы-реки...

— Ого! — опять воскликнул Яша Черношварц.— Вот бы тебе, Алеша, там поучиться на самом тридцать втором... Далеко, наверное, видно, а?

— Так ведь он не в университете,— небрежно заметил Степан.— Он в Библиотечном, где-нигде...

— Но ведь мог бы! — настаивал Яша, разливая по второй.

Однако у Алексея и первая застряла в горле, поперек души.

Он только сейчас со всей очевидностью понял, что с ним стряслось, что произошло. Да, Яша Черношварц был прав: он мог бы. Ведь прояви он год назад больше отваги и напористости, не спасуй перед риском плотного конкурса — он мог бы поступить в Московский университет, и тогда бы именно для него, для студента Алексея Рыжова, сегодня в Москве на Ленинских горах заложили тридцатидвухэтажное, небывалое на свете здание... Впрочем, если его заложили только сегодня, то когда еще построят? Года через три, через четыре? Но к этому времени он уже мог бы и окончить университет и ему все равно не пришлось бы сидеть и слушать лекции на тридцать втором этаже, нет. Однако теперь он перешел на заочное, стало быть, придется учиться на год больше, и он вполне мог бы успеть, прихватить самый краешек, самый кончик на тридцать втором... Где? Чего? Ведь он учится не в университете, а где-нигде, как сказал только что Степан Огузов. Так что все складывалось для него одинаково обидно и плохо,— все равно.

— ...высотные здания были заложены также на площади Восстания, на Смоленской площади, по соседству с Кремлем — в Зарядье и ниже по течению Москвы-реки — на Котельнической набережной, напротив станции метро «Красные ворота», рядом с Комсомольской площадью и на территории мраморного завода Метростроя в Дорогомилове, где пройдет будущая магистраль столицы — Новый Арбат. Повсюду состоялись многолюдные митинги...

Нет, не все равно. Его злосчастье не исчерпывалось тем, что он поступил учиться не туда, куда надо. С ним случилось и гораздо худшее: он не вернулся с практики в свой институт, в столицу, а застрял здесь, в дыре. Он мог бы сегодня быть там, в Москве, среди москвичей, и праздновать вместе с ними, бродить по нарядным улицам, орать, как все орут, размахивать руками, слушать музыку духовых оркестров и танцевать вальс на Манежной площади с какой-нибудь выхваченной из толпы дурочкой, он мог бы, мог бы, он все мог бы! — а вместо этого он сидит в номере этой заху-

далой гостиницы, в беспросветной глуши, сидит и в тоске пьет горькую водку.

— Поехали дальше,— сказал Яков Черношварц, наливая.

Господи, куда же он заехал, куда его занесло?.. Там, в Москве, закладывают высотные здания по тридцать этажей, а он тут шастает в непролазной грязи да черкает в блокнотике про всякие жалкие деревянные и шлакоблочные бараки, собирается воспевать этот нелепый город, состоящий из двух половин, которые не желают знать друг дружку и расползаются в разные стороны... кошмар какой-то.

А в репродукторе опять играла музыка и уже другой голос захлебывался от восторга:

— ...в разгаре народное гулянье. Под открытым небом артисты московских театров дают концерты. По Цветному бульвару движется необычное шествие, впереди слон в нарядной сбруе и с плюмажами— это участвует в празднике знаменитый Уголок зверей Дурова...

— Ты что приуныл, Алеша?— участливо наклонился Яков.— Ничего не ешь, не закусываешь... я уже заметил, что ты никогда не закусываешь, а это очень вредно, ты обязательно закусывай... на вот сальца пожуй, гляди, какое пышное сало...

Он отпил толстый кусок, шлепнул его на хлеб, сунул прямо в зубы Алексею, принажал даже.

— Ешь, ешь... У нас до войны, если люди хорошо жили, про них так говорили: богато живут, сало с салом едят... Понимаешь? Сало с салом.

Алексей с усилием задвигал челюстями.

— А ты даже здесь добыть сумел,— язвительно заметил Степан Огузов.

Глаза его закосели больше обычного, сойдясь на кончике носа.

— Ну добыл,— согласился Яша, вполне очевидно теряя остатки терпения.— А разве ты не жрал?

— Я-то жрал, мне что. А вот тебе вроде бы и не положено. По вере.

— Что?? — заорал Яков, ухватив за горло пустую водочную бутылку.— Вот я сейчас этой посудой махну — и сам пойду в милицию, возьму свой срок, тут близко. Но сперва — махну!

Алексей смотрел на них, разинув рот с недожеванным.

— Зачем?..— ошалело пробормотал он.

Он ничего не мог понять. Он прежде всего не мог понять: как же это они, Степан да Яков, всю неделю работали вместе с утра до вечера, мотались, гужевались, фотографировали, расспрашивали, и все на людях, все с людьми, и похоже, что совместные свои дела они отменно сделали, ведь только что их, эти дела, строку за строкой, повычеркивал в своем блокноте Степан Огузов,— как же они это делали, избегая ссоры? Или сам непроворот этих дел помешал им сцепиться раньше? Или же им нужен был только повод, чтобы вырвалось наружу затаенное, зажатое?

— Зачем? — переспросил Алексей и заплакал, уронив голову на сведенные руки.— Зачем?..

— Ладно, не расстраивайся.— Яша Черношварц погладил его, как маленького, по голове.— Это мы так, пошутили. Дяди шутят. Степан, ты объясни ему, что мы шутим.

— Мы шутим,— объяснил Степан.

— Идите вы оба!..— вскинул лицо Алексей, слизывая с губ горькие и пахнущие водкой слезы.— Думаете, я из-за вас? На кой вы мне сдались...

Он, конечно же, плакал вовсе не из-за них, а из-за себя. Потому что его занесло черт знает куда, куда-никуда, черт знает за чем. Зачем?.. Ну зачем?

Репродуктор исходил ликующей музыкой.

— Праздник там...

— Слона водили? — трезво и насмешливо спросил Степан Огузов.

— При чем здесь слон? Там праздник, а здесь...

— Ну и что? — Яша Черношварц снова ласково погладил его по голове. — Ты, Леша, молодой. Сколько еще будет праздников! Успеешь.

— Через сто лет? Ведь следующий раз — через сто лет.

— Ну и что?

— Я не доживу, наверное... — горестно покачал головой Алеша. — Пропустил. Я уже все на свете пропустил, а теперь еще и это. Черный бумажный конус репродуктора затрещал, будто его разрывали на части, даже дрогнул на стене.

— Вот, салют... — сказал он. — Там — салют.

— Салют?

Яша, вдруг оживясь, встал с места, поднял за подмышки Алексея, потащил его к окну.

— Вот смотри... там салют и здесь салют... в честь Москвы. Видишь?

В проеме окна было ночное небо, чистое и холодное: еще утром с него, дымно курясь, уползли на юг дождевые тучи. И сейчас в нем обозначились звезды. Но они были слабы, их свет тускнел и терялся в разбегах другого света, широко и вольготно гуляющего по небу. Красноватые лучи, рождаясь над чертой горизонта, взмывали ввысь, накатывали, делаясь все плотней и ярче, но где-то у макушки небосвода замирали, пульсируя, теряя силу, остывая, исчезая... но на смену им, исчезнувшим, являлись новые раскаты света, лучшая и множась, дробясь, истаивая, кончаясь, возникая, набегая вновь и вновь...

— Что это? — спросил Алексей, когда к нему, онемевшему при виде этого зрелища, вернулась речь.

— Северное сияние, — гордо ответил Яша. — Это специально для тебя, чтоб ты не расстраивался, чуешь?

— Нет, правда...

— Правда. Северное сияние.

— Но ведь оно бывает зимой... сейчас его не может быть.

— Все может быть. Раз есть — значит, может... Значит, скоро зима.

Все было достаточно ясно, никаких вопросов у него не было. Но Иван Михайлович Чупров, первый секретарь Печорского райкома партии, разговаривал с ними настолько открыто, даже немного брагурия тем, что не желает разводить дипломатию — вот вам все как на ладошке, — что Алексей не удержался:

— Как вы представляете себе будущее Печорска, если учесть, что ведомство строит свой поселок наособицу, хочет закрепить границу в черте города?

— Сиротина? — быстро вскинул на него взгляд Чупров. — У нее, знаете ли, есть и личный счет к этому ведомству...

— Нет, почему же, — заторопился Алексей, испугавшись, что так быстро разгадан, что своей неосторожностью подвел хорошего человека. — Ведь и так видно, невооруженным глазом.

— Невооруженным глазом всего не увидишь, — усмехнулся Чупров. — А вы не смущайтесь: мы Галину Тимофеевну ценим, поддерживаем. И Сиротина никогда ничего не скажет, что выходило бы за пределы ее служебных обязанностей, за рамки архитектуры, — она женщина интеллигентная, ученая... Но сама эта проблема гораздо сложнее, чем где какие дома ставить. — Скулы на его лице обозначились жестче. — Это вопрос об отношении к советской влас-

ти. Петр Никитич, ты председатель райисполкома, скажи честно: как к вам относятся наши соседи? Признают?

Сидевший напротив Алексея за длинным и узким столом Лебедев, уже в годах и сединах, подумав, ответил:

— Признают. На словах.

— А на деле?

— На деле не признают... Зачем мы им? Они богатые, а мы бедные.

— Во-от...— протянул Чупров.— Все дело, конечно, в этом. У них практически неограниченные возможности и средства — большими миллионами ворочают,— а мы сидим на скудном районном бюджете. Причем разница эта не только в производственных фондах, капиталовложениях, прибылях, но и в самом обычном, житейском, что, как говорится, в карман кладешь: зарплата... У них, в ведомстве, ставки высокие, северные надбавки, притом солидные, вплоть до ста процентов, выслуга, да еще премии, да еще всякие там полевые, колесные... а у нас люди получают такую же зарплату, как где-нибудь в Рязани или Пензе, ни копейки сверх. Причем заметьте: если человек местный нанимается в это ведомство, ему все равно не дают никаких северных надбавок, извиняюсь, ни хрена: ты здесь, на Севере, родился — значит, тебе и так тепло, светло, сытно и комары тебя не кусают. Значит, тебе и Север не Север. А приезжает человек откуда-нибудь из других краев, ему пожалуйста — все пряники... За одинаковую работу, бывает, разница в оплате вдвое, а то и втрое. Скажу откровенно: пока еще карточная система, это как-то уравнивает людей, но ведь ясно: скоро отменят карточки, рубль станет полноправным рублем — что тогда?.. Богатые и бедные, как выразился Петр Никитич?.. Но люди наши от этих понятий давно отвыкли — на то и революция была тридцать лет назад... Нет, мы не за уравниловку, а за равенство: для этого социализм, для этого советская власть. Как же иначе?.. Я знаю, что и в других местах это бывает, местные Советы ходят на поклон к богатым дядюшкам, крупным хозяйственникам: подкиньте, подсобите... И подкидывают им, подсобляют, оказывают милость, известное дело... Но нигде — учтите, нигде! — нет такого явного и грубого, чуть ли не узаконенного двоевластия, как у нас. Вот я сказал — узаконенного. А где такой закон? Не видали, нету его и не может быть... Потому и мириться с этим нельзя, потому и говорим об этом вслух, громко, да не в семейном кругу, а здесь...

Все-таки к концу своей речи Иван Михайлович задохнулся: то ли речь была долга, то ли не совладал с волнением.

— А с райкомом партии считаются? — спросил Степан Огузов.

— Тоже не шибко. У них свой политотдел, на правах райкома. Своя газета. Свои конференции, активы — иногда приглашают ради вежливости, даже в президиум сажают. А влиять — нет, не дают, и сунуться не смей.

— Ну так это на районном уровне,— подал голос Яша Черношварц, хотя ему, казалось бы, можно было и помолчать, тут ведь ничего снимать не требовалось.— А теперь — город. Будет горком партии, горсовет... Это как — возымеет?

Чупров покосился на Лебедева, и можно было догадаться, что этот вопрос в последнее время изрядно занимал их самих.

— Должно возыметь.— Петр Никитич оживился.— Вот скоро выборы в местные Советы, уже готовим списки избирателей... Тут они, соседи наши, сразу конституцию вспомнят, и не только о своем праве избирать, но и о праве быть избранными... депутат горсовета — это уже звучит! Непременно вспомнят, прибегут: вы уж нас, товарищи, не обойдите, не забудьте, мы советскую власть признаем, всей душой любим, просто некогда было!..

Все в кабинете рассмеялись, представив себе, как это будет: уж

очень наглядно изобразил сценку председатель райисполкома. Но тотчас посерьезнели. И больше всех посерьезнел Иван Михайлович Чупров, подвел итог:

— В принципе делить власть ни с кем не собираемся! На том стоим твердо, поддержку чувствуем, ход жизни, сколь можем, предугадываем... Конечно, тут еще во многом сказывается война, ее особые обстоятельства. Вот мы говорим — жертвы, потери наши неисчислимы, имея в виду, сколько людей мы в этой войне потеряли, какой материальный урон понесла страна, сколько надо восстанавливать... Но есть еще и другие потери, другой урон — тоже в войну, — и для правильной, нормальной жизни многое тоже придется восстанавливать не без труда... Вот так.

Говоря о войне, он смотрел на Степана Огузова — лично на него. Может быть, потому, что и сам был в таком же военном кителе с высоким воротником и дырочками от погон, как у Степана, и на груди, над клапаном кармана, у него тоже было не пусто: пестрели ряды орденовских ленточек, начинаясь темно-красными, как запекшаяся кровь, по которым стекали полосы свежей крови. А может быть, он смотрел на Степана потому, что именно он был старшим в группе газетчиков, приехавших делать полосу о новом городе Печорске, а все уже сказано-пересказано, пора кончать беседу, ведь и кроме этого полно забот.

Они догнали откочевавший к югу дождь в Спас-Погосте.

Тут он лил отвесно, без припуска, без затишья — самый безнадежный дождь, — и было видно, что льет он уже несколько дней кряду, земля расквасилась, поползла, поплыла.

Покуда бежали через пути к станционной площади, вымокли до нитки, на подошвы набрали по пуду грязи, с тем и влезли в редакционную «Победу», которая согласно уговору уже ждала их.

— Сырая дорога, долго будем ехать, — предупредил Егор. — Сюда четыре часа ехал, а ведь сто километров всего... Поехали?

— Давай, — распорядился Степан Огузов, блаженно откидываясь к мягкой спинке рядом с шофером.

Алексей и Яша разместились позади, между ними лег кофр с дорожной аппаратурой.

— В городе тоже льет? — спросил Яков.

— Без передыху, взад-вперед, — сокрушенно покачал головой Егор.

С трудом вырулил из уличной непролазной колеи на такое же хлипкое, но повыше чуть грунтовое шоссе.

— Всю неделю льет, с того дня, как Федора Макаровича хоронили, — вспомнив, уточнил он. — Еле гроб несли, скользко, а на кладбище поскользнуться — плохая примета...

— Что, умер Коюшев? — подался вперед Алексей.

— Умер, после операции на третий день. Уже, говорят, поздно было.

— А я звонил в редакцию, мне ничего не сказали, — пожал плечами Степан.

— Но ведь ты не был с ним знаком, — объяснил Алеша, — потому и не сказали.

Сам он не был потрясен этой вестью, так как еще тогда, при встрече в редакторском кабинете, догадался, что дни Коюшева сочтены.

Его удивило другое: что вот по сравнению со Степаном Огузовым он уже сделался старожилом Города-на-Реке, у которого тут свой счет обретения и свой счет потерь. Ну, положим, обретения были вполне естественны и не больно велики: человеку свойственно искать прибýtка и добра, ведь не за худом отправляются в чуждые края. Но едва ты начнешь загибать пальцы одной руки,

подсчитывая обретения, как на другой руке пальцы сами собой зашевелились, исчисляя потери. Впрочем, что касается его, Алексея Рыжова, то он ехал сюда не за тем и не за другим — он сюда заехал совершенно случайно, — а вот и для него заведен счет добру и худу.

— Народу провожать собралось мно-ого, хоть и дождь, — рассказывал Егор. — Венков, венков... Он ведь раньше и главным редактором был в «Северной звезде».

— Да, — подтвердил Яков, — до тридцать шестого. С тех пор никого не осталось. Вась-Вась приехал позже... Нет, один таки остался. Знаете кто? — Яша Черношварц расцвел торжествующей улыбкой. — Зыков, литправщик, который глухонемой. На все — «мбу, мбу», не вякал лишнего... Так что не вякайте, хлопцы!

— И ты тоже, — обернувшись, посоветовал хмуро Степан.

Машина ехала по жидкой дороге, виляя задом — то одно колесо, то другое на миг пробуксовывало в слизи, однако Егор столь же мгновенно отзывался на эти заносы поворотом руля, выправляя ход.

Сейчас дорога углубилась в еловый лес, зачерневший от дождя: хвойные кроны отяжелели, набрякли, с них падала вода, которой уже не за что было удержаться — обременительная, лишняя, она рушилась наземь, но и тут ее было в избытке, земля не принимала, не впитывала влагу, из нее самой перло, и вода разливалась стоячими лужами вокруг стволов, пузырясь и морщась от падающей в нее все новой и новой воды.

Когда ельник редел, за ним просматривалась серая полоса Вычегды — ее изгибы повторял либо срезал напрямую тракт. Река тоже взбухла от многоводья, и если дорога приподымалась насыпью над общим уровнем наводненной земли, то река — так казалось — тоже была приподнята над землей, над берегом, и вот-вот она дохлынет сюда и зальет.

Алексей порылся в кармане, достал папиросу, прикурил.

— А мне? — жалобно спросил Егор, поймав его взгляд в зеркале заднего вида.

Он полез за всей пачкой, но Степан недовольно повел носом, сказал:

— Вы хоть по очереди, не сразу... я бросил после фронта, дыму не терплю.

Алеша, затянувшись еще разок, перегнулся и воткнул дымящуюся «беломорину» в рот шоферу.

— Сколько едем, а навстречу ни одной машины, — по-прежнему ворчливо заметил Степан. — Пусто.

— Пусто, — отозвался Егор. — Автобус до станции не ездит, отменили рейсы, взад-вперед. Грузовики тоже опасаются. Про легковые я уж молчу, какое там...

Он приоткрыл створку окна, выплюнул окурочок.

— Нам бы хоть до Слободы добраться: там уж всякий транспорт ходит, помогут, если что... там, если что, хоть обсохнуть есть где. Согреться, заночевать.

Егор опять поймал в зеркальце глаза Алексея.

— Я ведь, Леха, теперь в Слободе живу. Там, где рыбку жарил, помнишь?.. Вот и сам на крючок сел: прищучила она меня, женила... А что? Разве плохо? Лучше, чем по чужим углам шнырять, взад-вперед... Так что я и говорю: есть где портки посушить, если что.

— Поздравляю, — на всякий случай сказал Алексей.

— Ну а тебя еще не приземлили там, по соседству?

— Нет пока.

— Тогда держись, живьем не давайся.

— Ладно, — усмехнулся Алеша.

Они могли с Егором свободно обсуждать такие щекотливые вопросы, потому что Степан Огузов был совсем новым человеком в городе и в редакции, никакой осведомленностью еще не обладал, хотя

и заметно было, что он слушает разговор внимательно, смекая что про что. А Яша Черношварц, несмотря на тряску, заснул, привалясь ухом к своему кофру.

Впереди сквозь редколесье опять высветилась река, и здесь ее осенний разлив уже достал дорогу, перетек через нее, сбрасывая зарыжевшую от глины воду по ту сторону, в другой кювет.

— Что за лешак? — озадаченно пробормотал Егор. — Сюда ехал — не было... яма была посередке, но чтобы так... А вот мы сбоку!

Хищно сторбатаясь, он приник к рулю.

— Осторожней! Сбавь... — перетрухнул Степан.

— Да ты что? Ее проскочить — так на скорости, нахрапом, а иначе...

Наддал газу. Мутные гребни выметнулись из-под колес, заплеснув окошки. Машину сильно повело вбок, потом еще куда-то вниз, потом она накренилась и замерла, мотор сдох. Муть медленно сползала по стеклам, оставляя рыжие разводья.

— Что, приехали? — спросил Яша, выгребаясь из-под сиденья, с пола, куда его скинуло, Алексей не успел удержать.

— Приехали... — мрачно подтвердил Егор.

— Я говорил: сбавь скорость! — вспыхнул Степан. — Надо было...

— Ну ты! — кошачьим рывком извернулся к нему шофер. — Заткнись, не то я тебя сейчас по сопатке длинной... Вылезай, носом подтолкнешь!

— Ну-ну...

Алеша, несмотря на случившееся бедствие и еще не опомнясь от неожиданности, удивился все же, откуда у Степана Огузова такая редкая способность вызывать на себя ярость ближних: то ему сулят бутылкой по башке, то по сопатке.

Но вылезать пришлось всем.

«Победу» занесло в правый кювет, залитый водою вкрай, колесо сидело там, и его засасывала глина все основательней и глубже, даже, слышно, причмокивая.

— Не вытолкнуть, — определил Егор и сплюнул. — Вперед она не пойдет, вот если бы назад попробовать, а? Ее раскатать надо, взад-вперед... Давайте.

Он полез в накрененную дверцу сверху вниз, как в люк. Мотор завелся, выхлопная труба застрочила синим газом.

— Навались давай! — крикнул Егор. — Вперед!.. Назад!

Из-под левого колеса им прямо в лица полетели хлесткие комья глины, а из-под правого, завертевшегося вхолостую, ударили струи холодной воды.

Но им это уже было все равно, потому что, едва выбравшись из машины, они вмиг промокли насквозь, их окатило как из ведра, а сапоги, едва они ступили на дорогу, тотчас ушли по щиколотку в месиво.

— Толкай, Леша!.. — стонал Яков, навалившись плечом, физиономия его забагровела, а глаза от натуги вылезали из глазниц. — Степа, родной, жми!

Алексей, напирая, заметил, как Огузов, упершись в багажник обеими руками, давил что есть мочи, самозабвенно.

— Кача-а-ай! — орал Егор. — Взад-вперед, взад-вперед ee!..

Было видно, как он судорожно изгибается за рулем, то принимая всей грудью, то выворачивая наружу пах, но тщетно: «Победа» не двигалась с места ни на вершок, ни туда, ни сюда, лишь кренилась еще более и увязала все глубже.

— Конец, — сказал Яков, отряхивая ладони и размазывая по щекам глину, — лезем под крышу, там хоть сухо... там подумаем.

Но Егор сам вылезал обратно из люка.

— Все. — Он безнадежно махнул рукой. — Теперь ее только трактором выволочь можно... А где он, трактор?

Трактора не было. Но совсем близко и явственно услышалось та-рахтенье работающего двигателя.

Сквозь сетку осинового сучья на них наплывал копотный буксир с красной полосой на трубе и белой надписью на спардеке «Трудовик». Он искал, где причалить, а всюду была вода, он отвернул нос и пошел к недалекой песчаной косе, над которой острым углом выдавался безлесый мыс.

— Эге-гей!..— выкрикнул Яша, простирая над головой руки, будто Робинзон с необитаемого острова.

Алексей, сдернув кепку, тоже замахал ею.

Но на «Трудовике» не обратили на них внимания, зачалились, бросили трап и понесли на слезах островерхие буи, красные и белые, сильно ржавые снизу, понесли на берег.

— Бакены снимают,— объяснил Егор.— Значит, и навигации конец.

— Пошли,— решительно заявил Степан Огузов.— Доберемся на катере, тут уж до города всего ничего... Забирай свой чемодан,— приказал он Якову,— и пошли. Еще ведь их упросить надо, чтоб взяли. Ничего, упросим.

— Подождите,— вмешался Алексей.— Может быть, они помогут машину вытащить? Тросом зацепят и потащат — можно попробовать...

— Куда потащат? В реку? — перебил Степан, и взгляд его замкнулся на кончике носа.— Нам перво-наперво надо о деле думать: скорей доставить материал в редакцию, там ждут, планируют, а мы тут канителиться. Иди,— повторил он Якову строже.

Тот захлопал к машине.

— А ты не обижайся,— сказал Огузов шоферу.— Сам отчасти виноват. Но мы ждать не можем: дело важнее... Из города вышлем подмогу, трактор.

— Я не обижаюсь,— ответил Егор.— Все правильно... Но я трактора дождусь и так. Кто-нибудь должен ехать, туда или сюда, должен, взад-вперед. Не может быть, чтоб совсем город отрезало.

У работающей жаркой машины они быстро обсохли; одежда изошла паром, закоробилась, а глина отваливалась кусками от подошв и голенищ, сыпалась, если потереть руками. Но вид у них был все равно усталый и плачевный — за то, наверное, и взяли их на борт, снизошли, а не за то, что совали свои корреспондентские книжечки.

Можно было даже прикорнуть под мерный ход поршней прямо на рифленом железном полу, эка невидаль, лишь бы слух был спокоен от этого ровного стукотенья и подсказывал недреманному сторожку, что всегда на вахте в спящем сознании: полный порядок, идем по курсу, семь футов под килем и ветер в зад,— лишь бы ощущать во сне всем телом это укачивающее движение, плыть да плыть, а когда сон долой — вот мы и дома.

Но на это оказался способен один Яша Черношварц: он заснул, когда его продорожили зубы еще выбивали чечетку, и некоторое время храп перемежался знобким клацаньем челюстей.

Что же касается Алеши и Степана Огузова, то они сразу поняли, что не будет им сна, что в этом рейсе им остается лишь набраться терпения и по возможности держать на привязи нервы.

Через каждые пять минут «Трудовик» сбрасывал обороты, стопорил двигатель и начинал покачиваться на волне: это означало, что матросы снимают с якоря, вылавливают, поднимают на борт очередной буй, готово, пошли дальше; а через пять минут рабочий ход винта опять замирал — другой буй, лови, тащи; потом буксир набирал скорость, и, казалось, уже безостановочно, полным ходом устремлялся к цели, но и это было напрасной надеждой: «Трудовик»

шел к берегу, чтобы выгрузить бакены в условленном месте, расставить их там, на крутизне, как пешки, до следующей навигации, до весны, до новой игры. Вот опять сильный толчок — они воткнулись в берег.

Когда же поневоле начинаешь складывать в уме эти короткие отрезки движения и томительные затяжные паузы, подсчитывать, сколько пройдено и сколько еще осталось, распределять путь во времени и пространстве, то делается совсем муторно на душе: ведь эдак можно тащиться целую вечность, до поздней ночи, а может быть, и ночь, однако ночью никто не станет ловить буи в реке, за ночуют на плаву, а утром, почесавшись, опять возьмутся за дело, а город будет по-прежнему далек и недостижим...

К тому же, понадеясь быстро, с ветерком достичь на машине столицы, они не запаслись никакой провизией, и теперь, когда стало ясно, что путь окажется невесть каким долгим, кишки урчали, заывая голодный бунт.

— Айда наверх,— предложил Степан, вставая с пола.— Хоть воздуху глотнем, здесь соляркой воняет дюже.

Ливень не стихал, хлеща речную воду. Но жестяной навес куцей палубы оберегал их.

— А по мне дождь всегда лучше суха,— сказал Степан, ловя струи в пригоршню.— Это натура моя крестьянская знает, что вода с неба — дар. Я такие засухи помню, хуже смерти... Тридцатый год помню. Нас тогда раскулачили. Вывезли на подводе за сто верст, в другой район, под Ераши, дальше-то некуда, ведь оттоль и досюда рукой подать... Ну вот. Мы уехали, а следом вся деревня сторела в одночасье: и наш дом, клейменный, и остальные: не разбирали огонь, где бедняк, где середняк, где кто — все дотла. Деревня наша звалась Пóжег — вот пожег и остался, будто с имечка и занялось... Люди по миру разбрелись кто куда, погорельцы, подайте хлебушка ради Христа, а его-то и не было, хлебушка, в тот год... Да ты что, Леха, отвернулся от меня, смотреть не хочешь, боишься? Ты не бойся. Это мне бы надо бояться, сказывая такое, а я, как видишь, не боюсь, говорю открыто. Не опасный ты...

Только сейчас Алексей понял, отчего так зорко разглядывал все эти дни Степан Огузов кончик собственного носа — это он к нему присматривался: не опасен ли? И вот решил, что не опасен, нет. Да и впрямь: с чего бы Степану его опасаться? Он не кидался на него в ярости, как фотограф Яша, как водитель Егор... А его, Степана Огузова, наверняка все эти дни тянуло на душевный разговор, на исповедь, потому что даже самого скрытного и затаенного человека тянет порой излить душу, особенно среди новых людей, на новом месте и особенно когда идут обложные дожди. Но не первого встречного избирает он для этой исповеди, а долго приглядывается к окружающим людям, с разумной осторожностью: кому можно, а кому нельзя, кто опасен, а кто нет, — и уж тогда.

Однако Алеша сейчас еще не мог понять, приятно ли ему это доверие, лестно или, наоборот, обидно, что ты никому не опасен.

— Я не боюсь,— повторил Степан.— Сам посуди — чего мне бояться? Теперь-то... А тогда? Тогда, брат, дело было покруче. Кулак — он подлежит. Хотя какие мы были кулаки? Дом, надел, две лошади и две коровы, ну, мужиков, случалось, на сезон брали — вот и все...

Алексей Рыжов чувствовал, как недоверие леденит сердце, как брезгливая отчужденность гонит мурашки по спине... впрочем, это мог и озноб снова пробрать до костей на ветреной палубе, сырость могла проникнуть в легкие, а их следовало побережь, хотя он и был вполне здоров, — он прокашлялся, выгоняя холод.

Еще он подумал об отце: как же тот был похвально осмотрителен, какое в нем было чутье, что, оторвавшись смолodu от деревни, он больше не возвращался туда, не ездил, не писал, не признавал

родни, порвал все связи. Ведь от этой деревни всегда жди подвоха. Про нее никогда не знаешь, что она такое и что у нее на уме. По-дальше бы от нее и вспоминать пореже.

— Ну да ладно, что об этом,— будто подслушав его мысли, сказал Степан Огузов.— Я ведь про себя, про свою жизнь... Тогда ко времени слова были сказаны: «Сын за отца не отвечает»,— это Сталин сказал. Я и не отвечал. Не спрашивали с меня. Семилетку окончил, потом на делянку, в тайгу, сучкорубом. Так что и через рабочий класс я прошел. А дальше поступил в техникум. Меня сызмальства тянуло к ученью, книгам. Я б, если честно признаться, если б никакой раскулачки не было, я б все равно не остался в деревне — в дерьме-то копать, нет, я о другом мечтал, о том же, полагаю, о чем и ты, а чем мы с тобою не равня? Из одних ворот, из одного теста... Учился я на все отлично, и ворошиловский стрелок был, и готов к труду и обороне, и Осоавиахим тоже — все на груди имел, как теперь... Но вот в комсомол подавать не решался, знал свой изъян,— высянят и в два счета наладят из техникума без диплома... Диплом я получил в самый день: двадцать второго июня. К нему повестка в военкомат.

Буксирный катер пошел к берегу. Там, на взгорке, раскинув дла-ни — будто распятие,— стояла сигнальная мачта, увешанная деревянными крупными бусами, подобными языческим дарам, их порядок таил какой-то загадочный смысл.

Алеша удивился, что он — мальчик, родившийся и выросший на море, сын и внук моряка,— не имеет понятия о том, что обозначают эти круги и плашки на языке речников.

— Воевал я, Леха, честно, сам видишь. Нет, всего ты не видишь — на мне еще раны есть. В госпиталях поваялся. Но если б не эти раны, не госпиталя, то и не остаться бы мне живу. Окопнику, пехоте — а я в пехоте был — редко случалось из трех атак подряд живым выйти. Вот я накануне той третьей атаки и написал... знаешь, как писали: «Если погибну — прошу считать...» — и сдал политруку. Это на Южном Буге было, у Проскурова, в сорок четвертом, в марте...

Обрывистый берег накатывался так стремительно, что брала оторопь. Алексей потуже ухватился за поручень.

Весь обрыв был изрешечен — густо вдоль и поперек, как пулеметными очередями,— глубокими дырками, опустелыми гнездами береговых ласточек.

Резко рванул стопор, винт отмотал задний ход.

— Но я не погиб,— сказал Степан.

Он долго молчал, будто бы сам тому не веря.

— Ну а дальше... дальше, Леха, повеселей мой сказ.— Он улыбнулся с видимым облегчением.— Понимаешь, я еще в детстве стишками баловался... а тут мы стояли в обороне под Яссами, в Румынии уже, зарылись в землю, скучаем... вот тогда я и сочинил стишок — ну, обычное, про березки да клены. Отправил в армейскую газету, а они — веришь ли? — с ходу напечатали. Я на радость — еще. Приехал майор, говорит: «Раскальвайся, старшина, не юли...» «За что?» — испугался я. «Откуда стихи сдираешь?» — «Нютокуда, сам». — «Побожись!» — «Честное партийное». — «А прозой сумеешь?» — «Смогу, без рифмы легче». «Тогда,— говорит,— собирай вещмешок. Раз у тебя талант — не зарывайся в землю, а пиши... Сегодня оформим приказом». Вот так я, брат, и стал газетчиком. Лейтенанта мне присвоили. Обратной в Россию армия наша пешком шла, походным строем, а я уже на машине, с редакцией, выпускали попутно газету...

Алеша слушал с интересом, чувствуя, как шевелится в душе зависть. Да, это была биография, это была жизнь. Если, конечно, вычесть из нее довольно неприглядное начало, если пренебречь им, то было чему позавидовать.

Что он, Алексей Рыжов, мог выставить против такой биографии? Ничего. За ним ничего не было, ровно ничего.

Он оглянулся на реку, вот так же: ровная, хотя и пасмурная гладь, на которой ничто не оставляло меты — ни секущий дождь, ни острое кия, ни бурливое вращение винта, — все исчезало тотчас и бесследно. А сейчас, когда на пройденном пути убрали вешки, снимали красные и белые буи, совсем невозможно было бы уверить кого-то и даже увериться самому, что ты тут шел.

Впрочем, было некоторое утешение в том, что при всем неравенстве их биографий они на сегодняшний день были в одинаковом нижнем чине — литсотрудники, разъездные корреспонденты, — хотя Степан Огузов и числился старшим в бригаде.

— Но это еще не все! Есть еще... Сразу после войны приехал я домой в отпуск, в Ераши, а папаня осмотрел все, что на мне, и говорит: «Ты, Степка, не больно-то против отца чванься! Тебя пожаловали, но и меня Верховный не забыл, гляди-ко...» Достает из-за божницы телеграмму: «Огузову Игнату Степановичу... примите мою благодарность от имени Красной Армии. Сталин». Оказывается, батя тут подсобный промысел наладил — живицу брали. Весною на деревьях кору зачищают и топором сосну ранят глубоко, а под раны холщовые мешки вешают, попонки, — сосна плачет, смолу пускает, чтоб заживить раны, потому и называется живица... это, брат, ценящая вещь, из нее скипидар гонят, канифоль делают... вот он с бабами да инвалидами артель составил, а потом от себя лично — сто тысяч в фонд обороны. Ого-го, знай наших!..

Степан хохотнул раскатисто и снова протянул горсть под ливневые струи.

Внизу на железных ступеньках послышался топот, из люка вынырнул Яша Черношварц, на лице его была улыбка отоспавшегося всласть человека, а в руке он нес ведро, в котором дымилась картошка вся в лохмотьях молодой кожуры.

— Держите, славяне! — сказал он, торжествуя. — Ребята себе варили, так и нам отсыпали. А я их пощелкал маленько, обещал — если не в газету, то на память... Ешьте.

Алексей выхватил из ведра здоровую картофелину и начал пекидывать с ладони на ладонь, она была нестерпимо горяча для занемевших на холоде рук. Лишь сейчас он понял, что почти мертв от голода, а тут еще не угрызть с ходу, катать в ладонях.

Степан, осторожно и ласково спустив шкуру с одного бока, вгрызся в рассыпчатую плоть. Жуя полным ртом, укорил Яшу:

— А соль? Что ж ты соли не захватил?

— Да, — согласился Яков, уводя языком круглую картоху за щеку. — Без соли — это не пища. Сейчас добудем.

Скатился по ступенькам обратно в трюм.

— Зря ты его тогда, в Печорске... — заметил Алексей Степану. — Ведь хороший мужик.

— Может, и зря, — сказал тот. — В принципе я ничего не имею. Мы ведь даже на одном фронте с ним были — Второй Украинский. Видел я, конечно, что немцы с ними делали, страх...

Огузов отвернулся от летящего мокрого ветра, заслонил жующий рот воротником пальто.

Сейчас и Алеша почувствовал, как усилился и напрягся встречный ветер. Он посмотрел и понял: «Трудовик» шел полным вперед, уже не имея намерения ни стопорить, ни чалиться, шел, задорно вскинув нос, уверенно, как идут после законченной работы.

Впереди больше не было бакенов, чистая река, без указок. Все буи уже стояли крохотными пешечными рядками справа и слева на смутных берегах. Значит, на этой, ближней к городу дистанции их снимал и выбрал другой экипаж.

Алексей вспомнил об увязшей в глине, затонувшей до окошек

«Победе», о Егоре, которого они оставили одного на лесной дороге, под ливнем. Дождался ли он какого-нибудь шалого трактора?... Надо будет срочно выслать подмогу, как только они доберутся.

Стало быть, сухопутное сообщение между городом и станцией вышло из строя теперь уже до морозов, до зимы.

Но и водный путь был закрыт: они сами сняли за собою вешки, обозначавшие фарватер,— отгудела навигация.

Он вспомнил, как плыл на белом «Тютчеве» по голубой реке в зеленых берегах всего лишь несколько месяцев назад. Теперь обратный путь был заказан. И река не сохранила никаких следов его пути сюда.

10

Сначала он хотел устроить именины как именины: договорился бы с Klarой, и она бы соорудила знатный стол в его гостиничном номере, чтобы не только выпивки было в досталь, но и закусить было чем, подсолониться. Он бы и на базар сбегал, тряхнул мощной ради такого случая, ради круглой даты.

Кроме Klarы, он намеревался пригласить Степана Огузова с женой, они жили рядом, через дверь, в двухкомнатном люксе (у них еще было двое маленьких), позвал бы и Яшу Черношварца и Вась-Вася, которому все равно задолжал, он мог бы пригласить и самого Улитина, пусть заглянет на часок, не погнушается хлебом-солью с подчиненными, в тесноте, да не в обиде.

Но по мере приближения дня торжества его все больше одолевали сомнения. Во-первых, стоит ли сажать за один стол Семена Ильича с Бубеевым, если учесть, что редактор строго-настроено запретил Алексею поить его. Во-вторых, пригласи он Улитина, не начнутся ли пересуды в коридорах редакции, будто он, Рыжов, усерден в подхалимаже, лезет без мыла. Дальше: Яков, который одним своим светлым присутствием вызывал нескрываемое раздражение Степана, а там уж он заколебался и насчет самого Степана Огузова — ведь Алексею отнюдь не все показалось понятным и приемлемым из того, чем делился с ним на тягломтом буксире Степан Огузов, все эти его рассуждения, бывшее и думы.

Однако он отдавал себе отчет в несерьезности возникших сомнений, смехотворности причин. Он сознавал, что это лишь отголосок того, что гнезилось в его душе с давних, очень давних, еще ребяческих лет. Пожалуй, с детдомовской поры, когда объявиться именинником значило лишь, что тебе надерут уши докрасна, до боли, до еле сдерживаемого крика, а сверх — ничего, никаких поздравлений и подарков, одна боль.

И на всякий случай он до последнего молчал об этом надвигающемся торжестве.

Но ранним утром в общей умывалке он столкнулся со Степаном. Голый по пояс, тот оплескивался струей воды, бившей из крана. Алексей тоже отвернул кран — руки ожгло, как кипятком, настолько ледяной была вода, они враз занемели, будто отнялись, еле мыло ворочали. А Степан Огузов только фыркал да покрывал — хорошо... Досуха обтершись полотенцем, подошел к Алексею, ухватил его за ухо, подергал раз-другой:

— Поздравляю, Леха... Раста большой в прямом и переносном.

Вероятно, на мокром лице Алексея отобразилось столь явное изумление, что сосед поспешил объяснить:

— Разведка работает, брат. Разведка доложила точно... Прими еще раз.

В десятом часу, когда он поднялся с бумагами в секретариат, Вась-Вась встретил его широченной своей редкозубой улыбкой:

— А-а, мальчик резвый! Ну здравствуй, здравствуй, дай пять.— Со значением потряс ему руку.— Мальчик резвый... Нет-нет. Маль-

чик трезвый, кудрявый, влюбленный! — вдруг напел из Моцарта ответственный секретарь. И рассмеялся. — Подходит? Мальчик трезвый...

— При чем здесь? — пожал плечами Алексей.

— Да я не про тебя — про себя, — сказал Бубеев.

И, быстро перелистав протянутые ему страницы, доверительно поведal:

— Ты уж извини, старина, не смогу никак. Завязал. Железно. Вынужден избегать. Извини — мальчик трезвый.

— А-а, — протянул сочувственно Рыжов. Он уже был наслышан об этих железных завязках Вась-Вася: от воскресенья до поднесенья. На всякий случай сокрушенно развел руками. — Очень жаль, но не смею...

В приемной редактора секретарша Ася, вспыхнув, подала ему сложенную вчетверо и заклеенную телеграмму, наружу лишь адрес да кому. Он распечатал ее, пробежал глазами строки:

ПОЗДРАВЛЯЮ ДВАДЦАТИЛЕТИЕМ ТЧК ДЕТСТВО КОНЧИЛОСЬ АЛЕША ТЧК ЖДУ ТЕБЯ ЛЕНИНГРАДЕ ВЗРОСЛЫМ ТЧК ЦЕЛУЮ МАМА

Все тут было: и любовь, и материнское сострадание к предполагаемым его злоключениям и роковым ошибкам, и та высокомерная едкость, которая была в ее характере и отчасти передалась ему в наследство, из крови в кровь, — и потому в нем тотчас заклокотало ответное раздражение. Так вот откуда эта всеобщая осведомленность! Ведь он просил ее писать ему даже не в гостиницу, а до востребования, на почту, но она умудрилась дать телеграмму на служебный адрес, прямо в редакцию, по секрету всему свету, да еще в такой язвительной определенности чувств.

Он провел пальцем по мелким зубчикам поля марочного листа, которым телеграмма была заклеена, когда он взял ее в руки, — значит, распечатали, прочли и заклеили опять?

Пытливо взглянул на Асю. В глазах ее была приветливость, так и рвавшаяся наружу, — да, вне сомнений она хотела его поздравить, тем более что они были ровесниками и ей, поди, тоже подкатывало либо уже исполнилось двадцать, она собиралась его поздравить со всей теплотой, однако она была не такая уж дурочка, чтоб не заметить свирепого выражения на его лице и как он щупал зубчики, — Ася наверняка догадалась о возникших у него подозрениях и потому проглотила невысказанные здравицы и обиду, сказала лишь коротко:

— Семен Ильич просил вас зайти.

Улитин встретил его с подчеркнутой обыденностью, даже некоторым безразличием в тоне.

— Стало быть, уезжаешь?

— Уезжаю, — подтвердил Алексей, добавил: — Но еще целая неделя, даже больше, я поеду одиннадцатого. Так что...

— Одиннадцатого? — слегка оживился редактор и, дотянувшись, взял со стола картонный гляцевый билет. — А здесь — пятого, вполне успеешь отписаться... Послушай, Рыжов, вот тебе приглашение: это на концерт в филармонию, открытие сезона. Эк с ремонтом проваландались, сезон открывают в декабре, по шеям бы их, бездельников... Но ты напиши добром, коротенько, строк сто. Все же событие в культурной жизни, а мы тут не избалованы, Лемешев с Козловским к нам не ездят... — Он протянул билет. — Ряд хороший, места в самой середине — ведь это мне с супругой, но мы пойти не сможем, прихворнула моя дражайшая, ангина.

— Ясно, — сказал Алексей, пряча билет в карман. — Сто строк восторгов.

— О, сообразительный ты стал, Рыжов! Сколь ума тут у нас набрался... — хихикнул Семен Ильич. Но сразу посерьезнел и полез ему

в душу своими темными вкрадчивыми гляделками.— А зачем стесняться восторгов? Вот, я знаю, ты с Истоминой дружбу водишь — не спорь, что знаю, то знаю, да и не я ли тебя познакомил с нею? Говори спасибо, благодари сейчас же, ну...

— Век помнить буду,— дерзко улыбнулся Алексей.

— Будешь. А вот скажи: ты хоть однажды слышал, как она поет?

— Слышал, конечно.

Ведь Улитину было невдомек, что еще в день первого знакомства на пароходе «Тютчев» Клара пыталась ему спеть рахманиновский романс, а он затыкал ей рот поцелуями.

— Ну, я допускаю, что она тебе что-нибудь на ушко и смурлыкала, так, по-домашнему... Но ты слышал ли ее в концерте, при полном зале, когда она — в полный голос, а? Вот и не слышал. Потому и не суди. А когда услышишь — не приходи ко мне отказываться от поездки. Все равно я тебя силком в Москву отправлю, сдавай экзамены, нам неучи не нужны... Так-то.

— Я уеду,— заверил Рыжов.— Обязательно.

Он уже понял нехитрую игру Улитина. Тот выяснял, насколько прочно владеет сердцем заезжего московского студента девушка с медовой косой. Он посылал его в филармонию намеренно, пусть еще раз взглянет на нее — со стороны, издалека, из зала, в ярком свете, пусть обалдеет от ее пения, пусть оглохнет от рукоплесканий, пусть поймет, что теряет... Так. Значит, не очень надеялся Семен Ильич на его возвращение, если оболещал уже не сказками полярной ночи, не тем, как люди ходят по веревке, как птицы замерзают на лету, а прибег к такому крайнему, даже не числящемуся в его распоряжении средству, как любовь слободской девушки с Пятой Десяты.

Алексей коварно молчал.

Улитин закашлялся, поскреб горло — уж не забралась ли туда ангина дражайшей,— смутился, поняв, что разгадан. Но в подобных случаях Семен Ильич предпочитал ломиться уже в открытую.

— Деньги у тебя есть? — спросил грубовато.— Прикинь, сколько тебе надо. Знаешь, чтоб не прозябать в столоице, а пожить с размахом, в волюшку, гульнуть, как подобает северянам,— рестораны, такси, театр «Ромэн»! Ты ведь теперь северянин, держи марку... Сколько тебе надо?

— Есть у меня деньги,— потупился Алеша, угадав, что его опять попросту хотят купить.

У него на самом деле было вполне достаточно денег. Особенно его потрясло, что когда они ездили на Печору, помимо зарплаты ему еще платили шальные суточные — по пятьдесят рублей в день, таков был тариф для командировок на Крайний Север. А тем временем набежал гонорар — за то, за се. И еще по закону ему должны были как заочнику оплатить дорогу.

— Хватит, пожалуй...— сказал он, сознавая, что хватит, но предчувствуя, что дадут еще, и не находя в себе сил противиться соблазну.

Улитин нажал под столом кнопку, в приемной отозвалось, заглянула Ася, он ей велел соединить с бухгалтершей.

— Анна Сергеевна? Здравствуйте... Алексей Николаевич Рыжов едет в Москву на сессию.— Он прикрыл ладонью трубку, подмигнул ему.— Я имею в виду экзаменационную сессию...— И опять в телефон: — Выдайте ему аванс в счет будущих гонораров. Можно тысячи три... Ничего, он человек писучий, быстро отработает. Что?.. Нет, не слышал, Анна Сергеевна. Я, знаете ли, слухам не верю — мне ТАСС на стол кладут... Все равно, не имеет значения. Три тысячи. Договорились.

Положив трубку на рычаг, перегнулся через стол и сказал:

— Вот тебе совет на всю жизнь: никогда не отказывайся от де-

нег, дают — бери. И не сильно ломай голову — пусть она болит у того, кто дает. А я тебе даю, потому что верю. — Помолчал. — Я верю, что ты вернешься, Алеша.

Редактор поднялся, обогнул стол, подошел, положил руки ему на плечи.

— А теперь я хочу поздравить тебя. Для двадцати лет хорошее начало. Не разбазарь после, а сейчас ты идешь с опережением, с запасом. Понял?

Алеша просиял, потому что сказанное разительно отличалось от укоров матери, полагавшей, что он заигрался и застрял в детстве. Но эти же фразы Улитина вплотную приближали его к разгадке: как умудрились прочесть запечатанную телеграмму?

— Поздравляю, — снова сказал Улитин. — Дату я запомнил еще по твоей анкете — первое декабря. Памятная дата, особенно для нас, ленинградцев...

Семен Ильич покосился на письменный стол, где лежал в развороте сегодняшний номер «Северной звезды». В углу второй полосы был портрет: молодежливое открытое лицо, прямые темно-русые волосы, решительно откинутые к затылку, губы, тронутые улыбкой, и глаза, таящие предчувствие.

В конце концов он не позвал никого, даже Клару, и просидел весь вечер в одиночестве, не зажигая света, глядя, как за окном роится снег.

Пожалуй, эта угрюмость, что наваливалась на него всякий день рождения, возникла даже не в детдомовскую пору, не в Городище, где ему жестоко обрывали уши, а много раньше, задолго до войны, в Ленинграде.

Тогда ему исполнилось семь лет. Он еще ходил в детский сад — в школу брали с восьми. Детсад был не близко, на Таврической, а они жили на 9-й Советской, но он ходил туда сам, без провожатых, минуя гулкие и мрачные подворотни, пересекая трамвайные пути, — мать ужасалась, а отец говорил, что так и надо.

Он вернулся домой, залез с ногами на тахту и стал ждать.

Коротать время было сладко в гадании: каков будет подарок к именинам, точнее — ко дню его рождения (тогда еще знали и соблюдали разницу), что ему принесут отец и мать, придя с работы, из Смольного?..

Это мог быть детский «конструктор», тяжелый ящик, набитый до отказа железными пластинами, крашенными в черный цвет, с дырками по всей длине, чтобы их соединять одну с другой, винты и гайки, скобы, крюки, колесики, отвертки и ключи, отдельно тетрадка, где изображены фигуры, которые полагалось собирать из этих деталей — паровоз, аэроплан, трактор, — но он знал заранее, что ничего такого сам соорудить не сумеет, разве что отец заинтересуется, как маленький, и, пыхтя, роняя меж пальцев крошечную металлическую дребедень, поминутно заглядывая в тетрадку, составит наконец страховидный паровоз, еще страшнее настоящего, с подвижными шатунами колес («Наш паровоз, вперед лети-и!» — будет напевать он при этом), либо несуразный громоздкий аэроплан весь в дырках, будто его изрешетили пулями («Все выше, и выше, и выше стремим мы полет наших пти-иц...» — сплет отец).

Нет, лучше бы не «конструктор», а набор оловянных солдатиков, тех, что продает с лотка частный старичок у Апраксина двора: они стоят четкими шеренгами, у одних ружья вскинута на плечо, другие держат их наперевес, третьи целятся с колена, а конники сидят в седлах, натянув поводья и подвывая шашки, а бравые артиллеристы несут к пушкам круглые ядра, — да, вот тут для мальчиков вроде него, что всегда отирались подле частного старичка и его лотка, зачарованно глядя, как сияет свежее олово, мусоля в

карманах заветные пятаки и гривенники,— для них тут крылось огорчение, ибо старик отливал своих солдатиков в формочках стародавних времен, когда пушки стреляли ядрами, когда ружья были неуклюжими и длинными, вроде оглобель, когда солдаты носили темно-вишневые и ярко-синие мундиры и каски с шишаками, когда не было ни пулеметов, ни броневиков, ни танков и сама война казалась игрой, праздной забавой, а новых формочек у старика с Апраксина двора, увы, не было.

А еще лучше — мяч, настоящий футбольный мяч, который сразу соберет детвору всех окрестных домов, они рассыплются по двору, пасуя, вода, сшибаясь, а ему, Алеше, доверят ворота (мяч ведь все-таки его), и он, припрыгивая, надежно заслонит собою каменную арку ворот,— нет, не доверят, ведь он еще мал ростом, да и сейчас не время гонять мяч, на дворе зима, снег, темень...

Алеша очнулся от своих сладких дум. В комнате было совсем темно, непроглядно. Он проворонил тот час, когда в окнах еще чуть брезжило и можно было добраться до выключателя зажечь свет, а теперь им владел страх перед темнотой, стусившейся во всех углах, пластом легкой на пол, и он боялся спустить ноги с тахты — вдруг кто-то укусит, вгрызется, отъест, — он, наоборот, подобрал их под себя, отодвинулся поглубже.

Мерно ходил маятник настенных часов, но в темноте не видно было стрелок, а боя у этих часов не было, только тиканье да скрипы.

Он понимал, что прошло уже много времени, что родители должны были давно вернуться с работы — тем более сегодня,— но их все не было. Еще он отчаянно проголодался, хотелось пить, а слезть на пол он по-прежнему не решался. Однако страшнее всего было сознание того, что что-то случилось. Нет, не зряшные детские кошмары — что они его бросили, что их переехал трамвай, что их зарезали урки,— которых боишься, но отдаешь себе отчет, что сам придумал, а гнетущее здравое понимание: да, с л у ч и л о с ь.

Он заревел басовитым и громким ревом, которым дети отгоняют страх и дают знать о себе. Ревел долго. И умолк, лишь заслышав, как знакомо заворочался ключ в замке.

Родители раздевались в прихожей.

Он подтянул к щеке диванную подушку и притворился, будто спит, заждавшись,— им в отместку. А сам подсматривал сквозь неплотно смеженные ресницы и чутко слушал.

Зажегся свет, и первое, что он увидел,— они пришли без подарка, с пустыми руками. Более того, они лишь мельком взглянули на него, сиротливо забывшегося в уголок тахты, спящего одетым, и, кажется, даже удовлетворились тем, что он спит и не станет докучать вопросами и просьбами.

Мать опустила на стул, подперла кулаком висок — она была бледна, глаза отрешенно блуждали. Отец стоял, прислонившись к стене, курил папиросу, заволакиваясь дымом, лицо его было серым, как пепел. «Как же так? — проговорила мать.— Как же так?..» Отец ничего не ответил.

Утром, шагая в детсад, Алеша увидел, как дворник, взобравшись на стремянку, вывешивает у ворот траурный флаг — красный с широкой черной каймой. «Дяденька,— спросил он,— а кто умер?» «Кирова убили,— отозвался дворник, не погнушавшись возрастом прохожего.— Прямо в Смольном, во как».

Через день близко к полуночи он стоял вместе с матерью на площади Восстания. Промозглый ветер — от Невы к Неве — несся по проспекту 25-го Октября. Впереди была шеренга красноармейцев, на винтовках, взятых к ноге, поблескивали трехгранные штыки. Позади них стояли рабочие, держа в руках факелы с мятущимся пламенем и угарным смоляным дымом. А за ними вдоль тротуаров плотно толпился народ.

Лучи прожекторов ходили по черному зимнему небу, обшаривая летящие облака, а порой они падали косо на стены домов, и тогда вспыхивали оконные стекла, высвечивались прильнувшие к ним людские плоские лица.

Приблизилась музыка оркестра, с надрывными скорбными паузами игравшего «Вы жертвою пали...». Мать подняла его на руки.

Несли венки из живых цветов, не увядших, а заледенелых, намертво схваченных стужей. Вороньи кони в белой сбруе тянули пушечный лафет, на нем был гроб. Далее шли понурые люди, кого-то держали под руки, а там двигалась несметная толпа, и в ней, знал Алеша, был отец.

Слева, у Знаменской церкви, он увидел ряды лобастых танков и броневиков в пупырчатой знобкой броне, они тоже были в карауле, как и бойцы с винтовками. Красный ковер утекал в глубь распахнутых дверей вокзала, а над входом почти во весь фасад был портрет человека в косоворотке с застегнутыми до подбородка пуговицами. Еще выше, на башне вокзала, стрелки часов почти сомкнулись у двенадцати...

Когда гроб сняли с лафета и на руках понесли к перрону, прожекторы сникли, погасли враз, еще на мгновение оставив след в глазах. И будто на смену им отовсюду, со всех заводских окраин и со всех станционных путей заголосили, возопили протяжные гудки.

Кирова увезли хоронить в Москву.

С тех пор каждый день рождения Алексея Рыжова — до войны, и в войну, и доселе, — 1 декабря, во всех газетах появлялась эта фотография: молоджавое открытое лицо, темно-русые волосы, решительно откиннутые к затылку, губы, тронутые улыбкой, и глаза, таящие скорбь предчувствия.

Осенние дожди исхлестали город, промочили его насквозь. Отсырел даже кирпич, не говоря уж о потекшей известью штукатурке. Но в основном город был сложен из дерева, сплошное дерево — так вот это дерево до сердцевины напиталось влагой, разбухло от нее, и если б у кого хватило силы взять бревно за два конца и скрутить его, отжать, как полотенце, то из него бы так и полилось. Даже живые деревья, сбросив листву, исказились и поникли, отяжелели от воды.

Притом не было никаких бурных ливней, какие бывают на юге — хлынут, на шумят и уйдут, — а долгие недели подряд, ни на час не унимаясь, днем и ночью текли занудные, безысходные, ровные дожди. Вода скатывалась с дощатых крыш, уже не находя ни лазейки, ни трещинки, которые не были бы и без того полны. Торцы мостовых и плахи уличных тротуаров размякли, как мочало, едва ступишь — струйка цыкнет из-под ноги...

Затем ударил внезапный ночной мороз — и все враз застыло. Так же насквозь, как было полно водой, — так же насквозь дерево прониклось льдом, отвердело тверже камня, стало звонким и потеряло запах.

Поверх льда легли пушистые и легкие, чистые декабрьские снега.

Алексей шагал натоптанной тропинкой, снежок хорошо повизгивал под пятой его добротных и щегольских бурок ворсистого белого фетра, посаженных на кожаную подошву и отделанных кожей поверху, даже швы оторочены кожей. Он шагал вверх по улице, туда, где сверкал премьерными огнями театр, в том же здании была и филармония.

Мимо пронеслась, неслышно шелестя шинами по снегу, черная «эмка» — туда же, к огням.

Алексей не мог разглядеть, кто там в ней сидел рядом с шофером: в машине было темно, лишь отсвет приборной доски да свеченье фонарей снаружи, и не скажешь, что он уже знал наперечет

все местное начальство, однако не было сомнений в том, что начальство. И вовсе даже не из-за самой машины. Пусть он не разглядел лица, но он успел заметить, как и во что был одет сидящий рядом с шофером человек, и этого было вполне достаточно. На нем было пальто черного сукна, с черным каракулевым воротником и шапка-ушанка нежного золотистого пыжика. Ног он не видел, но мог биться об заклад, что тот человек обут в ладные бурки белого фетра, на кожаной подметке и сверху отделанные кожей, высокие бурки, много выше колен, и теплые голенища отогнуты книзу в несколько складок, наподобие ботфортов.

То есть на этом человеке были такие же удобные и роскошные бурки, как те, в которых сейчас шагал по морозцу Алексей Рыжов. И на нем, на Алексее, тоже было двубортное пальто черного сукна, с черным каракулевым воротником крутого и плотного завитка, подкладка на ватине, вся простегана. И на его голове была пыжиковая шапка, легкая, как перышко, но теплая, как брюхо заспавшегося на печи кота, чудо. Они с этим промчавшимся на «эмке» человеком были одеты совершенно одинаково, именно так, как подобает.

Когда Алексей вернулся с Печоры — на переломе осени к зиме, — бегать и дальше налегке, в пиджачке да кожаной куртке поверх, в кепочке, показалось ему не то чтобы слишком рискованным, однако несолидным. Он уж намеревался укорить Семена Ильича тем, что тот позабыл о своем обещании чин чином экипировать его, но Улитин, как всегда, не нуждался в напоминаниях — он вспомнил сам и в срок. Пригласил Алексея, в его присутствии позвонил в обком Полупанову, который в первые дни пребывания Рыжова в Городе-на-Реке дал ему талоны на питание в закрытой столовке, а теперь вот потребовались ордера на теплую верхнюю одежду. Ведь и промтовары пока еще продавались по карточкам, по ордерам, просто так, за голые деньги не купишь.

С этими ордерами Алексей явился прямо на склад.

Одноглазый кладовщик с пиратской черной перевязью наисок лица, проверив печатки и подписи, сделал широкий приглашающий жест: ходи, смотри, выбирай, примеряй... А сам сел на табуретку и следил за ним.

На вешалках, как в маршевом строю — шеренгами, рослые на правом фланге, коротышки на левом, и вереницами, уходя в глубину, подпирая друг друга грудь, — висели разномастные и разношерстные пальто. Он хотел уж было снять да прикинуть на себя пальто коричневого бобрлика, с коричневым же цигейковым воротником, но, оглянувшись случайно, прочел в единственном и четком, как винтовочный зрак, глазу кладовщика: холодно... холодно... Он тронул другое — серое, с косыми карманами, с поясом и пряжкой, с шалевым воротником серо-желтой окаянной волчьей шерсти, дьявольский шик, но опять обернулся и прочел: холодно... холодно... нет, не то ищешь, парень, не то щупаешь, дорогой товарищ... Но когда он просунул кулаки в рукава черного суконного пальто с черным каракулем и встряхнул его на себе, чтоб улеглось в плечах, всевидящий глаз подсказал и одобрил: тепло... тепло... вот это самое. Точно так же было и с шапкой. Когда он извлек из нахлобученных друг на дружку столбом каракулевых шапок черную ушанку, в масть и в лад воротнику, глаз кладовщика пренебрежительно померк: холодно... холодно... А когда он напялил на голову лихую кубанку белой смушки, глаз вообще осуждающе заострился. Но когда он возложил на темя золотистую игольчатую шапку, которая была так невесома, что показалось, будто он по-прежнему простоволос, только нежное, как дыханье, тепло коснулось макушки, лба и затылка, — тут кладовщик перестал его гипнотизировать, а кивнул, выражая безусловное одобрение: вот это — тепло. Потом повел туда, где обувка.

Уже на следующий день после того, как ударил мороз и легли снега, Алексей Рыжов убедился, насколько удачен его выбор. Редактор «Северной звезды» Улитин приехал на работу в черном пальто с каракулевым черным воротником, в пыжиковой шапке и белых бурках с отворотами. Такие же бурки, такое же пальто с черным каракулем, такая же шапка из пыжика оказались и на самом Полупанове — он садился в машину у обкома, а Рыжов проходил мимо и вежливо поздоровался, на что Евгений Логинович Полупанов приветливо кивнул Алексею, сразу опознав его в этом новом виде, в черном пальто, пыжиковой шапке и бурках, — словом, именно так были одеты все самые уважаемые и значительные люди в Городе-на-Реке.

И сейчас, бодро шагая по скрипучему искристому снегу в своих теплых бурках, Алексей не мог не вспомнить, как всего лишь полгода назад он шел по этой улице, тогда еще совсем ему незнакомой, — шел, с любопытством озираясь по сторонам, вертя по-птичьей шеей, шел как раз в этом направлении, в гору, к театру, как подсказала ему белобрысая дежурная в гостинице, шел належке и с легким карманом, где едва оставалось на обратный путь, шел в смутных надеждах и таких же смутных тревогах, не зная, что будет с ним завтра, а тем более послезавтра, — Алексей не сумел сдержать улыбки, вспомнив, кем он был, а кем стал.

Протискиваясь в середину ряда, он еще издали обнаружил, что его соседом будет Настоящий Станиславский — аккурат два незанятых сиденья маячили возле него. Алексей торкался в чужие колени, извиняясь попутно, раскланиваясь со знакомыми.

Хотя и не столь уж много знакомцев было тут у него, а все же были.

Двумя рядами впереди сидел Иван Демьянович Лапшин, председатель Комитета по делам искусств, с которым его познакомила Клара, когда они шли в Слободу, а он возвращался с огорода, тятка на плече, — Алексей вежливо поздоровался с ним, но тот, вероятно, не разглядел его как следует либо запомнил былую встречу и лишь неопределенно шевельнул в ответ плечами.

Зато другой его знакомый, директор Дома народного творчества Матвей Кузьмич Малафеев, сидевший на ряд позади, как только увидел Рыжова, пробирающегося к своему месту, заморгал ему навстречу белыми ресницами, и, отлепив зад от кресла, учтиво поклонился — Алексей ответил небрежно и милостиво.

Они обменялись рукопожатием со Станиславским.

— Разве Семен Ильич не придет? — справился тот, не пряча некоторого разочарования.

— Нет, не придет. У них ангина, — объяснил Алексей, имея в виду оба места. — Я за него.

Он уже догадался, что этот хитрец и пронира умышленно зафрахтовал себе местечко под самым боком редактора «Северной звезды», чтобы упрочить личный контакт, возникший в салоне парохода «Тютчев», чтобы присосаться понадежней и обеспечить себе хвалебные рецензии. Алексей решил намекнуть ему, что этот маневр угадан и разоблачен, и, кроме того, косвенно дать понять, в ком прежде всего надлежит ему, Станиславскому, заискивать.

— Писать об открытии сезона буду я, — как бы между прочим сообщил он. — Много не дадим, а строк сто — пожалуй. В номер.

— Но ведь... — сразу смешался и засуетился режиссер. — Но ведь вы, насколько я мог судить по газете — я читаю вашу газету, — вы, по-моему, увлечены совсем другой отраслью, этим... тяжелой индустрией.

— Прежде всего базис, — напомнил Алексей, — а потом уже разные надстройки, пристройки.

— Разумеется,— поспешил согласиться Настоящий Станиславский,— однако...

— Кроме того, моя основная специальность — культура,— осадил его Рыжов, имея в виду Библиотечный институт.— Культура. Кстати, каковы ваши... простите, я до сих пор не знаю вашего имени и отчества.

— Олег Васильевич.

Алексей вынул из кармана блокнот, потянул карандаш из пельки.

— Олег Васильевич, каковы ваши творческие планы?

Режиссер искательно и польщенно придвинулся к нему.

— Спасибо, мне дорог ваш интерес. Сейчас я репетирую «Нору» Ибсена.

— А-а,— улыбнулся Алексей,— норвега?

— Что?..

— Нет-нет. Я просто вспомнил: один норвег держит фирму... впрочем, вам это ни к чему. Продолжайте.

— Вы совершенно правы. Ибсен — норвежский драматург. И действие его пьесы происходит на Севере... Понимаете, я думаю, что здешним северным зрителям будет близок колорит этой пьесы, *coeur locale*, как говорят французы. И характеры тоже... Вы согласны?

— Пожалуй, в этом что-то есть,— сказал Алексей, крючком торсуя в блокноте.— Вы впервые обращаетесь к Ибсену?

— Нет, я уже ставил «Нору». В Средней Азии.

Алексей озадаченно взглянул на него.

— Но ведь вы сами только что сказали — про Север?

— Безусловно. Однако это лишь место действия. А тема — раскрепощение женщины в семье и обществе. Там, в Средней Азии, эта тема еще весьма и весьма злободневна... Видите ли, классика вообще неоднозначна, она допускает множество прочтений.

Станиславский, вздохнув, наклонился доверительно к уху Алексея.

— Есть еще одна причина, я вам откроюсь. От меня ушла жена. Я очень любил ее, она была актрисой. Там, в Средней Азии. Она ушла к полковнику... Я все еще ношу в себе эту боль. Собственно, этим и вызван мой переезд сюда... Так вот, Нора тоже уходит от мужа, от Торвальда. И когда я репетирую эту пьесу, во мне происходит... ну, как бы вам объяснить...

Олег Васильевич сплел на весу пальцы, похрустел ими.

— Я все переживаю снова. И боль, представьте, вдруг становится сладостной — сладостью творчества! Черт, как ни горько в этом признаваться, художник всегда живет своей болью, даже к о р м и т с я собственной болью... Да.

Кончиком карандаша Алексей плел на листке блокнота рассеянные и ничего не значащие витки. У него впервые не вызвали раздражения речи этого самоуверенного и надменного человека. Он почувствовал неподдельную искренность в этих его речах, и смысл этих речей для него был нов. Ведь он не знал, чем живут и кормятся художники, он полагал, что они как боги.

Но тут пошел занавес.

Концерт открывал народный хор, и на сцене теснились, нависая ряд над рядом, женские торсы и головы, а позади и выше их зияли разинутые рты мужчин — первая песня шла без объявления, все ее знали наизусть.

Он сразу нашел в этих рядах лицо Клары: на нем была печать особого смирения и кротости; ведь она еще поет в общем хоре, наравне со всеми, не подавая своего голоса в отдельности, еще не настал черед выделиться,— эти смирение и кротость были прямо-таки написаны на ее лице, на застенчиво потупленных ресницах.

И Алексей принял ее игру: он тоже решил до поры до време-

ни не замечать ее среди других, будто он ее не знает вовсе, чтобы потом она ему явилась в полной и ошеломляющей неожиданности — словно впервые.

Он заскользил взглядом по рядам, фигурам, лицам, одеждам. И надо сказать, что эти одежды стоили внимания. Может быть, они стоили гораздо большего внимания, чем само пение. Даже он, лишь коснувшийся тайн фольклора, определил, что это не те костюмы, которые обычно шьют из всяких дешевеньких пестрядей, украшают копейными лентами, стеклярусом, елочной мишурой, — о нет, тут было совсем иное, настоящее, пожалуй что и впрямь из тех заветных сундуков, о которых, задыхаясь от волнения и немощи, рассказывал своим студентам профессор Шамшин.

Бархат и парча коротких душегрей с богатыми оплечьями и свисающими долу рукавами — не для рук, а для красоты, — были затканы тусклым, облагороженным веками золотом и серебром. меховые оторочки, где лисьи, где куньи, а где и собольи, уже проредились, потеряли искру, обнажили светлый подшерсток, но по-прежнему мягко ласкали взгляд. А жемчуг на девичьих кокошниках, на поднизках, свисающих к щекам, был сероватым, усталым, он уже не излучал свет, а лишь вбирал его в себя, но не было ему цены. Ни один наряд и ни один убор не повторял другой, и тем краше были они все подряд и в сборе, в многоцветье — обмирал дух...

Алексей вдруг учуял в себе помимо восхищения еще и запыленную жадность вроде той, что овладела им на промтоварном складе, куда он завылся с ордерами — бери что пожелаешь, хватай побольше да получше, то да се, на сейчас и впрок, — и он устыдился этого чувства, ведь он был не так воспитан.

Он переключился на созерцание лиц. Горластые мужики и дородные тетехи не представляли для него интереса, поэтому круг наблюдения сразу сузился: в нем остались лишь девичьи лица, а их было предостаточно. Причем разглядывал он их не в праздном любопытстве, а как надлежит глядеть ученому человеку.

Хотя все эти девушки были не просто из одного народного хора, но и одного народа и пели они теперь на своем родном языке родную песню — как несхожи были они меж собой!

Уже примелькавшиеся тут ему соломенная белобрысость кос, бровей, ресниц, мучнистая белизна щек, оплеснутых румянцем, контрастно соседствовали с вороненым отливом гладких и жестких волос, разбегающихся от лба, при смугловатой, туго натянутой коже и смуглых губах. Круглые, будто у кукол, голубые и синие глаза, а рядом узкий и косой разрез век, диковатый разбег бровей к вискам, но поди ж ты, вместо законного угольного сверканья в таком глазу в нем влажно ходит все та же озерная синь. Широкоскулые, плоские, как шаньги, лица с задорно вздернутыми носами — и тут же лики постного иконного письма с тонкими переносьями. Янтарные глубины карих глаз, кольца рыжих кудрей, выбившихся из-под начальников.

Это было не просто случайное несходство черт, различие человека от человека, рода от рода, но различие коренное — племени от племени.

«...еже зовут югра и печера, иде же живут чудь и самоедь...»

А где тут югра, где печера, где чудь, где самоедь, где пермь, где весь, где ямь, где зимь, где любовь?

В этом хоре лица были как знаки, как буквы и складывались в строки, бегущие то ли слева направо, то ли справа налево, то ли сверху вниз, то ли снизу вверх, и строка следовала за строкой — наверное, тут можно было прочесть удивительный сказ о временах незапамятных, о разоренных очагах, потревоженных колыбелях, затоптанных пепелищах, о дальних и маетных кочевьях, о распряж и **союзах**, о пролитой крови, о породнившейся крови, о недолгой

славе и долгом бесславье — все это можно было прочесть, однако никто не постиг начертаний этих букв, никто не додумался сопоставить их в слова и понять значения, никто не сумел обнаружить начала и концы этих строк — никто, а ему зачем?..

Между тем народный хор во сто голосов дружно и согласно пел на своем родном языке родную песню.

— ...солистка Клара Истомина.

Алексей очнулся, вынырнул из тех бездн, куда завлекли его раздумья, проморгался.

Клара, покинув свой ряд, шла к авансцене мелким, еле улавливаемым под длинной юбкой шагком, глаза ее все еще были потуплены, а руки мяли кружевной платочек в смущении, подобающем юности. Но он догадался, что это было преднамеренной игрой, чтобы вызвать снисходительное умиление зала, а потом первыми же звуками ошеломить всех, кто тут был, весь этот зал повергнуть в изумление и трепет.

Ты явись, явись, алая заря, зорька светлая, денница ранняя...

Ей хватило этого запева, чтобы объявить свой голос — от самых низких нот, что доступны не женщинам, а дьяволицам, до звонких и чистых высей,— а дальше голос поплыл ровно, постепенно наполняя зал; в том и было необычное свойство этого голоса, его сила, что уже пропетые звуки не истаявали, не исчезали, а оставались витать в воздухе, приравливаясь к новым звукам и сливаясь с ними в одном ладу. Потому когда хор вошел с тихим припевом, то сперва показалось даже, что это не хор поет, а все та же одинокая девушка, стоящая впереди хора,— так богат и многозвучен был ее голос.

Станиславский, удивленно шевельнувшийся при первых звуках, теперь сидел окаменев, утвердив локоть на поручне кресла и уложив подбородок в ладонь.

Зал слушал, замерев, словно внимая чуду.

Да ведь это и было чудом, понял Алексей Рыжов. Тогда, на палубе «Тютчева», встречный ветер действительно срывал звуки с ее губ, не давая им мало-мальски расцвести, прозвучать, да еще и сам он запечатывал ее поющий рот поцелуями некстати, не ко времени, а вот сейчас ничто не мешало ей показать себя, какова.

Но поняв все это и осмыслив здраво, Алексей вдруг почувствовал, что в нем вопреки уму и разуму опять заворочалась досада: что она сейчас стоит там, на сцене, в такой недосыгаемости для него, и голос ее усугубляет эту недосыгаемость, и вся она до того далека и недоступна, что хоть сдохни у ее ног...

И, как она ни была далека, он дотянулся и вертким движением руки сорвал с нее кокошник вместе с шелковым донцем, лентами, жемчужными поднизками, сорвал — и сразу обрушилась сколотая в узел коса, расплелась, рассыпалась. Столь же быстро он расправился с ее душегреей, просто скинул с плеч, благо руки в рукава не продеты, рукава валандаются, висят бесполезно, для одной лишь красоты. Ага, вот теперь и осталась ты в одном лишь сарафанишке до пят, еще под ним льняная сорочка, тесемочки завязаны на поющем горле, дерг за конец — и ворот ослаб, раскинулся, распахнулась шея, приоткрылась грудь... озверев от вождения и страсти, он стиснул одной рукой ее гибкую поясницу, а другой начал срывать с нее все оставшиеся тряпки, расшвыривать прочь, прочь...

Но тотчас отпрянул, отвалился к спинке кресла, еле сдерживая надломившееся дыхание, испугавшись: да что же это он творит, разве можно?.. Ведь эдак она сейчас предстанет перед залом совсем нагая — во всей пленительной, и нежной, и укромной своей наготе. Разве можно?.. Этого тем более нельзя допустить, что во всем зале, среди всех

этих людей, во всем этом богом забытом Городе-на-Реке никто, конечно, не знал, никто и не должен был знать о том, какая у них любовь.

Клара смолкла, допев, согнулась в низком поклоне.

Зал громыхнул рукоплесканиями.

Алексей поспешил присоединиться к этим аплодисментам, чтобы занять свои слишком вольные руки, дать им доброе дело.

Настоящий Станиславский тоже отозвался парой вежливых хлопков узких и сухих своих ладоней.

— Неплохо,— сказал он,— даже больше того. Природные данные — я имею в виду голос — исключительные. Но над этим материалом работать и работать! — Он опять наклонился к уху соседа.— Пожалуйста, вы и в самом деле считаете, что ее не приняли в консерваторию из-за диктанта? Н-не верю...

— А из-за чего же?

Олег Васильевич помычал неопределенно.

— Там все гораздо сложнее... Ей нужно покровительство.

— Что? — напрягся Алексей.— Какое еще покровительство?

— Ну, протекция, если вам угодно.

— А почему... почему это м н е должно быть угодно? — того пуще распалился Рыжов.— При чем здесь я?

— Вы здесь ни при чем, разумеется,— покосился на него не без лукавства Олег Васильевич.— Но тогда почему это вас так возмущает?

Занавес закрылся, поколыхался несколько мгновений, затихая, обвисая, пузырясь на сквозняке, и опять раздался в стороны.

Подмости, на которых громоздился хор, уже успели убрать, и теперь на сцене были расставлены полукругом ярко раскрашенные кубики и бочата. Для собачек, что ли?..

Заиграла музыка, крышки бочат и кубиков враз откинулись, из них выскочили маленькие мальчики в беретах с перьями, пажескими епанчами за спиной, в сапожках со шпорами и маленькие девочки с пышными бантами в волосах, в растопыренных куцах юбочках, лаковых туфельках. У маленьких мальчиков были морщинистые капризные лица, а у маленьких девочек были ядерные бюсты и сверкающие блестящими ягодицы. Они, приветливо улыбаясь и размахивая руками, пошли навстречу публике, а из-за кулис стремительно вырвался рослый мужчина в черном цилиндре, во фраке с лоснящимися шелковыми лацканами и с такой же лоснящейся, откровенно испитой рожей, в руке трость с набалдашником.

— Лилипуты, цирк...— горестно искривил губы Настоящий Станиславский.— Еще цыган не хватает, эй, чавалэ... Все-таки провинция есть провинция. Пещерность! Боюсь, что мою «Нору» на афишах прочтут как «Норá», уже случилось.

— Ничего, зато публика повалит,— ободрил его Алексей.— Полагают, что детектив, все билеты раскупят мигом.

Олег Васильевич хмыкнул, оценив шутку.

— Разве что... А почему вас так раздражили мои слова об этой Истоминой?

— Не в Истоминой дело, а в самих словах,— уже спокойней объяснил Алексей.— Слова какие-то старорежимные: покровительство, протекция... тьфу.

— А как же это теперь называется? Просветите, если не секрет.

— Ну, блат.

— Блат? Так ведь это еще хуже. И само слово хуже, и то, что оно обозначает, хуже.

Режиссер громко рассмеялся.

Сидевший двумя рядами впереди Иван Дмитриевич Лапшин, председатель Комитета по делам искусств, пошевелил плечами, обернувшись, посмотрел в неудовольствии.

И тут надо воздать должное Станиславскому: он не стал делать вид, что это не он, а кто-нибудь из его соседей, нет, он тотчас пови-

нился, приложил руку к сердцу, покаянно опустил голову, уронив седые пряди, а повинную голову меч не сечет.

В перерыве Алексей направился напрямик за кулисы. Там вахтерша пыталась преградить ему путь, но спасовала перед красной книжечкой с оттиском «Северная звезда», пустила.

На площадке с кирпичными голыми стенами, у лестницы, крутыми коленами уходившей вверх, скользили степенными парами, парами встреч паре, девушки в жемчужных кокошниках и парчовых душегреях, будто на гулянье, будто бы в напрасном ожидании ленивых, заспавшихся кавалеров — ан нет, вот один молодец явился, да и тот без гармошки.

Наверное, хору еще предстояло петь в финале концерта, потому и не раздевались, не снимали с лиц помаду и румяна.

— Пожалуйста, позовите Клару Истомину, — тихо попросил Алексей одну из девушек, добавил на всякий случай: — Я из газеты.

Попросил одну и тихо, а услышали все, окружили его, заверещали наперебой:

— Истому? Опять про нее...

— А нам, выходит, ноль внимания от советской печати?

— Может, мы еще голосистей!

— И что у ней, у Клары, такое есть, чего у нас нету?

Зашлись в звонком хохоте, сами себя рассмешили.

Алексей вспомнил девчат с Белоборской запани, вот так же взявших его в оборот, когда он появился там, на сортировке, у кошелей, со своим блокнотом. Были они так же любопытны, так же бойки и задиристы, так же остры на глаз и словцо. Ему даже показалось, что это и есть те самые сплавщицы, только зима сняла с них загар, только побросали они свои багры, поснимали ситцевые косынки и выгоревшие майки, а вместо них надели вот эти кокошники и душегреи. При этом он еще подумал, что, наверное, не так уж далек от истины: ведь ясно, что большинство этих девчат наверховали в народный хор отовсюду, как вербуют на сплав, насобирали из заводских и сельских клубов, с бору да с сосенки, откуда же еще им взяться.

— А может быть, у вас к нашей Кларе личный интерес, а не общественный?

— Может, вовсе и не из газеты, проверить надо...

— Хватайте его, девчата, сейчас проверим!

Они еще рядились с ним, насмешки строили, но одна уже, дробно стукоча каблуками, взбегала по ступенькам.

А еще спустя минуту, повинуюсь законам девичьей круговой поруки, все они враз исчезли, растворились в кирпичных и суконных закоулках коридоров и кулис.

На опустевшей гулкой лестнице раздался приближающийся неторопливый и достойный стук сапожек, появилась Клара.

Она увидела его и не очень, похоже, удивилась, что это именно он, Алексей Рыжов, а не кто другой. Но не бросилась, не скатилась опроретью в его объятия, а напротив: остановилась на площадке, на стыке двух маршей, даже облокотилась на перильца, давая ему понять, что отнюдь не намерена спускаться ниже.

Как и товарки, она не переделась в обычное — значит, ей тоже еще предстояло петь. Грудь ее заметно, рывками, вздымалась и опускалась: то ли ее все-таки взволновала эта встреча (ведь сколько не видались, неделю, две!), то ли она еще не остыла от своего сольного выступления, от своего успеха, от аплодисментов зала — конечно, как не ошалеть от таких восторгов.

— Здравствуй, Клара.

— Здравствуйте, — ответила она вежливо, но холодно. И чтобы он не вообразил, что ослышался, продолжила тем же тоном и под-

черкнуто на «вы»: — С днем рождения вас, Алексей Николаевич, хоть и с прошедшим, но все же... долго-счастливо живите.

— Спасибо на добром слове.— Алексей перегнулся в поясе и кистью руки, как метелочкой, обмел кожаные носы своих бурок.

Он принял ее игру. Он понял, что она играет перед ним, разыгрывает сцену, и решил поддержать это представление.

А ведь и впрямь все кругом располагало к такой игре, соответствовало как нарочно.

Клара возвышалась над ним на площадке лестницы, как на крыльце богатого дома, и он успел сообразить, что такие высокие крыльца сооружали встарь не только для того, чтобы снежные сугробы, наметенные за долгую зиму, не могли, взгромоздясь, припереть дверь, но и для того, чтобы человек, явившийся под это крыльцо христарадничать, просить хлебушка либо чего иного, знал свое место — внизу, внизу, — чтоб стоял там, жалобно воздев очи, теребя на груди шапку, вот для этого.

Но у Алексея не было в руках шапки, он оставил свою пыжиковую шапку и свое новое зимнее пальто с черным каракулем в гардеробе, только номерок был в кармане, подтверждающий, что у него есть.

А она, Клара Истомина, стояла на этом высоченном крыльце не в чем-нибудь, а в настоящей, из заветных сундуков, драгоценной, шитой золотом и серебром парчовой душегрее на меху, а на голове у нее мерцал полумесяцем кокошник, и нитки жемчуга свисали холодными сосульями к разгоряченному от волнения или гнева щекам, — и было вполне наглядно, кто тут знатней, кто важней, кому просить, а кому давать. Или же не давать, был тут и такой по-таенный смысл.

— Клара, надо бы нам повидаться, — сказал Алексей, отмечая всю эту никчемную и уже надоевшую игру, сказал вразумительно и по делу: — Я после концерта дождусь?

— Нет, — покачала она головой, и жемчужные поднизки закачались, шелестя. — Ни к чему это. Как-нибудь переможетесь. И мы, бог даст, не помрем.

— Но я уезжаю, понимаешь?

— Слыхали. Что ж, добрый путь.

— Клара, — уже всерьез обеспокоился он, — надо поговорить... Что ты, право?

Она улыбнулась ему.

— Какие разговоры... Вы еще сами тут, а сердечко-то, поди, уже и в Москве? Или в Ленинграде?.. Что ж, мы в Москве тоже побывали, москвичек ваших повидали. Хулить не станем — королевы. Шляпки на них фик-фок на один бок, не то что мы, как старушки, в повойничках... А разговаривают как бойко: та-та-та да та-та-та... не то что мы, кулемы: то-то-то да то-то-то...

В глубине кирпичных коридоров, в лабиринте пыльных сукон и холстин требовательно заверещал звонок, перерыв кончался.

— Пора мне, — озабоченно сказала Клара. — Прощайте. Не поминайте лихом.

— Да ты что?.. — совершенно опешил Алексей. — Будто бы навсегда. Я ведь скоро вернусь, очень скоро. Только сдам экзамены — и обратно...

— А это уж как вам заблагорассудится: захотите — вернетесь, а нет — и нет... Вы птица вольная: куда захотите, туда и полетите. Кто вам указ?

— Но ведь ты... — Он все еще надеялся перевести этот странный разговор в шутку. — Помнишь, ты говорила, что можешь вызвать человека — где он ни будь, а все равно услышит. Вот ты меня и вызови. Найди и позови, чтобы я услышал, а? Я потом расскажу тебе, честное слово, слышно было или нет...

Но похоже, что для Клары эти его лукавые слова не были неожиданностью, она была готова к ним. Уголки ее губ опять дрогнули в улыбке, и она ответила так:

— А вот насчет этого мы еще подумаем — звать вас или нет.

Она бережно подобрала цветастый подол сарафана, откинула чуть вбок, чтоб не наступить да и самой не оступиться, и мерным цокающим шагом взошла по ступенькам лестницы, исчезнув с глаз.

11

На Ярославском вокзале, когда он сошел с поезда, царила суматоха.

То есть он и не видал еще таких вокзалов, где бы не было суматошно в урочные часы, а уж тут, на Ярославском, где поминутно прибытия-убытия, где за семафором — вся Россия, Север, и Сибирь, и Дальний Восток, тут всегда кипит и плещет через край.

Сначала он обрадовался этой знакомой круговерти, но тотчас уловил в ней какое-то особое смятение.

И на Комсомольской площади, где окна трех вокзалов пытались развеселить светом рано сгустившуюся мглу декабрьского вечера, где волглый пар катился из дверей и оседал на трамвайных перепутьях, — и здесь была суета всполощенного муравейника: не обычное деловое копошенье, когда всяк муравей знает свой путь и свою заботу, а суета тревожная, будто кто-то сунул в муравейник палку, пронзил насквозь, смешав заведенный порядок.

Алексей различил все же, что люди ведут себя не одинаково. Словно одни еще хотят поспеть на свой поезд, вскочить в вагон, когда он уже тронулся, а другие просто смирились с тем, что опоздали, что поезд ушел. Одни носятся как угорелые с выкаченными глазами, будто ищут вчерашний день и еще тешат себя надеждой отыскать его, вернуть, а другие — те медленно бредут как во сне, осознав, что потерянного не вернешь, пропади оно пропадом, душе легче, и от этого сознания вид у них гордый.

На стоянке он влез в такси, черный с белыми шашечками «ЗИМ», распорядился:

— Денисовский переулок, через Разгуляй.

— Это близко, — сказал таксист. — А пешком еще ближе.

Алексей и сам знал, что пешего хода здесь чуть, сколько раз бегал налегке, но сейчас он был с поезда и с чемоданом, а кроме того, ему хотелось подкатить к дому барином, чтоб видели из окон, жаль, что темно.

— Это близко, — повторил таксист, выруливая под эстакадой. — А тут до тебя один сел ко мне и давай мотать по Садовому кольцу вкруговую, пожалуй что витков шесть. Гонял-гонял, мотал-мотал, пока весь кошелек до копыя не проездил, и хоть бы раз в окошко глянул — нет...

— Ну и что?

— Да ничего. Сел — и по кольцу, лишь бы деньги сбыть, избавиться от них, во как!

Алексей догадался, что это, наверное, анекдот, байка, но он не понимал, какой в этой байке смысла, какая в ней мораль.

— А вам-то что? — отозвался он раздраженно и высокомерно. — Вам какая разница?

— Нам, конечно, без разницы, — поспешил согласиться шофер и дальше смолк, а ведь было видно, что так и тянет его на откровенную беседу.

Еще накануне в поезде Алексей почувствовал сгущенность атмосферы и странность в людях, особенно в тех, что подсаживались в дороге. Пили водку — много и жадно, им уже и в глотку не лезло, а на каждой станции все равно кидались в ресторан или буфет, на-

бирали бутылок, тухловатой снеди, возвращались в вагон и опять пили-ели, уминали с трудом и натугой и вновь бежали за добавком. А иные тоже скупали что ни попадя, все подряд в станционных лавках и на базарных столах, но не употребляли тотчас, а складывали в корзины и мешки, в запас, хотя это и был товар нестойкий, распродававшийся с такой же отчаянной торопливостью.

Бородатый мужик, севший в Коноше, повадился ходить из отсека в отсек, по открытым купе жесткого вагона, тыча бороду повсюду, высматривая, что у людей за багаж на полках и в ногах, что на них надето, что обуто, словно собирался грабить поезд на глухом перегоне и заранее намечал, что подороже, но не грабил, а предлагал цену.

Заметил Алексеевы фетровые бурки с отворотами, выманил пальцем в коридорчик, а оттуда в тамбур — Алексей захолодел, вдруг вынет нож да пырнет, — но тот лишь достал из-за пазухи плотный свиток банковских больших купюр, отлистал четыре, протянул — держи, мол, знай нашу щедрость, — Алексей послал его подалее, повернулся уйти, но тот удержал его за плечо, добавил три бумаги, Алексей не остался в долгу, тоже добавил к сказанному еще пару слов, ведь за словом в карман не лезть, но тот не обиделся, прилистал еще две, а это было уже много, впятеро против магазинной цены, размахнулся мужик, очень уж ему понравились бурки, Алексей, разозлясь, послал его совсем далеко, но тот не оскорбился, пренебрег, стал приценяться к пыжиковой шапке... С торговлей мужику не везло, пока за Вожегой не забралась в вагон бабка с шелестящими пахучими ворохами березовых хлестких сухих веников, везла на рынок в Вологду; мужик спросил, почем будет продавать, бабка сказала, что по деньгам, но не меньше чем будет стоять цена, а прикидывает она так и так за штуку, мужик поторговался с нею для виду, но оплатил сполна, как запрашивала, честно, поштучно, без скидки на опт, отсчитал ей деньги, и на ближайшем полустанке бабка слезла, крестясь, бормоча благодарности, дивясь своей удаче.

Конечно, и все остальные пассажиры, которые не занимались куплей-продажей, за всем тем учуяли неладное, подобрались в настороженном испуге, но недавний опыт подсказывал, что главное — не поддаваться панике, не суетиться, свое держать при себе, ждать, пока сообщат и укажут, а слухам не верить и тем паче самим не болтать лишнего, болтун — находка для шпиона.

При таких обстоятельствах поезд достиг Москвы 14 декабря 1947 года.

Оскальзываясь на заледенелом спуске, «ЗИМ» пересек Разгуляй и взял направо, в Денисовский переулок, притормозил у двухэтажного кирпичного дома, который весьма забавно старался возвыситься над своими двухэтажными же соседями, для чего был снабжен угловой башенкой со шпилем.

Таксист, отсчитывая сдачу, напомним все-таки:

— А тот, значит, кореш сел — и давай по Садовому кольцу вкруговую... Эх!

Дверь отворила тетка, тетя Надя. Всплеснула руками, оглядев его с головы до ног:

— Алеша, ты ли это? Не узнать... Как ты повзрослел, возмужал. И усы — полярник да и только!

— Здравствуй, тетушка. — Он поцеловал ее в щеку.

Разделся в общей прихожей коммунальной квартиры — тут все были свои, жили не таясь, не опасаясь, в доверии и согласии.

А в комнате ее была теплынь, теснота обители старой девы, пышная ее постель и ковровая тахта, на которой спал он, на столике у окна раздолбанная пишущая машинка «Ремингтон» с заправлен-

ным листом бумаги, а под абажуром с кистями, точно уместаясь в круге света, обеденный круглый стол.

— Чаю хочешь?

— О, давай... Вот по чему я соскучился, тетка, по твоему чаю! — намеренно подчеркнул он, зная, как она ценит свой секрет заварки из трех сортов и цветка жасмина (где только добывала в эти годы?), но чай был упоительным и сильным, бодрым, он и впрямь соскучился по нему, пробавляясь полгода столовским пойлом.

Домовито повесил на спинку стула свой верблюжий пиджак, вынул из карманов красную книжечку с серебряным тиснением и пухлый бумажник, папиросы да спички, стянул с запястья часы, все сложил горкой под правую руку — небрежно и напоказ.

Тетка внесла пышущий паром чайник, загремела чашками в буфете, поставила сахарницу — и он не сдержал улыбки при виде старой знакомой: ведь именно из этой сахарницы он воровал куски и сбывал их у булочной на Разгуляе для своих кавалерских надобностей, смех и грех, а ведь было.

Она уселась напротив, сама не пила и все разглядывала его пристрасно и подробно.

— Ты стал такой... значительный. Сразу видно, что себя нашел и перед людьми не робеешь. А уезжал совсем мальчишкой... Да, теперь ты похож на Николая, на отца. Он поражал всех именно этим смолоду еще: простой матрос, а личность... Ты в меньшей степени, но ты еще будешь.

Алексей прихлебывал чай, слушал, не подымая глаз.

Он ведь знал, что более всех была покорена этим — что простой матрос, а личность — сама Наденька Клеймихина, дочь карантинного врача Андрея Петровича, умершего в холерной вспышке, самостоятельная барышня с курсов стенографии. Она без памяти влюбилась в матроса с «Гангута», речистого революционера, храбреца. Дело шло к женитьбе, во всяком случае так полагали кронштадтские кумушки и спорили, поведет ли большевик свою невесту под венец. Как вдруг все сломалось. Комиссар Рыжов был срочно затребован в Питер, а вместе с ним, какой ужас, уехала младшая из сестер Клеймихиных, Любаша, служившая после гимназии в Морской библиотеке. Надежда Андреевна, не вынеся такого вероломства, тоже покинула Кронштадт, отправилась в Москву искать утешения, по-видимому не нашла, но устроилась там на работу в секретариат самого Бонч-Бруевича.

Алексей никогда не пытался проникнуть в эту семейную тайну — что и как произошло тогда, — однако его забавляла мысль о том, что он мог быть не племянником тети Нади, а ее сыном, но в таком случае была ли гарантия, что он родился бы самим собой, что он был бы он?

— Ты теперь куришь? Пожалуйста, кури, мне даже нравится... Скажи, Алеша, ты вернулся насовсем или еще поедешь в свою Арктику?... Да, а где ты узнал об э т о м? В дороге?

Она поставила слишком много вопросов сразу — попробуй ответь односложно, — но последнего ее вопроса он даже не понял.

— Узнал? О чем?

Тетка изумленно округлила глаза, скосила их на его толстый бумажник.

— Как? Ты не знаешь? Ты еще ничего не знаешь?

— Я трое суток ехал в поезде. Я ничего не знаю, — жестковато отрубил он. — В чем дело?

— Но ведь реформа, денежная реформа! Карточки отменили, а деньги — один к десяти, то есть десять к одному...

— Где газета? — Он высматривал вокруг.

— В газетах еще ничего не было, наверное, завтра будет. А се-

годня в шесть вечера передали по радио... Погоди, может быть, сейчас повторяют?

Она подбежала к ящичку на стене, повернула регулятор.

— ...количество денег, находящихся в обращении, значительно увеличилось, как и во всех государствах, участвовавших в войне... Знакомый голос диктора был так же внушителен и тверд, как в те поры, когда перечислял взятые города.— В то же время сократилось производство товаров, предназначенных для продажи населению... покупательная сила денег понизилась...

— А многие знали еще вчера, позавчера,— зашептала на ухо тетка.— Ты бы видел, как они исхитрялись...

Он поднял строгий палец, останавливая ее. К тому же он видел — в поезде. Но только сейчас понял.

— ...Обмен наличных денег на новые ввиду указанных ограничений затронет почти все слои населения. Однако этот порядок обмена ударит прежде всего по спекулятивным элементам, накопившим крупные запасы денег и держащим их в кубышках...

Бородатый мужик, шныряющий по вагону, опять возник в памяти. Он коварно выманивал его в холодный тамбур, доставал из-за пазухи плотный свиток купюр и, поплеывая на дрожащие пальцы, отлистывал бумагу за бумагой.

Внезапная радость пронзила Алексея: он понял, что бородатый остался ни с чем — с кучей замусоленных обесцененных денег и ворохами березовых банных веников, ну попарься на радостях... Ведь это про него говорят сейчас, это его, спекулянта, схватили за глотку. Значит, все правильно.

И еще одного человека он представил себе в этот момент, хотя никогда его не видел: недокулаченного кулака Игната Огузова, папаню Степана, разбогатевшего на живице, сочных слезах. А вдруг... вдруг это он и был, бородатый мужик в поезде, приценившийся к одеждам живых людей, предлагавший цену, чтобы пустить их по миру босыми и голыми? Ведь они проезжали как раз мимо тех мест, о которых говорил Степан...

Чувство утоленной справедливости было столь сладким, что Алексей уже вполуха слушал дальнейшее.

— ...при проведении денежной реформы требуются известные жертвы. Большую часть жертв государство берет на себя. Но надо, чтобы часть жертв приняло на себя и население, тем более что это будет последняя жертва...

Пусть так, он согласен. Хотя он еще и не успел сообразить, что же именно, какая жертва, тем более последняя, нужна от него лично.

— Ты можешь себе представить, Алеша? У меня на сберкнижке полторы тысячи на крайний случай...— опять вклинилась тетка, собиравшая посуду.— И вот позавчера Полина Аркадьевна, соседка, ты знаешь,— она указала на стену,— говорит мне: быстрее снимайте — пропадет, спишут все подчистую, я, говорит, уже все до копейки сняла и счет закрыла... Но я не поверила, не пошла. И вот результат: мои деньги в сберкассе теперь останутся целы — рубль за рубль, по номиналу, потому что сумма небольшая. А у Полины Аркадьевны теперь все сгорело на руках — пшик остался дым...— Она засмеялась и с некоторым усилием вернула лицу озабоченное выражение.— Мне так ее жалко. И вот еще послушай...

— Я спать хочу, тетушка,— честно признался он.— Трое суток ехал в поезде без места, такой достался вагон. Глаз не сомкнул.

Она застелила ему тахту, взбила подушки, погасила свет.

Наутро Алексей собрался было ехать в институт на Левобережную. По пути у Разгуляя завернул в сберкассе. К окошку тянулся хвост, и он с легкой усмешечкой наблюдал за теми, кто в напряжен-

ной тревоге ждал своей очереди, и за теми, кто отходил от окошка: одни в просветлении, успокоенные и благостные, некоторые даже крестясь украдкой — это те, у кого было мало; другие в обиде, но и в мрачной решимости наверстать — это те, кто середина на половину; а третьи еле отваливались и брели к дверям вспотычку, с помутившимся взглядом, с каким в представлении Алексея отходят от игорного стола в Монте-Карло, чтобы за дверью пустить себе пулю в лоб...

Все это было настолько интересно, что он даже не заметил, как сам оказался у окошка.

Вытряхнул на кон из бумажника, из карманов все, что имел (сразу ощутил на себе чужие вѣдливые взгляды, понял, что сам теперь в центре внимания), а ему взамен быстро отсчитали стопочку розовых, непорочных, нецелованных, даже не хрустких еще от новизны десяток да столбик сияющих гривенников. «Следующий!»

Он выскочил обратно на улицу, прикидывая в уме, что же у него на руках: остался он богат или остался совсем беден? Но это невозможно было представить себе реально, въяве до тех пор, пока он не узнает, что можно купить на эти новые деньги, что почем.

Добежав до трамвая, сел и поехал к Пушкинской площади — в главный гастроном, номер один, в бывший Елисейский.

Его чертоги сияли золотом. Люстры под высоченным потолком походили на фейерверк праздничного салюта — вот только что разорвалось да так и застыло россыпью огней. Зеркала, подобно окнам, отражали эти вспышки. А четверенные колонны, подпирающие своды, казались орудийными стволами, из которых сейчас снова ударит ликующий гром... восемнадцать... девятнадцать... двадцать... Пожалуй, несколько противоречили общему торжественному стилю торчащие там и сям вазы вроде скорбных урн, оплетенные никлыми стеблями нарциссов и кувшинок, вся эта декадентщина конца—начала века, весь этот томный модернизм.

Да и никто не разглядывал эти лепнины и позолоту, не дивился зряшной красоте.

Плотная, не продохнуть, толпа шархалась от прилавка к прилавку, грозя раздавить гнутые стекла, сокрушить искусно выложенные витрины. Но почтительное любопытство удерживало этот напор буквально на волоске, на грани — и дальше уже обшаривали глазами, шевелили ноздрями.

— Неужто все за так?

— Да не за так, а за деньги!

— Нет, я в смысле, что без карточек — свободно.

— Свободно, конечно, — плати, бери...

Ахали дружно и восторженно:

— Пшено какое чистое!

— Макароны хороши, в ребрышко, как до войны... Еще дитем помню.

— Сахар-то пиленький, а кусковой все же слаще...

— Вот жизнь пришла! И помирать не надо.

— Слава богу!

— Да не богу, а партии и правительству!

Алексей Рыжов не менее других любопытно, подробно и жадно рассматривал витрины, но успевал при этом попутно и приблизительно в уме прикинуть, что бы он смог сейчас купить на те новые деньги, которые выдали ему в сберкассе после пересчета десять к одному, на те, что лежали сейчас в его бумажнике, — и по мере движения вдоль прилавков, по мере этих соображений он чувствовал, как душа его опускается в пятки, как липкий холодный пот склеивает волосы под его пыжиковой шапкой, как ноги слабнут в коленках.

Не то чтобы все тут было слишком дорого — нет, все тут было и не слишком дорого и не слишком дешево, а вполне нормально, от-

того и радовались люди,— но вот денек у него, как оказалось на поверку, не было, почти ничего не было, шиш с копейкой.

Он уезжал из Города-на-Реке солидным, состоятельным, даже в известной степени богатым человеком, а приехал в Москву пустым, будто его обчистили в поезде.

Он вошел в этот Елисеевский гастроном, еще чувствуя себя принцем, а вышел нищим.

У него оставалось во всей совокупности чуть более студенческой стипендии, на которую он куковал прошлую зиму, а ведь ему и мать высылала, и еще он приворовывал из теткиной сахарницы,— но кто теперь станет покупать из его протянутой ладони эти жалкие кусочки возле булочной у Разгуляя, если сахара теперь повсюду полным-полно без карточек, плати-бери...

Нет, ехать нынче в институт не имело смысла. Он мечтал заявиться туда в ином настроении, в ином виде: преуспевающий журналист, полярник, кум королю. Ему не хотелось являться туда тем, кем он снова сделался в одночасье: бедным студентом.

Алексей свернул за угол и побрел домой кружным, дальним путем, бульварами, сперва под уклон, Страстным. Надо было хоть отдышаться на морозце, распрямить согбенную спину, пошире раздвинуть ребра.

Мимо, названивая лихо, вроде касс в Елисеевском, будто бы нарочно его дразня, пронесся трамвай «аннушка». Ничего-ничего, звени, поглядим, как ты взвоешь на Трубной, как заскрежешь, карабаясь на отвесный монастырский подъем у Рождественки, у Сретенки, как застонешь — ох тяжело, круто...

Тяжело, круто.

Но все-таки надо разобраться здраво: что же произошло, где он сам дал маху, где глупо обмишулился, как мог предотвратить случившееся бедствие? А никак, никак не мог. Другие не смогли, а уж он и подавно... Правда, тетушка вон бахвалится, что убереглась: небольшие суммы на сберкнижках пересчитали один к одному. Значит, и ему, угадай он заранее, следовало разложить свой капитал на несколько счетов по самой малости... Где? В Городе-на-Реке? Но ведь он уезжал оттуда, уезжал в Москву. Как ему было отправляться в столь дальний путь и на столь долгий срок, может быть даже насовсем, и без денег? Одна дорога во что обошлась. Не на подножке ведь было ехать, не пешком топать — с котелком по шпалам.

А потом, когда уже почуял неладное, что ему было предпринять: скупать у вагонных старух березовые веники? Или гонять такси по Садовому кольцу вкруговую, пока шуршит в кармане? Что за чушь.

Винить себя было не в чем. Он не мог оставить деньги там, в Городе-на-Реке. Он все увез с собой и поступил мудро. Ведь и впрямь еще неизвестно, вернется ли он туда, захочет ли. Тем более теперь... А ведь и там кое-кто откровенно сомневался, что он, уехав, возвратится. Клара Истомина — вон как сурово повела она с ним последний разговор, как ушла безоглядно и гордо... А Семен Ильич Улитин, редактор «Северной звезды», каким он тоном вначале сказал ему: «Стало быть, уезжаешь?» — а уж потом... Что было потом?

Стоп.

А что было потом?.. Вот где, кажется, подспуд его уныния, вот что томит его душу ощущением личной опрометчивости, вины, ошибки, глупости — не чьей-нибудь, не посторонней, не судьбинной, а своей собственной... Да-да, так и есть!

Аванс — три тысячи. В счет будущих намолотов. Но ведь он отказывался, не хотел брать, заверял, что у него и так вполне достаточно. А Улитин поучал: «Совет на всю жизнь — никогда не отказывайся от денег, дают — бери...» И позвонил тотчас в бухгалтерию

Анне Сергеевне, чтобы дали. И, наверно, она его остерегала: мол, ходят слухи. Потому что Улитин на это ответил едко: «Я слухам не верю, мне ТАСС на стол кладут...»

Ему, Алексею Рыжову, почти силком навязали эти деньги. Три тысячи, которые он теперь оставался должен редакции. Притом отдавать их надо не теми старыми деньгами, что ему выдали, а новыми, нынешними, которых у него нет как нет. И хотя эти три тысячи превратились в пшик, в триста рублей, отдавать придется все три тысячи... Вот как его нагрели. Неужели нарочно?

Он поскользнулся на ровном месте, на ледяной дорожке, припущенной снегом, сел на задницу. Вот так. Огляделся, вставая: впереди был Земляной вал, он уже перебрался с Бульварного кольца на Садовое.

Да, похоже, что нарочно. Вероятно, и Улитин знал, что будет денежная реформа, — как ему не знать, ведь редактор, высокое начальство. Уж если бухгалтерша что-то знала, то он и подавно. И он решил таким вот хитрым узелком намертво привязать его, Алексея, к своей сворке, чтобы он не смог убежать, чтоб даже не пытался, чтобы обязательно и непременно вернулся в Город-на-Реке, а не вернешься — мы тебя, голубчика, востребуем законным порядком, ты нам денежки остался должен, и мы с тебя их взыщем. Алло-алло, прокуратура? Здравствуйте, товарищ Габов, вы, кажется, брат нашей Анны Сергеевны, бухгалтерши, впрочем, это не важно, мы вполне официально, вот какое у нас к вам дело, один, понимаете ли, субъект, может быть, даже вы с ним знакомы...

Алексей не сумел сдержать тихого, но горестного стога. Остановился, похлопал себя по карману брюк, достал пачку «Норда», изодрал — там была последняя, осыпавшаяся вполовину папироса, — закусил, зажег, затянулся дымом, сразу охолодевшим на стуже.

Кабы раньше знать... кабы знать...

В дальнем уличном створе виделось отсюда здание багровой окраски с белыми прожильями, похожее на мясную тушу в Елисейском гастрономе, оно филейным округлым боком высунулось на самый Разгуляй.

Он знал, что это Инженерно-строительный институт. Но он знал и гораздо больше об этом старинном здании, потому что жил неподалеку, знал, чем оно знаменито, им рассказывал на первом курсе профессор Шамшин. Это здание принадлежало когда-то Мусиным-Пушкиным, здесь была несметная библиотека, в которой хранился единственный подлинный список «Слова о полку Игореве», он сгорел в московском пожаре восемьсот двенадцатого года, сгорел в этом самом дворце вместе со всей библиотекой, все тут выгорело, одни стены остались... А если бы знать заранее? Кабы знать. Ведь тогда б его можно было перепрятать — одно лишь «Слово!» — в другое место, понадежней... но где оно было — понадежней? Кабы знать...

При всем кощунстве подобного сравнения — каких-то жалких денег и бесценного «Слова» — Алексей вдруг понял, что ему сейчас открылась извечная и самая важная забота человечества: кабы знать... кабы знать заранее... если бы люди знали наперед, чему главная цена.

Но даже от этого прозрения душе его не стало легче.

У самого дома столкнулся с дядей Колей Фетисовым, одним из теткинских соседей по коммунальной квартире. Он шел, по-видимому, с работы и был заметно весел. Сначала Алексею даже показалось, что дядя Коля возвращается домой навеселе, что бывало с ним, но дядя Коля Фетисов уловил эти его подозрения и развеял их прямой речью:

— Здоров, Алеха, давно не видались, знаю, что вчера приехал. Вот сейчас и отметим. И приезд твой отметим, и реформу заодно —

оба праздника... Ты вот думаешь, что я выпивши, а я ни в одном глазу, просто веселый. Я еще только собираюсь, гляди...—Он вытянул горлышко с белой сургучной печатью из косого кармана замасленной своей шоферской телогрейки.—И тут—гляди...—Такое же потянул из другого кармана.—Митьку, сына, в армию забрали, мать не пьет, одному скучно, а ты как раз мне и попался. Посидим.

Они уже сиживали не раз, дядя Коля Фетисов почитал святым долгом угостить соседа, бедного студента, хотя они, студенты, и сильно грамотные, и много о себе понимают, но бедны, беднее некуда, надо их жалеть, студентов, надо угощать.

Однако Алексей сразу же обратил внимание вот на что: дядя Коля Фетисов наверняка знал не только о том, что он был в долгом отъезде, на Крайнем Севере, но и о другом (тетка не могла не разболтать об этом всей коммунальной квартире) — что он работает там журналистом, печатается в газете, купается в известности и славе и, соответственно, очень много зарабатывает, просто гребет деньги лопатой. Дядя Коля Фетисов обязательно должен был знать об этом, и он был вправе ожидать, что вот сейчас молодой сосед по коммуналке наконец-то оплатит ему за все бывшие угощения тоже знатным угощением, позовет к себе, достанет из одного кармана, из другого кармана... Но дядя Коля Фетисов, похоже, вовсе не рассчитывал сейчас на это. Может быть, он углядел наметанным глазом, что карманы добротного черного пальто Алексея Рыжова явно ничем не отягощены. Или сразу же понял по его унылому лицу, что дела его неважны, что пока он не сильно разбогател, что у него не праздник. И он, дядя Коля Фетисов, отнесся к нему по старой памяти сочувственно и покровительственно, как надлежит относиться к неимущим и бедным студентам, святой долг.

— Пошли, Алеха,— сказал дядя Коля Фетисов, обняв его за плечо, когда они взошли на второй этаж.

— Спасибо, сейчас,— поблагодарил он,— разденусь только.

Тетка была дома.

К счастью, она с присущей ей легкостью характера не стала внимательно изучать выражение лица племянника, а сразу же высказала всю меру нетерпения, с каким его ждала:

— Послушай, Алеша... один декабрист встречается другого декабриста...

— Какой декабрист? — удивился он.

— Как, разве ты не знаешь? Их всех теперь называют декабристами.

— Кого их?

— Ну тех, кто погорел на реформе. Уже полно анекдотов. Вот послушай...

— Не хочу. Это совсем не смешно.

— Ну пожалуйста, Алексей, я ведь так тебя ждала — рассказать!

— Нет,— отрезал он, взявшись за ручку двери.— Я к Фетисовым.

Дядя Коля Фетисов, умытый, посвежевший, сидел уже за столом. Тетя Наташа, его жена, выставляла на стол еду: разварную картошку, квашеную капусту. Дочка Тамара на подоконнике готовила уроки и, оглянувшись на гостя, игриво мотнула косицей: подросла.

— Я говорю,— продолжал свою прямую речь дядя Коля,— нам один хрен, нам ничего не страшно, все нипочем! Кубышек у нас нету, сберкнижек у нас нету. У кого жертвы, а у нас жертв нет. Мы вчера из той полочки последний рубль истратили, а сегодня нам полочку новыми деньгами сполна выдали — держи, мать, тут все тебе в наличии, ликуй, хозяйствуй...— Он шмякнул деньги об стол.— Рабочему классу ничего не страшно. Мы просто живем. Сами не жулим — и нас не обжулишь. Верно я говорю, Алеха?

Алексей на всякий случай согласно кивнул, хотя и не ощущал своей непосредственной причастности к рабочему классу, но он все-

ми помыслами был с ним и безоговорочно признавал его ведущую роль.

Дядя Коля Фетисов откупорил бутылку и разлил в два стакана.
— Будем живы — не помрем! — провозгласил он.

За то и выпили.

— Вам лишь бы она была, что на старые, что на новые, — проворчала тетя Наташа, но в ее ворчбе не было злости, а лишь обычное добродушное смирение. — Ну теперь хоть цена у ней своя, не коммерческая, не у спекулянтов, а то — всё на нее, всё ей...

— А вот я вам сейчас расскажу! — еще более оживился и поспешил дядя Коля Фетисов, закусив огурцом. — Один декабрист встречается другого декабриста...

«Значит, правда», — подумал Алексей.

— Один другого и спрашивает: «Что, Иванушка, не весел, что головушку повесил?» А тот ему отвечает: «Все накрылось, не успел я старые деньги пристроить... А ты?» А другой говорит: «Я-то успел, купил костюм и кресло...» «Так чего же ты сам такой невеселый?» «А что мне с ними делать? Костюм водолазный, а кресло гинекологическое...»

Алексей тоже хохотнул для порядка, но покосился при этом опасливо на тетю Наташу, на Тамару.

— Они не понимают, — успокоил его дядя Коля Фетисов. — Давай еще по капле.

«Да, права тетка — полно анекдотов... Когда успели сочинить? Ну народ».

Они выпили еще по полстакана.

— Значит, Митя в армии? — как подобает вежливому гостю, проявил интерес Алексей, да и на самом деле ему это было интересно, ведь они с Митей были ровесники. — А где он служит?

— Из Семипалатинска письма, а дальше — полевая почта, — отозвалась охотно на этот вопрос тетя Наташа.

— Он в автомобильных войсках, — с не меньшей охотой и гордостью пояснил дядя Коля. — Хорошо, что по шоферской линии пошел. Как я. Это, Леха, специальность!.. Ну а ты? В каких таких краях? Не в тех же?

Алексей хотя и прихмелел, однако уловил мгновенный промежуток между словами о специальности и о каких таких краях. Он обозначал, что дядя Коля Фетисов держится неважнецкого мнения о его, Алексея, специальности, хотя и вряд ли в точности представляет, какова она, но все же надеется, что хоть края ему, Алексею, достались приличные, не хуже, чем их Мите.

Он сказал.

Дядя Коля, вдруг икнув, поставил свой недопитый стакан на стол.

— Это как же...

— А что?

— Это кто ж тебя туда... приговорил?

— Никто, — пожал плечами Алексей. — Я сам.

— Са-ам... — пораженно выдохнул дядя Коля Фетисов.

Тетя Наташа, с женской чуткостью угадав, что разговор приобретает неловкое для гостя направление, поспешила вмешаться:

— Да чего ты, Николай, привязался к человеку? Зачем обижаешь?.. И пусть. Везде люди живут и везде они всякие. Не бывает такого, чтоб в одном месте одни хорошие люди жили, а в другом одни плохие. Везде пополам.

— Нет, я что? — извиняющимся тоном поспешил замять неловкость хозяин. — Я ничего, везде, конечно...

Алексей задумчиво и медленно вращал на клеенке свой граненый стакан — поворачивал его к себе то одной, то другой гранью,

присматриваясь к каждой. Нет, его не сильно ошеломили эти высказывания. В ином случае он просто отшутился бы по этому поводу, осмеял бы столь темное невежество. Или даже сумел бы пылко защитить те суровые, но прекрасные края, которые здесь по незнанию пытались охаять. В ином случае... Однако сейчас он не искал средств защиты и не испытывал никакого желания вступаться за те обиженные края. Потому что именно в тех краях, как это сегодня выяснилось, его самого жестоко и несправедливо обидели. Обманули. Обобрали. Пустили нагишом по белу свету... Сейчас Алексей и сам вдруг почувствовал резон в прямом вопросе, заданном ему дядей Колей Фетисовым: мол, кто приговорил?.. И была нестерпимая горечь в его же собственном ответе на этот вопрос: никто, я сам.

Но понимая, что нельзя так откровенно демонстрировать перед чужими, в сущности, людьми, теткинскими соседями по коммунальной квартире, свое отчаянье, свое полное разочарование в жизни, Алексей, пересилив тоску, поднял голову, улыбнулся, сказал:

— Ерунда. Полный порядок на корабле. Налейте-ка мне, дядя Коля... Давайте за Митю!

Этот тост его был так удачен и своевременен, что даже тетя Наташа, хоть и не пила она, сразу под села, налила себе чуток, пригубила растроганно, а дочка Тамара отвлеклась на миг от своих постылых уроков и ласково улыбнулась Алексею: подросла.

— А вы, дядя Коля, сейчас где работаете? — спросил чуть погодя Алексей и по наезженной репортерской привычке дополнил вопросом: — Как трудовые успехи?

— Насчет трудовых успехов тоже не жалуемся, — ответил хозяин. — Работа у нас теперь, можно сказать, самая главная по всей Москве, самая видная: высотные дома. Слышал про них? Ну вот... Готовим площадки. На Смоленской площади, угол Арбата, старье крушим — там высотка станет, двадцать семь этажей. А щепень оттуда возим на Дорогомиловскую набережную, близко, через Бородинский мост, отсыпаем у пивзавода, бутим, там места низкие, берег топкий — тоже высотка станет, тридцать шесть этажей. Во как: тридцать шесть! Мотаемся туда-сюда, весело. Чем не жизнь?

Он, приклонившись, положил руку на колено Алексею, заглянул ему в глаза.

— Я, Леха, еще на улице издали все увидел: что не повезло тебе, парень, что огорченье тебе вышло с этой реформой, как говорится среди нашего брата-шоферни — прокол... А ты на это плюнь. И не горюй. Разве это беда? Это не беда, Леха. Все беды — они позади, там, на войне. Знаешь, что такое беда?

Дядя Коля Фетисов заскорузлыми пальцами слупил, как яичную скорлупу, белый сургуч с горла второй бутылки.

— Я вот тебе расскажу...

— Опять про то? — спросила тетя Наташа, неодобрительно глянув то ли на эту новую бутылку, то ли на самого супруга.

— Про то, — подтвердил он. — А ты не касайся. Тебе это хоть сто раз слушай — не понять. И ему тоже не понять. И я сам понять этого ни в жизнь не смогу, а все равно рассказывать буду. Слушай, Леха... В январе сорок пятого наступали мы в Восточной Пруссии с юга на север, Второй Белорусский, артбригада, резерв Главного Командования. Гаубицы сто двадцать два миллиметра, на мехтяге, конечно, на «ЗИСах», — хорошо шли. Очень быстро мы наступали, километров по сорок в день. А дорога — асфальтовое шоссе, хоть и грязь кругом, но катишься будто по улице. И немцев нигде не видно: хоть мы и быстро шли, а они драпали еще быстрее. Который день наступаем — противника не видать. Будто нет его совсем. А говорят, что до моря, до Балтийского моря, осталось всего триста километров. Понимаешь, Леха? Сбросить их в море — и конец... Давай. Живи.

Они чокнулись гранеными стаканами.

— Но мы, артиллерия, хоть и на мехтяге, а за танками все равно не поспеваем, оторвались от нас танки, вперед ушли,— продолжил дядя Коля, утерев рот.— А пехота за нами не поспевает, ведь она пешком — пехота. Так что мы без танков, а пехота без артиллерии... И бензовозы отстали. Оторвались мы от своих тылов. А немцы, как ты смекаешь, для нас бензохранилищ не приготовили, не оставили, нет, все сожгли... Вошли мы в город Марунген — опять же без боя. Гляжу на стрелку: осталось всего четверть бака и у других не больше. Надо бы, конечно, дожждаться, пока подойдут заправщики. Заночевать бы надо... А генерал на «эмке» примчался, кричит: «Почему остановились? Двигаться дальше без остановок! Преследовать противника! Не давать ему передышки!...» Полковники объясняют: горючки, мол, нету, застрянем на полпути... А он: «Слушай приказ! Второй полк, слить бензин первому. Немедленно. Первый полк — на марш! Второй полк, ночуй, жди...»

Глаза дяди Коли были устремлены на окно, будто что видели там, в темноте ночи, в темной памяти войны.

— Я во втором полку был. А в первом полку — дружок мой, москвич, тоже с нашей базы шофер и звать его тоже Николай, Сысоев Коля. Вместе мы призывались и от самой Москвы до самой Восточной Пруссии шли с ним вместе. Вот ему-то я и слил бензин из бака в бак, будто кровушку ему отдал свою, будто я ему донор... а вышло...

Дядя Коля Фетисов прикрыл глаза ладонью.

— А наутро в Марунгене этом узнали мы сначала тихим слухом: первый полк напоролся на «тигров» — немцы прорывались на запад, танковая колонна шла поперек шоссе, а тут... Я потом видел... Ребята наши даже орудия развернуть не успели. Всех их «тигры» передавили, всех перестреляли, ни одной машины не оставили, ни одной живой души... Я, Леха, видел это своими глазами: лежит дружок мой Коля Сысоев, промятый гусеницей надвое...

Голос дяди Коли истончился до младенческой тоньшины и вот-вот грозил надорваться.

Даже дочка Тамара обернулась на этот голос с материнской заботливой жалостью: подросла.

— Вот тебе и весь мой сказ. Нет, не весь еще... А если бы другой приказ был: «Первый полк, слить бензин второму» — то это я лежал бы там на земле раздавленный, не тот Коля, а я...

— Ладно, хватит плакаться.— Тетя Наташа забрала бутылку.— Себя вон до слез довел и молодого парня вогнал в тоску...

Но Алексей хотя и сам чувствовал, как соль пощипывает глаза, но не от этого рассказа вошел в тоску, расчувствовался до такой крайней степени. Потому что он уже слышал этот рассказ неоднократно, когда прошлой зимой они сжививали вот так же с дядей Колей Фетисовым.

Ему самого себя было жалко до слез. Его после выпитого еще круче взяла обида на то, как с ним обошлись жестоко и несправедливо. И еще после выпитого в нем родилась жажда протеста, жажда мщения за причиненное зло.

— Спасибо,— сказал он, вставая.— Мне было очень приятно. Поверьте... Спокойной ночи.

И решительно направился к себе.

В теткиной комнате на тумбочке подле ее постели сидела нахоженная сова, мраморный ночничок, полый, источающий мутное сияние, а свиные зеленые глаза уставились прямо на него, когда он открыл дверь, и проважали недобрым пристальным взглядом, когда он, спотыкаясь и шаря, искал свою тахту.

— Черта с два,— сказал он ей,— выкуси.

— Я не понимаю, о чем ты,— произнесла сова теткинским голосом.— Ты задержался так поздно и, кажется, очень много выпил.

— Не твое дело! — заявил он сове.

Между прочим, эти близко посаженные, лезущие в душу совиные глаза были точь-в-точь как у Семена Ильича Улитина, только у того глаза были масленисто-темные, липучие, а у этой твари зеленые и острые.

— Я верну! Все верну до последней копейки... — сказал он сове, стаскивая поочередно свои фетровые бурки и размышляя, не запустить ли одним из бурок... одной из бурок... или обеими вместе прямо в эти нахальные немигающие глаза. — Я завтра же пойду на Москву-Товарную, буду таскать мешки, разгружать ящики — я весь день буду таскать мешки и ящики и всю ночь до самого утра! Я заработаю своим горбом эти три тысячи и вышлю их обратно по почте — получите и распишитесь, — все-все до последней копейки, я ничего и никому не должен, нет!..

— Ты всю прошлую зиму собирался на Москву-Товарную, но так и не собрался, — едко напомнила ему сова. — Все-таки это занятие не для тебя, нет... ты белоручка, ты нашей породы, ты в Клеймихиных, хотя твой отец..

— Что-о? — Алексей угрожающе рванул на груди исподнюю рубаху. — Кто белоручка, я? Да мы... мы из Кронштадта!..

— Не кричи, — попросила сова миролюбиво, хотя и чуть насмешливо.

Но тут его осенила новая яркая мысль, он даже удивился, почему она не пришла ему в голову раньше.

— Что, я — декабрист?

Он поднялся, ступив босыми ногами на холодный пол, вскинул руку, возвысил голос:

Во глубине сибирских руд храните гордое терпенье...

Но дальше позабыл, хотя и знал с детских лет наизусть.

Подождал, надеясь, что сова ему подскажет. Но она хранила молчание.

— Ладно, — махнул он рукой и повалился на подушку.

— Алеша, проснись... может быть, это срочно... Ты слышишь? Проснись...

Его тормозила за плечо несильная, но настойчивая рука.

Он с трудом разлепил веки. Лицо тети Нади, огромное, как луна в телескопе, близко нависало над ним.

— Что?..

Мозги его еще ворочались в спиртных парах, неохотно перестраивая извилины с хмельного сна на похмельную явь. В ушах гудело. Смерд витал у ноздрей.

— В чем дело?

— Тебе повестка. — Тетка протягивала ему листок бумаги. — Нет, не повестка, а извещение, но я подумала: вдруг это очень срочно?

Сердце Алексея заныло, напоминая, что беда одна не ходит.

Он взял этот шершавый слепой печати листок, пробежал глазами. Слава богу, это была не повестка, а всего лишь извещение. И не из милиции (за что же его в милицию?), а из отделения связи, с почты. Печатными буквами: «На ваше имя получен...» — и торопливый чернильный росчерк — «т. п.». Что за «т. п.»? Еще чернилами же проставлен номер: «2700». Пачкающий штампель, сегодняшнее число... Что бы все это могло означать? Но он уже был относительно спокоен, убедившись, что милицией тут не пахнет.

Тетка вышла на кухню с чайником — греть. Это был утвердившийся негласный ритуал, дававший ему время надеть штаны.

Он надел штаны, натянул бурки, высунулся в коридор — щель под дверью уборной была темна, свободно, — ринулся туда, а потом уже с полотенцем на плече вошел в кухню, поклонился, сказал об-

щее «Доброе утро» Полине Аркадьевне, варившей в кастрюльке кофе, тете Наташе, крошившей на доске сырые картофелины, собственной тетушке, поскольку спросонья не успел ей пожелать, и принялся наскоро ополаскиваться над железной раковиной, ведь ванной комнаты в квартире не было, все умывались на кухне.

Через десять минут он уже рысил по горбатым скользким тротуарам Денисовского переулка к Разгуляю.

Немолодая почтариха, заглянув в извещение, покачала в сомнении головой, затребовала паспорт. Он дал. Она долго листала страничку за страничкой, перебрасывала пытливый взгляд с фотокарточки на его припухлую колючую физиономию (не догадался забежать в парикмахерскую, а на щеках торчала дорожная щетина недельной давности), поискала в деревянном ящичке, вынула оттуда голубую бумагу с поперечными белыми полосками телеграфной ленты, спросила напрямик:

— Откуда ждете?

— Ниоткуда,— ответил он, потому что и в самом деле ничего ниоткуда не ждал, ему нечего было ждать, он и так уж всего дождался, нахлебался обид, разочаровался в жизни.

— Но все-таки? — сердито переспросила почтариха.— Откуда вам могут быть деньги, телеграфный перевод?

Ах вот оно что. Вот что обозначает «т. п.»: телеграфный перевод, деньги. Это хорошо. Он судорожно вздохнул, сказал:

— Из Ленинграда.

Конечно, ведь он всегда получал именно здесь, на этой почте, скромные переводы из Ленинграда, позволявшие ему, бедному студенту, влачить существование. Откуда еще было ждать ему помощи в этот бедственный час как не от родной матери, у которой он был единственным сыном. И хотя обычно она высылала ему деньги почтой, он нисколько не удивился тому, что на сей раз перевод был срочным: ведь она знала, что он едет в Москву, а затем в Ленинград к ней, и могла себе представить, в каком положении он очутился, прибыв в столицу.

— Нет,— покачала головой почтариха,— придется доложить начальству.

Сгребла его паспорт, извещение, голубую бумагу, направилась куда-то во внутренние покои.

Сердце Алексея опять тревожно сжалось, но он объяснил себе это тем, что из сердца постепенно уходят разгорячившиеся и раздвинувшие его пары — вот почему оно так сжимается.

Появилась толстая дама в синем кителе, исполосованном молниями ведомства связи. За нею обруганно и покорно плелась несговорчивая почтариха.

— Пожалуйста, заполняйте, товарищ,— сказала дама, вручая ему голубую бумагу.

Перевод был не из Ленинграда, а из Города-на-Реке.

Алексей спотыкающимся взглядом пробежал полоски телеграфной ленты: цифры, буквы, слова, словосочетания, безгласные знаки препинания. В глазах четко высветлилось: «Две тысячи семьсот рублей». Но тотчас помутилось, расплылось. Он проморгался, заглянул снова: «Две тысячи семьсот рублей... перерасчет аванса...»

Ну правильно. Ведь иначе и быть не могло! Ему выдали деньги авансом, вперед, в счет будущих гонораров. Потому что никто и никак не мог знать заранее, что будет денежная реформа и этот аванс, все эти деньги превратятся в дым... Кто мог предполагать?

Но ведь реформа не касалась тех заработков, тех денег, которые будут после нее. Что после, то после.

— Заполняйте,— повторила дама в молниях и ушла к себе.

Алексей припал к обрызганному чернилами столу. Слегка подрагивающим казенным перышком начал заполнять оборот бланка. «Две

тысячи семьсот...» Пардон, а почему всего лишь две тысячи семьсот? Ведь ему выдали авансом ровно три тысячи... Нет, все правильно. Ему выдали три тысячи, а после реформы при пересчете десять к одному они превратились в несчастные триста рублей, однако эти триста рублей остались у него на руках, стало быть: три тысячи минус триста — выходит ровно две тысячи семьсот. Все правильно.

Все учтено, все разумно. Есть правда на земле. Мир справедлив и прекрасен.

— Вот гляди-ка, ввели новые деньги,— достаточно громко сказала сердитая почтариха своей напарнице, заляпывавшей бандероли вонючим сургучом.— Ввели, чтоб не было у одних лишку, а у других пшишку. Так нет же: сразу некоторым отваливают большие тысячи...

«Ну вот уж это не твое дело»,— злорадно промолчал Алексей Рыжов.

— Будьте любезны,— сказал он, возвращаясь к барьеру.

Она, облизывая пальцы, начала отсчитывать ему его большие тысячи.

— Пожалуйста,— выложила вместе с паспортом,— пересчитайте.

— Ну что вы,— улыбнулся Алексей.

Он вышел на улицу. Уже сгинул утренний поздний сумрак, и хотя декабрьское небо было затянуто облачной слоистой пеленой, невидимое солнце насыщало его веселым светом, а роившаяся снежная пыль была искрометной.

Дворники крушили ломami слезавшийся и смерзшийся за ночь намет. Он похрустывал под ногами, под кожаными толстыми подошвами его бурок. Алексей шагал степенным шагом, чуть выпятив ту сторону груди, где был тугой бумажник, как ходят уверенные в себе и сильно денежные люди. Упоенно вдыхал морозный свежий воздух.

Теперь он окончательно понял, что быть деловым и обеспеченным человеком, преуспевающим журналистом все-таки гораздо лучше, чем бедным студентом.

Он всматривался попутно в лица людей, спешащих навстречу, обгоняющих сбоку, снующих поперек — здесь, на перекрестке Разгуляя, всегда было полно народу,— и ему казалось, что он безошибочно читает на этих лицах знаки пережитых тревог вчерашнего, позавчерашнего дня. Правда, он догадывался, что это могли быть уже и новые заботы, новые тревоги, сегодняшние, а те, что вчера, уже почти и забыты, пережиты, где они, все миновало, все минет.

«Нет-нет...— вдруг подумал он о себе с двояким чувством — удовлетворения и насмешки.— Нет, я не декабрист».

12

В Останкине лязгнула и осталась нараспашку дверь тамбура, добавив грохота и холода, отъехала и эта дверь, пропустив увечного мужика. Одним плечом он опирался на костыль, на другом висела гармошка, мехи не состегнуты, еще дышали. Инвалид окинул мутноватым взором ряды скамей — петь или не петь?— но вагон был почти пуст, человек пять разрозненно приткнулись в углах, на самую слезную песню здесь не возьмешь и полтинника, и вообще такой жалкий круг слушателей не стоил искусства; сплунув, он заковылял дальше, оттолкнул дверь в следующий тамбур, лихой сквозняк пронесся по вагону.

Алексей похвалил себя за то, что выбрал не самый пиковый час для этой поездки. А ведь, бывало, из утра в утро, доскакав, отдуваясь, до Октябрьского вокзала, он еле втискивался в переполненную раннюю электричку — тут и рабочие, и студенты, и торговки, и ворье, и пьянь,— чтобы успеть к началу лекций в институт.

Еще он вспомнил, как впервые ехал в Химки, с тревогой и тоской считая остановки от Москвы. «Полпути до Ленинграда», — горько подумалось тогда.

Больше всего он боялся вернуться туда блудным сыном, признать свое поражение, признать деспотичную правоту матери. Она настаивала, чтобы он после десятого класса держал экзамены в Ленинградский университет. А он ни за что не хотел оставаться в Ленинграде, рвался в Москву, которую еще ни разу не видел, а тетка звала приехать к ней, он уверял мать, что его мечта и цель — непременно столица, Московский университет. На самом же деле ему просто хотелось избавиться от материнской докучной опеки, от которой он отвык еще в детдоме в Городище и не хотел привыкать заново, — он жаждал воли.

В сквере на Моховой на широкой парадной лестнице, взбегающей к колоннаде университета, гомонила несметная толпа молодежи. Там были и совсем желторотые вроде него, Алексея Рыжова, трясающиеся в лихорадке над своими аттестатами зрелости и метриками, над своими шпаргалками. Но была там и совсем иная молодежь, взматерелая, решительная, которая вовсе не тряслась, а лишь потряхивала, позванивала серебром и латунью медалей на выгоревших кителях и застиранных добела гимнастерках. Эти хлопывали друг друга по плечам, дымили махрой, серьезно разглядывали бедра проходящих женщин, вели увлеченные беседы: «...нет, это на Фридрихштрассе, если пройти под эбаном, а потом взять левой...» — «Мне сам генерал Лелюшенко...» — «...гляжу, в морском порту на памятник среди убитых я зачислен, фамилия моя, инициалы тоже...» — «...только бы грамматика не подвела, а остальное — семечки...».

Алексея смутила не сама жестокость конкурса — семнадцать человек на место — и не то бесспорное правило, что фронтовикам будет оказано предпочтение в приеме, это было вполне справедливо. Но его тогда поразила сама мысль, явившаяся ему одним из первых его озарений: что эти парни, которые были всего лишь тремя-четырьмя годами старше его, уже сделали самое главное дело своей жизни, и сделали его на совесть, до конца, до последней точки, пожертвовав всем, чем они располагали, не пожалев ни крови, ни молодых своих лет, и теперь они обладали безусловным правом вершить свою судьбу — учиться до помрачения ума или вкалывать до седьмого пота, карабкаться по ступеням власти или плодить детей, хлобыстать водку или петь по поездам, но все это в раскладе на десятилетия, на всю отмеренную им дальше жизнь, было лишь дополнением к уже сделанному ими делу, хвала и слава.

Вот тогда на Моховой он и услышал, как один смурныга рассказывал обморочным девицам, что в Библиотечном институте недобор, полная гарантия, но это в Химках.

Алексей забрал в приемной комиссии свои документы и поехал на электричке в Химки. Дорогой он тоскливо считал остановки: Рижская... Петровско-Разумовская... НАТИ... Он уже догадывался, что это примерно на полпути обратно к Ленинграду, где мать предвкушала покаянное возвращение блудного сына.

За окошком промелькнули багровые кирпичные стены цехов «Моссельмаша», и опять потянулось чистое поле, укрытое плотным снегом, иногда царянутое мелкоколесьем.

Черные провода взмывали к белым чашечкам на телеграфных столбах, снова съезжали вниз, разгонялись, набирали прыть и опять взлетали на перекрестья, чтобы опять расслабленно провиснуть и вновь вознестись.

Пустынное Ховрино поезд миновал без остановки, и Алексей направился к выходу, потому что следующей была платформа Левобережная.

Он украдкой прошибнул по коридорам, хотя вначале и было желание показаться во всей своей полярной красе и солидности бывшим сокурсникам.

Однако сильнее был страх столкнуться нежданчай с профессором Шамшиным, который при всей своей стариковской рассеянности мог опознать его; остановить, схватить за шиворот: «А-а, Рыжов? Наконец-то явился. Ну где ты был, на Печоре? Я помню, что ты ладился ехать именно на Печору... Где же сказы? Давай-ка сюда, братец, сказы!»

А сказов не было.

В деканате заочного отделения гримза в пуховой шали пролиста-ла его зачетку.

— Рыжов... Да-да, мы получили ваше заявление, еще было ходатайство из какой-то редакции о переводе вас на заочное, а потом был приказ, да... Но зачем вы приехали? Мы вас не вызывали.

— Как зачем?— оторопел он.— Сдавать экзамены, зачеты... я подготовился.

— Очень хорошо. Но сдавать-то вам нечего, у вас наперед все сдано. На заочном программа растянута, вместо пяти шесть лет, а вы целый год учились на очном. Но вам все это сейчас лаборантка объяснит. Лиля, объясните ему что и как, вот, возьмите зачетку.

Он повернулся к другому столу, а там сидела Лилька Панкратова, знакомая девушка, даже больше чем знакомая, однажды целовались. Алексей направился к ней, сказал растерянно:

— Здравствуйте.

— Здравствуйте,— ответила она и, заглянув в его зачетку, повторила:— Здравствуйте, Алексей Николаевич.

Ему почудилось, что в ее голосе и в том, что она назвала его на «вы» и по имени-отчеству, прозвучала та же самая отчужденная надменность, которая была в тоне Клары Истоминой, когда накануне его отъезда она разговаривала с ним свысока с лестничной площад-ки за кулисами филармонии.

— Да, фольклор и древнерусская у вас сданы... история СССР сдана... по языкознанию зачет, по античной зачет... французский сдан...

Подавленный этой ее отчужденностью — за что же они все так с ним суровы?— он обиженно понурился.

Но тут Лилька Панкратова, покосившись на гримзу в пуховой шали, медленно подняла лицо все в ореоле пепельных легких и самосветящихся завитков, приласкала его синевою глаз, а губы, сведенные в тугую бутон, обмякли улыбкой. Она была податлива и прелестна, как тогда, однажды.

— Между прочим, Рыжов, вам как заочнику нужно учесть еще одно обстоятельство,— опять вклинулась гримза.— Там, где вы теперь живете и работаете, есть какой-нибудь вуз?

— Есть, конечно,— подтвердил он, с усилием оторвав взгляд от Лилькиных губ.— Там есть Педагогический институт, довольно крупный, пять факультетов.

— Вот и хорошо. Вы можете некоторые предметы сдавать там, на месте. Например, политэкономия, историю, языки... все, кроме специальных дисциплин, определяющих профиль нашего института, понимаете? Лиля выпишет вам направления — и сдавайте на доброе здоровье, ведь это очень удобно. У вас будет больше времени на подготовку профилирующих предметов. А мы, конечно, будем вызывать вас на сессию.

— Я сейчас выпишу,— подтвердила Лилька, подмигнув.

А он, уловив ее глаза, повел головой на дверь — мол, выйди за мной, разговор есть. Она кивнула.

Торец здания был рассечен сверху донизу застекленным проемом, минующим один за другим все этажи подряд, и это было лю-

бимое место бесед, хотя и не скажешь, что было оно слишком укромным, все на свету.

Лилька выскочила минут через пять.

— Ты где же это пропадал? Уехал — и без вести... Думали, тебя медведи съели.

— Не съели. Я все тебе расскажу, — Алексей положил руку на ее плечо, — и ты мне все расскажешь. Давай махнем в Москву в ресторан, теперь ведь они все открыты... Отпустит тебя эта гримза?

— Отпустит, она не вредная, не гримза. А нас, бедных девушек, всегда заочники приглашают: они народ богатый, широкие натурры, не то что... Нам не впервой.

— Ладно, — весело стерпел он ее дерзость. — Просись.

— Только мне надо будет домой заскочить переодеться, чтоб затмить, понимаешь?

— Ладно, — стерпел он и это, зная, что Лилька живет рядом с институтом, она была здешняя, химкинская.

Они перебежали железнодорожные колеи под самым носом налетавшего в грохоте и клубах пара товарняка.

— Жди здесь, — приказала она, — чтоб в нашей деревне не судачили, будто я кавалеров меняю слишком часто. Дурачье, дикари. Ведь это меня бросают — за то, что я строгих правил...

Она убежала, хрустя по снегу фетровыми валеночками.

По эту сторону, откуда поезда шли на Москву, лес подступал почти вплотную к платформе. В загустевших сумерках лапы старых елей сделались совсем черными, но на округлых стволах берез еще можно было различить, где у них белое, а где чернь по белому, а на голых сучьях рябин заметно рдели несклеванные замороженные гроздьи.

В деревьях стояли дома — с решетчатыми оградами и калитками или же глухими, порядочной высоты заборами, поверху зубья, неча лезть; кое-где снаружи стены были обиты рейкой, окрашены, даже в затейливой резьбе, сразу видно, что не избы, а дачи, но другие откровенно выставляли напоказ свои бревенчатые венцы, как бы заверяя, что тут не для праздного отдыха, а для жизни; у одних окна были темны и даже заколочены на зиму досками, а из других тек оранжевый и розовый свет, процеженный абажурами, уютный и сладкий, наводящий на мысли о поздних чаепитиях, об игре в лото, о шепотливых и горячечных захолустных барышнях, — но Алексей не знал, в каком из этих домов жила Лилька, он не уследил, в какую калитку она заскочила, и никогда не был у нее в гостях.

Они познакомились ровно год назад... нет, почти год назад, тогда уж стоял февраль сорок седьмого, да-да, в ночь на девятое февраля, накануне выборов в Верховный Совет РСФСР. К вечеру сильно похолодало, столбик в термометре пал к тридцати ниже нуля, но ветра не было, все окрест забил неподвижный и вязкий туман, в трех шагах не видать ни зги, огни фонарей расплылись и едва сочлились, поезда шли на ощупь, беспрерывно и тревожно сигнала.

Алексей был агитатором. Ему, как и другим, надлежало в шесть утра обежать дома своего участка, торопя избирателей, чтоб к десяти было сто процентов, а если кто заболел — к тому придут с урной. Пришлось заночевать в институте, тем более что по радио сообщали: в Москве в черте города тоже густой туман, нулевая видимость.

Члены избирательной комиссии разбрелись по аудиториям, прикорнули на скамьях, укрывшись пальтишками. А молодые агитаторы ночь напролет грели задницы на батареях парового отопления, курили, болтали о том о сем, молодым без сна вполне возможно обходиться, им только без жратвы нельзя.

Вот тогда Алексей Рыжов и пленился от безделья и бессонницы девушкой в пепельных легких кудрях, с заманчивыми синими глаза-

ми. Выяснилось, что живет она здесь, в Химках, на Левобережье, пыталась поступить в Библиотечный институт — ведь рядышком, — но ляпнула что-то невпопад на экзамене, ее не приняли, зато устроилась работать лаборанткой, а на следующий год попробует опять, вот и все, Панкратова Лиля.

Они спустились в зал, где все уже было готово для голосования: столы комиссии с табличками алфавита, кабины, занавешенные желтым плюшем, вокруг кумач и даже герани в горшочках. Она спросила, как он думает, обязательно ли заходить в кабину, ведь могут подумать про человека, что он там вычеркивает. Алексей объяснил ей, что заходить все-таки надо, иначе, если все будут топтать прямо к урнам, получится, что заходят только те, кто против. Он предложил ей: давай заглянем; она согласилась. Вот там-то он одной рукой задержнул поплотнее желтый плюш, а другою обхватил ее талию и почувствовал, как она гибка и податлива, прилип к ее свежему рту, и черт знает что бы еще случилось, если б кто-то снаружи не кашлянул строго, — они проглядели, что кто-то есть, вылетели стремглаз, как пули, в коридор...

Алексей оглянувшись, увидел, как Лилька семенит по тропинке обратно к платформе в туфлях-лодочках, дырявя наст высокими каблучками, а шелковые ее чулки уже до колен облеплены снегом.

Ресторанный зал был в подземелье, в глубоком подвале, без единого оконца, ни щели наружу, с низким сводчатым потолком. Он по недавней военной памяти сразу внушал мысль о бомбоубежище. Но, пожалуй, любой москвич или даже не москвич, а обычный человек, хоть пару недель потерпавший в столице, уловил бы здесь и другое несомненное сходство: с метро, с его колоннадными либо сводчатыми подземными залами, где в досталь сияющих люстр и плафонов, мрамора и бронзы, где вместо окон веселят глаз витражи и живописные панно, залитые солнцем в любую погоду и в каждое время года, — все как там, но в отличие от метро здесь еще витали упоительные запахи сочной баранины, ворочающейся на шампурах, цыплят, румянящихся под гнетом, репчатого лука, орехового соуса, трав, молодого вина и крепкого кофе.

Он мысленно похвалил себя за то, что из всех известных ему понаслышке московских ресторанов выбрал именно «Арагви», он не ошибся и, наверное, Семен Ильич Улитин, который, провожая и напутствуя, советовал ему хорошо гульнуть в столичных кабаках, тоже одобрил бы этот выбор.

— Ой, не могу я больше терпеть... — пожаловалась Лилька и, отломив кусочек горячего лаваша, который им уже поставили на стол, впилась белыми зубами в белое тесто.

Алексей ободряюще улыбнулся, он и сам подышал с голоду, у него кружилась голова от всех этих запахов, от предвкушения.

— Послушай, — сказал он, — ты меня всю дорогу расспрашивала и расспрашивала о Севере, обо мне...

— Ну да, мне же интересно!

— Я понимаю, — он наклонил голову снисходительно и польщенно, — но ведь и мне интересно: как ты?

— А что я? — отмахнулась Лилька.

— Ты собиралась снова поступать в институт. Поступила?

— Нет. Я раздумала.

Он вылупился на нее, тем самым выражая недоумение и неодобрение.

— Просто не захотела — и все. А зачем? Я и так работаю, получаю свой много-мало. А если даже выучиться — пять лет мозгами трясти, на заочном шесть, — потом что?.. Те же самые много-мало, в какой-нибудь библиотечке Бабаевского выдавать. Да еще зашлют по

распределению в тмутаракань вроде твоей, нет, ты, конечно, извини, может быть, в твоей кисельные берега... А я не хочу.

Алексей по-прежнему выражал молчаливое неодобрение.

Тогда она рассердилась вдруг, отложила хлеб и показала зубки:

— Ах, ах... Все учатся-мучатся, без этого как же, да? Ну так я и про тебя могу: ты-то зачем на этом Севере застрял? Скажи честно, Лешенька, хороший мальчик, скажи девочке правду!

— Я? — воздел он плечи в праведном изумлении, ведь всю дорогу ей рассказывал. — Я...

— Я да я, заякал. — Лилька отважно и прямо смотрела на него. — Ты сам не захотел учиться, вот что. Скучно тебе стало. Поехал туда, не знаю куда, а там тебя приголубили, пригрели, дали заработать, чтоб ты себя человеком почувствовал, а не студентом... вот тебе и понравилось, вот ты и застрял.

Алексей не сдержал усмешки, настолько позабавила его чушь, которую несла Лилька Панкратова. Ну и забавные девчонки водились в Химках, несут невесть что, что им в голову взбредет, что на язычок попало. Он уличил ее прямым доводом:

— Но видишь, я приехал. Приехал сдавать экзамены. Я просто не знал, что у меня все сдано.

— Вот-вот, — закивала она. — Так заочники и учатся: им лишь бы сдать. Они не учатся, а сдают. Сдал — и забыл. Им даже для этого все удобства: сдавай где хочешь, только чтоб роспись была. Я-то знаю, ведь я на заочниках сижу! — Она подумала, добавила: — Нет, конечно, есть и другие... есть такие, что просто не могут на очном: возраст, семья... и грызут гранит сами, честно грызут, но это редкость — фанатики... а остальные — им лишь бы диплом получить. Нет, Алеша, ты поверь мне: учиться надо на очном, на лекции ходить, слушать, у нас ведь хоть и далеко, а профессура какая!

— Знаешь, — унял ее примирительным тоном Алексей, — я сегодня больше всего боялся, что вдруг мне навстречу Павел Петрович Шамшин, а у меня перед ним должок...

— Ты зря боялся. Павел Петрович умер прошлой осенью. Его похоронили на Рогожском кладбище, на староверческом, он, говорят, был старой веры...

Алексей замолк подавленно, хотя эта новость и не показалась ему такой уж неожиданной и чудовищной. «Сказитель — сказатель... спаситель — спасатель... — пронеслось воспоминанием. — Жилец — не жилец...» Он еще тогда подумал. Но вместе с тем эта новость вызвала в нем какую-то растерянность. Потому что вдруг оказалось, что он никому ничего не должен. Никаких сказов, ничего и никому.

Но тут подошел официант и, перегнувшись в поясище, начал выставлять на крахмальную скатерть яства: фасоль в густо-коричневом соусе, насеченную крупными ломтями лиловую капусту, зажаренный на противне сыр, какие-то потроха с торчащими петушиными гребешками, рыбу в прозрачной дрожалочке — все это уверенно выбрала в меню сама Лилька Панкратова, она откуда-то знала, а он, Алексей Рыжов, впервые видел, и у него при одном лишь виде всего этого потекли слюнки.

Официант откупорил бутылку «Хванчары» и налил в бокалы красного вина, ушел.

Они чокнулись с Лилькой просто так, ничего не пожелав друг другу, потому что, как понял Алексей, еще оставалось неясно, им еще предстояло выяснить, чего они желают друг другу и друг от друга; помимо того, что она — вся в своих легких и светлых кудрях, со своими юными яркими губами, увлажненными красным вином, — была для него и раньше желанна, сейчас он ощутил это с грубой определенностью; но она смотрела на него поверх накраенного стекла изучающими и внимательными глазами, похоже, что она еще не знала точно, чего бы ей от него желалось, ей надо было еще выждать,

подстеречь момент и тогда понять, зачем же он ей, либо просто поинноваться тому, что подскажет ей это красное молодое вино.

Алексей, смакуя, чередуя глотки, тянул негустое, слегка вяжущее язык вино и радовался, что Лилька заказала именно его, потому что, признаться по правде, ему уже осточертело лакать водку и спирт, ладно бы еще только там, на Севере, но ведь и тут, в Москве, у дяди Коли Фетисова. Он вообще в своей жизни так и не успел попробовать хорошего вина, сразу начал с гадости, он вообще много чего не успел еще попробовать в своей жизни.

Вот, к примеру, эти великолепные панно кисти самого Ираклия Тоидзе, вписанные меж сводов подземелья. На одном у бирюзового ласкового моря, под сенью кипарисов колхозники и колхозницы обрывали с виноградных лоз упругие спелые гроздья и бросали их в плетеные корзины, а у некоторых эти корзины были уже с верхом, полный трудодень, и они отдыхали, сидели и полеживали возле этих корзин, глядя на море, распевая народные песни. А на другом панно, что напротив, были горы, вершины которых покрыты вечными снегами, а у подножья этих гор деревья гнулись под тяжестью налитых плодов, их тоже срывали и складывали в плетеные корзины, но и эти корзины были полны доверху, и уже складывать было некуда, поэтому сборщики плодов, колхозники и колхозницы, завели пляс под звуки народных инструментов. Посреди круга он и она. Он в папахе и черкеске с газырями, в мягких, как перчатки, сапогах, летит, почти не касаясь земли, вынося коленки, разметав рукава, а она мелко семенит ножками, талия у нее узка и длинна, ресницы потуплены, а черная тонкая бровь, огибая переносицу, продолжается другой бровью. А все вокруг хлопают в ладоши и кричат «ас-са!».

Он в детстве ни разу не был у Черного моря, не видел гор. Ему так хотелось в Артек — он видел в кино, как они там плещутся и загорают, пионеры, а он тоже был пионером. Он просил родителей, чтоб достали ему путевку, шутка ли, отец — бригадный комиссар и мать при должности. Но они ему терпеливо объясняли, что в Артек просто так не посылают. Туда, во-первых, посылают отличников учебы, а уж он, Алеша, постыдился бы, что принес за четверть. Кроме того, в Артек отправляют детей, совершивших геройские поступки: один помог задержать на границе диверсанта, другой предотвратил крушение поезда, а третий приехал из Абиссинии. С этим, конечно, спорить не приходилось, он ничего подобного не совершил. Но когда в «Максимке» (так кронштадтские ребята называли меж собой кинотеатр имени Максима Горького, что размещался в Морском соборе), — когда он видел там, на экране, орды артековцев, бегущих по песчаному пляжу купаться в море, а они почему-то бежали купаться, даже не сняв пионерских галстуков, он просто ужасался: сколько же это диверсантов лезет через границы, сколько поездов едва не летит под откос, сколько народу понаехало из Абиссинии и сколько же, оказывается, развелось зубрил, у которых по всем предметам отлично... Так он и не достиг своей мечты, ведь он был обыкновенный и заурядный мальчик, тридцать шесть и шесть. А потом началась война...

Алексей еще раз с завистью оглядел лазурное Черное море, в котором ему ни разу не довелось искупаться, горы и кипарисы, которых он так и не повидал в натуре. А теперь он уже вышел из артековского возраста, состарился и оставалось лишь мечтать о роскошном санатории в Ореанде, куда Семен Ильич Улитин каждое лето ездил гонять пузыри. Впрочем, Ореанда и Артек — это в Крыму, а тут, на живописных панно, был Кавказ.

В соседнем зале зарокотали барабаны и бубны, завизжала зурна, затренькали тари.

Он почувствовал под столом, как ожили, заиграли, касаясь его колен, Лилькины колени.

— Жалко, что здесь, в «Арагви», не танцуют,— сказала она,— правда?

Алексей промычал в ответ нечто неопределенное, потому что эти колени его окончательно повергли в дрожь, даже рука задрожала, когда он потянулся к бутылке «Хванчкары» налить снова.

Но рука его замерла, не дотянувшись. Он вернул ее, поднес близко к глазам растопыренные пальцы. Он только сейчас нечаянно заметил, что на них нет бородавок. Там, где еще совсем недавно топырились трещиноватые твердые зернышки — ведь он обращал внимание, когда умывался, когда стриг ногти,— там теперь было совсем чисто, белые лунки выходили из-под гладкой и ровной кожи, а дальше шел округлый розовый ноготь. Он вдруг подумал, что не та рука, посмотрел на другую, но там тоже ничего не было, а он хорошо помнил, что бородавки у него были на правой руке, на той, в которой он держал карандаш, чтобы записывать несусветный и дикий сказ бабки Окси, а Клара заметила эти бородавки, накинула нитку на сустав его пальца, велела молчать, сама помолчала — и в этом молчании был ее заговор. Еще она велела ему обязательно верить, но он не поверил, а просто забыл. Но вот, ей-ей, бородавки еще совсем недавно были, а теперь их не стало. Он ошеломленно разглядывал свои пальцы, шевеля ими, будто рачьими ногами,— какие чистые пальцы.

— Ой, как же я не догадалась...— Лилька отпрянула к спинке стула.— Да ведь у тебя там кто-то есть. Конечно, есть! Вот почему ты и застрял... А я, дура, не догадалась сразу.

— Я не понимаю, что ты имеешь в виду,— поспешил возразить Алексей.— То есть что значит — есть?

Он испугался, что эта ее догадка может спутать все его планы. А ему так сильно хотелось эту белокурую Лильку, хоть дави ее прямо здесь, в подвале, он никак не мог допустить, чтобы какие-то догадки, какие-то бородавки могли оказаться помехой.

Снова появился официант и положил перед Лилькой распластанного цыпленочка, ножки врозь, зарумянившегося и нежного, а для него содрал с шампюра набрякшие, еще в дыму ломти шашлыка.

Алексей заметил, что Лилька долго колебалась, соображала над сосудиком с чесночным запашным соусом, но потом решительно и бесповоротно оплеснула им своего цыпленка. Оторвала ножку, вгрызлась, отерла губы, сказала:

— Ладно, Алеша. Давай начистоту... У меня тоже есть.

Ее синие глаза смотрели на него очень серьезно и взросло.

— Есть. Это тако-ой роман, что можно умереть! Но я не хочу. Я жить хочу... Мы скоро с ним расстанемся навсегда-навсегда. Потому что он — женатик. Разрушить я не смогла, не то что постеснялась, а не добилась — там еще детки плачут... Вот и вся любовь. К Новому году мы и покончим, потому что Новый год встречают в семейном кругу... Ты где будешь под Новый год, в Москве?

— Само собой,— обескураженно лепетнул он.— Наверное.

Он просто еще не успел задуматься над этим вопросом. Ведь он всего лишь несколько часов назад узнал, что ему нечего сдавать, что у него все сдано, никаких долгов, никаких хвостов, что ему вообще незачем было приезжать в Москву, никто его не вызывал, а он взял да и приехал. Ему еще только предстояло обдумать, куда же деваться и как убить время. А тут еще эти неуместные дознания Лильки Панкратовой и ее же, вовсе некстати, собственные признания.

— Я еще не знаю.

Куда ему было деваться? Ехать в Ленинград, встречать Новый год в семейном кругу, с матерью? Он не хотел, это было слишком обыденно и скучно. Пить водку у дяди Коли Фетисова, слушать в десятый раз про то, как сливали бензин? Тоже не шибко весело. Возвратиться в Город-на-Реке? Но там бы его наверняка не поняли: какой же дурак своей волей вернется встречать Новый год в Городе-

на-Реке... Не выгнали ли его, случаем, из института, что так быстро вернулся? Не дала ли ему Москва от ворот поворот?

Однако Лилькины глаза теперь смотрели на него уверенно и даже весело, кажется, она сама наконец поняла, зачем он ей, на что годится, какой от него прок.

— Меня пригласили вдвоем — ну, с мальчиком, с парнем, — а я одна, у меня нету парня, всех разогнала, вот ты и будешь, Лешенька. Мы с тобою вместе встретим Новый год, а там поглядим, ведь знаешь: что под Новый год приснится, то и сбудется...

— Это где же? В Химках? — поинтересовался он несколько надменно и брезгливо, все-таки он был не мальчиком, а солидным человеком, журналистом и полярником, он мог себе позволить быть разборчивым в знакомствах. — А к кому?

— О, это такая семья — очень, очень... — угадав его согласие, радостно затараторила Лилька. — Это здесь, в Москве, в самом центре. Но родителей дома не будет, они куда-то уходят. Будет только молодежь — много, и все такие интересные: один из Большого театра, а другой пианист, и еще... А Светлана, хозяйка, — она учится в МГУ на филологическом. Мы с ней подруги вот с таких... — Лилька показала ниже столешницы. — Понимаешь, мы на Левобережной рядом живем: у нас дом, а у них дача, еще с до войны, и каждое лето мы с нею вместе. Мы со Светкой еще в куклы играли, землянику собирали, купались в реке... у нас еще и тут ничего не было, — она коснулась своей груди, вставшей на дыбки, усмехнулась, — а у нее и сейчас нету, но некоторым нравится. Она черненькая, вот такая...

Лилька показала на живописное панно, где среди корзин с фруктами скользила, потупя ресницы, красавица с тонкими бровями и осинной талией.

— Но она не грузинка, а это... — Лилька наморщила лоб. — Я была, как называется, всегда забываю. Светлана Дагирова. Я после вспомню.

— Там, наверное, складчина, — сказал Алексей, доставая из кармана плотный бумажник. — По сколько?

— Да что ты... У нее папа знаешь кто? Ого-го! А дочка одна, ее балуют. Все у них будет, ничего не надо. — Она рассмеялась. — Нет, надо. Усы, пожалуйста, сбрей. Они тебе не идут. Будто ухарь, а ведь ты не ухарь.

Официант поставил перед ними чашечки кофе, блюдце с сахаром.

— Мы встретимся с тобой у метро, у «Дворца Советов», в девять вечера. Пораньше, надо Светке помочь — нет-нет, у них домработница есть, но ведь я ее самая лучшая подруга, надо помочь хотя бы для приличия, стол накрыть... Так что жди меня ровно в девять. Знаешь, где «Дворец Советов»?

Алексей кивнул вполне определенно. Он уже хорошо знал Москву, особенно вблизи метро.

— И еще последнее, — сказала Лилька. — Ты меня в Химки не провожай, нет. Если хочешь, то только до вокзала. Поздно, туда еще ничего, а обратно электрички не дождешься. Нет, ты не спорь... — Она наклонилась к нему близко. — Я ведь знаю, что там будет, в Химках. Ты меня у калитки зажмешь, будешь добиваться, а я все равно не дам, а ты обозлишься — и все. Зачем?

Он раскрыл пачку «Северной Пальмиры», постучал мундштуком папирасы по крышке, пахнул дымком. Да, тогда если так, то, конечно, вряд ли стоило тащиться в Химки. Чуть ли не полпути до Ленинграда. А зачем, если незачем?

— Ты разве куришь? Но ты красиво куришь, а вот он — как кушает... — Лилька отмахнулась досадливо. — Ладно, заживет. Теперь плати — и пойдем.

Алексей поискал глазами официанта.

Он приехал раньше условленного срока и теперь стоял под арочкой с неоновой красной буквой «М» там, где Бульварное кольцо обрывается у Москвы-реки, чтоб возобновиться и продолжиться у Яузы.

Из дверей метро валил народ: взбудораженный, заполошный, торопливый, какой бывает только в новогодье, несли битком набитые сумки, аккуратные магазинные свертки, коробки с тортами в пестрых перевязях, авоськи, где все на виду, и деловые портфели, звякающие потаенно, из сумок, а у кого и просто из карманов выглядывали фольговые горлышки шампанского, — вываливались из тепла на мороз, подыхивая паром. А с мороза в тепло в другие двери вваливалась такая же плотная толпа, и здесь были все те же приметы: кошелки, свертки, авоськи, коробки, фольговые горлышки, — и даже казалось, что это одни и те же люди, эдакие шалуны, весельчаки, вбегают в одну дверь и, покатавшись на эскалаторе вниз-вверх, выскакивают из другой двери: а вот и мы, ха-ха.

Появился дядек с лохматой елкой на плече — торопись, пора наряжать, ведь скоро полуночный звон, но дядек никуда не торопился, поставил елку наземь и, слегка покачиваясь, хотя ветра не было, оперся на нее же. Алексей понял, что продает, что праздноует загодя.

Он взглянул на часы, однако до девяти еще оставалось минут двадцать, и он решил, чем так стоять, прогуляться вокруг да около. Тем более что его внимание привлек громадный пустырь, погрязший во мраке. Со всех сторон, со всех этажей лился свет бесчисленных окон, уличные фонари высвечивали круженье тихих снежинок, гирлянды иллюминации перекинулись через улицы, совсем близко жарким угольком накалилась в вечернем небе звезда кремлевской башни, — а тут, в соседстве со всем этим щедрым светом, стыл черный и бездонный мрак.

Алексей пересек Волхонку и вышел на край котлована. Он был так обширен и глубок, что казался кратером вулкана, разверзшегося не на вершине горы, а, наоборот, в низине, в пади. В этой яме угадывались свои возвышения и свои провалы, кое-где они были присыпаны снегом по смерзшейся сухой земле, а в других местах отливали блеском вспучившихся наледей, мерцали живыми токами грунтовых вод. Будто бивни ископаемых мамонтов, торчали вразброс искореженные свай.

Алексей Рыжов догадался, что такое перед ним. В его голове пронеслось чередой все слышанное ранее об этом и все, так или иначе с этим связанное. «Храм Христа Спасителя. Помните, на Волхонке? Его взорвали...» — сказывал ему профессор Шамшин. «Я не помню, — отвечал Алексей. — Я не москвич, я из Ленинграда, точнее — Кронштадт».

А на крутом печорском откосе Галина Тимофеевна Сиротина, районный архитектор, показывала ему четкие пролеты моста, шагнувшего через Советов: «Знаете, эти стальные конструкции — из каркаса Дворца Советов, да, прямо из ядра цоколя... Перед войной я работала на строительстве Дворца Советов...»

А Лилька Панкратова сказала: «Мы встретимся с тобой у метро, у «Дворца Советов», в девять вечера... Знаешь, где «Дворец Советов»?»

Он знал. Он предостаточно знал обо всем этом, примерно столько же, сколько знали остальные.

Его тетка, тетя Нада, рассказывала, что храм Христа Спасителя был громаден, его золотые главы были видны верст за тридцать, когда подъезжаешь к Москве, — да-да, точно так же как из Кронштадта виден Исаакий, а от Исаакия можно видеть купол Морского собора в Кронштадте, через весь залив, но нет, пожалуй, с Исаакием он, храм

Христа Спасителя, сравнения не выдерживал, Исаакий впечатляет больше, в нем цельность, классика, зато этот, в Москве, был куда более русский... жалели? одни жадали, а другие нисколько, а кому теперь жалеть, ведь в Москве и москвичей наперечет, как в Ленинграде питерцев... но, понимаешь, надо учесть, что на этом самом месте собирались строить Дворец Советов — его уже начали строить, но вдруг война...

Однако тут уж Алексею вовсе не надобились тетушкины объяснения, все последующее было на его собственной памяти, на его хотя и не столь уж долгом, но великом веку.

Сызмальства, едва ли не с первого класса — нет, даже раньше, с детского сада, — он знал этот Дворец Советов, будто бы сотню раз видел его воочию, в натуре, во всем его несказанном размахе, во всей его невероятной высоте, во всех мельчайших его деталях и подробностях, знал наизусть, мог бы его нарисовать с закрытыми глазами, мог вылепить из глины или соорудить из песка. Потому что он был повсюду, сопутствовал всему, соседствовал со всем, его изображения печатали на первых страницах газет и журналов, наравне с Днепрогэсом, будто он был уже в яви, как Днепрогэс, он был на праздничных плакатах и почтовых открытках, на глянцевого обложке школьного атласа и на картонном задке отрывного календаря, везде.

Даже сейчас в непроглядном холодном мраке, сгустившемся над котлованом, спустя столько лет, Алексей мог без особого труда вызвать из глубин забвения и воздвигнуть силой памяти, силой мечты это дерзостное сооружение: полные воздуха и света колоннады, повторяющие изгиб Москвы-реки, и широкие лестницы, то ли ниспадающие к этой реке, то ли, наоборот, набирающие разгон от воды, от земли к небу; ребристые цилиндры, громоздящиеся один над другим уступами, постепенно суживающимися в диаметре, но возрастающие в собственной высоте, и еще кольца вздернуты пилонами, на которых — в знаменах, штыхах, снопах — возвыщались гигантские лепные группы, и это было переходом от одной высоты к новой высоте, а там еще и еще, все стремилось ввысь; он даже запомнил прочитанное когда-то: что здесь нет ничего похожего на готические колокольни, воплощающие мольбу, болезненность рук, вскинутых в последнем уповании, нет, тут было совсем иное, не горестное обращение к небу, а штурм неба, смелое и победное восхождение, порыв тех, кто был внизу, к высотам, к вершине, — да, именно эти слова Луначарского отпечатались в его детской памяти... и наконец последний уступ, последний шаг, последний взлет: удлиненная круглая башня, которая будто бы венчает здание, а на самом деле она, как и весь Дворец Советов, является лишь постаментом, подножием, на нем — Ленин, простерший руку, а горные ветры разметали полы его пиджака... стометровая фигура из нержавеющей стали, зеркально вбирающая в себя синеву неба и полет облаков, свежие краски зари, и багровые отсветы заката, и вечерние огни всей окрестной Москвы, и росчерки молний в грозу, и сонмы далеких созвездий...

Алексей задрал голову, придерживав на затылке шапку. Сейчас зимнее небо, подсвеченное городским заревом, было сплошь затянато косматыми тучами, посеивающими снежок. Он прикинул: те триста метров, что составляли высоту самого Дворца Советов, да еще сто, что были в статуе, — и понял, что сейчас, при такой погоде, здание было бы расчленено слоями туч... да, это была бы высота, это была бы сила, была бы явленная мечта, это было бы здорово.

Он вспомнил, как, впервые попав в столицу полтора года назад, еще на площади трех вокзалов он прежде всего стал оглядываться — искал Дворец Советов, хотя и знал, что его нет, но слишком крепко утнездилося в сознании сызмальства, с самого нежного возраста, что е с т ь, тем более что он отлично знал, к а к о й он, — но где же?..

Впрочем, и все другие люди — москвичи прежде всего — жили, как вскоре он убедился, в такой же уверенности, что он есть на самом деле, реально присутствует, они говорили о нем вполне деловито и даже буднично, как о само собой разумеющемся, будто он стоит на своем месте, где положено, что-то близко к нему, а что-то и вовсе рядом. Была станция метро «Дворец Советов», была набережная Дворца Советов, а в троллейбусе спрашивали запросто: «Вы сходите у Дворца Советов?» — «Да, — отвечали, — выхожу...» И Лилька Панкратова назначила ему свидание, сказав: «Мы встретимся с тобой у «Дворца Советов», у метро, в девять вечера... Знаешь, где «Дворец Советов»?» Он знал.

И сейчас, когда он стоял на краю котлована, в котором клубился мрак, где пучились, громоздились, всползая одна на другую, округлые наледи, а меж ними сочились, мерцая, грунтовые воды, он был обуреваем двояким чувством.

Не то чтобы ему было жалко давным-давно взорванного храма Христа Спасителя — ведь он его никогда не видел, только слыхом слыхал, и вообще он не мог жалеть об этом хотя бы потому, что он не так был воспитан, — но ему было очень жалко, до слез, что Дворец Советов, мечту его детских лет, так и не успели построить, только начали, но вдруг — война. И теперь еще никак не соберутся доделать начатое, начать сызнова: экая, гляди, ямища вместо дворца, лужа, топь...

Однако Алексея Рыжова весьма и весьма обнадеживало то, что рассказал ему теткин сосед дядя Коля Фетисов, шофер: мол, работа у них самая главная и самая видная по всей Москве — готовят площадки под высотные дома, крушат старье на Смоленской площади, под двадцать семь этажей, бутят на Дорогомиловской набережной, где низина, под тридцать шесть этажей; и еще, он знал, поднимутся небоскребы у Красных ворот и в устье Яузы, у трех вокзалов и на площади Восстания, и еще — он видел в газете этот восхитивший его проект — на Ленинских горах раскинет крылья и вознесет свои гордые башни новый Московский университет, что за чудо... И у него вполне хватало ума, чтоб догадаться: все эти великаны будут окружением, как боевые сотоварищи, под стать главному великану, который поднимется здесь, у Дворца Советов, то есть который сам будет Дворцом Советов, знакомым ему, Алеше, сызмальства, как и всем другим людям на их великом веку.

Он вдруг спохватился, что совсем позабыл о времени, топчась и мысленно рассуждая здесь, на краю котлована, а на часах — он глянул второпях — уже перешагнуло за девять, и он бросился опрометью прямо через площадь, ему засвистел постовой милиционер, но он уже был там и уже углядел в толпе Лильку, которая оглядывалась нетерпеливо, она была в своих валеночках, а под мышкой держала завернутые в газету туфли, он на бегу залюбовался ею — как она белокура и хороша, — но, между прочим, попутно еще и успел заметить, что пьяный дядек с лохматой елкой исчез: стало быть, нашел покупателя и отправился праздновать дальше.

Они сели за стол в сорок седьмом году, а пошли танцевать в сорок восьмом.

Застолье было спешным и суматошным, как обычно в Новый год: кто-то никак не мог вытянуть тугую пробку из горла шампанского, у кого-то не оказалось бокала, а кому-то досталась одна тарелка на двоих, а еще кому-то не хватило даже стула и его погнали на кухню за табуреткой, — а тут раскатился нисходящий звон курантов, раз, другой, и сейчас должен был прозвенеть первый удар из двенадцати, когда все встанут и начинают чокаться, растроганно заглядывая в глаза друг другу, а сами еще не успели познакомиться как следует, даже не знают, как звать, но в этот миг незнакомы

отчуждения между людьми, потому что никто не может знать ничего наперед, кроме первой минуты, а ведь за нею протянется целый год, бесконечный, как это ощущается в молодости, которая сама представляется бесконечной, но тем не менее даже самая беспечная молодость в этот миг ощущает тревогу — а что будет? — но пока: «С Новым годом!.. С Новым годом!»

Потом еще некоторое время они сидели чинно, без хмельного гомона и кликов, без умных и дурацких тостов, еще не распахиваясь и не развязничая, приглядываясь к незнакомым лицам, пытаясь их запомнить, перехватывая на лету, как кого зовут, но и забывая тотчас, никак не находя связи между именами и лицами.

— А это кто? — тихо спросил Алексей сидящую рядом Лильку, имея в виду юного херувима напротив, такого же белокурого, как сама Лилька, голубые глаза, щеки — кровь с молоком, будто он ей кровный или молочный брат.

— Понятия не имею, — небрежно повела плечом Лилька, — я тут сама как в лесу.

В сущности, Алексей пока, кроме Лильки, знал одну лишь хозяйку, Светлану Дагирову, которая тоже сидела напротив между белокурым херувимом и каким-то пожилым парнем, лет двадцати пяти, с орденом Красной Звезды в петлице, даже была странность в том, что такой престарелый парень затесался в такую молодую компанию, ну да ладно, пускай сидит.

А Светлану Дагирову он знал уже часа три, с тех пор как они с Лилькой пришли пораньше, чтобы Лилька могла помочь своей лучшей подруге детства накрыть стол, но оказалось, что помогать уже нечего, все на столе, и они просто посидели втроем на кухне. Лилька несла какую-то чепуху, Алексей глубокомысленно и важно курил, а Светлана прислушивалась, не звонят ли в дверь, не явились ли гости, и порой поднимала на Алешу серьезные черные глаза, которые были так черны, что не различались зрачки, будто они были сплошь зрачками, во всю сеточку, но в этих зрачках нельзя было прочесть ничего, угадать, какое в них выражение, о чем они думают, настолько они были черны.

— Лиля, — обратилась через стол Светлана Дагирова к своей лучшей подруге детства, — а почему он ничего не ест?

Алексей удивился тому, что она спрашивается об этом у Лильки, а не спрашивает его самого, но заметил, что Светлана смотрит своими непонятными черными глазами не на Лильку, а все-таки на него, и ответил сам:

— У нас на Севере после первой не закусывают.

Тогда пожилой парень, сидевший рядом со Светланой, обрадованно спохватился, взял бутылку «столичной» и налил Алеше прямо в фужер, однако и себя не забыл, тоже налил полный фужер, протянул к нему, и они чокнулись, понимающе улынулись друг другу: мол, не будем равняться на всякую мелюзгу, я, брат, с войны, а ты, брат, с Севера, пьем до дна.

Светлана по этому поводу состроила гримаску, но гримаска относилась, вполне очевидно, не к нему, Алексею, а к этому сидящему рядом с ней престарелому парню.

— Юра Аржанников, — сказал он.

— Алексей Рыжов, — представился Алеша. — Мне очень приятно.

Несмотря на столь значительную разницу в возрасте, они сразу прониклись симпатией друг к другу.

Вообще он догадался, что нет никакого смысла примечать всех гостей сразу и пытаться запомнить, кого как зовут, что это напрасный труд, потому что каждому придет свой черед и повод объявиться, показать себя, кто ты такой и на что годен, проявить свою лич-

ность, а там уж к личности само собой прилепится имя, к имени пристегнется фамилия, и все обретет необходимую определенность.

Он не ошибся.

Светлана Дагирова посмотрела в конец стола, где сидел мордастый юноша с бетховенской львиной гривой волос, тот понятиливо кивнул, встал и направился к пианино, поднял нижнюю крышку и еще верхнюю крышку, чтобы громче звук, сел, навесил над клавиатурой свои длинные костистые пальцы — и Алеша уже изготовился слушать «Лунную сонату», как вдруг эти руки разбежались по клавиатуре и заработали в отчаянном регтайме, выдавая на басах, левой, четкий ритм, а на высоких частотах, правой, рассыпав дребедень синкоп, обе руки затрясались в крайнем ожесточении, сам парень затрясся на стуле, грива его затряслась, пианино затряслось, затряслась стекаяшки на елке, затряслась люстра — во дает малый, что твой Цфасман, — Алексей почувствовал, как под столом рядышком затрепетали Лилькины колени, и к его собственным коленям взбежали искры.

— Пойдем? — спросила Светлана Дагирова, ее вопрос был обращен к нему.

— Пойдем, — согласился Алеша.

Он пошел вокруг стола, соображая попутно, отчего же она не позвала танцевать своих непосредственных соседей, херувима или Юру, но смекнул, что эти ее соседи, вероятно, уже давно знакомы с ней и не впервые в этом доме, а он, Алексей, первый раз и, конечно же, ей как хозяйке следовало выказать особый знак внимания новому гостю, чтобы он быстрее обвыкся и освоился.

Тем более что, как он сразу убедился, никто не остался внакладе: Лилька уже танцевала с Аржанниковым, а белокурый херувим водил какую-то девчонку, и все прочие тоже зашлись в танце.

Все, кроме самого пианиста, который крушил все подряд белые и черные клавиши, давил что есть мочи на педаль, будто в гоночном автомобиле, и даже успевал в отдельные моменты стучать ладонями по гудкой деке — во дает малый, сразу видно, что из консерватории.

И еще какой-то хмырь болотный в очках слонялся одиноко, проталкиваясь меж танцующих пар, етчески наставляя:

— Двигайтесь, двигайтесь...

Но все и так двигались.

— А ты умеешь диндачить? — спросил Алексей Светлану.

— Не умею, — ответила она, — но попробую.

Он вытолкнул ее из своих объятий подальше, не расцепив, однако, рук, и начал плести ногами кренделя, скользя подошвами, — это была знаменитая лнда, ввезенная по ленд-лизу вместе со свиной тушенкой и яичным порошком из Америки в Архангельск, а теперь ее танцевали всюду, даже в Химках, но Светлана не умела, он это сразу понял, однако в ее гибком теле, худых плечах, тонкой талии и юрких бедрах жила природная способность к любому танцу, это он тоже сразу понял, и через минуту она не хуже его плела кренделя ногами, неожиданно полными и сильными в икрах при всей ее утонченной стати.

Вот теперь в ее глазах, подобных сплошным зрачкам, бархатисто-черных, вбирающих свет, но не отражающих, не излучающих его нисколько, — теперь в этих глазах появился блеск.

— Молодец, — похвалил Алексей Светлану.

Все искусство этого танца заключалось в том, чтобы, обладая личной свободой и самостоятельностью движений, в то же время не упускать из рук партнера, не терять касания, — и у них это отлично получалось.

Сейчас он имел возможность совсем близко рассмотреть черноту ее глаз, пологих бровей, длинных негустых ресниц, черноту ее глад-

ких волос, разделенных тонким белым пробором, и по всегдашней своей привычке искать связь между лицом и именем он спросил ее, не пряча удивления:

— Светлана, а почему ты Светлана?.. Почему тебя назвали Светланой, если ты сама такая черненькая?..

Алексей вернулся к столу, задыхаясь, а рядом с ним едва переводила дух Лилька, но она тем не менее очень тихо, в задышке сказала ему, чтоб никто не слышал:

— Слушай, ты... Этот Юра — я все выяснила — он жених Светланы. Он на ней хочет жениться, уже предлагал. И родители знают. Соображаешь?

Она взяла со стола салатницу, подцепила ложкой оливье и шмякнула ему на тарелку, как коровий блин.

— На, ешь...— продолжила она, задыхаясь у его уха.— Он на ней жениться хочет. На ней все хотят жениться, не то что...

Лилька не договорила — горько и зло, — но он учуял недоговоренный двоякий смысл: «...на мне».

— Ну и что?— спросил он так же тихо, неслышно для окружающих.— Она не хочет? Я должен ее уговорить?

— Ты уговоришь...— прошипела Лилька.— Между прочим, он журналист, работает в газете, взаправдашней, на улице «Правды». А не в подтирашке, как ты, черт знает где. Так что не встревай, не лезь... Ясно?

Лилька лучисто улыбнулась своей лучшей подруге детства Светлане Дагировой и ее жениху Юре Аржанникову.

Он ответил улыбкой, но Светлана — та ничуть, наоборот, лишь нахмурилась и поджала свои и без того тонкие губы.

— Так вы журналист?— воскликнул Алексей Рыжов, очень обрадованный этим известием.— Значит, коллега?

— Да, — подтвердил он.

— Так что же мы... надо по этому случаю...

— Надо, — согласился Юра.

Алексей схватил ополовиненную бутылку «столичной» и разлил оставшееся в два фужера, ему и себе, больше не было, но Светлана, Лилька и белокурый херувим тянули какое-то кислое вино.

— Выьем за писавших, выьем за снимавших, — сказал Алексей, подняв фужер.— И на «ты», идет?

— Идет, — подтвердил Аржанников.

Светлана отвернулась от них, прислушалась к разговору на другом конце стола, тем более что речь, звучавшая там, кажется, была обращена именно к ней, хозяйке застолья.

— Нет-нет, я не могу!.. Понимаете, я вырос на Чайковском, на Глазунове — с самых ранних лет, — я воспитан на мелодии, на благозвучии, а здесь — какие-то вопли, какой-то зубовный скрежет... Вот уж права Галина Сергеевна, я имею в виду Уланову: «Нет повести печальнее на свете, чем музыка Прокофьева в балете!»

Алексей не видел, кто держит эту речь, потому что говоривший сидел на той же стороне стола, что и он, за чередой профилей, перекрывавших друг друга — лбы, носы, подбородки, — как на групповом барельефе. Но он догадался, что это — из Большого театра, тот, про которого ему еще в «Арагви» сказала Лилька.

— Я допускаю, что это может кому-то нравиться, но... я не могу, не могу...

— Ничего, переможетесь!— вспыхнув, прервал эту речь белокурый херувим, будто речь предназначалась не Светлане Дагировой, а ему, сидевшему рядом с хозяйкой дома.— Не выпендривайтесь, надоело.

Алексей подмигнул Аржанникову: во дает малый, что ломовой извозчик, а ведь с виду — херувим.

Юра тоже кивнул одобрительно. Они с Алексеем сразу нашли общий язык.

Светлана, коснувшись рукой плеча херувима, огладив ему крылышки, сказала:

— Утихни, Витя, нельзя так... Но и вы, Олег, не правы. И ваша Галина Сергеевна — впрочем, она скорей пошутила: ведь танцует, танцует...

— Я тоже танцую! — обиженно отозвался Олег.

— И правильно делаете. Прокофьев — удивительный мелодист. Просто его мелодия не мотивчик, не шарманка. Там все сложнее, непривычной для слуха... Ну хотя бы вальс из «Золушки» — разве не прелесть?

— Там их два, — заметил не без ехидства Олег, по-прежнему оставшийся для Алексея вне видимости и, увы, вне досягаемости. — Который из двух?

— Там их три, — мрачно и глухо уточнил малый с бетховенской гривой, — в «Золушке» три вальса.

— А вот этот, — сказала Светлана и, поднявшись, направилась к пианино.

Алеша вытянул шею: он следил за тем, как узкие кисти ее рук коснулись клавишей и пошли по октавам, соединяя звуки, безмерно далеко отстоящие друг от друга, в смелый, диковатый, но чудесный рисунок. Нужно было напрячься, чтобы уловить эти связи, — нет, наоборот, нужно было совсем расслабиться, целиком отдаться во власть этих звуков, этих линий, и тогда совершенно отчетливо возникла мелодия.

Но в аккомпанементе были обычные «раз, два, три», вальс — это вальс, даже у Прокофьева. и многие, наскучив говорильней, бросились танцевать — закружились, запорхали, скрыв Светлану и ее пальцы от глаз Алексея.

— Пойдем? — предложил Витя-херувим Лильке.

Она встала, рывком отодвинула стул, пошла с ним — и они закружились вместе, белокурые.

— Двигайтесь, двигайтесь... — услышал Алексей за спиной заклинанье болотного хмыря.

— Бог подаст, — не оглядываясь ответил Алексей и, чуть выждав, спросил Аржанникова: — Он что — чокнутый?

— Нет, он физик.

Юра уныло вертел в руках пустую посудину с изображением гостиницы «Москва».

Оглядели стол; вблизи ничего не оказалось, но вдали маячила недопитая бутылка водки — они перемигнулись, своровали, поставив взамен пустую, быстренько разлили по своим фужерам, чтоб уж никто не вздумал качать права, и как ни в чем не бывало светски откинулись к спинкам стульев.

Музыка смолкла.

Олег из Большого театра пал на колено перед Светланой, обозначив сквозь брюки железные ляжки и ягодичы, протянул к ней ладони, на которых лежал голубенький листок театральных билетов.

— Я покорен, сражен... прошу принять: «Ромео и Джульетта», завтра ваш рыцарь танцует рыцаря...

«Еще один рыцарь, еще один жених, — хмыкнул в душе Алексей. — На ней все хотят жениться. Кроме меня, слава богу».

Он заметил еще: Светлана намеревалась было сунуть эти билеты за корсаж своего платья из черного шифона, но сообразила, что если сунет, то этим движеньем лишь укажет, как мальчишески плоска ее грудь, что там ничего и нет, кроме двух билетов в Большой театр, и сунула их в рукав, плотно охвативший запястье.

— Друзья! — продолжил свою речь Олег, уже вернувшись к столу и возвысив бокал, стекло которого облепили изнутри пузырьки нарзана. — Я предлагаю — за талант!.. За таланты!

— Прекрасный тост, — горячо поддержал Алексей. — За здоровье отсутствующих!

Витя-херувим расхохотался первым громко и мстительно, но следом прокатился дружный смех, и даже Светлана засмеялась.

Рыцарь сел, одарив Алешу той улыбкой, которой дарят плебеев.

— Э-э... — угрожающе промычал гривастый малый из консерватории, заглядывая в пустую бутылку: вот уж кому было не до смеха.

Лилька переводила испытующий взгляд с Алексея на Юру. Они поспешили выпить.

— А теперь мы попросим Сашу прочесть стихи, — сказала Светлана Дагирова. — Саша, пожалуйста...

— Саша, прочтите, прочтите! — заверещали все девицы.

— Он из Литературного института, — объяснила Лилька Алексею. — Он очень известный, даже один раз печатался.

— Он у нас печатался, — подтвердил Аржанников.

Саша встал, не без опаски покосившись на Алексея. Он был в светло-сером, не по сезону, костюме с вязанным пестрым галстуком. Он был ужасно конопат, то есть можно было представить, что если он так конопат зимою, то что сотворится к весне.

— Я прочту вам...

Алеша понял, что сейчас он начнет выть. К ним в Библиотечный однажды приезжали молодые поэты из Литературного института, читали стихи в актовом зале, и он тогда еще обратил внимание, что все они читают одинаково — пишут разное, кто про войну, а кто про любовь, кто хорошо, а кто плохо, но читают совершенно одинаково: членя текст на слоги, а промежутки заполняя воем, от которого холодеет сердце и стынет кровь, будто бы в том и поэзия, чтобы выть, когда никто не воет.

Напиток сладкий, душистый, липкий неторопливо разольем, и звонко чокнутся улыбки, изломанные хрусталем. Столкнув глазами ненамеренно, нас вдруг привяжет через стол скорей догадка, чем уверенность, что ты нашла и я нашел... Мы промолчим, но тем не менее друзей, должно быть, удивит твое хмельное оживление, мой откровенно глупый вид. И все уйдут...

— Пошли покурим? — предложил шепотом Аржанников.

— Пойдем, — обрадовался Алексей.

Они, согнувшись, как под обстрелом, почти по-пластунски добрались до двери. Их сопровождали уничтожающие взгляды.

— Жив? — спросил в коридоре Юра, выпрямляясь.

— Живой, — отозвался Алеша.

Они закурили подле вешалки.

— Слушай, а у тебя за подкладкой не припрятано? — спросил Аржанников.

— Ничего, — огорчился Алексей. — Мне сказали: с собой ничего не надо, все будет... а ничего и нет.

— Как всегда. Если обещано, что все будет, то ничего и не жди.

— В складчину все-таки лучше, надежней.

— Это верно... Но ты, Рыжов, не вешай носа! — обнадежил Юра. — Я в этом доме не впервой, ходы-выходы изучил, где что лежит — знаю. Кроме того, учти: я разведчик, артиллерийский, у меня брат, чутье... Ты меня понял? — Он приблизил лицо к лицу Алексея так, что оба его глаза слились в один большой глаз. — Ты меня хорошо понял?

— Я вас понял.

— Тогда — за мной! Перебежками...

На кухне огонь был погашен, но свет из коридора проникал сюда и был достаточен, они не стали зажигать.

Юра тихо отвалил пузатую дверцу холодильника — оттуда повеяло морозцем — и ошупью пошел по полкам.

— Слушай, Рыжов, так ты, значит, из Города-на-Реке? — спросил он между делом. — Это где же, в Магадане?

— При чем тут Магадан? — удивился Алеша. — Как может быть, чтобы один город был в другом городе?

— Нет, я не в том смысле: это что — Сибирь? или Дальний Восток?

— Это не Сибирь и не Дальний Восток...

Алексей все больше поражался неосведомленности в географии журналиста из взаправдашней газеты.

— Это в Европе, — объяснил он. — Европейская часть страны, самый северный закут.

— Как ты сказал — закут? — отозвался гробовым смешком Юра из самой глубины холодильника. — Это хорошо — закут...

Он вылез обратно, отряхивая ладони от налипшего инея.

— Пусто, Рыжов. В этом закуте пусто, дорогой ты мой. Но это еще не последнее место, не последний закут, ха-ха-ха...

Он опустился на карачки, открыл какую-то дверцу внизу в стене, из нее засквозило так, что Алеша застучал ногой об ногу, он догадался, что это подоконный холодильный шкаф, прямой лючок на улицу, очень удобно.

— Есть? — спросил он в надежде.

— Нету, — ответил Аржанников с улицы.

Он выбрался оттуда, поднялся, не скрывая разочарования, присел на табурет, чтоб отдышаться.

— А там какие — вот такие?

Юра оттянул уголки глаз к самым вискам, отчего глаза сделались узкими, будто щелки.

— Да что ты? — рассмеялся Алексей, его очень забавляло дремучее невежество столичного газетчика. — Там вполне европейский тип. Как мы. Это народ угро-финской группы: посветлее — вроде финнов, а потемнее — вроде венгров... хотя, конечно, у тех тоже бывают разные.

— Интересно. Очень интересно ты рассказываешь... Слушай-ка, Рыжов, погляди за форткой — там не висит ли?

Алеша влез на табуретку, отворил форточку, с наслаждением задышал свежим запахом зимы.

Совсем близко виднелся освещенный циферблат часов Спасской башни, стрелки показывали три часа ночи. Но, несмотря на столь поздний час, бесчисленные окна окрестных домов были ярко освещены, и в большинстве из них можно было даже различить цветные огоньки новогодних елок, искристо преломленные морозным узором на стеклах.

А внизу, когда он высунул голову из фортки, разверзся вулканический кратер, черный котлован, над которым он стоял в раздумьях нынче, то есть вчера, в прошлом году, — в нем по-прежнему дежал густой мрак и цутились надеи.

— А что там есть? — спросил Юра Аржанников.

— Ничего нету, — сказал Алексей, закрывая форточку и слезая.

— Нет, я имею в виду твой Город-на-Реке, твой Север. Что там есть?

— А-а... Там все есть, — с неожиданной гордостью сказал Алеша. — Уголь, нефть, лес. Даже металлургия. Вообще это очень богатый край!

— Любопытно... А из наших там, по-моему, никто и не бывал. Куда только не ездят — на Чукотку, в Каракумы, на Памир, — а тут,

выходит, совсем близко, чистая Европа, но никто не имеет представления. И я, признаться, впервые слышу.

— Да, это рядом,— подтвердил Алексей.

— Рядом... Ох, погоди! В буфет-то я не загаянул, хотя тоже рядом,— озаботился радостно Аржанников.— Зажги-ка свет.

Алеша нашарил выключатель, щелкнул, сожмурился от света и обомлел от неожиданности.

У двери, прислонившись к косяку, будто слившись с ним, стояла высокая сухопарая старуха с вытянутым вперед лицом, похожим на щучью морду, только зубов не было видно, пасть захлопнута. Может быть, она стояла здесь уже давно, затаившись, как щука, выжидая мига, чтобы клацнуть и заглотать, а они ничего не видели, резвились тут, лазали по холодильникам, вели досужие разговоры.

— Ядя...— пробормотал не менее ошарашенный неожиданностью Юра. Но быстро совладал с собой, направился к ней и чмокнул ее впалую щеку, не страшась зубов.— С Новым годом, Ядя, с новым счастьем! А мы тут... Рыжов, познакомься, это Ядя — прошу любить и жаловать. А это...

Алексей поклонился:

— Мне очень приятно. С Новым годом.

Она, ничего не ответив, внимательно оглядела его с головы до ног, так, что у него вдруг появилось желание честно вывернуть карманы наружу и показать — вот, пожалуйста, пусто.

— Яденька, дорогая,— еще раз приник к ее щеке Аржанников,— належ нам, а?.. На столе уже ничего нет, а душа просит, душа требует, понимаешь?.. Налей, дружок, по чарочке.

Та повернулась по-прежнему без слов и исчезла, будто растворяясь в стене, но Алеша догадался, что рядом с кухонной дверью, вероятно, есть еще другая дверь — в комнату домработницы, он уже понял, что это и есть домработница, которую поминала в «Арагви» Лилька.

— Самый главный здесь человек,— прошептал со значением Аржанников.— Ее тут все боятся как огня. Даже хозяйка побаивается, мать Светланы...

— А почему? — таким же заговорщицким шепотом переспросил Алеша.

— Видишь ли, это долгая история, в двух словах не расскажешь. Дело в том, что Ядя у них служит домработницей с самого рождения Светланы: А до этого... стоп, модчок!

Ядя бесплотной тенью проскользнула в дверь, поставила перед ними два стопаря и так же, привидением, исчезла, будто не появлялась, однако стопари стояли перед ними, в них плескалось.

— Будем, Рыжов.

— Будем.

Они истомленно приникли.

— Послушай, старик...— сказал после Аржанников.— А я тут кое-что придумал — насчет тебя. Ты когда уезжаешь обратно?

— Мне еще в Ленинград надо, к матери.

— Ну, это само собой, это дела не меняет. Понимаешь, я ведь в нашей редакции сижу на корсети — все корреспонденты на местах, извиняюсь, подо мной. И вот я подумал: а что, если нам оформить тебя внештатным корреспондентом в Городе-на-Реке — по всему твоему закуту, а? Тут и газете польза: пойдет интересный материал с новой точки, по сути с белого пятна, и тебе прямой резон: все-таки будешь иметь выход на страницы центральной газеты — миллионный, брат, тираж... А?

Алексей погрузился в раздумье. Он подпер кулаком голову и сделал вид, что думает, размышляет. Потому что на самом деле размышлять было не о чем и думать тоже. Он ошалел от радости и всего

лишь опасался, что, может быть, Аржанников загнул с пьяных глаз, чтоб набить себе цену, а завтра и не вспомнит.

В коридоре послышались торопливые шаги. В дверном проеме возникла голова болотного хмыря в очках.

— Двигайтесь, двигайтесь!..

— Пошел на фиг,— послал его Рыжов.

Тот пошел.

— Мы посадим тебя на фикс — это не зарплата, а, так сказать, гарантированный минимум,— продолжал убеждать Юра.— И сверх того ты будешь заколачивать порядочно — у нас ведь хорошо платят. На одной, брат, информации — мы ее будем принимать от тебя по телефону...

Шаги в коридоре возвращались.

Но это был уже не болотный хмырь. Это была Лилька Панкратова, губы которой мягко улыбались, а глаза — в них лучше было не смотреть.

— Здесь вы? Леша, выйди-ка на минуту.

Она увела его к вешалке.

— Давай потолкуем. Без крика, если у меня получится... Ты что же так подличаешь — в открытую, при всех? Со Светкой заигрываешь — ну пускай не ты, а она с тобой, не имеет значения...

— Я обязан быть любезным с хозяйкой дома,— сказал Алексей.

— Ладно. Теперь ты ушел куда-то, меня одну бросил, как... нарочно делаешь вид, будто меня тут и нет, в упор не замечаешь. А ведь ты со мной пришел, это я тебя привела сюда. Если б не я, ты бы сегодня пировал попроще: здравствуй, тетя, Новый год... А тут головка закружилась, кровь взыграли, ах-ах, какие же мы красавцы, душки, все у наших ног... Вахлак!

— Можно, я закурю? — спросил Алексей, слушая все это в полном спокойствии и прикидывая в уме ответ.

— Кури... Нет, ты еще раз вспомни: как ты сюда попал, кто тебя позвал?

— Ты, Лилечка,— смиренно сказал он,— ты, лапа. Ты меня позвала. Потому что, если б не я, тебе не с кем было бы сюда прийти. Потому что твой женатик дрыхнет сейчас со своей благоверной, а не с тобой... Да?

Она застыла изваянием, стояла, приоткрыв рот, но было уже понятно, что из этого рта не вырвется ни звука, что она онемела.

Он и сам ужаснулся тому, что несет, он даже не знал за собою умения быть таким жестоким, но сейчас, стыдясь этого, он одновременно и восхищался тем, что вот получилось, сумел, ведь надо уметь — беспощадно, без крика, впопад.

— Разве я тебе нужен? Нет, тебе просто парень понадобился — для вида, для чина. Чтобы возле тебя лопушком сидел и пирожное подавал. А тут как раз я подвернулся, ты и решила — сгодится... Нет, Лилечка, нет, дитя, ты со мной динамо не крути, я не люблю «Динамо», я за «Зенит» — с детских лет... Поняла?

— Ты... — выдохнула через силу Лилька.

Но дверь столовой распахнулась, из нее выскочила Светлана Дагирова, увидела их подле вешалки и, поколебавшись лишь секунду, ухватила его за рукав:

— А, попался! Ты где же пропадал? Я танцевать хочу...

За пианино, в дверь было видно, опять сидел гривастый консерваторский мальчик и, потряхивая задом, как в седле, рубил «Чатанугу-чу-чу».

— Я линдачить хочу. Вот кавалеры пошли: научат, а сами...

Она поволокла его в комнату.

За столом уже никого не было, на столе тоже ничего не было, то ли перемена к чаю, то ли вообще конец. Все, разбившись парочками,

засели по углам и прилично любезничали. Так что, кроме них, охотников не нашлось — тем просторней.

— Алеша, у меня билеты в Большой театр на завтра... то есть уже на сегодня,— поправилась Светлана,— на вечер. Хочешь пойти со мной?

— Спасибо, но...

Он при этом подумал: а как же Юра Аржанников, жених? Ему не хотелось обижать этого престарелого парня, тем более что у них завязались дружеские отношения и, больше того, уже наметились деловые... Да, это соблазнительно, черт возьми! Нет, не Большой театр, а то, что он ему предлагал на кухне. Вернуться в Город-на-Реке корреспондентом центральной газеты, хотя бы и внештатным, огого!.. Но так ли уж хочется ему туда возвращаться? Может быть, все-таки лучше Большой театр?

— Ты сказал «но». Что «но»? — переспросила Светлана.

Линда у них не получалась, устали, выдохлись. Они просто топтались на паркет, волокались от стены к стене, иногда замедленно вращаясь, Светлана положила ему руки на плечи и обвисла, бесстрашно привалясь к его груди своей мальчишеской грудью, и он понял, что в том и смелость — что ничего нет, не боязно, не вспыхнет.

Она заглянула ему в глаза:

— Ну говори, что «но»?

— Да ничего.

— Нет, говори. Мне всегда очень интересно, когда я слышу «но». Потому что я выросла на этих «но». Да, но... нет, но... разумеется, но... Я всю жизнь слышу «но» и, представь себе, всю жизнь им беспрекословно подчиняюсь: я примерная девочка, Алеша, образец добропорядочности, ты учти. Но мне... видишь, опять «но», уже мое... но мне надоело, что с возрастом они не переводятся, эти «но», не отпадают, а наоборот — их появляется все больше и больше. Если бы я была поотчаянней, то давно бы, конечно, наплевала на них. Но... вот опять «но»... и вот еще: но всякий раз, когда возникает очередное «но», мне не столько хочется его преодолеть, сколько понять...

В коридоре сильно хлопнула входная дверь.

— Погоди, я взгляну.— Светлана оставила его и вышла.

Он в отрешенности, почти во сне — так хотелось спать — продолжал топтаться один.

Светлана вернулась, сказала:

— Лиля ушла.

— Да? — удивился он.

— Ты догонишь ее?

— Нет,— сказал он.

Он только подумал: а как же она доберется домой, в Химки, среди ночи? До вокзала еще можно пешком, а дальше? Когда первая электричка?.. Впрочем, уже не ночь, а утро. И сегодня Новый год, расписание изменилось — он что-то видел об этом в «Вечерке», — весь транспорт придет в движение раньше обычного: и трамваи, и метро, и уж давным-давно пригородные электрички, они всегда раньше всех, позже всех... Так что не было никакой нужды догонять Лильку.

— Но я не забыла, продолжим.— Светлана опять соединила руки у него на шее.— Ты мне обязан сейчас же ответить; какие такие «но» возникли у тебя.

— У меня нет никаких «но»,— твердо сказал Алексей.

— То-то же,— улынулась она торжествующе.— Тогда в семь у Большого, жди.

— Хорошо.

Входная дверь в коридоре, слышно, опять отворилась и захлопнулась. Он приподнял брови: вернулась Лилька?

— Нет,— поняла она,— это мои. Без звонка. Пойдем, я тебя познакомлю.

Юра Аржанников, опередив их, уже был у вешалки:

— С Новым годом, Марья Лукинична!.. С Новым годом, Георгий Дагирович!

Он сноровисто принял каракулевое манто хозяйки, она осталась в панбархатном синем платье с крупной изумрудной брошью на груди, с такими же серьгами в ушах.

Алеша сразу увидел, что Светлана ничего не унаследовала от матери, будто и не ее дочь. Ни золотистых волос, уложенных витой пшеничной халой, ни голубых глаз, пьяноватых и веселых, ни дородной нежной шеи, ни белых пышных рук, тоже в дорогих камнях. Разве что ноги Марьи Лукиничны, когда она, присев у вешалки, начала стягивать высокие фетровые боты, оказались такими же полными и сильными, как он заметил у Светланы,— один сняла, а другой тянула-тянула, да не смогла, оставила, махнула рукой, расхохоталась:

— ...а он подходит и говорит: «Познакомь, Георгий, с женой — ну красавица, ну боярыня!» — а я думаю: что за пень плешивый?

— Хватит, Маша,— укорил ее муж, ласково тронув налитое плечо.— Тебе помочь?

— Да ну вас! — Она сдернула второй бот, как солдатский сапог, наступив на него пяткой.— Я всю дорогу смеялась-смеялась и сейчас смеюсь — неужто к слезам, плакать придется?

— Папа, ты еще незнаком,— сказала Светлана,— это Леша Рыжов.

Тот бросил на него короткий взгляд черных глаз — непроницаемых, не различить зрачков,— и Алексей сразу понял, чья дочь: тот же блеск волос, гладких, с вороненым отливом, те же пологие брови, сомкнутые у переносицы, и, главное, та же стать — поджарая, гибкая, ящериная.

Георгий Дагирович вместо рукопожатия взял под локотки Алешу и Юру Аржанникова, подтолкнул их к двери, что была напротив столовой:

— Прошу.

Они оказались в просторном кабинете, и первое, что увидел Алексей Рыжов, когда зажегся свет, были ряды энциклопедических томов за стеклами книжного шкафа, черные, в позолоте, дореволюционные, какие, он хорошо помнил, были в Кронштадте в доме его деда Андрея Петровича, а рядом с ними — красные сафьяновые корешки той энциклопедии, которую выпускал когда-то, тоже очень давно, Василь Васильевич Бубеев, где «выпуклость» надо смотреть на «вогнутость» или наоборот.

А второе, что он увидел, когда зажегся свет, его удивило и возмутило: на диване, припав щекою к кожаному валику, спал болотный хмырь, веки его были смежены под стеклами очков, а губы чуть вытянулись и вздрагивали, будто увещевали даже во сне: «Двигайтесь, двигайтесь!..» Вот ведь какой ушлый малый: других заставляет двигаться, а сам улегся и спит как ни в чем не бывало. И как он сюда забрался?..

Юра Аржанников бросил на Георгия Дагировича вопросительный взгляд, но тот лишь отмахнулся:

— Пускай спит.

Отворил резную дверцу шкафа, достал оттуда три рюмочки и бутылку коньяка — такого дорогого, что на нем даже не было звездочек, всем коньякам коньяк.

Они вздохнули облегченно, понимая, что уж это взбодрит.

— Я хочу пожелать вам исполнения всех ваших желаний,— сказал Георгий Дагирович.— Именно этого, потому что вы еще так молоды, что не знаете ценности здоровья, оно как бы вне желаний, оно подразумевается. Да?.. Как, Юра?

— Не жалуюсь,— похвалился тот.

— Нормально. Тридцать шесть и шесть,— доложил Алеша.

— Вот и хорошо... Давайте.

Смолистый напиток ощутимо потек по жилам.

Алексей оглянулся на диван: смурныга физик спал беспробудным сном, младенчески посапывая, и эта его безмятежность отчего-то разозлила — ишь как удобно разлегся тут, другие бодрствуют, а он спит, словно нет у него никаких дел, никаких обязанностей перед народом. Вот так они, эти физики-химики, все и проспали, продрыхли — обошли нас янки. Им бы, физикам, самим пошибче двигаться, а они только других наставляют.

Алеша поставил рюмку на край письменного стола и посмотрел на Дагирова тем проникновенным взглядом, какой обращают к людям высшей ответственности, хранителям самых сокровенных тайн, обещая им за доверительное слово взамен надежное молчание.

— Георгий Дагирович, скажите... когда у нас в конце концов будет атомная бомба?

Хозяин вскинул на него глаза недовольно, хотя и по-прежнему непроницаемо.

— А вам что — больше всех надо?

— Нет, почему же... почему больше всех? Мне — как всем.

— Ну а если как всем, то и ждите, как все. В общем, не беспокойтесь.

Алеша заметил, что он с некоторым недоумением покосился на Аржанникова, хотя и не стал гневаться по таким пустячным поводам: что один спит в его кабинете, а другой лезет с глупыми вопросами.

Юра улыбнулся:

— Вот, Георгий Дагирович, мы собираемся оформлять Рыжова нашим внештатным корреспондентом по Городу-на-Реке, по Северу.

— Город-на-Реке? — переспросил хозяин, в тоне, в глазах его по-прежнему было недовольство, и он, минуя Юру, грубовато спросил самого Алексея: — А чего вы там не видели?

— А я там еще ничего не видел, — ответил он. — Почти ничего. Я только хочу посмотреть.

— Ну-ну... — буркнул Дагиров и потер ладонью глаза, видно, тоже устал.

В кабинет впорхнула Светлана, оглядела стол, оглянулась на диван.

— Вот вы где, рыцари! Рыцари пьют, рыцари спят... А бедные дамы умирают от скуки. Пойдем, Леша, к маме, она хочет с тобой познакомиться. А они пусть вдвоем сидят, им привычно.

Держась за руки, Светлана и Алексей проследовали мимо столовой, он увидел, что столовая пуста, только открытое пианино щерило белые зубы, а играть уже было некому и танцевать тоже, все разошлись.

Марья Лукинична сидела на кухне в том же панбархатном синем платье, свойски облокотясь на клеенку стола, и, жмурясь от удовольствия, шевелила натруженными пальцами ног в шелковых тонких чулках. Лишь завидя Алексея, продолжила оттуда же:

— ...а он, пень плешивый, снова подходит и говорит: «Георгий, я умыкну твою красавицу на вальс, если ты, конечно, за кинжал не схватишься...»

— Пани, — остерегла, обернувшись от буфета, домработница Ядя.

— Что? — выкрикнула Марья Лукинична. — Какая я тебе пани? Сама ты пани... вот лучше налей нам чего покрепче, видишь, гость пожаловал. Садись, гость, рядышком.

Она своей теплой и пухлой рукою бесцеремонно, но по-доброму взяла Алешу за подбородок, повернула его лицо туда-сюда.

— Беленький ты, как я, это хорошо... у беленьких сердца больше. Алеша взглянул украдкой на большое сердце Марьи Лукиничны, так и ходившее вверх-вниз под мягким синим бархатом.

Светлана рассмеялась за его спиной, и Алексею показалось, что

она вовсе не настроена оспаривать это материнское суждение, хотя в нем и было отдано предпочтение беленьким перед черненькими, это, по-видимому, было ей вполне безразлично.

— И глаза у тебя чистые,— продолжала Марья Лукинична.— Во хмелю только, ну да это пройдет, верно?

Он кивнул согласно. Пройдет, конечно.

— Ты Алексей, ты божий человек. Я знаю, мы с тобой подружимся... а с ним...

— Пани,— прервала Ядя, выставляя две налитые стопки.

Они отправились домой, едва развиднелось.

По Волхонке уже ползли пустые — нет народа, спит народ,— освещенные изнутри троллейбусы. Но они решили идти пешком, чтобы продуть мозги и развеять сонливость, тем более что оказалось — им в одну сторону: Алеше на Разгуляй, а Юре к Яузским воротам.

Окна окрестных домов были погружены во тьму и в сон, видно, всем спалось крепко, как и гулялось.

Но кое-кто и кроме них двоих бодрствовал, несмотря на праздник и ранний час.

На заиндевелом фризе Музея изящных искусств копошились античные мужики, спарганцы или римляне, черт их разберет — ведь голые,— они на такой лютой стуже мылись в бане, намыливая друг другу головы и натирая спины, а потом выскакивали из бани, все так же нагишом и при полной оснастке предавались спорту, бегали, прыгали, боролись, расписывались у писцов в каких-то ведомостях, чистили коней и запрягали их в колесницы — тоже суета сует, повсюду и во все времена было суетно.

— Ох, отоспаться бы минут эдак триста,— зевнул Аржанников.— Да и тебе надо. Ведь ты сегодня в Большой на «Ромео и Джульетту»?

Алеша промолчал, как будто не расслышал или не понял, о чем речь.

— Сходи, сходи. Я, к сожалению, не могу пойти,— объяснил Юра,— мне сегодня дежурить по номеру, опять всю ночь не спать. А завтра к трем приходи на улицу «Правды». Пропуск я закажу, там будет все указано: этаж, комната... Кстати, я совсем забыл спросить: ты комсомолец?

— Само собой,— ответил Алексей.— А зачем?

— Но ведь надо бумагу оформить, с начальством согласовать — надо мной тоже есть.

Под ногами вьюжила поземка, метались снежные вихри, закрученные то в скромный ионический виток, как капители музейных колонн, то погуще, поразмашистей, на коринфский лад,— они как раз шли мимо Пашкова дома, невероятно высокого при своих трех этажах, заглядывающего за кремлевские стены, что там.

А далее им опять повстречались бодрствующие люди — в этом непривычном и странном безлюдье московского центра,— они стояли в рост по всему парапету вдоль крыши Ленинской библиотеки: девушка с толстущим фолиантом, который она в нетерпенье листала на весу; красноармеец в буденовке и овчинном тулупе до пят, с ружьем в руке; прокатчик в жестком комбинезоне, с настоящими железными захватными щипцами у ног; молодой и полный надежд архитектор со свитком чертежей под мышкой; колхозница — рослая, с мощными плечами и богатой грудью, прижавшая к бедру пшеничный снопок, она была очень похожа на Марию Лукиничну, если б и ее нарядить в панбархат и причесать как следует.

— Да,— сказал Алеша,— ты не договорил, когда мы сидели на кухне, Ядя помешала. Ты хотел рассказать, что было раньше, до Яди, до того, как родилась Светлана. Ты еще сказал, что это долгая история...

— А-а,— вспомнил Юра,— ничего особенного. Просто до Яди

домработницей у Георгия Дагировича служила Маша, Марья Лукинична. Не устоял мужик, нет... Да разве устоишь перед таким ранетом? Представляешь, какой она была лет в двадцать!

— Вот оно что,— неопределенно отозвался Алексей.

Он понял, что Аржанников не склонен держать в тайне эту деталь семейной жизни Дагировых, потому что Марья Лукинична не терпит его.

— Простовата, конечно, манеры... но вот что важно: Светлана — умница, она ничуть не тяготится этим, не прячет мать, да и куда же ее спрячешь?.. Хотя любит она отца.

— А он кто?

— Он генерал.

Они пересекли площадь Дзержинского, вышли к Маросейке.

14

Кормилица, очень проворная, хоть и толстуха, принесла на вытянутых руках, чтоб не измять, бальное платье, посмотрела вокруг — где она?— а ее и нет: ни в одном углу, ни в другом нет ее, агницы, пташки, шалуны, но заглянула за спинку кресла — ах вот ты где спряталась, егоза, ну постой-ка, уж я тебе...

Та стремглав выскочила из-за кресла и побежала, увертываясь,— такая тощая, нескладная, угловатая девочка Джульетта.

Все пять золоченых ярусов Большого театра дрогнули от аплодисментов, от восхищенного шепота: «Уланова... Уланова... Уланова...»

Алексей тоже не жалел ладоней и не скрывал радости: он впервые видел великую балерину — в Ленинграде не довелось, а в Москве не мог попасть,— но еще ему, как и зсем, очень понравилось это внезапное появление из-за спинки кресла востроносенькой девочки в голубом легком платье, с забранными в школьные кольца над ушами косицами, ему понравилась ее смешливая дерзость, когда она начала поддразнивать свою кормилицу: мол, до чего грузна ты, нянька, погляди-ка на себя в зеркало, вот оно — что за шары у тебя трясутся за пазухой, что за бугры у тебя сзади ниже поясицы,— а вот у меня ничего подобного нет ни здесь, ни здесь, я ничем не обременена, я легка, как перышко, я вон как быстра, догони попробуй; но кормилица, выбросив вперед уличающий перст, предрекла: все еще будет у тебя, как у меня, и тут и тут, уж я-то знаю, все будущее твое, девочка, известно мне наперед — невинностью моей в двенадцать лет клянусь!..

Он хотел было поделиться этой своей радостью с сидящей рядом Светланой, уже повел голову влево, к ней, но вовремя остановил движение, вспомнив, что у нее тоже ничего нет ни там, ни там, что у нее как у Джульетты и она могла бы при всем своем уме воспринять это как насмешку, как намек,— и он продолжил с прилежанием смотреть на сцену.

Они сидели в шестом ряду партера, и Алексею, в общем, было все досконально видно: что Галине Улановой уже лет под сорок, что лицо ее вовсе не свежо и выглядит молодым даже не из-за искусного грима, а из-за того, что она сейчас думает, чувствует, верит, будто молода, юна, совсем девочка, и это отразилось на лице так сильно, что нельзя не верить. Руки ее были обтянуты длинными — от плеча до запястья — рукавами прозрачного шелка, хотя балерины предпочитают выставлять руки напоказ, как и ноги, а у нее и ноги низко прикрыты платьем, и вырез на груди подчеркнута скромно, да еще этот чисто улановский жест — он знал по картинкам — прикрываться, поднося к горлу полусжатые кулачки...

Явилась мать — высокая и строгая, в черном. Она покачала головой, видя эти детские шалости своей дочери, которая совсем не хочет понимать, что она уже выросла, уже не девочка, что там, внизу, уже

дожидается, сторая нетерпением, завидный и богатый жених Парис, пора кончать эти жмурки, эти салочки, собираться на бал, собираться замуж.

Она взяла ее за руку и подвела к большому зеркалу у стены, тому самому, у которого Джульетта высмеивала няньку, а теперь — глядишь, дочь, ведь ты уже совсем взрослая, невеста...

Алексей напрягся. Он понял, что сейчас для балерины наступает нелегкий миг: она должна посмотреть на себя в зеркало, которое, конечно же, ничего не отражает, потому что это фанера, замазанная наискосок быстрой кистью, — взглянуть и увидеть в свои почти сорок лет, что она уже не ребенок, не дитя, а девушка, сама не заметила, как стала ею.

Джульетта посмотрела в зеркало — и не поверила ему, отвернулась, оглядела себя без помощи зеркала, воочию, коснулась, провела ладонью — и, удивившись, даже испугавшись немного, вся обмякла...

Ярусы опять громыхнули рукоплесканиями.

Светлана, аплодируя, подтолкнула его плечом, он подумал, что теперь, когда стеснительные причины миновали, она тоже хочет поделиться с ним своим восторгом, но она повела глазами направо, указывая ему на золото и красный бархат ложи.

Он посмотрел и узнал сразу, хотя видел этого человека тоже впервые в жизни, как и Уланову, — в ложе сидел Прокофьев.

Он сразу узнал эти круглые очки, делящие лицо на две неравные части: внизу, под очками, тесновато и кучно располагались нос, рот, очень мелкий и незначительный подбородок, а над очками — над ними вздымалось утесом громадное голое чело, которое было выше и даже шире лица, потому что лицо было как бы зажато ушами, а чело было свободно и ничем не стеснено, прекрасное блестящее чело.

Прокофьев тоже аплодировал балерине, но когда все стихло — а теперь Алеша смотрел не на сцену, а в ложу, — он увидел, как рука композитора сделала бросок ко рту, закинула туда что-то небрежным махом, каким любители лузгать семечки закидывают их (он очень удивился, так как это не вязалось: Прокофьев и семечки), но он увидел на перилах ложи круглую жестяную коробочку, леденцы, монпансье, и вдруг понял, что это, наверное, не из любви к сладенькому, а, быть может, он бросил курить и старается заменить курило чем-нибудь другим, обмануть просящий рот, — и Алеша, сам курящий, испытал жалостливое сочувствие к человеку, которому врачи строго-настрого запретили курить, заставили сосать леденцы, а для него — мука смертная.

Но тут в оркестре зазвучала громкая и размеренная поступь, застывающая от самодовольства и важности на каждой опорной доле, — бальное шествие открыли рыцари.

О том, что они рыцари, напоминали только стальные кирасы, панцири, защищающие их животы и спины, а так вообще они были просто надутые щеголи в коротких штанах-буфах, а ниже чулки в обтяжку и башмаки с пряжками, за спинами развевались плащи, а на берегах при каждом шаге вздрагивали и раскачивались пышные перья — ну и рыцари... Конечно же, Алексей учитывал, что эти рыцари явились именно на бал, а не на турнир, на танцы, а не на побоище и потому пришли не сплошь законанные в латы и не с опущенными забралами, а так, как подобает являться в гости — без оружия, — но вместе с тем у него не могло не вызвать насмешки и легкого презрения то обстоятельство, что эти рыцари танцевали не с мечами или копьями в руках, а с подушками — да-да, они выступали спесивой и грозной замедленной поступью, а над головами при этом держали во вздетых руках бархатные подушки, расшитые золотом и серебром, с кистями, обыкновенные диванные подушки — есть чем гордиться! — ну рыцари нынче пошли, явились на бал со своими подушками, еле сползши с диванов, ха-ха, умора...

Алеша отдавал себе отчет и в том, что это неприязненное и саркастическое отношение к веронскому рыцарству у него возникло в тот самый момент, когда он заметил среди этих рыцарей вчерашнего Олега, который на новогодней вечеринке в доме Дагировых провозглашал тост за таланты, а он, Алексей, осек и высмеял его, тот, который подарил Светлане два билета в Большой театр,— и Алеша сразу же заметил, как он, танцую со своей подушкой, выступая надменно, трясая ляжками, смотрит вовсе не на дирижера Файера, машущего руками над оркестром, а заглядывает в зал, прямо в шестой ряд, пытаясь определить, кто же это сидит рядом со Светланой, кто воспользовался дармовым билетом в дорогой партер, не узнать даже, черт знает кто, случайный провинциал — «нету лишнего билетика?», какая досада...

А как же его самого фамилия, этого Олега, этого диванного рыцаря? Алеша заглянул в программку, но там было: «Галина Уланова... Юрий Жданов... Ермаков... Лапаури...» — а дальше шли в подбор «слуги Монтекки, слуги Капулетти, куртизанки, торговки, рыцари...» и прочая бесфамильная шушера.

Алексей наклонился к самому уху Светланы, будто целуя — чтобы тот увидел и сдох,— спросил шепотом:

— Он тоже в тебя влюблен?

Лицо Светланы слегка запунцовело в щеках — то ли от близости его губ, то ли от его вопроса, то ли от необходимого ответа,— и она сказала тоже тихо:

— Он интересуются Витькой и надеялся, что я приду с ним.

— С херувимом? — вспомнил Алеша белокурого соседа Светланы за столом.

— Да... а ты угадал: у Витьки в школе до разделения было прозвище — Керубино.

— А почему же ты его не привела?

— Витька страшно злится, хочет бить Олега, но один не смеет — танцовщики очень сильные... Ты ему не поможешь?

— Я подумаю,— кивнул Алеша,— я взвешу.

Ее глаза были сейчас совсем рядом, и он опять поразился, до чего же они черны, не различить зрачков, правда в зале свет был погашен — только из оркестровой ямы и со сцены,— и Алексей лишь сейчас понял, чем же его встревожили эти глаза и почему он второй уже день носит в себе волнение: причина, по-видимому, была в том, что он не помнил, чтобы на него когда-нибудь смотрели изблизи такие вот темные глаза; вблизи всегда оказывались светлые девичьи глаза — голубые, серые — потому ли, что он сам не нравился темноглазым девушкам и они не искали его, или же потому, что он сам не искал их, предпочитая светленьких. А тут вдруг одна черноглазая нечаянно появилась рядом — и он сразу встревожился, почувствовал, что в привычном для него укладе мира что-то изменилось и нарушилось... а между прочим, вспомнил он, у настоящей Джульетты были вовсе не светлые глаза, как у Улановой, а черные — да-да, вспомнил он, еще Меркуцио смеялся над тем, что Ромео насмерть сражен черными глазами белолицей девчонки...

Они с трудом развели глаза.

На сцене патер Лоренцо, одетый в холщовую сутану, благословлял склонивших головы Ромео и Джульетту. На столе перед ним лежали белые цветы и белый череп.

Потом опять бушевали ярусы, и Прокофьев, выйдя на сцену, целовал тонкую руку Галины Улановой, а она, встав на пуанты, целовала его высокое чело,

Они шли домой по Манежной, в кружение снега, шли мимо университетской ограды, и Алексей Рыжов опять подумал, что ход его жизни мог бы оказаться совсем иным, если бы позапрошлым ле-

том он не сдрейфил, не послушался того смурняги, что призывал всех ехать в Химки,— тогда он, может быть, все-таки поступил бы в университет, и они оказались бы на одном курсе со Светланой Дагировой и, конечно, познакомились бы как товарищи, и он постепенно привык бы к тому, что она есть, а потом — кто знает, что было бы потом, но это в любом случае было бы постепенно, а так все свалилось на него как снег на голову, неожиданно и непривычно.

Они шли молча, и это молчание было напряженно — ведь через несколько минут им предстояло проститься и разойтись,— молчание было невыносимо, и он, чтобы снять это напряжение, замурыкал под нос печальную тему из только что слышанной музыки балета.

Уж если раз ответ зловещий карты дали, напрасно их мешать! И то, что нам они в гаданье предсказали, вновь станут повторять...

Светлана услышала — остановилась, его тоже остановила, дернув за рукав, повернулась к нему лицом, широко раскрыв черные глаза в опущенных снегом ресницах.

— Ты что поешь? При чем здесь Кармен?

— Какая Кармен? — в свою очередь удивился он.

— Да как же... ведь ты поешь гаданье Кармен? Вот веселый случай: шел человек с Прокофьева, а пел Бизе, смотрел балет, а мычит из оперы... Рыжов, беденький, у тебя неважно со слухом, тебе в детстве слон на ухо наступил, да?.. Но ведь из «Кармен» ты поешь правильно, точно, не фальшивишь...

— Я не знаю,— растерялся он,— вообще у меня приличный слух. Разве это из «Кармен»?

— Послушай, Рыжов, а может быть, ты равнодушен к цыганкам, а? Признайся, ничего не будет, я ведь понимаю, что Джульетта — слишком пресно... Может быть, тебе надо было идти не в Большой, а в «Ромэн»?

— Мне один человек советовал обязательно пойти в «Ромэн»,— вспомнил Алексей улитинский наказ,— но я уже не успею. Мне завтра уезжать.

Светлана выдернула руку из-под его руки.

Они опять шли в молчанье, и Алеша все недоумевал, как же это получилось, что он вдруг запел из «Кармен». Да, конечно, теперь он слышал опять это низкое, рвущееся из дремучих глубин души меццо, так похожее на голос Клары Истоминой: «...напрасно избегать правдивого признания, судьбы своей бежать...» Но ведь она никогда не пела ему этого! Что за странности происходят с ним.

— Все равно,— сказала Светлана,— когда ты снова будешь в Москве — позвони. Ты знаешь телефон? И приходи к нам — мама очень будет рада, ты ей понравился.

— А папе? — вежливо осведомился Алексей.

— Папа сказал, что ты еще не состоялся. Вот...— Она помедлила, видимо размышляя, договаривать ли, что там еще сказал про него папа. И, внезапно ожесточась, договорила: — Он сказал, что тебе еще рога не обломали. Вот.

Алеша снял с головы пыжиковую шапку и, сразу почуяв, как на темя легли снежинки, провел по нему ладонью туда-сюда по шерстке.

— А у меня нету. Что ломать?

— Не знаю... Может быть, подождать, пока вырастут?

— Разве что.

Они рассмеялись: все-таки это развеселило обоих — насчет рогов: что вот надобно их обломать, рога, чтобы молодой человек поскорее состоялся, возмужал, созрел, набрался мудрости, а ломать, оказывается, и нечего — рога-то еще не выросли, ну как тут быть?

— Дальше не ходи,— сказала Светлана Дагирова, преграждая ему путь пестрой варежкой.— Я не люблю, когда у подъезда топчут-

ся — вроде бы надо в дом звать, поить чаем, а я не пускаю, не зову, чаю жалко. Дальше не ходи.

Они остановились у Большого Каменного моста, у предместья, там, где кривой и узкой тропочкой сбегает вниз, к Москве-реке, Лебязий переулочек весь в снегу, как в пуху.

— Послушай, Рыжов, ты что-то знаешь? — Она опять приблизила к нему черные свои, как полыньи, глаза. — А что ты знаешь?

— Я ничего не знаю, — сказал он. — О ком или о чем?

— Нет, ты не понял... — Она в досаде притопнула ногой. — Сначала, когда мы познакомились — ну вчера же, вчера вечером, — я подумала о тебе, что ты совсем прост. Даже глуповат чуточку — нет, ты не обижайся, я ведь сказала, что это вчера... А потом присмотрелась, и мне показалось: он что-то знает. То есть это я о тебе подумала, будто бы ты что-то знаешь. Понял?

— А что? Что именно?

— Но как же я могу сказать, что и что именно, если я сама этого не знаю и никто другой не знает. Никто, кроме тебя.

— А-а... Но что я должен знать?

— Должен? Ничего. Я просто подумала, что ты знаешь — ведь, наверное, кто-то знает, хоть один. Вот я и подумала, что это ты.

Она смотрела на него с надеждой и даже как будто с мольбой.

Алексей долго обдумывал сказанные ею слова и заданный ею вопрос, он как бы исследовал всего себя, все, что носил и ощущал в себе, пытаясь найти то, чего ей хотелось, но он-то про себя знал и был совершенно уверен, что ничего такого нет. А вдруг он случайно проглядел в себе, не заметил, не оценил, а оно на самом деле есть? Но все это дотошное исследование ничего путного ему не подсказало, и он признался с некоторым унынием, зато честно:

— Нет. Я ничего такого не знаю. К сожалению.

— Нет?.. Это правда?

— Конечно. Зачем бы мне врать... Я ничего такого не знаю. Что все, то и я. А больше ничего.

— Стало быть, не знаешь. А мне показалось... ну, верно говорят: если кажется — перекрестись.

Она сдернула варежку, но не перекрестилась, а подала ему свою теплую ладонь.

— До свиданья, Алеша.

— До свиданья...

У них получилось то долгое тягучее рукопожатие, когда люди уже простились и разошлись — один в одну сторону, а другой в другую, — но руки еще не разъединились, еще держатся друг за дружку, нехотя отпуская палец за пальцем.

Машинистка принесла отпечатанную бумагу, Аржанников углубился в чтение, хотя и было там всего три строки.

Алексей разглядел издали: «Удостоверение... является внештатным...» Он несколько разочаровался, так как полагал, что все будет гораздо солидней: книжечка красной кожи с золотым тиснением, которую с такой восхитительной и привычной небрежностью вынимаешь из нагрудного кармана: «Здравствуйте, я из...» — а вместо этого тебе простая бумаженция, добро хоть гриф на ней красный.

— Ну пойдём, — сказал Аржанников, вставая, — к главному, к самому.

Редакционный коридор был длинен, как улица.

Алеша вспомнил, как шел сюда по улице «Правды», еще издали приметив громадный бетонный корпус и сразу поняв, что ему туда, что там, но как далеко, — а сейчас ему показалось, что коридор шестого этажа протянулся во всю длину той улицы, вплоть до светофора на скрещении с Ленинградским шоссе. И человек, шагавший им на-

встречу по истоптанной красной дорожке, был как бы далеким торопливым уличным прохожим с букашку.

Здесь тоже, как и в коридоре «Северной звезды», за нетолстыми перегородками, частыми дверьми, ленточными окнами поверху слышалась трескотня пишущих машинок; звонили телефоны, брали по междугородной, диктовали, смеялись забавным анекдотам, но всего тут было больше: и трескотни, и звонков, и ора, и смеха, и, наверное, анекдотов.

Они шли довольно быстро, и дальний прохожий шагал навстречу энергично, и как ни далеки они были, но сблизились, встретились.

— Салют, Юра! — сказал встречный, молодцевато вскинув на уровень уха сжатый кулак. — Рад тебя видеть. Я, понимаешь ли, только что с поезда...

Обменялись хватким рукопожатием.

— Игорь Александрович, познакомьтесь. — Аржанников подтолкнул вперед Алексея. — Это Рыжов; будет нашим внештатным корреспондентом в Городе-на-Реке.

— А, коллеги! — обрадовался встречный. — Что ж, будем вместе гнать строкотекст, теснить друг друга на полосе, наступать на пятки... ну ничего, всем места хватит.

Алексей сразу обратил внимание на то, что его новый коллега был в отличных брюках темной фланели, из-под которых выглядывали нарочито грубые башмаки на каучуке, плечи облегал ладный пестрый пиджак — все это было на зависть великолепно, — однако его галстук в турецких огурцах был примерно того же достоинства, что и галстук Алексея, тоже, поди, заграничный, с барахолки.

— Ну как там? — спросил Аржанников.

Игорь Александрович потер ладонью щеку с чуть отросшей щетиной, что подтверждало, что человек прямо с поезда, на лице его появилась раздумчивость.

— Понимаешь, Юра, там сложно, очень сложно... Они удалили коммунистов из правительства, но правым пока тоже дают афронт. То есть они пытаются изобразить себя некой третьей силой, а какая, к чертям, может быть третья сила? Или — или... Вот сейчас бастуют триста тысяч шахтеров — так они на них бросили не только жандармерию, но и танки, представляешь?.. Я позже зайду к тебе, расскажу подробней, а пока нужно писать в номер... Салют!

И, уже отдалившись на пол-улицы, крикнул:

— А я, между прочим, тоже из города-на-реке... Там у нас — Сенал!

Аржанников и Алексей рассмеялись громко, чтобы он услышал.

— Это Луков, наш корреспондент в Париже, — объяснил на всякий случай Юра.

— Я понял.

Они прошагали всю улицу насквозь, вплоть до воображаемого светофора, у перекрестка Юра указал на ступени, взбегающие к распахнутым дверям:

— Тут у нас Голубой зал: совещаемся, а по четвергам принимаем гостей... Теперь налево... Ну вот и пришли.

— Юра, подожди... — Алексей остановил его, когда тот уже взялся за бронзовую ручку.

— Что?

Алеша и сам не знал что. У него надломилось дыхание — так он был взбудоражен всем: и бетонной громадой корпуса с крупными названиями газет и журналов по фасаду, и этим коридором с красной дорожкой, и веселым треском машинок за стенами, и встречей с Луковым, который только что из Парижа, и вот пробежала от лифта шустрая девчушка с еще сырыми оттисками полос.

— Что? — повторил нетерпеливо Аржанников.

— Юра... а что, если мне остаться здесь? Прямо в редакции, в

аппарате, в каком-нибудь отделе. Или разъездным корреспондентом. Я смогу, честное слово.

Аржанников убрал пальцы с бронзовой ручки, весь подобрался чуждо, в голосе его послышались нотки еле скрываемого раздражения:

— Новости дня... Да ты что, ошалел? Такого разговора у нас не было, да и не со мною заводить такой разговор, мой права телячий: вот... — Он помахал бумажкой с красным грифом. — Если не устраивает, пошли обратно, зачем начальству голову морочить? Ну, Рыжов, удивил — я было посчитал тебя серьезным человеком...

— А думаешь — не смогу? — в свою очередь напустился Алексей. — Не боги горшки обжигают. Видал я таких богов.

— Разве в этом дело! Нужно реально смотреть на вещи: корбушка эта полным-полна, что наш этаж, что другие. Местов, как говорится, нетути... Я допускаю, что ты сможешь, но все-таки взвесь собственные данные на сегодня: образование — один курс института, к тому же для нас не профильного, стаж, опыт — без году неделя. Что еще ты можешь предъявить? Ничего... Извини, но я буду откровенен сполна: если бы не Город-на-Реке, то вообще... короче говоря, ты нужен не столько с а м, сколько т а м. Понял?

«Тебе просто нужно, чтобы я как можно быстрее уехал из Москвы, — подумал Алексей, — вот и все, если уж быть сполна откровенным». А вслух сказал:

— Веди.

Главный редактор оказался человеком невысоким и некрупным, облика округленного, как матрешка, это впечатление усиливали гладко зачесанные негустые волосы, а благодать, исходившую от него, довершали очень добрые и лучистые карие глаза.

Он подписал не колеблясь, протянул:

— Желаю успеха... нет, садитесь, я все-таки позволю себе несколько слов в напутствие. И вы, Аржанников, сядьте...

Аржанникову пришлось искать место поодаль, потому что другое кресло у письменного стола было уже занято, когда они явились: в нем сидел человек тоже небольшого роста, но отнюдь не круглый и не благодатный, как главный редактор, а наоборот — весь колкий, ершистый, даже лысина его в оторочке жестких черных космочек имела вид не круглый, а колкий; он смотрел на Алексея изучающе.

— Я бы хотел предостеречь вас, товарищ Рыжов, от двух заблуждений, наиболее свойственных нашим корреспондентам на местах, — сказал главный, — и не только внештатным... Первое: возрастная ориентация. Некоторые полагают, что если газета молодежная, то и писать в ней нужно исключительно о молодых. А если о молодых, то сюсю... Нет, это неверно. Наша газета — в з р о с л а я. Нужно, чтобы молодой человек все время чувствовал, что мы относимся к нему с полной серьезностью, с полным доверием, считаем его человеком самостоятельных и здравых суждений... Сами подумайте: пришли с войны миллионы двадцатилетних — можно ли с ними сюсюкать?

— Нельзя, — коротко и скрипуче отверг подобную ересь сидящий напротив Алеши чернявый человек.

— Сюсюкать нельзя, — развел руками главный редактор, но тут же подался вперед, — а воспитывать надо! Вот в чем сложность-то. Их, бывалых солдат, победителей, их еще нужно воспитывать, да-да, потому что они очень молодые, потому что у них вся жизнь впереди... Так что не стесняйтесь изображать людей старшего поколения — кстати, они тоже читают нашу газету, — давайте их биографии во всей протяженности, всю долгую и честную жизнь. Молодежь, пришедшая с войны — мы интересовались этим, убедились, — по-прежнему свято чтит людей революции. Вот и будем воспитывать примером — примером их жизни. Ясно?

Алексей утвердительно кивнул, это было яснее ясного. Он и сам был именно так воспитан.

— Теперь второе. Эту молодежь — мы тоже убедились — нужно воспитывать п р а в д о й. Ничего иного она не приемлет, потому что знает на опыте, где страх, а где совесть. Но правда немыслима без критики, мы пока не в раю живем. А некоторые наши корреспонденты, к сожалению, предпочитают кормить читателя манной кашкой, все тем же сю-сю, а критиковать боятся, застенчивы чересчур... Вот Сурен Гургенович, который сидит напротив вас, наш заведующий отделом фельетонов, может это подтвердить. Подтверждаете?

Сурен Гургенович не подтвердил и не опроверг, а лишь колко поднял палец:

— Дайте мне фельетон, Рыжов, и я скажу, какой вы журналист. Фельетон — это высшая проба профессионализма, высшая проба гражданской смелости! Дайте мне фельетон.

Главный усмехнулся:

— Ну, тут уж ты маленько загибаешь, Сурен Гургенович, по принципу: водевиль, все прочее есть гиль... — Он пошлепал ладошкой по листу бумаги на столе. — Я вот передовицу пишу — тоже, знаешь ли, трудный жанр, тоже требует... Ну ладно, вот это я и хотел вам сказать, Алексей Николаевич. Еще раз желаю успеха.

Он приподнял подбородок, глянул в дальний угол кабинета, где на краешке стула сиротски сидел Аржанников.

— Юрий Филиппович, все это и вас касается — надеюсь, слышали?

Алексей заехал на Октябрьский вокзал, купил билет на «красную стрелу» в купейный вагон, а добравшись домой, сразу позвонил в Ленинград и сообщил матери, что едет, она сказала, что очень рада.

Уложив чемодан, сел пить теткин чай — все из тех же трех сортов и жасмина, но теперь уже не по случаю встречи, а на прощанье, совсем другой вкус.

Не утерпел, достал из бумажника удостоверение с красным грифом, показал ей.

— Поздравляю, — сказала Надежда Андреевна, — ты так быстро шагаешь вперед, просто на зависть для твоих двадцати лет... — Она поразмыслила о чем-то, с трудом подавила вздох, однако не одолела возникших у нее мыслей. — Но ведь когда-нибудь, Алеша, тебе все равно придется столкнуться с этим обстоятельством... чем выше ты поднимешься, тем строже будет спрос, это правило...

— О чем ты? — усмехнулся он, грызя овсяное печенье. — Какой спрос? Какое правило?

— Я говорю о вере.

— О какой вере? Ты сегодня чудишь, тетушка... В бога я не верю, а во все остальное, во что надо, верю железно.

— Ах, не каламбурь, пожалуйста, это совсем не шутка. Я имею в виду Веру, Веру Андреевну, нашу старшую сестру, она ведь тоже твоя тетка. Я говорю о вере, которая живет в Париже.

Крошки печенья, которых не достал глоток чая, облепили горло, ожгли, как наждак. Алексей закашлялся хрипло и надрывно, глаза полезли из орбит.

«Она с какой стороны, чья сестра — отца или матери?.. — пронеслось в мозгу странным воспоминанием ни о чем, обрывком сновидения или больного бреда, хотя он не мог бредить, потому что никогда не заболел до такой степени, чтобы нести бред. — Надежда и Любовь? А раньше Веры не было? Может, умерла еще маленькая?.. — Нет, Веры просто не было. Не было. Только две сестры — Надежда и Любовь».

Тетка подошла сзади, постучала по загривку, как надо делать,

если человек поперхнулся или захлебнулся, если ему не в то горло попало, чтоб прошло.

— Значит, ты не знаешь... Я так и думала, что Люба ничего не сказала тебе об этом. Теперь окажется, что я преступница. Как всегда: что ни случись, а я же сама во всем виновата...

Надежда Андреевна вернулась к своему месту, села, покаянно оперла лоб о пальцы.

— Но ведь я раньше ничего и не говорила тебе, хотя сто раз мгла. Ты был студентом, со студента что за спрос? А мы уже в таком возрасте, когда все может случиться неожиданно, со дня на день — я могу умереть, Вера может умереть, о Любе я не стану при ее сыне, — и тогда все отпадет само собой: ты не знал, а теперь уже и знать нечего... Но ведь пока мы все живы и одному, богу известно, кому, когда...

Она отерла украдчивую слезу, посвященную неизвестно кому.

— Но теперь, Алеша, ты идешь в гору. Тебя, наверное, будут принимать в партию, а там нужно все начистоту... Ведь лучше все-таки заранее предупредить. Нет разве?

Алексей постепенно отдышался от кашля, к нему вернулся дар речи, и он воспользовался им с тем рассудительным спокойствием, на какое еще был способен:

— Стоп, тетка. Отвечай на мои вопросы по порядку. Итак, старшая сестра — Вера Андреевна Клеймихина...

— Но она уже давно не Клеймихина! В первом замужестве — Тетенина, она была женой Павлика Тетенина, мичмана. А во втором — мадам Дюфрен.

Он ужаснулся, поняв, что чем дальше — тем будет опасней и хуже, но все-таки была необходима последовательность.

— Ты опять забегаешь вперед! — прикрикнул он. — А ведь я сказал: спрашивать буду я, отвечай на мои вопросы — и больше ничего!

Она откинулась к спинке стула с гордым достоинством, запахла на груди концы кашемировой шали.

— Ты меня допрашиваешь, как в Чека... а я, между прочим, там бывала, но в другой роли: я стенографировала допрос зеленого атамана, он безобразно ругался, но не в этом дело, — надеюсь, ты меня понял?

— Я понял... — Алексей поник головой. — Рассказывай сама.

— Вера была годом старше меня, значит, на три года старше Любы. Окончила гимназию. В пятнадцатом году вышла замуж за Павлика Тетенина, такой симпатичный был мальчик, дворянин. Уже была война, так что свадьба была очень скромной — только венчание, а потом они сразу уехали в Севастополь, потому что Павлик получил назначение на Черноморский флот. Воевал на Босфоре, заслужил Георгия... Но с тех пор я их больше не видела — ни его, ни Веру. После революции они остались в Крыму.

— У Врангеля? — простонал он, нарушив обещание молчать.

— При чем здесь Врангель! — опять гордо выпрямилась тетка. — Врангель выскочил под самый занавес, как шут гороховый. А Павлик был у Деникина в Добровольческой армии, его зарубили котовцы...

В глазах Алексея все поплыло.

«...никинеД». Ники Нед. Вот оно, странное имя, прочтенное на обороте газетной страницы сквозь свет, на изнанке его первой статьи. Вот он — знак!

— Дальше, — обреченно сказал он.

— Ну что дальше? Вера была сестрой милосердия. Когда флот уходил, ее тоже взяли. Так она попала в Бизерту, в Тунис... Там она еще раз вышла замуж. Видишь ли, это враки, будто русские женщины там, в эмиграции, все пошли на панель. Вероятно, некоторые и пошли, но, значит, имели склонность... А Вера вышла замуж за меся Дюфрена, он был в Тунисе каким-то крупным чиновником, чуть ли

не губернатором — ведь это была колония Франции. Она родила мальчика, его назвали Поль, в честь Павлика. Но Вере не повезло — месье Дюфрен умер, она опять овдовела. Правительство назначило ей пенсию — большую, — и она переехала во Францию, в Ниццу: там была усадьба Дюфренов, она стала ее хозяйкой, но после войны продала и купила квартиру в Париже — и там до сих пор...

В голове Алеши внезапно пронеслась мысль, что все, что тетка рассказывает, — сплошная неправда. Что это давняя, выношенная, тщательно обдуманная месть, которую она сейчас — решив, что настала пора, — приводит в исполнение. Месть своей младшей сестре, отнявшей у нее жениха, и мертвому комиссару Рыжову, который пренебрег ею, растоптал ее девичьи грезы, и даже их сыну — ни в чем не повинному юноше, доверчивому и славному, ничего дурного ей не сделавшему... Для того, чтобы мстить, страшно мстить и ему и всем, завлекла его письмами в Москву, ждала, ждала подходящего момента, когда он встанет на ноги, верней, когда ему покажется, что он самостоятельно поднялся на ноги и окреп, и тут — неожиданный и коварный удар, никто не видит, у соседей тихо...

— Докажи, — сказал Алеша.

— Что? — не поняла тетка.

— Выкладывай все, что у тебя есть — документы, письма, — я хочу сам убедиться.

Тетка подняла плечи к ушам и развела руки, сделавшись сразу похожей на горбунью.

— Ну, если тебе интересно, то... я, конечно, могу показать.

Она пошла к комоду, выдвинула ящик, достала из него кожаный бювар с застешками (как же он за целый год, что жил здесь, в ее комнате, не догадался порваться в комод! — горько упрекнул себя Алексей. Надо было все перевернуть, разрыть до дна, обнаружить, изорвать в клочки и сжечь — вот тогда и попробуй что-либо доказать, ха-ха!), — она принесла этот тяжелый бювар на стол, вынула из него сначала большую фотографию, наклеенную на толстый картон, сказала не без торжества:

— Вот, попробуй сам найти Веру — фамилии тут не обозначены, — ведь ты очень похож на нее, ты даже больше похож на нее, чем на меня и Любу!

Он тупо уставился на снимок, состоявший из крохотных овальчиков, расположенных веером, ярусами, сверху донизу; в овальчиках покрупнее были какие-то спесивые седобородые и седоусые господские морды в мундирах с петлицами, а также дамские физиономии в пенсне, с похожими на перевернутые репы прическами, с отвисшими зобами; а в маленьких овальчиках, которых была сплошная россыпь, мило улыбались либо чинно взглядывали девичьи личики всех мастей с неизменными косами, в кружевных воротничках, с белыми оплечьями фартуков; а посредине было изображено каменное здание, которое показалось Алеше гораздо более знакомым, чем все эти незнакомые и чуждые лица.

— Да ведь это моя школа! — воскликнул он. И уточнил, поскольку ему довелось учиться в разных городах и разных школах: — В Кронштадте, на Коммунистической!

— Правильно, — подтвердила Надежда Андреевна, — на бывшей Княжеской. Но раньше это была женская гимназия, разве ты не знаешь? Мы все там учились — и Вера, и я, и Люба, — но потом умер папа, твой дедушка, и надо было зарабатывать для семьи, думать о профессии, так что гимназию успела окончить только Вера и сразу вышла замуж...

Алексей отшвырнул прочь этот снимок, даже не попытавшись найти среди лиц, среди девиц в косах и кружевных воротничках, узнаваемые черты — этот снимок ничего не значил, подумаешь, гимназия. Впрочем, он и впрямь давно знал, что в их школе на Коммуни-

стической прежде была женская гимназия и что в ней когда-то училась его мать и его тетка, он не знал лишь того, что у него была еще одна тетка, которая тоже училась в его школе, а теперь живет в Париже,— вот в это немаловажное обстоятельство мать почему-то не сочла нужным его посвятить, и он заранее скрежетнул зубами от ярости, вообразив предстоящий разговор в Ленинграде с матерью, и отшвырнул прочь дурацкий гимназический снимок с мордами, физиономиями и личиками, который ровню ничего не значил.

— Вот,— сказала Надежда Андреевна, раскрывая благоговейно, как священную книгу, паспарту цвета табачных листьев, где внутри была еще прозрачная бумага, тисненная паутинкой, а уж в ней большая, матовая, тоже коричневого тона, тщательная и продуманная фотография: оголенные покатые плечи, приобнятые мягким дымчатым мехом, нитка крупного жемчуга, завязанная небрежным узлом на длинной и нежной шее, лицо в полупрофиль — подбородок будто бы изваянных, завершенных очертаний, нежные губы и под бровями строгого, но изысканного росчерка светлые глаза, излучающие не сверканье, а тот же рассеянный и влекущий свет, что и жемчужины на шее.— Вот...

— Здесь она Тетенина? — спросил он.

— Нет, здесь она мадам Дюфрен,— ответила тетка и, тронув осторожно, будто настоящий, мех на фотографии, объяснила:— Это шиншила, страшно дорого, Павлик никогда бы не смог, простой офицер... Но какая она красавица, правда?

Алексей молчал, действительно потрясенный красотой этой женщины — он никогда еще не видывал подобной красоты. Но, странно, ведь сам он не был красив (он сознавал это достаточно ясно и спокойно, как и то, что мужчине вовсе необязательно быть красивым, что это даже смешно и противно, когда мужчина — красавец), а вместе с тем он понимал, что тетка права, что он и впрямь очень похож на эту божественно прекрасную женщину тем непохожим, но безусловным сходством, которое дает не случайное совпадение, а порода, кровь.

— Наш папа, твой дедушка, говорил, что из нас, сестер, Вера самая красивая, Люба самая умная, а я...— Тетка вынула из кармашка платок и слезно высморкалась.— Папа говорил, что я самая послушная...

Ему вдруг стало жалко ее — он сейчас понял всю обездоленность ее жизни,— и он ласково, мирясь, погладил ее волосы, успокоил:

— Что ты, тетушка? Ты не распускай сопли. Дедушка знал, что говорил: ведь это самое ценное, когда человек послушный, это больше красоты, лучше ума — было бы послушание, оно вознаградится... А много ли пользы вышло твоим сестрам? Одна — вдова, другая — дважды, а ты у нас — невеста!

— Спасибо,— кивнула Надежда Андреевна, пытаясь улыбнуться через силу,— я, конечно, понимаю, что это шутка — невеста без места,— но я сама иногда думала... знаешь, бывали такие времена, когда казалось... в общем, ты прав.

— Не я, а дедушка,— ворчливо заметил Алексей.

Но теперь, когда напряжение спало, а их примирение состоялось, когда он понял, что его не обманывают, не берут на испуг, что все это, увы, неприкрашенная и голая правда, от которой нельзя просто отмахнуться,— он уже сосредоточенней и деловитей разглядывал остальные снимки.

Вера в белой косынке с тонюсеньким крестиком на лбу и в белом фартуке, очень похожем на гимназический, с большим крестом на высокой груди.

— Это Крым? — строго спросил он.

— Нет, это Африка, Тунис,— заверила Надежда Андреевна, улыбаясь и поняв его беспокойство,— погоди, я тебе сейчас докажу...

Она выдернула наугад, как из колоды, верную карту, и показала

ему: там Вера Андреевна в той же косынке и в том же фартуке с крестами стояла в толпе чернокожих людей, точнее не чернокожих, а темнокожих, загорелых, как курортники из Анапы, и улыбались они столь же счастливо, как курортники, очевидно радуясь выздоровлению, а позади них виднелись в дымке белые купола и минареты.

Алеша несколько смягчился, убедившись, что тут она выхаживала не белых, а черных.

— Верочка работала в миссионерском госпитале,— сказала тетка.— Там он ее и увидел, месье Дюфрен: приехал инспектировать — и увидел... А вот здесь она уже с маленьким Полем.

Вера Андреевна держала за руку крохотного карапузика в белой панамке, они стояли подле облупленных и щербатых колонн с завитыми капителями — как на Волхонке,— но эти настоящие античные колонны ничего не поддерживали, кроме безоблачного свода неба, они стояли на земле как бы сами по себе, уцелев, но уже не неся никакой нагрузки, никаких бремени, никаких тягот, а за ними расходились полукругом, ниспадали в глубину каменные скамьи амфитеатра, тоже выщербленные и трещиноватые, проросшие в щелях.

— А это где? — спросил Алексей.

— Я не помню. Но подожди, ведь должно быть написано.— Она перевернула фотографию тыльной стороной, и там мелким почерком было указано: «Carthage, 1925».

— Картаж? — удивился он.— Где это — Картаж?

— Картаж — это Карфаген,— объяснила тетка,— по-моему, он тоже в Тунисе, в Африке...— Она пошуршала колодой, снова вытаскивала наугад и опять не ошиблась, сказала торжествующе: — А вот это уже Париж.

Вера Андреевна в широкополой шляпе, скрывавшей в тени некоторые признаки увядания ее прекрасного лица, стояла у живой изгороди подстриженных кустов, чуть далее фонтаны подбрасывали дробящиеся струи воды, а еще дальше взмывала в небеса настолько знакомая взгляду Эйфелева башня, что ему даже показалось, что он тут когда-то был, определенно был, но не помнит — когда.

Привычное головокружение повело вразгон стены комнаты, будто они с теткой сидели не за круглым обеденным столом, под абажуром, а на лошадках карусели, однако лошадки скакали не рядом, ноздря в ноздю, а встречу, упершись лбами, и тетка ехала задом наперед.

И опять одновременно его ошеломила вдруг мысль, которая уже являлась ему сравнительно недавно: что он мог быть сыном не своей матери, а своей тетки, не Любви Андреевны, а Надежды Андреевны, но в таком случае он мог быть и сыном другой своей тетки, Веры Андреевны, и тогда он родился бы не в Кронштадте, а в каком-нибудь Карфагене, не в России, а, черт возьми, в Африке — об этом даже подумать было жутко, что за кошмар! — но он тотчас одернул себя, так как вспомнил, что прошлый раз эта явившаяся мысль имела под собой хоть некоторое основание, потому что его отец, комиссар Рыжов, волочился за обеими сестрами Клеймихиными — Наденькой и Любашей, предпочтя в конце концов младшую,— но ведь старшая, Вера, к той поре уже была в нетях, по ту сторону, как бы в потустороннем мире, и поэтому если старшая тетка и захотела бы стать его матерью, то уж во всяком случае зачала бы не от комиссара Рыжова, и вполне понятно, что тогда бы он, Алексей Рыжов, просто не был бы Алексеем Рыжовым, не был бы самим собой, то есть не был бы вообще, какая жалость...

Интересно, а его отец, Николай Алексеевич,— знал ли он о существовании старшей из сестер, Веры? Это еще предстояло выяснить, и это было крайне важно. Но Алеша отдавал себе отчет в том, что выяснять этот деликатный вопрос нужно не здесь, а в Ленинграде, завтра.

Сейчас же ему следовало выяснить другой вопрос, сегодняшний и сиюминутный, который сверлил ему мозги, покуда он держал в руках согнутую желобком фотографию с Эйфелевой башней: кто этот долговязый парень в берете, который стоит подле Веры Андреевны, взяв ее под руку и притиснув к себе, а вместо другой руки у него пустой рукав, гладко прилегающий к туловищу и, вероятно, пристегнутый внизу булавкой к пиджаку.

— Кто это? — спросил Алеша.

— Как кто? — изумилась тетка тому, что он еще сам не догадался кто. — Это Поль, Поль Дюфрен, сын Веры, твой двоюродный брат...

И прежде чем он понял объяснение, слух его уловил слово, поразило слово: «...брат». В этом слове — б р а т — было нечто более важное и куда более обязывающее, чем в смешном и несерьезном слове т е т к а.

Алеша вернулся к прежней фотографии, где были колонны и руины Карфагена и где Вера Андреевна держала за руку крохотного карапузика в белой панамке, — он сравнил оба снимка, сличил их (карапузика в панамке и этого парня в берете) и нашел, что они мало чем похожи друг на друга, но, конечно, возраст очень меняет внешность, и еще он заметил, что у взрослого парня нет именно той руки, левой, за которую его когда-то, когда он был малюткой, держала мать.

— А что с ним... что случилось с рукой?

— Он потерял ее на войне, — сказала Надежда Андреевна. — Он был в Сопротивлении, воевал в армии генерала де Голля, его ранило, и пришлось ампутировать руку, бедный мальчик... — вздохнула тетка. Он опять посмотрел на карапузика в белой панамке.

— Но как же... как же он попал на войну такой маленький?

— Ах, извини, Алеша, но ты все-таки порядочная бестолочь: ведь он на целых три года старше тебя!

Однако мысли Алексея уже отвлеклись от возраста невесты откуда взявшегося двоюродного брата. Теперь они были прикованы к другим обстоятельствам, о которых он только что услышал.

— Ты говоришь — у генерала де Голля? — задумчиво переспросил он. — Но сейчас де Голль справа, определенно справа... там вообще сейчас очень сложная обстановка, — поделился он с теткой сведениями, которых еще не было в газетах и которые он как раз сегодня буквально на ходу перехватил у своего коллеги Лукова, только что прибывшего из Парижа. — Бастуют триста тысяч шахтеров, а против них — танки...

— Господи, какой ужас! — сочувственно откликнулась Надежда Андреевна.

Алеша еще раз посмотрел на снимок, где была Эйфелева башня и где не было руки.

— Ты говоришь — в Сопротивлении? Но там задавали тон коммунисты... Послушай, тетка, может быть, он коммунист, а? — Он вдруг проникся этой последней надеждой и посмотрел на нее умоляюще.

— Я не знаю, — пожалла плечами она. — Вполне возможно, но я ничего определенного не знаю. Вера, к сожалению, не написала об этом — он в партии или беспартийный. Эта фотография была в последнем письме, я его получила год назад, ответила — и теперь жду опять...

Нет, вряд ли можно было ждать добра от всего этого, понял Алешей.

Он еще раз мельком взглянул на частокор щербатых коринфских колонн, подпирающих пустое небо Карфагена, отодвинул от себя всю эту кипу шуршащих фотографий, как в старину отодвигали, проигравшись в прах, вороха ассигнаций.

Вынул папиросу, закурил. Дела его приобрели совершенно неожиданный оборот и, вполне очевидно, обернулись не к лучшему. Он сам еще недостаточно внятно понимал, какой конкретный урон мог случиться для него лично, но сердце заняло, подсказывая, что чувства эти не лишены оснований.

Вот черт, осатанел вдруг Алексей, если б он догадался уехать в Ленинград дневным поездом, то это чаепитие вообще бы не состоялось и он мог бы уехать в Ленинград в беспечном и счастливом неведении... но дневной поезд уходил в четыре, а на улицу «Правды» его звали к трем, он все равно не успевал обернуться.

Он рубанул кулаком по столу и сказал:

— Карфаген должен быть разрушен.

— Что ты сказал?— испуганно отозвалась тетка, она запиховала бювар обратно в ящик комода.

— Это не я сказал. Это один товарищ сказал, что Карфаген должен быть разрушен.

— А-а, — протянула тетка и опять огорчилась: — Господи, сколько всего разрушено...

15

Он не сомневался, что она произнесет именно эти слова, и она их произнесла: «Как ты одичал!»

Он мог знать об этом заранее и знал потому, что однажды уже слышал от нее эту фразу, когда весной сорок четвертого года она приехала за ним в Городище, чтобы забрать из детдома в Ленинград, и там он предстал перед нею во всей своей эвакуационной сироти: вытянувшийся и блеклый, как росток подвального картофеля, отощавший на пустой баланде, до смерти напуганный туберкулезным отделением больницы, угрюмый, замкнутый и, как выяснилось, порядком завшивевший. Он, конечно, был рад ее приезду и тому, что его заберут домой, но настолько отвык от матери за три года, настолько боялся жестокости всех, кто был старше его — а сам научился быть жестоким с младшими, — что первые дни смотрел на нее затравленно, исподлобья, готовый к любой обиде и несправедливости, готовый к посильной защите своего существования на свете, и она не сдержала укора: «Как ты одичал!»

Но теперь он предстал перед нею совсем в другом роде: возмужавший и достаточно уверенный в себе, а главное, совершенно взрослый, с двумя корреспондентскими удостоверениями в кармане и все еще плотным бумажником, притом отлично одетый — в добротном черном пальто с каракулевым воротником, золотистой пыжиковой шапке, фетровых бурках на кожаном ходу, он был просто загляденье и радость, но она, впусив в дверь, окинула его цепким взглядом, сокрушенно покачала головой и сказала: «Как ты одичал!»

Он проявил сдержанность, усмехнулся внутренне, но тотчас же присчитал эти ее слова к тому общему счету, который намеревался предъявить ей.

Однако он не спешил с этим. Он еще в поезде обдумал всю стратегию и тактику предстоящего свидания с матерью и решил так: нужно дать ей выговориться, пусть она изольет всю полноту чувств, своего праведного гнева, высокомерных и едких поучений, а когда она выложится, иссякнет, когда ей наконец самой надоест — вот тут и станет его черед, вот тут уж заговорит он...

Впрочем, еще никому и никогда, насколько помнил Алексей из истории, не удавалось досконально соблюсти первоначальные намечки стратегии и тактики, всегда случались отклонения применительно к обстановке, и он тоже не сумел осуществить свой план в точной последовательности: они крепко повздорили в первый же вечер, когда она пришла с работы, устало доругивались на следующее утро,

но самый главный разговор предстоял сегодня, потому что был выходной — впереди был целый выходной день, и он понял, что она использует его максимально, на все сто.

Значит, и ему тоже предстояло именно сегодня ввести в бой припасенные в глухой засаде резервы: «Гвардия, час настал... Вперед!»

После завтрака мать велела ему одеваться и сообщила, что они пойдут на прогулку: с Малой Охты на Васильевский остров пешком, как любила она, через весь Ленинград; а январский день был предельно короток — слава богу, что хоть небо нынче морозно и ясно, из-за черты горизонта выснулось краем солнышко, оно скоро и зайдет, но все-таки можно было урвать толику дневного света, — и они зашагали к мосту Петра Великого, все время видя сквозь его решетчатые фермы, как перемещающийся ориентир, бирюзовый и серебристый Смольный собор.

Алеша сообразил, почему выбран именно этот маршрут.

Он вспомнил, как полтора года назад, тоже в воскресенье, она повела его этим же путем, но тогда преднамеренно медленно, ведь спешить было некуда, стояла пора белых ночей, сутки напролет город без огней, — она повела его мимо всех немислимых и торжественных питерских красот к зданиям университета, и этим было сказано все: вот, Алеша, через месяц ты окончишь школу, надеюсь, прилично, ты получишь аттестат зрелости — и вот твоя дорога и моя сокровенная мечта, и я думаю, что если бы отец был жив... — а он, лениво шаркая подошвами, хмуро озираясь, тащился за нею и мечтал лишь об одном: действительно получить бы через месяц аттестат и дать деру, отсюда в Москву, которой он еще никогда не видел, к тетке, которую знал лишь по письмам, она звала его приехать, к полной свободе, которой он еще никогда не ведал и запах которой, лишь угадываемый, был упоителен и хмелен...

— Ты все-таки должен понять меня, и понять правильно! — гнула она и сегодня вчерашнее. — Я не квочка. Дело вовсе не в том, что я хочу удержать тебя подле своей юбки, в маменькиных сынках. Нет, я, наверное, была бы не против, если б мой сын поехал строить Магнитку, Комсомольск...

— Их уже без меня построили, — заметил он.

— Я имею в виду что-то в этом роде, ведь, наверное, будет еще? Не может не быть, как иначе?.. Если бы ты взялся за лопату, за кирку — пожалуйста, благословлю, ведь я, Алеша, большевичка! — Она с трудом перевела дыхание, ей уже не хватало сил одновременно на быструю ходьбу и пылкие речи, уже сказывался возраст, а она еще не понимала этого. — Но я не могу радоваться тому, что мой сын в двадцать лет, даже не получив серьезного образования, подвизается в уездных щелкоперах и считает, что лучше быть первым в деревне, чем последним в городе... Это стыдно!

— Стыдно не знать географии, — огрызнулся он. — В последнее время я часто встречаю людей, которые имеют о ней довольно смутное представление... Так вот: не уезд, а республика — ты, как большевичка, улавливаешь разницу? — и не деревня, а город, столица, притом... — он осклабился, — притом не бывшая столица, а, так сказать, нынешняя, действующая!

Он был неотразим и великолепен.

Однако мать не оценила этого, хотя некоторые матери склонны находить великолепие даже в самых жалких своих чадах — некоторые, но не его мать.

— Тебя влечет провинция, глухомань, да-да, определенно... — продолжила она, помолчав немного. — Я давно заметила это в тебе. Еще когда ты вернулся из Городища. Провинция... ты не просто погряз в ней, свыкся по несчастью — война, — нет, тебя это манит, притягивает. Потому что в тебе самом живет какой-то дремучий провинциализм. Но откуда он в тебе?

— Так ведь мы не в Париже родились,— пустил он пробный, осторожный и коварный шар.— У нас ведь и папаня деревенский, и маманя, извиняюсь, с острова... Где уж нам!

Он вздохнул притворно, покосился на нее с хитрецей: как там, на ее лице, отозвалось насчет Парижа?

Но на нем ничего не отозвалось, она будто не поняла или даже не расслышала, поглощенная наступательным ходом своих мыслей.

— А это ерничество, пустое, мальчишеское... Ты должен понять меня правильно: я не против провинции, я против провинциализма — это разные понятия.

Они шли вдоль железной ограды Таврического сада. За нею в снегу копошилась детвора: загребала снег лопаточками, насыпала его в ведерки, уминая, чтоб побольше влезло, проявляя задатки бережливости и домовитости, себе-себе, даже дрались из-за этого снега, отбирая друг у дружки, хотя кругом его было навалом и всем достаточно. А те, что постарше, съезжали с горок на санках и лыжах, плюхаясь румяными мордашками все в тот же снег, какая прелесть.

Поблизости была 9-я Советская, где они жили до войны, а здесь, на Таврической улице, был детский сад, и он помнил, что их водили гулять именно сюда, в этот сад, и с матерью он часто бывал здесь — тогда он был таким же маленьким и потешным, как эти... Как много выпало снега с тех пор, как много утекло воды, как бесконечно давно все это было.

Он заметил, что мать тоже с грустью смотрит сквозь прутья ограды, и мог угадать, что грусть ее иного рода: вот такого же крохотного и румяного мальчика она совсем еще недавно водила по этим садовым аллеям и зимой, когда они чисты и белы, и летом, когда весь Таврический в купах зелени, и осенью, когда эти дорожки и зеркало пруда усыпаны, как небо, звездами опавших кленовых листьев,— могла ли она в ту пору хотя бы предположить в нем, своем Алеше, задатки одичалости, дремучего провинциализма, сыновней черствости и еще чего-то такого неожиданного, неприятного, чуждого, с чем является на свет каждое новое поколение... Но, конечно, во многом виновата война, оторвавшая от нее сына на целых три года.

Он был уверен, что она думает именно об этом, иначе о чем же ей было думать.

На углу Таврической и улицы Салтыкова-Щедрина был музей Суворова, столь нелепый среди окрестной петербургской строгости — весь в башенках, гребешках, двухвостых крепостных зубцах,— но он умилил его своим московским видом.

На мозаичном панно генералиссимус вел через Альпы свои полки: «Вперед, чудо-богатыри! Пуля — дура, штык — молодец... Ура!»

Не пора ли и ему вводить в бой резервы?

Но мать шла молча, и он решил погодить, дожидаться, пока она заговорит вновь.

Отчего же его так обрадовал суворовский музей, этот камешек Москвы, вставленный в чинный ряд питерской улицы? Разве он не любил Ленинград?.. О нет, он любил его беззаветно и преданно и продолжал любить. Но ему причиняли обиду и боль приметы покинутой столицы, знаки запустения. Другой, не любящий, их и вовсе не заметил бы: Медный всадник — на месте, Исаакий — ого-го!.. Одна лишь любовь замечает эти знаки. И если б знать их все наперечет, эти горькие приметы, то можно бы и привыкнуть к ним в конце концов и перестать замечать. Однако они не убавлялись с течением лет, и глаза все время сталкивались с ними, не замеченными ранее или даже новыми, и боль занималась опять.

Его выводили из себя на классических гордых дворцовых фронтонах Стасова и Росси вывески «Ленпромтехсбыт», «Ремонт обуви», «Правление общества глухих». Его охватывала ярость, когда под мраморной доской на Красной улице: «Здесь жил Александр Сергеев-

вич Пушкин...» — он видел еще и таблицу: «Прием тряпья, макулатуры, стеклотары» — и видел разверстый зловонный подвальный зев. И сейчас, когда они вышли к Мойке у Аптекарского переулка, он еще издали приметил необычное круглое здание в один этаж, о котором он знал, что это XVIII век, и что это Кваренги, и что это архитектурное чудо, — а за стеклом высокого арочного окна с улицы была видна обшарпанная кухня, где неопрятная старуха чистила картошку, срезая спиральный виток кожуры.

Вот где пахло одичалостью и захолустьем, провинцией, вот о чем бы им поговорить — ведь она как-никак работала в Смольном.

Но мать по-прежнему молчала, уйдя в себя, и он понял, что упустил тот момент, когда следовало изменить ход сражения в свою пользу, — она, оказывается, уже выдохлась и на дальнейшее у нее не оставалось ни доводов, ни пыла.

Ему даже стало жалко ее. Но не настолько, чтобы вообще избегать выяснения отношений и конкретно того, что он должен был выснить. Просто теперь ему надо было найти иной тон, другие слова.

— Знаешь, — сказал он негромко и доверительно, — один человек... ну, допустим даже, что одна девушка, причем серьезная девушка, недавно в Москве спросила меня: не знаю ли я чего-то такого, чего не знают другие? Нет, коряво... лучше так: может быть, я знаю что-то такое, чего другие не знают? Это она так сказала.

— Что же ты ей ответил? — не скрыла насмешки мать.

— А это не важно. Что я ей ответил — не важно, я нашел, что ответить... Важно не это. Уже на следующий день выяснилось, что все обстоит совершенно наоборот. Что другие знают то, о чем я не имею ни малейшего представления, не подозреваю даже... хотя я должен бы знать, поскольку это касается меня лично.

— Что ты имеешь в виду?

— Веру Андреевну Клеймихину. Крым. Тунис. Париж.

Она опять погрузилась в молчание, но теперь, понял Алексей, затем, чтобы совладать с неожиданностью, собраться с мыслями и вообще собраться.

— Значит, Надя сочла...

— Да, она сочла! И я очень благодарен ей за это. Лучше заранее знать, с какой стороны ждать подвоха, чем моргать, когда тебе вдруг выложат на стол — вот, все козырные, чем бить будете? Нечем? Ваших нет.

— Значит, Надя сочла... нет, я не верю, что она это сделала со зла. По глупости просто, на нее похоже.

— Хорошо, пускай тетя Надя глупа. Но ведь ты — умная! Тетка сама говорила, что еще дед считал тебя самой умной... Как же ты, самая умная, могла скрывать от меня это?

— Что — это?

— А то, что твоя сестра, а моя тетка убежала за границу с врангелевцами, что ее муж — белогвардеец, служил у Деникина, что его...

Она резко остановилась, повернула его к себе за воротник, посмотрела прямо в глаза.

— Во-первых, не кричи — прохожие оглядываются, неприлично.

— А Деникин — это прилично? — сцепив зубы, прошипел он.

— А во-вторых, Алеша, оглянись...

— Ну что? — заглядывался он, вертя рывками головой. — Ну прохожие, ну идут и пускай идут куда им надо, черт с ними, мне другое важно...

— Оглянись, Алексей, — властно повторила мать. — Где ты сейчас находишься?

Он, будто очнувшись, осмотрелся вокруг.

В горячке спора он даже не заметил, что они уже миновали Новый Эрмитаж, где гнули шеи атланты, оцарапанные осколками бомб, и вышли на Дворцовую площадь.

По правую руку от них был Зимний, подобный зеленой вспененной волне, внезапно накатившей с Невы, перехлестнувшей парапет и так застывшей — брызги позолоты сверкали на гребне. Из брусчатки вырастал Александрийский столп, на котором сердитый ангел с крестом укрощал змею. Слева упругим полукольцом прогибался Главный штаб, зияя знаменитой аркой, в которой всегда темно, потому что она ведет не прямо на свет, а изворачивается круто и неожиданно — захватывает дух — переулком к Невскому. На зимнем закатном солнце бронзовел граненый шпиль Адмиралтейства.

— Ну и что? — спросил он.

— Здесь была революция.

— А я знаю. Вон оттуда, от арки, наступали красногвардейцы, матросы, а тут, за дровами, сидели юнкера и эти... бабоньки... Бочкаревой, да? Маяковский написал, что дуры... Я сто раз про это читал и в кино видел. Так что знаю.

Она быстро кивнула:

— Вот это хорошо, что ты о кино вспомнил. Знаешь, я перед седьмым ноября выступала в фабричном клубе с докладом, потом, как водится, кино. Штурмуют Зимний, а детвора в зале: «Где немцы? Кто из них немцы?.. Бей немцев!» Ребятишек этих понять можно... А немцев-то, Алеша, тут как раз не было. По одну сторону — русские и по другую тоже — русские. Вот что такое революция. Жестокое дело... Она ведь не только на баррикадах, на фронтах, она — в семьях: рассекает, раскалывает, больно... Брат на брата! А ты думаешь, что это сестер не касалось? Касалось.

— Мама, не нужно политграмоты, пожалуйста! Оставь это для своего фабричного клуба, — раздражился Алексей. — Итак, ты находишь все вполне естественным, закономерным, вполне объяснимым с точки зрения классово-борьбы? Да? Да... Но почему в таком случае это естественное, объяснимое так тщательно скрывалось?

— Осторожней со словами, Алексей! Что значит — скрывалось? Мы с отцом прошли все чистки — и вышли чистыми. И позже нас ничто не коснулось, к чистому не липнет... Об этом знают те, кому положено знать. Киров знал. Жданов знает. Обком знает.

— А я?.. Почему я не знаю? — закричал он, опять впадая в ярость. — Я что — петрушка?

Они шли по Дворцовому мосту, ветер переваливал через него, летел плотной волной, гася звуки, — крик не получился, получилось, что он орет, просто чтобы она услышала.

— Потому что тебе незачем это знать, — сказала мать. — Это не касается тебя.

— То есть как? Родная тетка...

— Если ты имеешь в виду анкету — близких родственников, — то тетки не считаются. Я знаю, что говорю. Таков порядок — тетки не считаются... Ведь ты не пишешь в анкете о Надежде Андреевне? Нет. Ну, значит, и о Вере Андреевне можешь ничего не писать. Тем более что ты ее никогда не видел, переписки не имел...

— Вот-вот, — вцепился Алексей в последнюю фразу. — Я как раз хотел тебя спросить: если все это настолько естественно и объяснимо, то почему тетя Надя переписывается с Верой, а ты нет?

— Просто не нахожу нужным. Мы с Верой перестали понимать друг друга еще задолго до революции... Она мечтала быть барынькой — вот и барынька. Пускай стрижет купоны. Я не завидую ей. Думаю, что и она мне.

— О, в этом я не сомневаюсь, — заверил Алексей, — тут я с тобой вполне согласен.

— Вот и хорошо. Хоть в чем-то мы пришли с тобой к согласию.

Он сильно продрог на невском сквозном ветру, да и мать шла съезжаясь. Он взял ее под руку, она отозвалась благодарным движением локтя.

Не избалованный материнской лаской, Алексей догадывался, что эта ласка живет в ней подавленно, как и ответная благодарность за ласку, тоже подавленная суровостью. Не было причин считать, что с этим она явилась на свет и выросла, нет, он видел ее детские и девичьи фотографии с наивным, нежным и мягким взором, — что же ожесточило ее сердце? Замужество? О нет, отец всегда был добр к ней, а она любила отца... Алеша предполагал — и, наверное, он не ошибался, — что это произошло с ней однажды и сразу, а потом осталось на всю жизнь. Что это произошло с нею в двадцать первом году, когда она — уже партийкой, медсестрой — ходила по льду штурмовать мятежный Кронштадт. Она была вместе с мужем, но потеряла его в наступающих цепях, слепнувших то от тьмы, то от направленного резкого света прожекторов. Эти цепи внезапно прерывались выбухами тяжелых снарядов крепостной артиллерии и обширными черными поляньями, в которых водовороты носили крошево льда и лоскуты одежды, — но цепи не залегали, а торопливо шли дальше, пока еще оставались подходы, пока еще под ногами был зыбкий мартовский лед, а до фортов было рукой подать... Потом, рассказывал отец, когда все уже было кончено, они вдруг случайно встретились, муж и жена, у Морского госпиталя, того самого, где Алеше предстояло родиться шесть лет спустя.

Они уже были близки к цели. Ростральные колонны на стрелке Васильевского острова маячили невдалеке, и, увидев их, он опять испытал умиленную радость, как часом раньше, когда они шли мимо суворовского музея. Но почему? Там на него пахло Москвой — двуххвостые зубцы, гребешки, — понятно. А при чем здесь эти мраморные колонны с торчащими носами кораблей? При чем здесь Москва? Нет, вовсе нет, конечно же, не Москва, вдруг обрадовался он, совсем другое. Эти ростральные колонны были похожи на сосны — тот же красноватый и теплый отлив стволов, та же ладная округлость, — а эти корабельные носы были как обломки черных сучьев, которые всегда остаются на соснах, когда крона уходит ввысь... Не Москва, а Север.

— Понимаешь, Алеша, я вовсе не собиралась скрывать это от тебя. Я просто ждала, пока ты войдешь в тот возраст, когда не делают глупостей сгоряча... их продолжают делать и после, увы, но прежде думают. Или думают, что думают. Ведь это случай не простой, хотя и не единственный в своем роде — сколько семей разметала революция, гражданская война, не счесть... Я надеялась, что ты будешь со мной и, когда понадобится, когда настанет срок, я все тебе растолкую и подкажу, как быть. Более того, я хотела быть рядом и защитить тебя, если что... Теперь могу признаться: это было одной из причин, по которой я не хотела отпускать тебя... но ты распорядился по-своему, как хотел. Что касается тети Нади, то можно лишь удивляться, как долго она терпела. Она заспешила, когда поняла, что ты и от нее убегаешь. Что ты намерен прижиться в местах не столь отдаленных.

— Что?.. — переспросил Алексей. — В каких местах?

— Не столь отдаленных, — жестко повторила мать. — Ты уж извини, но они называются именно так. У них дурная репутация, давняя притом, с царя Гороха или до него еще.

— Хорошо... — выдохнул он крутое облачко пара. — Тогда уж позволю сказать мне.

— Говори. — Она высвободила руку, почувствовав перемену в его тоне.

Теперь они шли по набережной, багровый торец Двенадцати коллегий уже высунулся из глубины строений: это и был университет, сюда она его и вела — тогда, позапрошлой весной, и сейчас в оди-

наковой мере напрасно,— здесь следовало и закончить долгую беседу, поставить точку.

— У нас в детдоме, в Городище... нет, не там, где старшие, а в дошкольном, где совсем малыши, было много таких, у которых потолковые фамилии. Знаешь, что это такое — потолковые?

— Впервые слышу.

— Ну вот видишь, и ты не все на свете знаешь... Это ребята, о которых ничего не было известно, и сами они о себе ничего не знали — ни имени, ни фамилии, и документов не было, а сами они были, их из-под камней доставали, из-под развалин, из пустых квартир вытаскивали кто живой — и через Ладогу... А потом им все-таки пришлось давать фамилии. Как иначе? Ведь надо человеку. Вот им и придумывали: одному — Иванов, другому — Петров, третьему — Сидоров. Но на четвертом, конечно, сбились, потому что Иванов уже есть и Петров есть — опять пойдет путаница... Пришлось брать фамилии с потолка, что кому в голову взбредет. Помню, девочка была — назвали Невская, красиво. Мальчишке одному нянька Власова свою фамилию дала, но зря, его потом, когда подросток, за эту фамилию пацаны лупили... Мы жалели их, конечно, потолковых — так их и звали, — потому что уже никогда родители не смогли б их найти, если бы вдруг сами нашлись... и не было у них ни дядь, ни тетя. Никого.

— К чему все это? — насторожилась мать.

— А к тому, что теперь мне их совсем не жалко! Я даже завидую им... Ничего за ними не тянется, ничего на них не висит — ни хорошего, ни плохого. Каждый начинает с самого начала, с самого себя. И уже от него одного зависит остальное: какая устроится жизнь, кем он будет, что выберет... И расплачиваться ему только за свои долги, а не за чужие!

— Что ты мелешь? — испуганно воскликнула мать.

— Да-да, я не хочу чужих долгов, чужих грехов!.. Я не хочу, не хочу! — орал он, не смущаясь улицей, впрочем, тут и прохожих почти не было.— Довольно, я не желаю знать никакой родни, никаких предков, никакой генеалогии! Я хочу начинать свою жизнь с чистой страницы, с первой строки — как статью... Будто я — это только я и есть в первом колене, да-да, первый — прямо от обезьяны!

Мать отвернулась, он сначала подумал, что от ветра, от сырых краев на реке или чтоб не слышать его исступленного крика, но заметил, что плечи у нее тряслись в рыданье.

Он выбежал на проезжую часть и стал ловить такси, размахивая рукой, хотя в поле зрения в содвинувшихся сумерках не было видно ни одной машины.

Свысока на него взирал серый сфинкс со своими когтистыми лапами, со своими египетскими глазами, со своими тысячелетиями, со своей никому не нужной загадкой.

Едва они вернулись домой и мать, все молча, отправилась на кухню спроворить что-нибудь к позднему обеду, как в дверь постучали.

Алексей вышел открыть — в дверях стоял Мишка Ковалев, товарищ по выпускному классу, кудрявый увалень в роговых очках.

— Здорово, — сказал гость, — а я звоню-звоню, целый день звоню... у вас телефон, что ли, испорчен?

— Нет вроде. Нас просто не было дома, мы ходили гулять.

— Гулять? А я звоню-звоню, потом, думаю, дай лучше схожу, ведь тут пешком два шага — ну вот и правильно надумал, застал, застукал старого друга! — Мишка отвесил ему по спине доброго леща.— Ведь больше года не видались. Закончили школу — и лапти врозь? Нехорошо, дорогой товарищ, стыдно-с...

— Да ты раздевайся, Мишка, — потянулся Алеша к его пальтишку с заметно окоротившимися рукавами: вырос парень.

— Нет, это не я раздевайся, а ты одевайся,— замотал головою Ковалев.— Да по-быстрому, ждут. У меня там собрались, понимаешь...— стал он объяснять вполголоса, еще со школьной робостью позыркивая очками в глубь квартиры, опасаясь родительского слуха.— Есть из нашего класса, но мало, все куда-то расползлись. Больше новые.— Зашептал совсем секретно:— Есть винцо, девочки есть. Одевайся, ждут.

Любовь Андреевна вышла из кухни в коридор, присмотрелась, узнала, улыбнулась приветливо:

— О, Миша, здравствуй... Как ты возмужал!

Алексей горько усмехнулся. Вот так: чужому — «как ты возмужал», а родному — «как ты одичал». Хотя если судить беспристрастно, по справедливости, то ведь было скорей наоборот, совсем наоборот. Однако где же это видано, где слыхано, чтоб к родным — по справедливости? Справедливость — угощение для чужих, для посторонних, для гостей.

— Как твои успехи? — поинтересовалась мать.— Где ты учишься?

— Я в медицинском, Любовь Андреевна, уже второй курс. Вот так... Странно, да?

— Нет, что ж тут странного... Это прекрасно, Миша!

Алексей перенял короткий и выразительный взгляд матери, говоривший: ну вот видишь, все нормальные сыновья поступили в различные ленинградские институты, будут людьми, а ты?

Значит, выяснение отношений между ними, прервавшееся плачем на улице, отнюдь не было завершено, продолжение следовало.

Он решительно потянулся за шапкой.

— Куда ты? — удивилась мать.

— Мама, у меня отпуск,— напомнил он и, чтобы у Мишки не возникли ненужные вопросы, поправился:— У меня каникулы. Ведь ты не хочешь, чтобы я все каникулы просидел дома? Я должен развлечься в кругу друзей, правда?

— Пожалуй,— неуверенно согласилась она.

Они ринулись вниз, опять-таки еще по школьной привычке скользя животами по перилам лестницы.

— А я звоню-звоню,— снова стал объяснять на улице Мишка.— Нет, я слышал, что ты поступил не в Ленинграде, а в Москве... Ты в какой поступил?

— Я перевелся,— уклончиво, но многозначительно ответил Алексей и тотчас убедился, что это произвело должное впечатление.

— А-а...— уважительно протянул Мишка Ковалев.— Вот я и подумал: ведь он должен приехать на каникулы! Звоню-звоню... а там ведь уже все в сборе. Потом, думаю, вдруг телефон испортился — и побежал сюда. Какой же я молодец: сразу и нашел, ты тут как тут!

Он, преисполняясь дружеских чувств и восхищения самим собой, опять отвалил ему сильную затрепину по спине.

Вот так, подумал Алексей, человек вдруг вспоминает о другом человеке, звонит, бежит — и находит его тут как тут. Притом у него даже не возникает ни малейшего подозрения по поводу того, что тот оказался на месте совершенно случайно, что он уже давно не живет в Ленинграде и давно не живет в Москве, а живет черт знает где, на краю света, что в жизни его произошли непредвиденные и огромные перемены, о которых так долго рассказывать, что лучше и не начинать, а тот просто радуется, что тут как тут, но если бы не случилась такая вот внезапная оказия, если б не понадобился срочно, то, может быть, он и не вспомнил бы о нем, а пришлось вспомнить — он и зазвонил и побежал... и при этом еще следует учесть, что они не видались после школы всего лишь полтора года, а ведь бывает, наверное, что люди не видятся и ничего не знают друг о друге мно-

гие годы, пять лет, или десять лет, или даже, наверное, бывает, что они не встречаются целых двадцать лет... А можно сполна всю жизнь прожить — и тебя никто не вспомнит, да и ты ни о ком не вспомнишь: зачем, к чему?..

Мишка Ковалев жил здесь же, на Малой Охте, на улице Стахановцев, застроенной накануне войны толстостенными красивыми домами, выстоявшими и бомбежки, и обстрелы, и пожары, и даже где-то здесь поблизости был еще врыт в землю бетонный дот со щелью амбразуры, а на задах этой улицы, ближе к реке, в последний год войны и в первый год после войны еще рыли огороды, сажали картошку, чтоб утолить ненасытный голод.

Мишкин дом был уже совсем близко, но Алексей потащил его в сторону, к поперечному Заневскому проспекту, сиявшему веселыми огнями.

— Ты куда? — удивился Мишка.

— В магазин.

— Да зачем?.. Все есть: и вино есть и девочки есть...

Но Алексей Рыжов после недавней встречи Нового года в доме Дагириных больше не доверял этому беспечному «все есть» — он помнил, как они с Аржанниковым лазали по холодильникам в темной кухне, да и знал он, как бывают скудны студенческие вечеринки, а он, слава богу, не был нищим студентом, а был богатым полярником и преуспевающим журналистом, корреспондентом сразу двух газет, только об этом никто не должен был догадываться, ведь студенты — они не любят богатых, выпить и пожрать за их счет всегда рады, но не любят.

В винном магазине полки ломились от бутылок с броскими этикетками, у Алеши даже глаза разбежались.

— Пино-гри, малага, токай... — с видом знатока прочитывал он названия, слегка присасывая языком, будто пробуя на вкус, как, вероятно, делал бы и его коллега Игорь Луков, забредя в винный подвалчик где-нибудь на Монпарнасе. — Шато-икем, мускатель...

— Бери любое, не мудри, — подсказал Мишка. — Это все делают в Армавире из гнилых яблок плюс этиловый спирт. Это я тебе говорю как будущий врач, учти. И не преклоняйся перед иностранщиной, сейчас за это...

Алексей насовал во все карманы бутылок, и они побежали обратно к улице Стахановцев.

— А знаешь, Леха, почему я выбрал медицинский? Точней, когда я это решил твердо — медицинский... Ни за что не угадаешь. Еще в десятом классе, когда нас возили в Кавголово кросс гонять. Когда мы с тобой Алика Бажанова откачивали, вот бедняга, эх...

Конечно же, Алексей прекрасно помнил этот случай. Зимой с сорок пятого на сорок шестой их всем классом, всей школой посадили в электричку и повезли в Кавголово. На базе всем им выдали лыжи и палки, подвели к черте, махнули флажком — они ринулись, топчась и тыча, разгоняясь, потом заскользили мимо пустых дач, мимо покосившихся заборов, мимо тонконогих берез и елей, мимо заснеженных озерных впадин. Еще на старте вперед вырвался Алик Бажанов, любимец всего класса, не только любимец всех девочек, это само собой, но даже кумир всех мальчишек, рослый широкоплечий красавец, гимнаст, танцор, отличник и комсорг, добрый, смешливый и полный радости — никто не верил, что он блокадник, что он все девятьсот дней умирал тут вместе со всеми, скелет скелетом, но потом быстро выпрямился, вырос, вошел в тело, налился силой, захошел, засмеялся, — он упал на третьем километре, а Мишка и Алексей шли сзади, они наткнулись, перевернули на спину, лицо Алика было бледно, ни кровинки, но снег, в который он ткнулся лицом, все же таяла на щеках, и они стали дергать его за нос, думая, что просто обморок, но он не отозвался, тогда они с Мишкой начали делать ему

искусственное дыхание, разводил и сводил руки, сгибать в коленях вялые ноги, качали, качали, собрался народ... подъехал на лыжах мужчина, оказалось, что врач, нагнулся, оттянул пальцами веки и сказал: «Он мертв».

Потом, уже после похорон, в школе узнали, что у Алика Бажанова при вскрытии нашли детское сердце. То есть он после блокады сумел навестать все — и рост, и силу, и красоту, — но при этом у него осталось детское сердце, и оно не справилось.

— Жалко парня... — вздохнул Мишка. Но добавил уже с нарочитым бесстрашием, как подобает будущему врачу: — У нас в анатомичке на днях был такой же случай: мужик, двадцать два года, а сердце детское...

Они пришли к месту. У подъезда Мишка придержал Алексея за плечо, сказал, помявшись:

— Слушай... ты здесь встретишь одну знакомую девушку, ну, может быть, ты и забыл, но она тебя помнит. Собственно, это она и прислала, чтобы я тебя позвал. Она тоже учится в медицинском, мы с нею в одной группе. Вот какое дело...

— Ну и что? — удивился Алеша. — Что за дело? Мало ли у кого каких знакомых нет, всех и не вспомнишь.

— Нет, погоди... — Мишка сосредоточенно крутил пуговицу на его пальто, все не решаясь что-то договорить. — Но она... понимаешь, в общем, это моя девушка, хотя ты с ней и раньше знаком, но она моя. А для тебя тоже есть, — заулыбался он, — припасено. Хорошая девочка и без отказа, зовут Рита.

— Пошли, — махнул рукой Алексей.

В пятнадцать лет, когда она прислала ему записку: «...ровно в семь на Поклонной горе, это очень важно», а важность вся была в том, чтобы прикрыть обреченно глаза в длинных ресницах, встать на цыпочки, подставляя лицо для поцелуя, и сказать «я люблю тебя», — и тогда она была прелестна, тонка, как травинка, и вся светила насквозь, как лепесток. Теперь же, к девятнадцати годам, красота ее, по-видимому, вполне завершилась, потому что дальше и больше было просто незачем, это было бы сверх меры.

Еще Алексей сразу понял, что Лена Распопова не столько счастлива своей красотой, сколько озабочена ею: ведь на это нужны немалые силы, чтобы все время чувствовать на себе жадное или просто восхищенное внимание, чтобы блюсти при этом спокойствие и достоинство, не сердясь и не млея, не впадая в смешные крайности, чтобы уметь в этом непрерывном скрещении взглядов, вопросов, заигрываний, приставаний, мрачных влюбленностей оставлять для себя возможность жить собственной душой, своими делами, быть собранной, деятельной или, наоборот, расслабляться в лени, — не так уж все это легко.

Он заметил, что она нарочно остриглась попроще, что на лице ее ни пудры, ни краски, что она, идя на студенческую вечеринку, надела коричневый свитер грубой вязки с закатанным хомутиком воротом, прямую серую юбку и очень скромные туфли — будто на профсоюзное собрание, — но и в том проявилась ее наивность: она еще не понимала, что это тоже род кокетства, что такой облик выделяет ее, привлекает к ней еще больший интерес, что, наконец, все это дьявольски идет ей, а может быть, она и понимала все это отлично, кто их разгадает, женщин.

Они уже разговаривали, сев подальше от орущего патефона, как примчался, распорядившись насчет вина, Мишка Ковалев, наклонился, свойски обнял ее плечи, даже коснулся щекой щеки, сказал:

— Ну что, детки? Разве Мишка не человек, не друг? Да Мишка — это сокровище, которое не надо искать лишь потому, что оно всегда под рукой... Но как вышло-то, как вышло! Ведь мы с ней уже

полтора года гужуемся вместе, в одной группе — и хоть бы слово. А тут в анатомичке режут мужика, детское сердце, — я и говорю ей, что знаю такой случай, было в нашем классе, Алик Бажанов на кроссе в Кавголове, мы, говорю, с дружкой Лехой Рыжовым качаем ему руки-ноги, а он... А она вдруг говорит: «Алеша Рыжов? Я с ним знакома... Где он?» А он вот где, тут как тут...

Алексей поморщился: ему был неприятен этот разговор об анатомичке, потому что он сразу представил на том столе, где режут, не какого-то чужого мужика и даже не бедного Алика Бажанова, а себя — будто он там лежит, а его кромсают вдоль и поперек и смотрят, что у него внутри.

Видимо, Лена тоже ощутила неловкость и обернулась к Мишке с укором во взгляде, но он уже исчез, побежал распоряжаться дальше, и они опять остались одни.

А Лена продолжила разговор именно с того ее вопроса, который только что помянул Мишка:

— Где ты?.. В Москве?

Он прикинул: если рассказывать все как есть и по порядку, то на это уйдет весь вечер — так много накопилось всего после их расставания в Городище, — даже за один вечер всего, пожалуй, не расскажешь. Вообще-то, подумал он, если уж кому и рассказывать, если кому-нибудь и излиться, то лучше Лены Распоповой для этого не сыскать, она бы его и выслушала терпеливо и поняла. Но он сам не знал, так ли уж ему охота изливаться кому бы то ни было, и будет ли у него для этого второй вечер, и даже будет ли в его распоряжении сегодняшний вечер полностью, ведь еще нужно ухаживать за какой-то девочкой Ритой, а он даже не познакомился с нею.

Поэтому он решил использовать тот же многозначительный ответ, который употребил на улице в разговоре с Мишкой Ковалевым и который, как он убедился, произвел на Мишку сильное впечатление.

— Я перевелся, — сказал он Лене.

— Вот как...

По ее глазам он понял, что на нее это не произвело такого же впечатления, как на Мишку, что она угадала всю уклончивость этого ответа, истолковала его просто как нежелание Алексея быть с нею доверительным. И вслед за этим в ее глазах появилось не то чтобы отчуждение, а какая-то тревога за него.

Он хотел было сгладить это встречным вопросом: где она сама?.. Но ведь он уже и так знал, что она учится в Медицинском институте на втором курсе, какие тут могли быть еще вопросы? Разве что он мог ее спросить: а почему она выбрала для себя именно этот институт, а не другой, почему ей вдруг вздумалось учиться на врача? Вот Мишка Ковалев — тот хоть рассказал ему по дороге, какая причина подвигла его стать на этот путь: он напомнил, как они в Кавголове откачивали мертвого Алика Бажанова... А вот что подвигло ее, Лену? Да скорей всего что и ничего, потому что для девушек, обыкновенных девушек, выбор невелик и обычен: медицинский или педагогический, училка или врач.

Вообще он не знал, хочется ли ему расспрашивать обо всем этом, рад ли он тому, что Лена Распопова так внезапно появилась — через много лет — напоминанием о его несчастном, чахоточном и вшивом детстве. Не хватало еще, чтобы она, тоже на правах будущего врача, стала осведомляться о его легких, о кашле, какой рентген, какая температура, тьфу, — он и сам не хотел вспоминать об этом, хотел забыть.

Но тут опять к ним подскочил распаренный в хозяйских хлопотах Мишка и без лишних поклонов и расшаркиваний ухватил Лену за руку и поволок. А там посредине комнаты что-то сказал ей и, оставив стоять как дуру, вернулся к нему.

— Ну чего ты ждешь, Леха? — заговорил торопливо. — Гляди, вон она — прямо перед тобой, сидит, ждет... Иди и пригласи, зовут Рита. Он отбежал к Лене и повел ее в фокстроте.

Алексей увидел в соседней комнате, верней в той же самой большой комнате, где все толклись, но поделенной какой-то перегородкой с вырезом наподобие створа сцены, даже с занавесками по обе стороны, — там сидела на тахте девушка с длинными прямыми волосами, ниспадающими к острым плечам и к остро торчащим грудкам, она прилежно листала яркие глянцевого цвета страницы какого-то журнала, похожего, что «Америки», держа его на острых сомкнутых коленках. Словно почувствовав его взгляд, она подняла глаза — зеленые, недоуменные и терпеливо ждущие.

Но он не тронулся с места, не шевельнулся, не кивнул даже, и она опять занялась картинками.

Алексей налил себе из бутылки стакан шато-икема, который и впрямь пахивал гнилыми яблоками, большими глотками осушил до дна и взялся разглядывать окружающих, танцующих и ведущих беседы.

Среди них он заметил своих одноклассников — их было трое, нет, четверо, — но, как на грех, они оказались не теми, с которыми он был близок, а теми, с которыми он был далек, хотя они и учились вместе, так что не стоило труда подыматься и идти здороваться, обниматься, расспрашивать о жите-бытье, кто где, да и они, как он определил, не спешили к нему с объятиями и расспросами, хотя наверняка увидели, что он пришел, что он тут как тут.

Пластинка кончилась. Лена вернулась, опять села рядом.

— Скажи, Алеша... — Она запыхалась и была немного взволнована. — А как ее зовут?

— О ком ты? — удивился он.

— О ней. Ведь я вижу...

— Вот странно. А на мне что — написано?

— Написано, — подтвердила она.

— А как зовут — не написано?

— Нет.

— Ну, значит, и необязательно.

— Ладно, — она куснула губу, — пусть так... но я еще спрошу, можно?

— Спрашивай, — разрешил Алексей.

— Ты — я вижу. А она... она тебя любит?

Глаза Лены Распоповой смотрели сейчас на него с той же смутной тревогой, какая появилась в них, когда он, уклоняясь от правды, соврал ей, что перевелся. В ее глазах было то сочувствие, которое позволяет понимать чужую боль как свою, — может быть, именно это и подсказало ей стать врачом?

— Да, — сказал он. — Конечно.

Она, вскочив, пробежала весело по комнате и скрылась где-то в глубине квартиры. Вероятно, отправилась искать своего Мишку — сокровище, которое всегда под рукой. Пошла помогать ему по хозяйству.

Вскоре Мишка Ковалев появился опять — принес еще пару бутылочек, выдернул пробки — и снова направился к нему.

— А ты все сидишь? Все ждешь? — Огорченно покачал головой. — Ну чего ты ждешь? Милостей от природы? — Зашептал на ухо: — Взять их — твоя задача... Вали, она уж вся извелась. Зовут Рита. Сейчас я поставлю новую пластинку — приглашай...

— Хорошо, — сказал Алексей.

Откровенно говоря, он ждал, что Лена еще вернется и они еще поговорят, может быть, обсудят подробнее тот вопрос, который она ему задала — ведь у него еще ни разу не было случая поговорить о

своей любви с понимающим и чутким человеком,— но Лена, вернувшись в комнату, пошла танцевать танго с Мишкой Ковалевым.

А девочка Рита по-прежнему сидела между занавесками и листала журнал «Америка», даже не поднимая глаз — видно, набрела на что-то интересное.

Алексей подумал, что хотя эта девочка Рита, которую приготовили для него, еще очень молода, вероятно ей тоже не больше девятнадцати, но она переняла у кого-то способность покорно ждать, пока ее заметят, пока к ней подойдут, пока к ней снизойдут, он подумал, что она переняла эту способность у женщин старшего поколения, у женщин войны, может быть, у собственной матери либо у старших сестер,— вот это поразительное умение ждать терпеливо и безропотно, ждать и ждать и в конце концов ничего не дожидаться.

Он налил себе стакан хереса, глотнул — вкус был тот же.

Стал наблюдать, как Лена Распопова танцует с Мишкой Ковалевым. По тому, как Мишка уверенно и спокойно обнимал ее талию и как она положила подбородок на его плечо, он понял, что школьный товарищ не врал, предупреждая, что это его девушка, он так и сказал: моя. Было видно, что они близки и привычны друг другу, что они, как принято нынче говорить, живут, впрочем, Алексей слышал, что у них, у медиков, это проще простого, как дышать, как людей резать.

Не то чтобы его возмутило это, но он вдруг испытал досаду от того, что упустил право первенства, которое безусловно принадлежало ему. Ведь она любила его и сама призналась в этом, и он мог взять ее без особых угрызений совести. А он тогда повернулся и пошел прочь, сунув руки в карманы. Еще можно было бы понять, если бы он ничего не умел, а он уже все умел... но нет-нет, вовсе нет, совсем не потому! Он великодушно пожалел ее, не хотел осквернять ее рот поцелуем, в котором могла быть зараза, не хотел касаться ее после захарканной железнодорожной больницы, после жесткого лежачка в ординаторской, прикрытого сырой клеенкой... он-то пожалел, дурак, упустил свое, а кто-то другой взял, скорей всего даже не этот очкастый увалень Мишка, а до него, так всегда бывает, когда играешь в благородство,— берет другой.

Его все-таки проняла обида, и он уже собирался встать и уйти, но тут к нему подсел какой-то малый с прыщеватым лбом, сказал:

— Извините... вы, пожалуйста, извините, но я хочу вас спросить. Вы позволите?

— Да, конечно,— опять проявил он великодушие, с которым никак не умел совладать, его губила собственная доброта.— Говорите,— сказал он и даже налил вина этому прыщавому, ему и себе.

— Вот, понимаете, когда трое разговаривают, то один из них — любой — может считаться свидетелем, да? Вы меня понимаете?

— Нет, не понимаю,— сказал Алексей, чокаясь стаканом о стакан.— Прежде всего я не понимаю, почему вы обращаетесь ко мне на «вы». Ведь мы, судя по всему, ровесники и оба студенты, не так ли? Так почему ты мне выкаешь?

— Извините, я не хотел... я просто хотел выразить свое уважение к вам.

Прыщеватый малый, держа стакан в обеих ладонях, смотрел на его фетровые бурки. Вероятно, именно они ввели в заблуждение парня, может быть, он еще не видывал, чтобы свой брат-студент расхаживал в таких роскошных бурках.

— Ну хорошо,— сказал Алексей,— излагайте дальше. Итак, что вас интересует?

— Я уже сказал. Если трое — то это понятно, любой из них... Но если всего двое, вот как мы сейчас с вами, с глазу на глаз? И никто посторонний нас как будто не слышит...

— Ну-ну,— кивнул Алексей,— то что тогда?

— Если всего двое, то разве один из них может считаться свидетелем?

Алеша отставил пустой стакан и, наклонившись к его прыщавому лбу, уставив лоб в лоб, спросил в свою очередь:

— А почему ты спрашиваешь об этом меня? А?

— Но ведь вы... я не знаю,— растерялся парень.— Мне показалось, что вы...

— Что же тебе показалось? — строго спросил Алексей и, не дождавшись ответа, встал и пошел вон.

Все-таки, подумал он, одеваясь, не следовало приходить сюда, на эту студенческую вечеринку, в таком солидном пальто с каракулевым воротником и в такой дорогой пыжиковой шапке. И не нужно было приносить столько вина, даже дрянного. Это, конечно, подвело его: они подумали, что он чужой, хотя он и был свой в доску.

16

Поезд опаздывал безбожно, на целых полтора часа, и когда прибыл в Спас-Погост, выяснилось, что рейсовый автобус до Города-на-Реке только что, не дождавшись, ушел.

А это означало, что придется ночевать на станции в ожидании следующего автобуса, который будет лишь утром: его подадут к поезду четного рейса, идущему с севера, из Печорска в Москву. Минувшей осенью Алексей Рыжов как раз и прибыл сюда тем рейсом, и тогда в Спас-Погосте их со Степаном Огузовым и Яшей Черношварцем ждала под проливным дождем новенькая редакционная «Победа», а сейчас его никто не ждал.

Но нет, это было невыносимо: всю ночь напролет томиться в натопленном до одурения и провонявшем портянками станционном зальце, где впритирку сидели на деревянных скамьях, окрашенных — что за глупость! — под дерево, под орех; где лежали, привалясь к мешкам и чемоданам, где истошно орали младенцы, где нетрезво беседовали мужики в серых бушлатах; а трое в белых полушубках, перепоясанных ремнями — лейтенант и два сержанта, — ходили промеж этих скамеек, подозрительно и въедливо присматриваясь к лицам, а те лица, которые не были видны — обронены во сне на грудь, заслонены шапками от света, уткнуты в дорожное барахло, — они приподнимали, поворачивали так и сяк, встряхивали, пристально вглядывались и потом отпускали: ночуй дальше.

На Алексея они не обратили внимания.

Станционный буфет оказался на запоре тоже до утра.

Нет, это было просто дико: так стремиться и душой и телом в Город-на-Реке, ехать двое суток с гаком, буравить в нетерпении глазами тьму в заиндевелом вагонном окне, сосчитать километры по стыкам, все расспрашивать проводника, не нагнали ли в пути график — нет, не нагнали, отстаем, — чтобы, наконец прибыв на станцию назначения, вот так застрять на ней в какой-то сотне верст от цели — черт знает как нелепо и как тошно...

Он, отогнув рукав пальто, посмотрел на часы: восемь вечера. И круглые часы над окошком билетной кассы тоже показывали восемь, на железной дороге повсюду время московское, хоть бы там ночь, а тут день. Однако местное, поясное время все-таки было здесь часом позднее, и Алексей перевел стрелки своих часов вперед — стало не восемь, а девять, и завтрашнее утро приблизилось на целый час. Но это не принесло ему облегчения, а, наоборот, пуще разозлило: всего-навсего девять часов, только девять, дегское время!.. Три часа езды по зимнику — и ты там, дома. То есть в Город-на-Реке еще можно было попасть не завтра, а сегодня, да-да, именно сегодня, лишь бы было чем добратся.

Алексей прошагал насквозь станционный барак и вышел на при вокзальный пятачок.

В стороне, у пакгаузов, урчал грузовик, доверху навьюченный поклажей, возле него хлопотали люди.

Он, преисполняясь вдруг надеждой, направился к ним.

— Здравствуйте... Кто шофер?

— Я шофер, а тебе что?

— Вы не в Город-на-Реке?

— Туда.

— Возьмите меня... — Алеша понизил голос. — Я заплачу как следует.

— Да не в этом дело, — отмахнулся шофер, — я б и так взял, от скуки, чтоб разговаривать, но у меня уже есть в кабине — экспедитор, вот этот, а троим не всунуться. Так что нет, извиняюсь.

Алексей с сожалением отошел, окинул взглядом груженный кузов: там горбатился высоченный тюк пакли, накрытый сверху брезентом, чтоб не раскуделилось, не разметалось в пути, и сейчас экспедитор вместе с грузчиками затягивал канаты, скрепляя вдоль и поперек все это хозяйство, плетя узлы, привязывая к бортам.

— А что, если я — наверху? — снова обратился Алеша к водителю, еще сам не веря, что хватит на то отваги, но уже не желая отступать и отступаться от сказанных слов, а главное — понимая, что это единственный и последний шанс попасть в Город-на-Реке не завтра, а сегодня.

— Наверху? — Шофер пригляделся к нему повнимательней, выясняя, не чокнутый ли парень, нет вроде. — А не свалишься? Не замерзнешь?

— Нет. Я не свалюсь, не замерзну, — поспешно заверил Алексей и на всякий случай повторил: — Я заплачу как следует... понимаете, мне очень надо!

Теперь уже к этому сговору любопытно прислушивались экспедитор в валенках с огромными галошами и задышливые грузчики. Наверное, им тоже показался интересным этот парень, любитель острых ощущений.

— Ну полезай, — разрешил шофер и тотчас же остановил: — Да куда же ты с баулом? Еще баул там держать, на верхотуре... давай его сюда, в кабине поместим. На, возьми, — сказал он экспедитору, — в ногах поставишь... А теперь — лезь.

Алексей, ухватившись за крюк, вскочил на колесо, подтянулся, ступил на доску борта и полез дальше вверх, держась за толстые пеньковые канаты, как альпинист, суча подошвами в поисках мало-мальской опоры, подстегиваемый азартом и тем, что за ним с насмешливым удивлением следили снизу, и вскоре был на самом верху.

— Есть, — доложил весело.

— Пальто на тебе хорошее, — попытался еще урезонить его водитель, — изваляешься там что леший, нависнет пакля-то...

— Наплевать, — сказал Алексей. — Поехали.

Тут, наверху, было удобно, мягко, пружинисто — и очень высоко, — он вдруг вспомнил, что ему уже знакомо с детской поры это ощущение: летом сорок первого, накануне войны, под Ижорой, когда он был в пионерском лагере, они, гуляя, набрели на покос, уставленный свежими копнами, и, подстегнутые таким же азартом, такой же тягой к высоте и такой же бесшабашной мальчишеской удалью, начали карабкаться, взбираться, цепляясь руками, раскидывая ногами плотно уложенное сено, и он едва ли не первым из всех малолетних поганцев оказался наверху, стал подпрыгивать на мягком и пружинистом, а потом бросился навзничь, ловя ноздрями упоительные запахи травы и цветов, глаза счастливо в синее небо, по которому легко плыли облака...

Сейчас не было этого запаха — пакля ничем не пахла, а брезент пованивал бензином. Кроме того, над ним теперь было не синее небо июня, а черное небо января, в котором висели бесчисленные звезды,

Но странно: то же самое ощущение близкого счастья владело им и сейчас — он попытался определить, откуда же оно, чем он счастлив. И понял, что счастлив тем, что движется, что перемещается в пространстве вместе с этой копной и что движение устремлено в ту же сторону, куда стремится все его существо, — туда, туда, в Город-на-Реке.

Улицы Спас-Погоста остались позади, машина неслась по гладкому, укатанному до блеска снежному тракту.

Погода была не слишком морозной и вполне безветренной, однако ветер скорости тотчас резанул по лицу, глазам.

Алеша, одной рукой вцепившись в канат, другою поднял меховой воротник, каждый завиток которого уже был колюч от холода, развязал тесемки шапки и опустил уши, но завязать их на подбородке не мог — одной рукой не завяжешь, надо было сделать это загодя... Он понял, что, сидя на таком ветру, продержишься недолго, околеешь, и распластался ничком, уткнул лицо в брезент, заслонил локтем голову.

Грузовик мчался так ровно, без толчков, без покачиваний — словно стоял на месте, исходя гулом, — что Алексею показалось: дело тут даже не в пространстве, которое надлежит преодолеть, а просто во времени, которое нужно продержаться, вытерпеть, — те два с половиной или три часа, отделяющие его от цели.

Был превосходный способ сократить время — заснуть, а когда проснешься — ты уже и на месте. Но засыпать было нельзя ни в коем случае. И не потому, что во сне он мог сорваться с машины, скатиться с эдакой убийственной высоты — нет, его пальцы в шерстяных перчатках мертвой хваткой вцепились в канаты, и, пожалуй, их уже было не разогнуть, настолько они заоченели, он даже перестал их чувствовать, — но во сне он мог вот так же перестать чувствовать и все остальное, ведь во сне ничего не чувствуешь, где у тебя что, а это, Алексей знал, и был самый верный способ уже никогда не проснуться, замерзнуть насмерть, на веки вечные — нет, спать было нельзя.

Значит, чтобы не спать, надо было о чем-то думать. А о чем?.. Если думать о хорошем, о сладком, тем более уткнувшись носом и закрыв глаза, то это очень легко перейдет в блаженный сон, а он тоже знал понаслышке, что смертный сон замерзающего человека всегда сладок и благостен, что замерзших находят не с мукой на лице, а с улыбкой на ледяных устах. Так что думать о хорошем было тоже нельзя.

А, собственно, о чем хорошем он мог думать?.. Лишь о том, что ждет его впереди, когда он приедет в Город-на-Реке, то есть единственно хорошее и было той целью, к которой он стремился, к которой сейчас мчался, задыхаясь от жгучего ветра. От хорошего его отделяло лишь пространство в несколько десятков километров, а точнее — промежуток времени в два с половиной часа, нет-нет, уже не в два с половиной, а всего лишь в два часа, полчаса он уже едет, полчаса он уже вынес...

Но что же в нем было хорошего, в Городе-на-Реке, в городе, о котором он полгода назад и слыхом не слыхал?.. Алексей не мог ответить самому себе на этот вопрос, потому что он не знал, что оно такое вообще — хорошее, которое надобно человеку. Только ли работа, которая ни себе, ни другим не в тягость? Только ли крыша над головой?.. Или же просто спокойное сознание того, что тебя принимают таким, какой ты есть. Где от тебя не требуют быть лучше, или умнее, или знать то, чего не знают другие. Где хотят лишь, чтобы ты был, как все остальные. А в его представлении это было равнозначно свободе — и так ли уж он был далек от истины? Нет, он был совсем близок к ней: всего лишь в двух часах езды.

Но если все хорошее впереди, то что же позади?.. Вот тут он и осознал с полной ясностью, что позади у него не было ничего хорошего, а говоря по совести, там было одно лишь ненужное, никчемное и совсем плохое. Ну в самом деле! Если даже поставить вопрос в элементарной сиюминутной простоте, то он звучал так: что заставило его сейчас ехать на этом окаянном грузовике, адски мучась в морозном пекле? А то, что он уехал из Города-на-Реке и теперь возвращается туда опять. Ведь если бы он не покидал Город-на-Реке, а преспокойно жил бы там в тепле и уюте, ему и не пришлось бы вот так маяться на холоду... А зачем он покинул этот теплый и уютный город? Ради чего? Нужно было сдавать экзамены в институте, сессия... да нет же, черт побери, оказалось, что ему вовсе и не нужно было сдавать экзамены, у него было все сдано наперед, ему прямо сказали в заочном деканате: а зачем вы приехали? кто вас вызывал?.. Его никто не вызывал, он совершенно напрасно ездил в Москву, то есть в Химки, он мог бы преспокойно сидеть до следующего лета, до теплой поры в Городе-на-Реке. Это раз... А вот и два: не успел он уехать отсюда, как натерпелся страху, чуть не остался гол как сокол... ну ладно, ему все вернули, пересчитали один к одному, прислали заново. Но что ему прислали заново? Аванс, то есть деньги, взятые в долг, которые еще придется отрабатывать, ишачить не день и не два, а целый месяц. А где эти деньги? Он их истратил, растряс, пустил по ветру — господи, как же резок и безжалостен этот холодный ветер, летящий навстречу и пронизывающий его насквозь! — и от них осталось одно воспоминание, вот, хватило бы расплатиться с шофером этого дурацкого грузовика...

Алеша вслушался в себя: праведная злость гнала по артериям, венам и капиллярам горячую, кипящую, бурлящую негодованием кровь, проникая в руки, проникая в ноги, будоража сердце, пошевеливая мозги. Да, значит, он был совершенно прав: на таком зверском холоду упаси боже думать о чем-нибудь хорошем, тут надо обязательно думать о плохом, доводя себя до точки кипения, до белого каления, — и тогда в среднем, в совокупности это поможет всему телу сохранить спасительную для жизни температуру: тридцать шесть и шесть.

Он оторвал лицо от брезента, зыркнул по сторонам. Кромешная тьма окружала его, если не считать звезд, вихрящихся в студеном небе, и если не считать длинного языка желтого света, бегущего впереди машины, бегущего вместе с нею, машина стремительно бежала вперед, вывалив наружу свой желтый язык...

Ни огонька вокруг: только белая полоса дороги, а в стороне от нее черная полоса перелеска, а за тою черной полосой опять белая полоса... Что за белая полоса? Ах, это река, скованная льдом и покрытая снеговым настилем, это Вычегда, подступившая совсем близко к тракту.

Но ведь ему отлично знакомо это место! Именно здесь минувшей дождливой осенью они утопили в кювете оскользнувшуюся «Победу» и так ее здесь и оставили вместе с Егором, водителем, дожидаться какого-нибудь шального трактора, а сами перебрались на борт «Трудовика», буксирного катера, снимавшего буи с фарватера, — ну да, вот она, на краю дороги, в глубоком кювете, скособоченная, увязшая, припорошенная снегом «Победа», а рядом с нею стоит неживым черным столбом человек с воздетой голосующей рукой — он так и замерз в этой позе, подняв руку...

Нет-нет, вспомнил Алеша, не может быть, какая чушь, уже на следующий день после этого происшествия новенькую «Победу», всю до крыши измазанную в глине, трактор приволок на тропе к зданию редакции, а за рулем машины сидел смущенно улыбающийся Егор. Нет-нет, это просто куча вывороченных корявых пней свалена в кювет у дороги, чтоб забрали, кому надо на топку, а никому не надо, тут

лесу и так всем хватает, и один из корней, торчащий вверх, показался Алексею поднятой рукой человека... проехали.

Теперь уже до города оставалось совсем немного. Это на катере путь был томителен и долгов, еще с поминутными остановками, а на машине вон как быстро, с ветерком... но этот лютый ветерок заставил его опять прикинуться к брезенту, распластаться, вжаться в пружинистую паклю; вот кабы можно было зарыться в нее, залезть, как в медвежью нору, пересидеть там мороз, переспать зиму, посасывая собственную лапу, ах, как славно бы было, но он не мог туда проникнуть, потому что мешал брезент, стянутый поверху толстыми канатами, за которые держались руки Алексея, настолько занемевшие, что казались ему чужими — они сами по себе, ишь, вцепились, а он сам по себе.

Он попытался раскошегарить в себе новую злость, чтобы опять согреться, почувствовать горячие токи крови, но теперь ему это не удавалось, то ли злость иссякла, перегорела, вышла дымом, то ли она тоже замерзла насквозь и ее не брала никакая искра.

Вдруг он услышал, что ветер, несшийся навстречу во всю свою распахнутую ширь, как бы сузился, сжался, войдя в огороженное тесное русло, а гул машины оброс с обеих сторон прерывистым эхом.

Он вскинулся: неужели — так мгновенно — город?

Или он все-таки неосторожно заснул?

Нет, он не спал, а лишь погрузился на некий срок в дремотное забытие, в тот спасительный анабиоз, о котором мечтал, — и сразу воспрянул, как только возник этот другой ветер и новый звук.

Но это еще не был город.

Они проезжали какую-то попутную деревеньку. Черные низкорослые избы ушли в землю, их маленькие окошки, в которых кое-где теплился желтый свет, едва приподнимались над уровнем дороги. Однако Алеша помнил, что здешние избы никогда не бывают приземисты и окошки их обычно прорезаны на изрядной высоте, нет, они не погрузились в землю, а, наоборот, земля взошла, как тесто, под самые окна, перекрывая пластами наметенного снега, сугробами, один венец за другим, — вон сколько выпало снегу, пока он был в отлучке.

Прясла огородов за домами тоже канули в снега, и там сразу угадывался обрыв, а за ним — Алексею хорошо было видно отсюда, с копны, с верхотуры, — открывался простор, где черные полосы леса перемежались белыми полосами рек. Ему показалось, что он узнает чередование этих полос: вот одна белая река, таясь за черными лесами, бежит попутно другой реке, то приближаясь, почти касаясь белым белого, снегом снега, то сторонясь, отдаляясь в испуге; но оба русла где-то подо льдами все же стягивает неумолимое предопределение, согласно которому даже замерзшие реки сливаются, впадают одна в другую, и в том лишь вопрос, какая какую вберет в себя, поглотит, подчинит и назовет собою... Он отлично помнил это место, где сливаются две реки.

Да ведь это Слобода!.. Он не узнал ее сразу лишь потому, что еще никогда не въезжал сюда с этой стороны: то он шел сюда пешком из города, то подплывал с реки, а отсюда, извне, ни разу.

Какую же Десятую они проезжают? Седьмую, Шестую, Пятую — ведь он никогда не вел им обратного счета. Сейчас слева мог показаться дом Истоминых, тоже погребенный в снегах, и он через несколько минут мог бы уже взбежать, топоча, на крыльцо, застучать погромче в дверь, перебудить всех и в доме и в округе, а пусть, — ему откроют, и он, замерзший до полусмерти, сразу окунется в духмяное тепло, скрипнет дверь той комнаты, где живет Клара, оттуда выплывет трепетный огонек свечи, заслоненный ее ладонью, покажется она сама — сонная, в белой рубахе, сползшей с плеча, в разметавшихся

густых волосах,— он бросится к ней, не боясь ничьих сторонних глаз, будь то мать или кошка, обнимет ее, и хотя он на этом ледяном пути замерз до полусмерти, втолкнет ее в ее комнатенку и захлопнет за собою дверь...

Нужно было остановить машину во что бы то ни стало! Но как? Алексей что есть силы замолотил кулаками по брезенту, на котором лежал распятый, однако он даже сам не слышал этого колоколенья, звук уходил в толщу пакли, сразу же теряясь там, поглощаясь глухо и бесповоротно. Он колотил руками и ногами, рискуя слететь при первом же повороте или торможении, но это было напрасно, впустую, хоть бейся лбом — все равно не слышно.

Тогда он, цепляясь за канаты, пополз вперед, туда, где копна выпукло нависала над шоферской кабиной,— крыша кабины была далеко внизу, руками до нее не дотянуться, значит, следовало повернуться задом и, осторожно спустив ноги, застучать ими в железную крышу...

Но тут Алексей увидел, что они уже проехали Слободу — все какие в ней есть Десяты,— замелькали столбы уличных фонарей, умножились, накалились окна домов, и уже один ряд окон ложился поверх другого ряда, образуя этажи,— они въезжали в город.

И он лишь сейчас спохватился, что там, в Спас-Погосте, сговорившись с водителем и в радости полезши на верхотуру — лишь бы взяли, не передумали,— он забыл сказать шоферу, куда же именно следует его доставить в городе. Ему надо было в центр, прямо к гостинице, где его ждал удобный, теплый и чистый номер с пышной кроватью и письменным столом, на котором в углу была лампа с зеленым матовым колпаком. Ему нужно было туда... А вот куда нужно шоферу и экспедитору, который с ним?

Машина неслась по улице, не сбавляя скорости. Куда? Куда они едут?.. Сказали, что едут в город, но ведь город — понятие растяжимое: вон как далеко и во все стороны, пересекаясь, растянулись его улицы! Город — слишком обширное понятие, когда это большой город: тут есть и центр, есть и окраины, есть и предместья. Лично ему нужно в центр, а им куда?.. Вероятно, они едут в гараж, а гаражи почти всегда ютятся на задворках. Или же на склад — ведь они везут груз, вот эту копну, эту паклю, а склады, как правило, вообще расположены за городом, на околицах, у черта на куличках. Увезут, а от туда бреди с чемоданом обратно пешком через весь город...

Но все равно он никак не мог подать сигнал водителю, что ему пора слезать, что он уже на месте, что он приехал. Оставалось лишь покориться своей участи и ждать, где тот сам остановится, докуда сам докатит. Оставалось лишь радоваться, что путь окончен, что все-таки ему удалось добраться до Города-на-Реке не завтра, а сегодня.

Он уже узнавал знакомые очертания зданий: четко отесанный куб театра, угловую академическую ротонду, институт, как две капли воды похожий на его институт в Химках, строгую колоннаду казенного дома, пожарную каланчу, развернутые крылья Дома печати, кварталы жилых домов — все тут было в камне, основательно, внушительно, надежно.

Вслушавшись, он уловил взволнованные и гулкие удары сердца в груди, услышал в себе возвышенное и благоговейное, подобное молитве: «Город... город...»

Живем мы, переняв
Обличье их тюльпанов,
Зазывность трав медвяных
И нежность этих трав.

О подлости песню пропел я когда
Во гневе святом и печали,
Ко мне из Гуниба, Ахты и Цада
Пришли старики и сказали:

— Ты грешника кляни,
Кровоточа, как рана,
Но только не вини,
Но только не черни
Родного Дагестана.

Ты вора не щади
И не прощай обмана,
А имя Дагестана
Укрой в своей груди.

Покаянье

Со многими людьми, мне дорогими,
Я встретиться при жизни опоздал,
Как опоздал расстаться я с другими,
Достоинства в которых не встречал.

Недолгие отпущены нам сроки,
И остается мне себя корить,
Что опоздал сложить такие строки,
Которые обязан был сложить.

И не скрываю собственной вины я,
Что опоздал в минувшие года
Написанные мной стихи иные
Швырнуть в огонь, сторяя от стыда.

Грех не один да будет мне отпущен
За ту печаль мою, что опоздал
В Михайловское к Пушкину, как Пущин,
Приехать я и молод и удал.

Под Машуком противников расставил
Несправедливый ветреный судья.
Не допустил бы нарушенья правил,
Будь секундантом Лермонтова я.

Пред памятью людской благоговей,
Склонился мир, таков его удел.
О том грущу, что в дом Хемингуэя
Я из России поздно прилетел.

И как не предаваться укоризне,
Когда опять из-за сует земных
Не помянул усопшего на тризне,
Со свадьбой не поздравил молодых.

Души не облежит мне покаянье,
И тем могу утешиться лишь я,
Что некогда с тобою на свиданье
Не опоздал, любимая моя.

Перевел с аварского ЯКОВ КОЗЛОВСКИЙ.

ДЖУБАН МУЛДАГАЛИЕВ

Слово казаха

Казах не любит обещать с размахом.
Но если что пообещает вдруг,
Нет крепче слова, данного казахом
И подкрепленного пожатьем рук.

Ты слово дал — и все в тебе готово
Одoleвать огонь, свинец и страх.
Лишь мертвый ты сдержать не можешь слова
Или когда ты — больше не казах.

Здравствуй, комбат!

Александрю Александровичу Крылову.

Ну, здравствуй, мой комбат!
Живой картиной
Мне вдруг приснился отгремевший бой,
В котором я — стареющий мужчина,
А ты — горячий, прежний, молодой.

Не помню, как был кончен он, суровый,
В том прерывавшемся нередко сне.
Но вот — уже сегодняшним — ты снова
В тревожном забытии явился мне.

Во что-то вслушиваясь по привычке,
Ты отдал мне отчетливый приказ:
— Вот список, комиссар!
Для переключки
Построй-ка батарею мне сейчас!

— Джангиров!
Гордиенко!
Алексеев! —
И эхом доносилось в тот же миг:
— Скончался...
Пал...—
Сегодня перед всеми
Вдвоем остались мы, комбат, в живых.

Вдвоем с тобой оставшись в годы эти,
Стоим, понурясь, как перед бедой...
— Но с вами мы!
Нас тысячи на свете! —
Вдруг к нам донесся голос молодой.

Да, это в сон пришел твой сын Виталий,
С ним рядом — четверо моих парней.
Бессчетным строем открывали даль
Наследников победных наших дней.

— Жива поныне наша батарея! —
Я закричал и попытался встать.
Я слышал: ты команды, не старея,
Мне подаешь из прошлого опять.

— Да что с тобой? — толкая осторожно,
Меня будила поутру жена.
Кто знает, почему мне так тревожно
В слабеющих теперь объятых сна?

Нет, мой комбат, не гаснем мы с тобою,
Храня закалку фронтовой поры,
Хоть сны подчас нам не дают покоя
И жалят нас, как будто комары.

А в мире ныне то жара, то стужа,
Почти критические иногда.
И с черной тенью Гитлера к тому же
Крепят родство иные господа.

Конечно, нас достойны наши дети.
И Родина сильней теперь стократ.
Но мы должны еще пожить на свете —
И есть тому причины, мой комбат.

Как ни гонись за юностью по следу,
Нам батарею не дадут сейчас.
Но друг и враг великую Победу
Как бы воочью ныне видят в нас.

Пусть я немножко хвастаю, признаться...
Но честно, по крупице, без затей
Мы накопили главное богатство —
Отчизну наших внуков и детей.

Не часто в письмах мы судьбу итожим —
Так рапортом прими мои стихи:
Не хуже снов они способны тоже
Мне седины добавить на виски.

Тревожат сны,
Но мы нужны отчизне,
Любым мгновеньем перед ней в долгу.
Для друга мы не пожалеем жизни,
А слов — лишь за вином в своем круту...

Перевел с казахского ВЛ. САВЕЛЬЕВ.

ЮСТИНАС МАРЦИНКЯВИЧЮС

СОНЕТЫ

Бытие

...не чинить растениям препятствий,
птичий не оспаривать полет.
Множься и плодись, земное братство, —
я вещей благословляю ход.

Вспыхивает, движется, плывет
 видов бесконечная лавина.
 И единым телом исполина
 в ней огонь природы предстает.

Бытия великий и жестокий
 смысл: что даст — вернет в источник свой
 В этом щедром и скупом потоке

счастье пламенной протечь струей
 все мы, в мир в свои являясь сроки,
 называем временно С собой.

Мое село Важаткемис

Над Неманом зеленой птицей
 пой песню мудрости своей,
 чтоб скорбь в нее могла вместиться
 всех бед, всех войн и всех смертей.

В сундук раскрашенный тяжелый
 загадки, песни, плач клади,
 засмейся там, где стол веселый,
 за грустным — молча посиди.

Как вожжи, ценность слов держи,
 и свадьбу каждую приветствуй,
 и полотенцем повяжи

узорным жениха с невестой.
 Мне ж голову припороши
 белесым теплым пеплом детства.

Перевел с литовского ЛАЗАРЬ ШЕРШЕВСКИЙ.

УНО ЛАХТ

Гнездятся птицы...

Гнездятся птицы в ржавом шлеме, Об этом птичье поколение,
 Птенцы выпархивают в мир — Разинув клювы, гомонит!

А под землей былое время
 Взрастило корнеплоды мин.

Им в синеве небесных радуг
 Ширять, волнуясь и спеша,—
 Уже за семицветья радуг
 Задели крылья малыша!

Влажна, блаженна и игрива,
 Трава колышется весной,
 Но все не спит угроза взрыва
 Под слоем в палец толщиной.

Над заминированным полем
 Промчалось десять тысяч дней...
 Каких еще вам аллегорий?
 И эта яснее ясней!

Пух превратился в оперенье,
 И скоро в путь, в полет, в зенит;

Перевел с эстонского АЛЕКСАНДР ГОЛЕМБА.

СИБГАТ ХАКИМ

Сибгат Хаким был личным другом Мусы Джалиля. Написал о нем немало стихов. Недавно он совершил вместе со вдовой Мусы Джалиля Аминой-ханум путешествие по ГДР, по местам, связанным с памятью Мусы Джалиля. В журнале «Казан утлары» («Огни Казани») опубликована его поэма о Джалиле «По всей Европе — поиск». Мы публикуем отрывки из этой поэмы в переводе Николая Беляева.

По всей Европе — поиск

1

Из Берлина — в Дрезден... Из одной
Толчей вокзальной — в новый омут.
Что успел сказать? Какой строкой
Скажется былой и новый опыт?
Грохот эшелонов той, второй
Мировой войны сквозь годы слыша,
Ощущая третьей мировой
Встречный ход все явственней и ближе,
Духотой, июльской жарой,
Между двух огней — былым и новым —
Мучимые, словно брат с сестрой,
Беженцы, в кольце войны багровом,
С Аминой Джалиль скитаясь, мы,
Мучаясь в кругу загадок вечных,
Очутились в тех ночах зловещих
Возле бывшей дрезденской тюрьмы.
Здесь сегодня университет.
Такова была мечта и воля
Узников, чей групповой портрет
В бронзе — вечным памятником боли
Встал в тюремном дворике...

Пока
Молод вуз. Еще скромны заслути,
Ни традиций, ни корней в века.
Есть познаменитее в округе.
Бывшая политтюрьма. Сюда
Привозили всех антифашистов.
Двери... Зал имперского суда.
Здесь судили холодно и быстро.
Тесных грязных камер больше нет.
Всё перекроили, подновили...
За окном студента силуэт;
Промелькнув, напомнил о Джалиле...

2

По всей Европе — поиск... Времена
Меняются. Век близится к закату.
В тюремных камерах на стенах имена
Ногтями нацарапаны и даты.
Стирает время с молчаливых стен
Следы, улики... Просто рушит стены.
Но люди ищут — может быть, затем,
Чтоб убедиться: дух превыше тлена!
Чтоб на развалинах к осколкам тех имен
Душою прилепиться, нарветься
И положить цветок... Извечно он
Пребудет алым, словно пламя сердца!

3

О друге дорогом тоскую я,
 Тоскую — как о песне недопетой...
 Уйти бы нам с Мусой бродить в поля
 Германии вот этой — новой, светлой.
 О жизни — не о смерти говорить
 И радоваться, видя бункер, полный
 Пшеницы золотой... Благословить
 Всю землю, весь простор ее огромный!
 Хлеб — всюду хлеб... И мне он, например,
 Везде с одною силой греет сердце —
 В Татарии, в России, в ГДР,—
 Вовеки мне на хлеб не наглядеться!
 Увижу ли — когда мой шар земной,
 Весь мир преобразится, подобрееет
 И станет людям нивою одной,
 Той, на которой счастье наше зреет!

4

Мир... Где, когда, кому давался мир
 Без боя? В Западном Берлине молодые
 Идут на штурм пустующих квартир,
 И меры применяют к ним крутые.
 Меняет время свой привычный лик.
 Проклятый Моабит уже разрушен.
 И новый — современнее — возник
 На том же месте... Лучше или хуже?
 Он отдан нынче новым, непростым
 Миров ниспровергателям сердитым.
 Нет, не квартиры строят молодым,
 А новые возводят моабиты.
 По всей Европе — поиск... Вот и мы
 Мусу искали в Дрездене, в Берлине.
 Он вырос над фундаментом тюрьмы,
 Пошел шагать по свету — юный, сильный!
 По улицам, по странам, без границ
 В строю едином — Лорка и Неруда,
 Муса и Фучик... В отсветах зарниц,
 Всей жизнью — против атомного гуда:
 — Стой, третья мировая, отступи,
 Назад, отбой военщине труби!

По всей Европе — поиски детей,
 Отцов и дедов
 С той войны ведутся,
 Течет толпа измученных людей,
 Сердца их тяжело, устало бьются.
 И чтоб навек все люди в мире жили,
 Шагают рядом их заступники — Джалили.

Берлин — Казань.



ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

МАРИЭТТА ШАГИНЯН



50 ПИСЕМ Д. Д. ШОСТАКОВИЧА

Точную дату знакомства М. С. Шагинян и Д. Д. Шостаковича установить пока не удалось. Сама Мариэтта Сергеевна датировала начало их дружбы 1936 годом. В том году Мариэтта Сергеевна обратилась с письмом в ЦК партии с просьбой защитить Шостаковича от несправедливой критики в печати. Первое упоминание о Шостаковиче в ее дневниках появляется в записях 1940 года.

Многолетняя творческая и человеческая дружба М. С. Шагинян и Д. Д. Шостаковича продолжалась до конца его жизни. Мариэтта Сергеевна была почти на всех первых исполнениях произведений Шостаковича, откликалась на них статьями в печати.

«50 писем Д. Д. Шостаковича» — так назвала М. С. Шагинян свою последнюю работу. Первоначальный замысел — дать только короткий комментарий к публикации полученных ею от Шостаковича писем — скоро был изменен, и Мариэтта Сергеевна решила написать подробные воспоминания о композиторе.

В начале этого года, в больнице, на протяжении полутора месяцев Мариэтта Сергеевна по нескольку часов в день работала над воспоминаниями. Работалось трудно. Вынужденная диктовка — из-за усиливавшейся слепоты — была тяжела и непривычна. Почти каждый день она слушала продиктованное накануне, многое ее не устраивало, все перечеркивалось, и диктовка начиналась сначала.

В больнице под рукой не было многих нужных материалов, в том числе дневниковых записей М. С. Шагинян, которые она вела на протяжении многих лет и хотела использовать. Однако поиски их потребовали бы времени. Мариэтта Сергеевна торопилась.

В ходе работы в архиве Мариэтты Сергеевны нашлось полученное более сорока лет назад и забытое ею письмо М. М. Зощенко о Шостаковиче. Письмо поразило ее. Она просила снова и снова его перечитывать. А затем вновь начала переделывать написанное.

Первой посмертной публикацией Мариэтты Сергеевны нам захотелось сделать именно воспоминания о Шостаковиче, рукопись которых еще сохранила, кажется, ее дышание. Текст самих воспоминаний пока получился небольшим. Тексты дневниковых записей и писем снабжены краткими комментариями.

Елена ШАГИНЯН.

Это было очень давно — так давно, что теперешние мои друзья, пожилые люди, тогда еще не родились на свет божий. Питер — голодный, холодный, сумрачный, перламутрово-посеребренный, местами дымящийся от дыхания прохожих, Питер девятнадцатого и двадцатого годов. Рождалась Новая Эра. И в те безостановочные годы, сами еще не ведая почему, многие отцы (как один мой приятель) называли своих рождавшихся дочерей Эрами.

Я была счастлива вместе с другими в полутемных нетопленных залах, со слабым освещением, где давались дивные концерты лучшими музыкантами города, где сам город просвечивал своими слабыми очертаниями и слабые абрисы приносили в зрительную память великое зодчество старого, перерождающегося в новое...

Именно в Питере мы как-то остро переживали будущее великое искусство новой наступающей эры. Среди тогдашней публики зарождался культ необыкновенного мальчика, аккомпаниатора немых кино. В оставленной им самим биографии он признается, что выполнял эту работу чуть ли не с ненавистью. Но для тех, кто слухи о нем получал как местные легенды, игра его казалась волшебной...

С тех почти волшебных впечатлений в голодном и холодном Питере прошло много лет. И за эти годы Шостакович вырос как великий музыкант для тех, кто понимал музыку. Музыка его находила во мне постоянный могучий отклик.

Дать полные воспоминания обо всем пережитом в связи с музыкой Шостаковича у меня, к сожалению, нет сейчас физических сил.

Несколько раз была я у него в квартире на улице Кирова после приезда его из Куйбышева (после окончания войны), на даче и в других московских квартирах. Бывал Дмитрий Дмитриевич и у меня. Много раз беседовали по телефону и, конечно, постоянно встречались с ним почти на всех его концертах в Москве и Ленинграде. В этих посещениях было много любопытного. Иногда он мне рассказывал о себе, просил меня достать после войны кое-что нужное для детей, когда они были маленькими. Было нечто не совсем обыкновенное в его приходах. Дмитрий Дмитриевич отличался не только огромной нервностью, но и какой-то электрической заряженностью, истечением большой силы биотоков от всего его существа. Он всегда говорил с большим напряжением для себя. Когда он пришел ко мне в первый раз в комнату, перекрытую пополам большой и твердой ширмой, очень устойчивой, не успел он перешагнуть порога, эта устойчивая ширма внезапно повалилась на пол как от ветра. Вся моя семья была взволнована не менее меня. Начинать говорить с ним было всегда трудно. И надо было понимать, с чего правильно начать, чтобы разговор состоялся.

Я привожу тут нигде никогда не печатавшиеся 50 писем Шостаковича ко мне. Может быть, их было и больше, кое-что из них могло затеряться. А сейчас, при слепоте, трудно мне что-нибудь разобрать в архиве. Основное, конечно, сохранилось <...> Необычайная простота и теплота этих писем как бы пронизывают всю мою жизнь начиная с 1940 года.

Особенностью Шостаковича была чрезвычайная лаконичность. Он признавал за собой неумение писать письма. Но этот лаконизм, на мой взгляд, был необычайно содержателен. От них веяло чем-то очень простым, человеческим, всегда связанным с его творческой работой, с его удовлетворением или критической неудовлетворенностью ею. Он часто просил меня непременно послушать его новую вещь на таком-то и таком-то концерте.

<...> Он пришел ко мне после первого исполнения своего Квинтета и моей статьи в «Литературной газете»¹ об этом концерте, за которую, кстати сказать, журнал «Советская музыка» порядком выругал меня и даже высмеял, назвав почему-то мадам. Но когда готовили сборник, до которого не довелось Шостаковичу дожить, большую цитату из этой статьи о Квинтете² составители сборника привели. Шостакович пришел ко мне очень бледный, очень взволнованный и сказал: «Успех Квинтета потряс меня, после концерта я не сразу пришел домой. Я бродил по московским улицам, мне было как-то благодатно на душе. И следы этого благодатного состояния все еще теплятся во мне, переживаются с особой радостью, даже счастьем». Сколько помню, гениальные его руки всегда казались мне сухими на

¹ Статья Маризтты Шагинян «Квинтет Д. Шостаковича» («Литературная газета», 1 декабря 1940 года).

² «Д. Шостакович о времени и о себе. 1926—1975». М. «Советский композитор», 1980, стр. 76—77.

ощушь, но когда он в тот вечер прощался, рука его была влажная. И это передало мне особую нервную взволнованность очень высокого, и хочется назвать его словом «благодатного», типа.

Когда вспоминаю наши встречи, я всегда испытываю благодарность своей судьбе и своей жизни, подарившей мне такое незаслуженно светлое соприкосновение с великим композитором.

<...> В дневниках моих исписаны целые страницы того, что он мне рассказывал. Подготовка этих страниц к публикации потребовала бы от меня работы и напряжения памяти, чего я сделать сейчас не могу. Надо помнить, что мне почти девяносто четыре года.

Пусть почувствует читатель необыкновенную простоту и доброту печатаемых мною 50 писем Дмитрия Дмитриевича Шостаковича.

* * *

Из дневника № 22; 4 октября — 27 ноября 1940 г.

В искусстве за это время Квинтет Шостаковича — произведение абсолютное. Каждая новая гениальная вещь определяет и размещает в истории всю дельную работу всех остальных современников.

Написала о Квинтете в «Литгазету».

Из дневника № 22; 6—31 декабря 1940 г.

Был у нас 20/ХІІ Шостакович... (Дальше идет конспект беседы с ним, которую позднее расшифрую³.) Впечатление от его личности еще более сильное, чем от музыки,— очень хороший, чистый, непосредственный, без фальши, но есть много от польского национально-го характера <...>, и, мне кажется, с ним мне не сдружиться.

Одно время страшно, по-прежнему, потянуло, потом это сразу прошло, и сейчас даже не знаю, как буду писать о нем, а писать заказано.

Беседа 20 декабря с Шостаковичем

(запись по ходу беседы карандашом)

<...> Любимые его композиторы:

1. До консерватории — Шопен,
 2. После — Глинка, Бородин, Римский-Корсаков, Чайковский.
- Сейчас — Мусоргский.

Скрябина не любит. К Н. К. Метнеру равнодушен.

Дальше: Бах, Моцарт, Бетховен, Шуман, Шуберт, Лист, В е р д и, М а л е р. (Мийо — не любит.)

Вагнера — «Мейстерзингеры».

Глазунов хорошо относился к нему и сыграл решающую роль в его жизни. Еще в детстве повели к Зилоти, но тот отнесся к нему отрицательно и сказал, что из него ничего не выйдет. Тогда его повели к Глазунову, и тот, наоборот, посоветовал обязательно учить композиции и фортепиано.

Архитектуру — мало чувствует <...>

Литературу — с детства и до последних лет из классиков:

1. Гоголя (на первом месте),
2. Салтыкова-Щедрина,
3. Чехова

и поэтов Пушкина, Лермонтова, Маяковского.

Асафьев посоветовал ему прочесть «Леди Макбет» Лескова, он прочел, был потрясен и в два счета написал оперу.

³ Материалы этой беседы были использованы М. С. Шагинян в ее статьях о Шостаковиче, однако в дневниках расшифровки не сделано.

Верди — считает настоящим музыкальным драматургом. «О т е л л о»: «Подобной оперы не было на свете!» А Вагнер — «ничего не понимал в музыкальной драме».

Он мне с завистью рассказал о том, как Верди написал «Сердце красавицы», — и буквально на следующий день это пела вся Италия, а потом и Европа. Мечтает о такой мелодии, чтоб сразу завоевала <...>

«Спорт люблю: теннис, волейбол, футбол».

Считает лучшими своими вещами:

1. 5-ю симфонию,
2. 6-ю симфонию,
3. сонату для виолончели,
4. квартет,
5. квинтет,
6. фортепианный концерт 1933—1934 годов.

Шестая симфония — трехчастная, одна большая часть и две маленьких. В первой части — чувство природы, спокойная пастораль, большое *adagio* — «щедро написано». Вторая часть — живое скерцо, третья — финал «типа гайдновских финалов», быстрое *rondo*. Между 5-й и 7-й была неудача, прыгнул выше головы, хотел написать памяти Ленина кантатой из Маяковского — хоровые места, — не вышло. После обратился к 6-й.

Квинтет — все 5 частей написаны на одну мелодию. Главная партия от побочной партии резко отличается. Мелодию, сказал Шостакович, он представляет себе как взятую шире, со всем комплексом, ее окружающим. Сказал, что не любит конец 9-й симфонии [Бетховена] (хор) <...>

Оркестровка: старается писать удобно для того или иного инструмента. Пишет сразу для оркестра, а не то чтобы сперва для рояля, а потом дает оркестровку. Оркеструет прозрачно — «люблю, чтоб каждый голос говорил в оркестре, чистые тембры, любая фраза — в природе самого инструмента. Состав оркестра — в самом ходе действия, по мере надобности». Очень любит свой фортепианный концерт 33—34 гг.

Из письма М. М. Зощенко ⁴

Мариэтта, исполняю Вашу просьбу — пишу Вам о Шостаковиче. Ваше впечатление о нем — правильное. Но не совсем. Вам казалось, что он — «хрупкий, ломкий, уходящий в себя, бесконечно непосредственный и чистый ребенок».

Это так. Но если б это было только так, то огромного искусства (как у него) не получилось бы. Он именно то, что Вы говорите, плюс к тому — жесткий, едкий, чрезвычайно умный, пожалуй, сильный, деспотичный и не совсем добрый (хотя от ума добрый).

Вот в каком сочетании надо его увидеть. И тогда в какой-то мере можно понять его искусство.

В нем — огромные противоречия. В нем — одно зачеркивает другое. Это — конфликт в высшей степени. Это — почти катастрофа <...>

Я очень люблю Дм. Дм. Он Вам правильно сказал, что я хорошо к нему отношусь. Я знаю его давно, лет, вероятно, 15—16. Но дружбы у нас не получилось. Впрочем, я и не искал этой дружбы, потому что видел, что этого не могло быть. Всякий раз, когда мы оставались вдвоем, нам было нелегко. Наши «токи» не соединялись. Они производили взрыв. Мы оба чрезвычайно нервничали (внутренно, конечно). И хотя мы встречались часто, но нам ни разу не удалось по-настоящему и тепло поговорить.

Мне было с ним так же трудно, как с Улановой.

⁴ Письмо публикуется в соответствии с контекстом дневников.

Мое солнце не светило для них.

Не приближение, а «отгалкивание» происходило. И это было удивительно и для меня и для них <...>

О моей литературе Дм. Дм. много раз заговаривал. И всегда очень верно, даже безукоризненно верно. Его мнение мне всегда было дороже, чем мнение профессионального критика. Впрочем, Д. Д. очень любит юмор, и по этой причине к моим работам он относится пристрастно <...>

Мариэтта! Это очень хорошо, что Вам так понравился Шостакович. Это — мудрый человек. И, конечно, очень чистый. Мне кажется, что он великий музыкант. И это казалось мне всегда и даже 15 лет назад <...>

4.1.41.

Из дневника № 23; 5—28 мая 1943 г., Москва

Самое яркое в Москве — это встреча с Шостаковичем. На этот раз у меня от него совсем особое впечатление, как от очень определенного, знающего, чего и как он хочет, справедливого, честно-умного, удивительно сильного, просто непобедимо сильного, ребенка <...> с умом 40-летнего мужчины.

Сперва мы встретились в Информбюро, куда меня пригласили на вечер <...> Шостакович сыграл свою сонату — новую, написанную в феврале 1943 года, — она суховата, в трех частях, приглушенная, с очень хорошим танцем-песней в третьей части, самой сильной, — вторую я плохо расслышала. Вещь очень умная, типа разговора с самим собой, слушается с непрерывным, логически развивающимся вниманием и интересом. Оставляет в конце интеллектуальную теплоту, хорошее освежающее чувство — что вот побыл полчаса на пределах углубленного ощущения мира <...>, и успокоенность, уверенность в себе. Я страшно люблю музыку Шостаковича за чувства, которые она оставляет в слушателе <...>

За исключением Седьмой симфонии и, м[ожет] б[ыть], самых ранних вещей музыка Шостаковича подтягивает, заставляет все внутри хорошо и определенно перестраиваться в боевом порядке, выпускает отдохнувшим и готовым на продолжение жизни с новым запасом сил. Она намагничивает положительным электричеством, это деятельная музыка, и за это я ее страстно люблю.

На концерте мы уговорились, что встретимся обязательно, обменялись адресами. Потом он забежал ко мне 24-го и пригласил к себе 27-го в четверг, к 6-ти. Я попала к нему с запозданием. Дали ему хорошую квартиру на Мясницкой, д. 21, кв. 48, на 5 этаже, в 4 комнаты, но почти пустую. Стоит в его комнате рояль. К сожалению, едва мы начали говорить, пошли телефонные звонки, потом — разговор с Куйбышевым, потом его друг, Анна Семеновна, пришла с собачкой Тюбиком и, наконец, муж Анны Семеновны, художник, высокий и молчаливый человек⁵. По-моему, они просто опекают Шостаковича, неотлучно при нем. Это «прибавление» к общению уничтожило ту необходимую долю интимности, которая могла бы возникнуть при разговоре, и Шостакович мало говорил о себе. Но, с другой стороны, это и облегчило разговор, переложило тяжесть с четырех плеч на восемь. Шостакович был очень искренен, и вот за эту встречу и образовалось у меня от него то впечатление прочного, крепкого, хорошо организованного, о каком написала выше. Привожу выписки из того, что он говорил: «Внешне у меня сейчас все плохо, трудно жить, не устроен, нет необходимых вещей, сковородка одна, много ли на ней наготовишь, горшочек нет для детей. А внутренне — как будто

⁵ Петр Владимирович Вильямс (1902—1947) — театральный художник. Оформлял постановку оперы Д. Д. Шостаковича «Леда Макбет Мценского уезда» в ГАБТ.

хорошо. Но за последнее время не работаю, это мучительно. У меня, когда я не работаю, непрерывно болит голова, вот и сейчас болит. Это не значит, что ничего не делаю, наоборот — очень много делаю, читаю множество рукописей, должен давать на все ответы, но это — не то, что мне надо. Не пишу музыку. Соната — это мелочь, экспромт. Кажется, у меня сейчас действительно пауза... Это я вам одной говорю, вы смотрите никому больше не рассказывайте, вам первой говорю — у меня сейчас какое-то отвращение к собственной музыке, не хочу ее слушать. Для музыканта слушать свою музыку в исполнении — это знаете какое огромное счастье? Это музыкант никогда не пропустит <...> В данное время я не люблю оперу, она мне кажется бутафорией. Оперу просто не люблю, а балет очень не люблю. Меня тянет к симфонии, хочу писать восьмую симфонию».

Здесь он мне рассказал, что получил письмо от Шварева с приглашением в Челябинск «воспеть в музыке Урал» и уже дал свое согласие. Но боится, что его там затуркают. «Я не умею и терпеть не могу представлять».

<...> Америка: «Три раза собирался ехать. Первый раз предложили — я сам отказался. Второй раз хотел — отменили. А в третий раз — вот сейчас чего-то поговаривают. Но я бы хотел поехать как турист. А ехать как музыкант очень трудно». О себе: «Вот вы поехали и сразу увидели интересных людей — жокея, ветеринара. (Это в ответ на мой рассказ о конном заводе.) А я лишен этого. Я совершенно не могу общаться с людьми, не вижу их, нет путей к ним. Не знаю, отчего это происходит». Тут я сказала ему о его большом эгоизме, о недоброте — внутренней <...> Шостакович в разговоре о хиромантии смотрел наши ладони и сказал мне, что у меня хорошая линия судьбы, а у него линии судьбы и жизни расходятся. Потом показал линию сердца — она у него двойная — и сказал: «Я ведь не выдумываю, я по книгам все разбираю, строго научно. Вот вы говорите — недобрый, а я очень добр, у меня доброта Христа, двойная линия сердца на руке — это, как у Христа, признак большой доброты. Я о себе не думаю как об эгоисте». О Шекспире немножко — любит Шекспира. Стал меньше любить Чайковского, больше любить Рахманинова. Вкусы остались примерно те же, что и после нашего разговора. Сказку мою (я дала ему «Анаит»⁶) он похвалил, «она очень понравилась. Это — честно». «Не знаю, буду ли писать, я вообще не знаю, что буду делать». Много еще говорилось, всего не упомяну.

Он сейчас на перепутье, ему недостает глубоких переживаний, но все это придет к нему. Очень хорошее, теплое впечатление унесла от него. Самой пришлось говорить очень много про Урал, и от этого было досадно на себя, так как пришла слушать, а не говорить. Получила от него в подарок два листочка сонаты с надписью: «Дорогой Маризтте Сергеевне Шагинян в знак лучших чувств». Там в рукописи целое открытие для меня: разница почерков словесного и музыкального, первый — нервный и неустойчивый, второй — максимально здоровый, определенный, крепкий. Значит, для Шостаковича его нормальный язык — музыкальный, а стихия жизни — музыка. В его лице я близко вижу (впервые близко) интереснейшее земное существо — гения, то есть величайшую для человека степень одаренности и намагниченности. Очень это познавательно и интересно наблюдать. Мне с ним стало легко, потому что я стала его больше понимать, но опять показалось, что сама я по натуре должна быть ему скучной. Благодарю судьбу за возможность общения с ним.

Он сейчас (как и раньше) увлекается чужими биографиями, дневниками Чайковского, Верди и т. д. и рассказывает о них.

⁶ Неопубликованная пьеса М. С. Шагинян по мотивам сказки Х. Агаяна.

Из дневника № 45; 20 декабря 1962 г.

В полшестого у Шостаковича. Он сказал мне о 13-й [симфонии]: «Я хотел передать всегда захватывающую и волнующую меня тему — тему гражданской нравственности». Она вылилась у него в главной музыкальной линии, отданной хору одних басов. Солист тоже бас. Об этой встрече я сразу ничего не написала, в дневнике ни слова нет. Зато переписана [в дневник] почти вся статья Д. Шостаковича «О своей опере».

Из дневника № 48; 8 сентября 1966 г.

Утром прошлась по Ленинграду. Сперва был дождик, потом распогодилось. Опять захватил меня этот город своим мягким воздухом и красотой. В «Известиях» договорились нынче в 2 часа ехать к Шостаковичу, а фактически выехали в четвертом часу. Солнце проглянуло. Дорога вдоль полотна, чудные места, слева море со свинцовым блеском. Солнечная — дачное место с микроклиматом удивительной ясности, сухости и теплоты по сравнению с тем, что до нее и после нее. Дальше, на 51 километре — Дом творчества композиторов, Репино. Ужасное впечатление сырости и темноты. Шостакович живет в маленьком домике голубого цвета, одноэтажном. Он увидел в окно нашу машину и вышел на крыльцо встречать меня — очень бледный, как-то расплывшийся, глаза бегают и не смотрят прямо, волосы почти вылезли, лоб мокрый от пота, несколько прядок торчат в разные стороны. Ходит с трудом. Мы поцеловались. Все так же дрожат руки, и пальцы стали совсем слабые. В первой комнате, где рояль, — он закрыт, и на нем много пластинок зарубежных (я видела Хиндемита) раскинуты плашмя во всю длину рояля. Несколько раз пересаживались, я все хотела сесть на твердое. В комнате, первой от входа, гостиной, где, повторяю, стоит рояль, невыносимо душно и пыльно как-то, или парит от мягкой мебели, или это после воздушной ванны всего перешейка. Сыро во всем пространстве Дома творчества композиторов. Таким больным и растерянным я его никогда еще не чувствовала. Разговор начался с пустяков. Опять — «я здоров, только ноги». На вопрос о музыке: «Нет, хотя ничего не пишу, голова не болит».

О школах: это я в самом начале хотела выяснить, почему его выставили из гимназии и он кончал экстерном.

— В консерваторию поступил и стал манкировать, на уроки в гимназию не приходил, поэтому исключили.

— А я думала, вы какие-нибудь трюки выкинули.

— Нет, трюков никаких не выкидывал, я был вообще смирный.

О хиромантии — напомнила ему «добр, как Христос», посмотрела его ладонь, вовсе не так ярко выражены две линии, как записала в 43 году, похоже на мою. «Раньше я как следует, научно занимался хиромантией, потом забросил». Сказал, что 25-го в Москве должен быть исполнен его новый концерт для виолончели с оркестром в соль мажор, это второй⁷.

Много читает. «Святой колодец» прочел. [Ирина Антоновна⁸] позвала к чаю. Он уже утомился, ничего не ел и не пил и только сказал: «Не ездите по границам, берегите здоровье. Эти поездки разрушают здоровье, вот я ездил, ездил и заболел. Нужно ездить, это, конечно, интересно, но в меру. Смотрите, берегите ваше здоровье», — это он сказал несколько раз, очень громко, почти криком. Вот, в сущности, все, что осталось от этого свидания.

⁷ Около этой записи в дневнике вклеен небольшой лист, на котором рукой Д. Д. Шостаковича написано: «Второй концерт для виолончели с оркестром. В трех частях. Соль мажор».

⁸ Ирина Антоновна Шостакович — жена композитора.

Из дневника № 48; 21—25 сентября 1966 г.

Сейчас собираюсь на концерт Шостаковича. Юбилейный <...>

Концерт прошел прекрасно <...> [Была исполнена] Первая симфония; я впервые почувствовала всю genialность этой вещи. Пожалуй, ее можно поставить в ряд с квинтетом, 13-й и 5-й. А вот концерт для виолончели как-то не был мною воспринят, показался разбросанным, хаотичным. Шостакович сидел в левой ложе. Несмотря на запрет, много раз выходил на овации, был серьезен и бледен, но как будто гораздо здоровее, чем в Репине.

Из дневника № 60; 9 августа 1975 г., суббота

Не знала, не предчувствовала, только внутренняя тревога была и мучила меня на концерте — очень неудачном: 4-я Бетховена и концерт Моцарта для скрипки с оркестром. На Тангейзера увертюру мы не остались. Не знала, не предчувствовала, что за час до начала концерта, в 7 часов вечера сегодня ушел из жизни дорогой мой друг, любимый композитор — Дмитрий Дмитриевич Шостакович.

10 августа, воскресенье.

Нынче в 3 часа дня <...> узнала об этом и места себе не нахожу. Вечером — опять концерт, в программе — Камаринская Глинки, концерт для скрипки с оркестром Сибелиуса, 10-я Шостаковича... Но все переменялось, было единственно хорошо, что должно было быть <...>

Начался концерт Сибелиуса для скрипки⁹ <...> Совершенно мне неведомый скрипач — небольшой, в очках, с копной светлых волос, падающих на уши и на лицо, — играл потрясающе, как Паганини, и весь концерт создал атмосферу реквиема, то есть подан был, насыщен был и оркестром и солистом огромной силы трагедией смерти, стал как бы какой-то грозной панихидой. Впечатление было настолько сильное, что затмило даже 10-ю симфонию Шостаковича, тоже трагическую, трудную для понимания, темную в его творчестве. От Сибелиуса у меня слезы выступили, и я их с трудом удержала...

11 августа, понедельник [телеграмма семье]:

«Утрата гения — тяжкий удар для всего человечества. Одно утешает — он уходит в бессмертие»...

* * *

Москва, Арбат, 45 №

11.II.1941. Ленинград.

Дорогая Мариэтта Сергеевна!

Извините меня, что я до сих пор не прислал Вам списка моих сочинений. Посылаю его с этим письмом. Оправдываться не стоит, т. к. я виноват и «осознаю» свою вину.

В первую очередь виновата моя лень. Когда я начал выводить пером названия своих опусов, то пришел в отчаяние, что их так много, а толку из всего этого мало. В конце концов я обратился за помощью к одной приятельнице, и она напечатала все это на машинке.

Кроме того, у меня последние 2 недели хворают дочка и жена. Дочка уже поправляется, а жена чувствует себя очень плохо. У нее высокая температура и болит сердце. Заболела и домработница. В связи с этим няню с сыном пришлось отделить от других членов

⁹ В связи со смертью Д. Д. Шостаковича была отменена «Камаринская» М. И. Глинки. Публика минутой молчания почтила память композитора.

* Здесь и в дальнейшем курсивом даны почтовые адреса Мариэтты Сергеевны Шагинян.

семьи, а на мою голову свалилось множество забот. Правда, мне помогают мама и тетя, но все-таки это очень трудно и, главное, грустно. Болезни тяжелые, нудные и мучительные. У дочки был стоматит, жена, очевидно, от нее заразилась, и это очень плохо действует на ее сердце.

Большое Вам спасибо за «Шевченко».

Напрасно Вы считаете, что я был недоволен Вашим визитом после концерта. Не знаю, почему это Вам так показалось.

С приветом

Д. Шостакович.

Свердловск, гостиница «Большой Урал».

3.II.1942. Куйбышев.

Дорогая Мариэтта Сергеевна!

Спасибо Вам за Ваше письмо. В наше суровое время необычайно радостно получать известия от друзей и близких.

Спасибо за поздравления с окончанием 7-й симфонии. Недели через две она будет исполнена здесь, оркестром Большого театра, под управлением Самосуда. Сейчас у меня наиболее приятные дни: идут репетиции. Симфония получилась длинная (1 ч. 20 мин.), и ее нужно много репетировать.

В Ленинграде я прожил до 1 октября. Затем с женой и детьми вылетел в Москву, где пробыл до 15 октября. А 22 октября мы очутились в Куйбышеве. Устроились прилично. Имеем квартиру из двух комнат. Много возни с хозяйством. Моя мать, сестра и племянник, а также родные жены остались в Ленинграде. Изредка оттуда приходят письма, которые необычайно тяжело читать. Например, съедена моя собака, съедено несколько кошек. Мои хлопоты о том, чтобы их вывезти сюда, пока не увенчались успехом. Когда я улетал из Ленинграда, мне дали слово, что мать, сестра и племянник вылетят завтра или послезавтра. Пока они там. Недавно я узнал, что Зощенко находится в Алма-Ате. Адреса его не знаю, но написал ему на Союз советских писателей. Понемногу приходят вести от друзей с разных концов Советского Союза. Это очень приятно.

Из Куйбышева я уезжать не хочу до тех пор, пока не увижу своих из Ленинграда.

Иногда удается с разными okazиями посылать им посылки. Вряд ли это будет возможно делать, сидя в Ташкенте или в Алма-Ате, куда меня упорно зовут. Материальные дела мои обстоят благополучно. Хуже с прокормом семьи. Здесь трудно вести хозяйство, добывать продукты и т. п.

Очень многие уезжают отсюда в Москву. Вероятно, в конце февраля и я съезжу туда. К сожалению, пока еще не разрешают туда ехать с семьей, а бросить их я не могу, т. к. боюсь, что без меня им будет трудно.

В заключение горячо поздравляю Вас и всех Ваших с рождением внучки. Это большая радость.

Д. Шостакович.

Свердловск, гостиница «Большой Урал».

[21 июля 1942 г., Новосибирск. Телеграмма.]

Очень жалею приехать не могу привет Шостакович

Свердловск, гостиница «Большой Урал».

1.III.1943. Куйбышев.

Дорогая Мариэтта Сергеевна... Мне было очень приятно, что Вы меня не забыли и прислали с Б. Н. Агаповым¹ привет. Завтра я уеду

в Москву, где буду пытаться устроиться на постоянное жительство. Здесь, в Куйбышеве, скучно без музыки и без среды, в которой я всю жизнь вращался. Если в Москве устроиться не удастся, вернусь в Куйбышев, где более или менее налажен мой быт. Б. Н. Агапов передавал мне, что Вас интересует моя работа. Я недоволен своими результатами, хотя работал много. Закончил только шесть романсов на слова Маршака и Пастернака (переводы). Вот перечень: 1) «Сыну» (Уолтер Ралей². Перевод Пастернака), 2) стихотворение без названия, начинается так: «В полях, под снегом и дождем, мой милый друг, мой бедный друг» (Роберт Бернс. Перевод Маршака), 3) «Макферсон перед казнью» (Роберт Бернс. Перевод Маршака), 4) «Дженни» (Роберт Бернс. Перевод Маршака), 5) сонет 66 (Шекспир. Перевод Пастернака), 6) «Королевский поход» (перевод Маршака). Кроме того, написана одна часть фортепьянной сонаты и большая часть оперы (одноактной)³. Оперу я писать бросил, хотя возился с ней около года, — сонату закончу. Завидую Вам, что Вы много работаете, и очень удачно и активно. За то время, что мы с Вами не видались, я стал совсем другим. В остальном все благополучно. Все мы сейчас здоровы. Я почти совсем поправился (я был болен брюшным тифом). «Почти», потому что, пока еще, очень устаю от хождения пешком, хотя раньше, до болезни, ходил очень много. Если у Вас будет время, то напишите мне по адресу: Москва 47, Третья Миусская, 4/6, Союз советских композиторов. Мне.

Крепко жму руку.

Д. Шостакович,

¹ Агапов Борис Николаевич (1899—1973) — советский писатель.

² Имеется в виду Уолтер Рэли (ок. 1552—1618), английский политический деятель, мореплаватель, историк и поэт.

³ Опера «Игроки» по Н. В. Гоголю.

Без адреса.

[8.VI.1943]

Дорогая Мариэтта Сергеевна.
Спасибо за письмо и за все прочее.
Желаю Вам счастья и благополучия.
Буду Вам писать в Свердловск.
Если у Вас будет новый адрес, то сообщите его.

Ваш Д. Шостакович.

Москва, Арбат, 45,

16.II.1947. Москва.

Дорогая Мариэтта Сергеевна.
Прошу Вас не понять превратно мое письмо. Мне даже немного совестно отнимать у Вас время для его чтения.

В общем, коротко речь идет вот о чем.

Сегодня я вернулся из Ленинграда и, перелистывая старые газеты, нашел Вашу статью обо мне в «Известиях»¹. Даю Вам честное слово, что первый раз в жизни я решаюсь от всего сердца поблагодарить автора статьи или заметки обо мне.

Я никогда этого не делал. Мне кажется, что так поступать не нужно. Можно благодарить за гостеприимство, за вкусное угощение, за помощь в делах и т. п., но за статьи, заметки, рецензии и т. п. благодарить нельзя. Я не мастер в письменной форме излагать свои мысли. Если мне суждено встретиться с Вами, то я бы предпочел эти

мысли изложить в устной форме. Так вот: я горячо благодарю Вас за Вашу статью обо мне в «Известиях». Она доставила мне много радости. По всей вероятности, и потому, что обо мне вообще ничего не пишут за последнее время, а если и пишут, то... Кое в чем я с Вами не согласен. В частности, в определении моей 8-й симфонии как «грациозной» и со слишком большим преувеличением насчет «моцартовской легкости». Но это совершенно не важно. Важно что-то другое, за что, по-моему, нельзя благодарить, а я все-таки благодарю.

Мне хочется через некоторое время повидать Вас. Пишу «через некоторое время» из-за того, что некоторые мелкие неприятности портят, и сильно портят, мое настроение.

В таких случаях я уединяюсь, т. к. боюсь надоедать своими неприятностями своим собеседникам. А я человек слабый, и «неприятности» сильно на меня действуют. Эти неприятности пустяковые, и через 5—6 дней все придет в норму. Тогда я Вам напишу и, если Вы ничего не будете иметь против, приеду к Вам.

Примите мои лучшие пожелания.

Ваш Д. Шостакович.

PS. Я переехал на новую квартиру <...>

Д. Ш.

¹ Мариэтта Шагинян, «Черты гражданина» («Известия», 7 февраля 1947 года).

Москва, Арбат, 45.

29.III.1948. Москва.

Дорогая Мариэтта Сергеевна. Большое спасибо Вам за Ваше письмо и за приглашение побывать у Вас. Соседом Вашим я не был, хотя и должен был быть таковым. Мосдачтрест обманул меня и никакой дачи в Кратове не устроил, хотя и имел для этого соответствующее высокое предписание. Очень завидую Вам, что Вы имеете возможность жить не в городе. Побывать мне у Вас очень хочется, и я попробую позвонить к Вам после 5 апреля (с 1.IV по 5. IV я буду в Ленинграде).

Если после 5-го Вы сможете мне позвонить, то я был бы этому очень рад. Тогда мы смогли бы договориться и о нашей встрече. Поздравляю Вас с прошедшим 60-летием и желаю Вам прожить еще много-много лет, а главное, быть здоровой и счастливой.

Крепко жму руку.

Ваш Д. Шостакович.

PS. Михаила Михайловича¹ я давно не видел. Знаю, что он живет благополучно, пишет пьесы, но материальное положение его как будто скверное.

Д. Ш.

¹ М. М. Зощенко.

Москва, Арбат, 45.

12.I.1949. Москва.

Дорогая Мариэтта Сергеевна.

Мы все сейчас живем в санатории «Искра» и в Москве бываем редко. Поэтому я с опозданием отвечаю на Ваше письмо. Большое Вам спасибо за хлопоты. Посылку маме мы переправим, и, наверное, скоро. 17.I мы возвращаемся в Москву, и в это же время жена поедет в Ленинград... <...>

Желаю Вам всего лучшего.

Ваш Д. Шостакович.

Москва, Арбат, 45.

19.VI.1954. Москва.

Дорогая Мариэтта Сергеевна.

Я сейчас уезжаю из Москвы до осени.

Я очень советую А. Ю. Наркевичу¹ обратиться к Виссариону Яковлевичу Шебалину. Он прослушает его сына и сделает все возможное.

Крепко жму руку.

Д. Шостакович.

¹ Наркевич Александр Юлианович (1910—1969) — библиограф, критик; друг М. С. Шагиня.

Москва, Арбат, 45.

12.XI.1957. Москва.

Дорогая Мариэтта Сергеевна!

Спасибо Вам за статью¹. Статья очень хороша, и особенно хорошо то, что Вы так высоко оценили Мравинского и оркестр Лен[инград-ской] филармонии. В Вашей статье есть лишь одна неточность... Мравинский исполнил все четыре части без перерыва. Это не он исполнил без перерыва, а я так сочинил.

Крепко жму руку.

Д. Шостакович.

¹ Мариэтта Шагиня, «Одиннадцатая» Шостаковича (Письмо из Ленинграда) («Известия», 12 ноября 1957 года).

Москва, Арбат, 45.

1.I.1958. Москва.

Дорогая Мариэтта Сергеевна.

Поздравляю Вас с Новым годом.

Желаю Вам быть всегда здоровой и счастливой.

Д. Шостакович.

Москва, 2-я Аэропортовская, 16.

10.I.1963. Москва.

Дорогая Мариэтта Сергеевна!

Спасибо Вам за Ваше письмо, за добрые слова.

Для меня является большой честью столь высокая Ваша оценка моихopus'ов.

И это для меня важнее всего.

И Ваша оценка, и оценка многих моих друзей, коллег и знакомых мне слушателей меня радуют.

Крепко жму руку.

Ваш Д. Шостакович.

PS. Симфония¹ в ближайшее время исполняться не будет. Вряд ли я сумею там что-либо переделать.

Д. Ш.

¹ Речь идет о 13-й симфонии.

Московская область, Рузский район,
Дом творчества писателей «Малеевка».

15.II.1963. Москва.

Дорогая Мариэтта Сергеевна!

Спасибо Вам за письмо, за Ваши добрые слова по моему адресу. Спасибо и за рецензию, которая пока еще не напечатана. Если ее напечатают, то это будет для меня большой радостью.

Очень завидую Вам, что Вы в Малеевке. Я это место знаю. Часто бывал в Доме композиторов и заходил к писателям. В Болонью я пока ничего не послал.

Все мои рукописи хранятся в Архиве, и мне не хотят их отдавать без возврата.

Напишу что-нибудь, тогда пошлю. Сейчас я очень занят трудоемким и тяжелым делом: правлю много корректур. Занятие тяжелое и утомительное.

10 февраля симфония¹ была исполнена несколько хуже, чем на другой день — 11-го. Я жалел, что 11-го Вас не было.

Новые стихи Евтушенко мне не нравятся. Однако вопрос стоял так: или новые стихи, или без них. Я, видно, смалодушничал. А Евтушенко прислал мне эти стихи и уехал на два месяца за границу.

Желаю Вам как можно лучше отдыхать. Живите в Малеевке долго и хорошо.

Ваш Д. Шостакович.

¹ Речь идет о 13-й симфонии.

Москва, 2-я Аэропортовская, 16.

5.VIII.1963. Жуковка.

Дорогая Мариэтта Сергеевна!

Ваше письмо я получил только сейчас, когда я вернулся в Москву из Армении, где в Дилижане провел месяц.

Спасибо Вам за внимание, за Ваше доброе ко мне отношение.

Сейчас я живу на даче. В городе бываю редко. Занимаюсь музыкальным ремеслом. Соркестровал виолончельный концерт Шумана. Оркеструю две очень хорошие пьесы покойного А. Давиденко¹ — «На десятой версте» и «Улица волнуется».

С сочинением пока ничего не выходит.

Крепко жму руку.

Ваш Д. Шостакович.

Не появился ли у Вас телефон? Если да, то сообщите номер.

Д. Ш.

¹ Давиденко Александр Александрович (1899—1934) — советский композитор.

Москва, 2-я Аэропортовская, 16.

23.VIII.1963. Москва.

Дорогая Мариэтта Сергеевна!

Спасибо за письмо. 27 августа я буду в Москве. Если у Вас будет время и желание принять меня, я бы зашел к Вам 27-го около двух часов. Угощать меня не надо.

Я хочу Вас повидать и узнать, как Вы себя чувствуете, как Ваше здоровье.

С лучшими пожеланиями.

Д. Шостакович.

Подтвердите, пожалуйста, удобно ли будет для Вас, если я к Вам приду 27-го около двух.

Д. Ш.

16.IV.1964. Москва.

Москва, 2-я Аэропортовская, 16.

Дорогая Маризтта Сергеевна!
Спасибо Вам за Ваш подарок.
Буду читать «Возвращение из мертвых»¹ с большим интересом.
Шлю Вам самые лучшие пожелания.

Д. Шостакович.

¹ Имеется в виду книга М. С. Шагинян «Воскрешение из мертвых» о чешском композиторе Йозефе Мысливечке (М. «Художественная литература». 1964).

28.VIII.1966. Мельничий Ручей.

Москва, 2-я Аэропортовская 16.

Дорогая Маризтта Сергеевна!

Я получил Ваше письмо с некоторым опозданием. Живу я сейчас в Мельничьем Ручье, в загородном филиале больницы, в которой я лечился от инфаркта, приключившегося со мной в конце мая в Ленинграде.

Здесь, в Мельничьем Ручье, я долечиваюсь. Чувствую себя хорошо, но пока еще плохо ходят ноги. Говорят, что они «расходятся» и тогда все будет прекрасно.

Вы пишете, что обиделись на меня. Простите меня, но это произошло непонятно для меня. Я никогда не хотел Вас обижать. Я слишком хорошо отношусь к Вам.

Если Вы что-нибудь напишете обо мне, то это для меня будет большим подарком¹. Мне очень трудно просить Вас написать то, что мне было бы желательнее и приятно. Повторяю: все, вышедшее из-под Вашего пера, будет для меня большой честью.

В Москву я вернусь не раньше 15 сентября. Пока мне еще не разрешают совершить такое путешествие.

Поэтому я не смогу найти и предоставить в Ваше распоряжение Вашу заметку обо мне. Все мои, испуганные моим здоровьем, находятся сейчас в Ленинграде, и без них, а тем более без меня, эту заметку найти невозможно.

Шлю Вам самые лучшие пожелания.

Ваш Д. Шостакович.

Начиная с 30 августа я буду находиться по следующему адресу: Ленинградская область. Репино. Дом композиторов.

Д. Ш.

¹ К шестидесятилетию композитора М. С. Шагинян написала статью «Дмитрий Шостакович» («Известия», 17 сентября 1966 года).

11.XI.1966. Репино.

Москва, 2-я Аэропортовская, 16.

Дорогая Маризтта Сергеевна!

Спасибо Вам за письмо, за пьесы Магдалины Сергеевны¹, которые мне понравились.

Спасибо за хлопоты обо мне.

Я чувствую себя хорошо, только плохо хожу. Когда я вернусь в Москву, то на это обращаю главное внимание, Я знаю, что мне сей-

час нужнее всего врач-физкультурник, который сумел бы вернуть мне, хотя бы частично, мою былую подвижность.

Напрасно Вы критикуете Репино. Здесь очень хорошо.

Скоро я приеду в Москву и поселюсь на даче.

Шлю Вам самые лучшие пожелания.

Д. Шостакович.

¹ Шагинян Магдалина Сергеевна (1890—1961) — сестра писательницы; художник, скульптор, композитор.

Москва, 2-я Аэропортовская, 16.

18.I.1967. Москва.

Дорогая Мариэтта Сергеевна!

Простите за то, что так долго не отвечал Вам. Я хворал. Теперь мне лучше, и я надеюсь больше никогда не хворать.

Спасибо Вам за Вашу заметку о «Носе».

С Бриттеном¹ мне, к сожалению, пообщаться не удалось. Видел его мельком. При встрече с ним я обязательно буду с ним говорить о «Воскрешении из мертвых».

Крепко жму руку.

Ваш Д. Шостакович.

PS. Бриттен придет скоро опять, и тогда мы ему подарим экземпляр Вашей книги.

Д. Ш.

¹ Бриттен Бенджамин Эдвард (1913—1976) — английский композитор, пианист и дирижер.

Москва, 2-я Аэропортовская, 16.

23.I.1967. Москва.

Дорогая Мариэтта Сергеевна!

Спасибо Вам за браслет¹. Буду его носить и буду стараться верить в его чудодейственные свойства.

Спасибо за «Воскрешение из мертвых».

Шлю Вам мои самые лучшие пожелания.

Д. Шостакович.

¹ Японский магнитный браслет.

Крым. Ялта, Дом творчества писателей.

4.III.1967. Жуковка.

Дорогая Мариэтта Сергеевна!

Очень меня огорчило Ваше письмо с известием о тяжелом состоянии здоровья Вашего.

Лечитесь и скорее поправляйтесь.

Очень грустно, что К. Г. Паустовский тяжело болен. Надо надеяться, что он поправится.

Я согласен с Вами, что надо предпринять меры, чтобы его самоотверженный литературный труд получил бы высокую оценку <...>.

Я очень люблю творчество Паустовского.

Наверное, он очень хороший человек, потому что так в его произведениях много настоящей глубокой любви к народу, к своей родине <...>

Скорее поправляйтесь.

Ваш Д. Шостакович.

PS. Я чувствую себя хорошо, несмотря на разного рода трудности и неприятности.

Бог наградил меня могучим здоровьем. Ничего мне не делается.

Д. Ш.

Москва, 2-я Аэропортовская, 16,

18.IV.1967. Жуковка.

Дорогая Мариэтта Сергеевна!

С большим опозданием узнал о том, что Вы награждены орденом Ленина.

Горячо Вас поздравляю.

Желаю Вам доброго здоровья, счастья, больших творческих успехов.

Ваш Д. Шостакович.

Чехословакия, Карловы Вары, санаторий «Империял».

12.VI. 1967. Жуковка.

Дорогая Мариэтта Сергеевна!

Владимир Александрович Власов¹ передал мне от Вас привет, чему я очень обрадовался. Передал он мне и Ваше письмо. Я надеюсь, что Ваше нездоровье уже пришло к концу и скоро Вы вернетесь домой. Что же касается до меня, то у меня все обстоит благополучно. Живу я на даче, т. к. в городе у меня на квартире идет капитальный ремонт и жить там сейчас просто очень трудно.

За последнее время я сочинил семь романсов на слова А. Блока. Поет их сопрано, а сопровождают скрипка, виолончель и фортепиано <...> Партия рояля довольно легкая, и я могу ее играть сам.

А стихи такие:

1) Песня Офелии.

2) Гамаюн — птица вещая.

3) Мы были вместе, помню я...

4) О, как безумно за окном ревет, бушует буря злая.

5) Город спит.

6) Тайные знаки.

7) В ночи, когда уснет тревога.

(Вот я спутал: 4) — это «Город спит», а 5) — «О, как безумно».)

Кроме этого сочинил я скрипичный концерт, второй по счету. Когда Вы вернетесь, я буду Вас знакомить с этими opus'ами.

Много у меня разных планов на будущее, но мало сил и энергии. Писать я стал медленнее и труднее.

Я завидую Вам, что Вы сейчас в Карловых Варах. Говорят, что там очень хорошо. Я никогда там не был.

Поправляйтесь скорее и приезжайте.

Ваш Д. Шостакович.

¹ Власов Владимир Александрович — советский композитор.

Англия, Лондон, «Авока-Хорс отель».

10.VIII.1967. Беловежская Пуща.

Дорогая Мариэтта Сергеевна!

Я уже около недели нахожусь в Беловежской Пуще. Сегодня я получил Ваше письмо, которое мне переслали из дома.

Я очень рад был его получить. Радуюсь, что Вы хорошо себя чувствуете.

В Москву я вернусь дней через десять.

Шлю Вам мои самые лучшие пожелания.

Ваш Д. Шостакович.

PS. Краткий отзыв о Вашей книге при сем прилагаю.

Д. Ш.

«Книга Мариэтты Сергеевны Шагинян «Воскрешение из мертвых» является очень интересным музыковедческим трудом. В истории музыковедения это, пожалуй, первый случай появления на свет такого произведения.

Живо, увлекательно, с большим знанием истории музыки рассказывает писательница об одном из очень интересных эпизодов истории музыки.

С этой книгой нужно познакомить как можно больше читателей, для чего ее необходимо перевести на иностранные языки.

Д. Шостакович.

10 августа 1967 года¹.

¹ Вошел во все последующие издания в качестве предисловия.

Москва, ул. Академика Павлова. Больница.

26.X.1967. Жуковка.

Дорогая Мариэтта Сергеевна!

Очень я огорчился тем, что Вы еще продолжаете свое пребывание в больнице.

Скорее поправляйтесь.

Очень жалею, что Вы не будете на концерте 29 октября. Концерт будет передаваться по радио (3-я программа) от 19 ч. 30 мин. Поздравляю Вас с наступающими праздниками и уверен, что к праздникам Вы будете совершенно здоровы.

Д. Шостакович.

[Поздравительная открытка. Без даты.]

Дорогая Мариэтта Сергеевна!

Горячо поздравляю Вас 50-летием Октября. Скорее поправляйтесь.

Спасибо за письмо и за подарок.

Ваш Д. Шостакович.

Ленинград, гостиница «Астория».

6.VI.1968. Жуковка.

Дорогая Мариэтта Сергеевна!

Спасибо Вам за письмо, за Ваше доброе ко мне отношение. Я живу в Жуковке довольно благополучно. Я сочинил новый квартет (№ 12) и сейчас переживаю наиболее приятную с ним связь: почти каждый день квартет имени Бетховена его разучивает и этим доставляет мне большую радость.

Мой Блок в этом сезоне вряд ли будет еще раз исполняться. Ведь для него требуются сопрано, скрипка, виолончель и рояль. Собрать их всех вместе трудно.

Недавно в Ленинграде их пела замечательная певица Надежда Юрьевна Юренева. Вместе с ней приняли участие скрипач Гутников, виолончелист Никитин и пианистка Карандашова. Все они ленинградцы. Вдруг их можно сейчас будет всех вместе собрать, и тогда пусть они познакомят Вас с этим орк'ом.

Позвоните Надежде Юрьевне и скажите ей, что я очень прошу ее познакомиться Вас с моим Блоком <...> Если остальные исполнители в Ленинграде, то это было бы легко организовать.

Юренева и ее [неразборчиво] исполняют Блока великолепно.

Право же, попросите ее об этом.

Если это удастся организовать и Вы слушаете их, то я был бы этому очень рад. И очень мне хотелось бы знать, какое это на Вас произведет впечатление.

До 14 июня я буду в Москве или в Жуковке. Потом уеду на Рижское взморье. Точный адрес я Вам сообщу.

Шлю Вам мои самые лучшие пожелания.

Д. Шостакович.

Москва, 2-я Аэропортовская, 16.

18.VI.1968. Юрмала.

Дорогая Маризетта Сергеевна!

Моя попытка познакомиться Вас с моим Блоком не удалась. Может быть, это удастся в будущем.

Сейчас я живу под Ригой. <...>

Здесь мы пробудем до 8 июля.

Шлю Вам мои самые лучшие пожелания.

Д. Шостакович.

Кисловодск, санаторий «Красные камни».

18.IX.1968. Жуковка.

Дорогая Маризетта Сергеевна!

Спасибо Вам за письмо со столь добрыми словами, которые Вы мне адресуете.

Мой 12-й квартет пока производит на меня очень сильное впечатление.

Для меня большая радость, что Вы так хорошо отнеслись к нему.

Мне кажется, что если автору не нравятся свои сочинения, то они никому не смогут понравиться. Ни на кого не произведут никакого впечатления.

Спасибо Вам за Вашу книгу и за шоколад.

Я сейчас пишу скрипичную сонату. Когда я работаю, вернее, сочиняю, тогда мне живется лучше. Если я не сочиняю, то чувствую себя плохо. Чувствую себя таким тунейдцем, зря жрущим хлеб.

На солнце валить всякого рода невзгоды нельзя. И в периоды активного солнца и «пассивного» много делается и прекрасного и подлого.

Шлю Вам мои самые лучшие пожелания.

Ваш Д. Шостакович.

Вашего ежика¹ я буду носить всегда с собой.

Д. Ш.

¹ Талисман из янтаря.

Москва, 2-я Аэропортовская, 16.

22.XI.1968. Москва.

Дорогая Маризетта Сергеевна!

Для меня были большой радостью Ваши добрые слова по адресу моей блоковской сюиты¹.

Сердечное Вам спасибо и за добрые слова по адресу великолепной певицы Н. Юреновой.

Мне жалко, что у Вас не нашлось доброго слова по адресу великолепных музыкантов — пианистки М. Карандашовой, скрипача Б. Гутникова и виолончелиста А. Никитина. Они превосходно испол-

няют «Сюиту», и им, наверное, будет обидно отсутствие их имен в Вашей статье.

Я уезжаю из Москвы дней на десять. Буду в Доме композиторов «Иваново». Это около города Иваново.

Может быть, там смогу немного поработать.

Шлю Вам мои самые лучшие пожелания.

Ваш Д. Шостакович.

¹ Имеется в виду статья Мариэтты Шагинян «Слово и музыка (На концерте Н. Юрневой)» («Известия», 21 ноября 1968 года).

*Московская область,
Дом творчества писателей «Перedelкино».*

3.XII.1968. Москва.

Дорогая Мариэтта Сергеевна!

Сегодня я вернулся в Москву и нашел Ваше письмо. Спасибо за письмо.

Не сердитесь на меня за мое плохое эпистолярное искусство.

«Король Лир», конечно, очень меня волнует. Сейчас режиссер Г. М. Козинцев собирается ставить «Короля Лира» в кино. Я буду писать музыку. Вероятно, это будет первый эскиз для моего сочинения о Лире.

Мне жаль, что Вам не понравилась «Русская тетрадь» Гаврилина¹. Мне кажется, что это исключительно талантливое и интересное произведение.

Ваши упреки по моему адресу насчет моего отношения к композиторской молодежи я отвергаю. Среди молодых есть и очень талантливые и очень посредственные. К талантливым я отношусь хорошо, к посредственным — «посредственно». Мне кажется, что нельзя вообще хорошо или вообще плохо [относиться] к молодым композиторам.

Будьте здоровы и благополучны.

Ваш Д. Шостакович.

Мои письма отличаются своей краткостью и бессодержательностью и по причине большой правой руки.левой я писать еще не научился, печатать на машинке не умею. Диктовать тоже не умею. Вот и пишу инвалидной правой рукой. Это, конечно, накладывает свой отпечаток на содержание и форму моих писем, а также на характер слога и почерка.

Д. Ш.

¹ Гаврилин Валерий Александрович — советский композитор.

Москва, Красноармейская. 23.

25.X.1969. Жуковка.

Дорогая Мариэтта Сергеевна!

Спасибо Вам за «Билет по истории», спасибо за письмо.

Меня огорчает то, что Вы себя не всегда хорошо чувствуете. Я думаю, что Вы себя не бережете. Вы слишком много работаете, слишком много переезжаете с места на место. Все это очень утомляет. Берегите себя.

Вы просите меня написать Вам о моих последних сочинениях. Это мне ужасно трудно. Я не умею говорить и писать о себе.

Мне жалко, что Вам не понравилась моя соната для скрипки и рояля.

26 ноября в Большом зале консерватории будет исполняться моя 14-я симфония. Если у Вас будет желание и возможность — приходите, послушайте. И сами, без моей помощи, оцените этотopus.

Ваша оценка моей 5-й симфонии явно преувеличена.

Будьте всегда здоровы. Берегите себя.

Ваш Д. Шостакович.

16.XI.1969. Москва.

Москва, Красноармейская, 23.

Дорогая Мариэтта Сергеевна!

Я сейчас нахожусь в больнице на улице Грановского. Пробуду, наверное, до середины декабря.

Моя 14-я симфония будет исполняться 21 и 23 декабря в Большом зале консерватории.

Спасибо за подарок.

Ваш Д. Шостакович.

27.XI.1969. Москва.

Ленинград, гостиница «Астория».

Дорогая Мариэтта Сергеевна!

Спасибо Вам за Ваше письмо. Оно меня порадовало. Сейчас я нахожусь в больнице. Пробуду здесь до конца декабря.

Если у Вас будет возможность приехать в Москву на 14-ю симфонию, я буду ужасно этому рад. Симфония будет исполняться в Большом зале консерватории 21 и 23 декабря. Если почему-либо эти сроки изменятся, то я Вас об этом извещу заранее. Но тогда подтвердите мне Ваше пребывание в «Астории». Может быть, к тому времени Вы перемените адрес. Пишите мне домой (Москва К-9, ул. Неждановой, 8/10, корпус 2, кв. 23).

Ирина Антоновна навещает меня каждый день и приносит письма.

Крепко жму руку.

Ваш Д. Шостакович.

PS. У меня, оказывается, детская болезнь. Называется эта болезнь полиомиелит. В моем возрасте она бывает очень редко. А в детстве этой болезнью я не страдал. Поэтому вспоминаю Достоевского: «Смирись, гордый человек!»

Д. Ш.

Ленинград, гостиница «Астория».

5.XII.1969. Москва.

Дорогая Мариэтта Сергеевна!

Для меня будет большой радостью, если Вы приедете на исполнение моей 14-й симфонии. Исполняться она будет 23 декабря в Большом зале консерватории. Кроме того, 18 декабря она будет исполняться в университете. 21 декабря она исполняться не будет. Может быть, Вам приехать не нужно? Вы пишете мне, что запись для Вас более доходчива, чем натуральное звучание.

Лучше всего симфония прозвучала в Ленинграде, в зале Капеллы. Это великолепный Средний зал. Он больше Малого и меньше Большого. И звучит там удивительно прекрасно.

Я очень рад, что Вам хорошо живется в «Астории». Завидую Вам, что Вы так близко от памятника Петру, от Исаакиевского собора, от набережной. Как это все прекрасно.

Будьте здоровы и благополучны.

Ваш Д. Шостакович.

За письмо, за Ваши добрые слова спасибо Вам сердечное.

Д. Ш.

Ленинград, гостиница «Астория»;

[31.XII.1969 — по почтовому штемпелю.]

Дорогая Маризэтта Сергеевна!
 Горячо поздравляю Вас с Новым, 1970 годом.
 Желаю Вам доброго здоровья, счастья, больших творческих радостей.

Ваш Д. Шостакович.

Ленинград, гостиница «Астория».

17.II.1970. Москва.

Дорогая Маризэтта Сергеевна!
 Спасибо Вам за письмо, за статью о моей 14-й симфонии, которую не хотят печатать. Для меня дороже то, что Вы ее написали, а публикация ее, видимо, пока не выходит¹.

Мне очень грустно, что Вам сейчас трудно живется. Очень надеюсь, что это временно, что скоро у Вас все наладится.

Я чувствую себя довольно прилично, однако руки и ноги очень плохо работают. Когда вернетесь в Москву, то позвоните мне, пожалуйста.

Крепко жму руку.

Ваш Д. Шостакович.

¹ Статья М. С. Шагинян «Из глубины глубин» была опубликована в «Литературной газете» 25 марта 1970 года.

Москва, Красноармейская, 23.

28.III.1970. Курган.

Дорогая Маризэтта Сергеевна!
 Вчера мне привезли Ваше письмо из Москвы. Поэтому я так долго Вам не отвечал. По моим расчетам Вы должны уже быть в Москве, куда я и адресую это письмо.

Сам я нахожусь сейчас в Кургане.

Меня лечит доктор Гавриил Абрамович Илизаров. То, что я видел в его больнице,— это чудо. Конечно, Г. А. Илизаров — великий врач. Уже сейчас я чувствую себя несколько лучше. Стали сильнее ноги и руки. Я даже стал играть на рояле. Причем играю не только медленно и тихо, но даже быстро и громко. Например, 4-й, 5-й и некоторые другие этюды Шопена.

Правда, руки устают. Тут, наверное, сказывается многолетнее отсутствие тренировки: ведь уже 3—4 года я не играл быстро и громко.

Ирина здесь, со мной. Она мне много помогает. Я ужасно устаю за день. Много физкультуры, массажа, прогулка в лесу. Кроме того, раз в три дня мне делают укол. Потом я принимаю порошки.

И, как мне кажется, я делаюсь сильнее.

С большим трудом, с очень большим трудом, но все же влезю в больничный автобус. Это тоже мой экзерсис.

Спасибо Вам за то, что Вы меня не забываете. Я пробуду в Кургане до 15 апреля. Это минимум. Возможно, что пробуду и дольше. Мой адрес: Курган 5. 2-я городская больница. Мне.

Крепко жму руку.

Ваш Д. Шостакович.

Ирина шлет Вам привет.

Д. Ш.

Москва, Графовского. Больница.

22.IX.1970. Курган.

Дорогая Мариэтта Сергеевна!

Спасибо Вам за телеграмму. Меня очень огорчило то, что Вы сейчас в больнице.

Берегите себя и скорее поправляйтесь.

В середине октября я вернусь в Москву после второго, заключительного пребывания в Кургане.

Чувствую я себя хорошо. Вероятно, скоро ко мне полностью вернутся силы и работоспособность. И все-таки в последнее время я работал довольно много.

Совсем недавно закончил 13-й квартет.

Много у меня замыслов. Сил же пока не очень много.

Очень хочу по возвращении в Москву застать Вас в добром здравии и обязательно повидать Вас.

Ирина шлет Вам привет. Она здесь, со мной.

Скорее выздоравливайте.

Ваш Д. Шостакович.

Москва, Красноармейская, 23.

[4.I.1971 — по почтовому штемпелю.]

Дорогая Мариэтта Сергеевна!

Горячо поздравляю Вас с Новым годом.

Пусть 1971-й принесет Вам много радости, много успехов.

Ваши И. и Д. Шостаковичи.

*Московская область, Рузский район,
санаторий им. Герцена.*

27.IV.1971. Жуковка.

Дорогая Мариэтта Сергеевна!

Узнал я от В. А. Власова Ваш адрес.

Горячо поздравляю Вас с 1 Мая.

Желаю Вам доброго здоровья, дальнейшей активной творческой работы.

Очень надеюсь, что Вы скоро поправитесь и я смогу с Вами повидаться. Много воды утекло с тех пор, как я видел Вас.

У меня все обстоит довольно благополучно. После продолжения очередного курса лечения я вернулся из больницы домой полный заразительного оптимизма.

Скорее поправляйтесь.

Ирина шлет Вам свои поздравления и самые лучшие пожелания.

Ваш Д. Шостакович.

Ленинград, гостиница «Астория».

19.VI.1971. Курган.

Дорогая Мариэтта Сергеевна!

Спасибо Вам за письмо.

Пишу Вам на «Асторию». Из Вашего письма я понял, что Вы пробудете там до 12 июля. Но если Вы уже уехали, то буду надеяться, что письмо Вам перешлют или вернут мне в Москву, тогда я снова перешлю его Вам.

Мне ужасно обидно, что до сих пор я не слышал моей 14-й симфонии в исполнении [ленинградского] оркестра. Конечно, я совершенно с Вами согласен, что этот оркестр надо пригласить в Москву. Может быть, мне удастся убедить филармонию сделать это, хотя по своей многолетней практике убедился в том, что мой «авторитет» в таких делах котируется очень скромно.

Я уже третий раз приезжаю в Курган. Великий врач Г. А. Илизаров очень помогает мне. Я уже довольно прилично хожу. Хожу даже по лестницам. Пока неважно работает правая рука. Возможно, что с 1 июля мы переедем в Репино. Во всяком случае, 27 июня мы улетаем в Москву.

Я надеюсь, что Вы хорошо себя чувствуете, что Ваши недуги зажили.

Ирина шлет Вам привет. Шлю Вам самые лучшие пожелания.

Ваш Д. Шостакович.

Москва, Красноармейская, 23.

26.VIII.1971. Жуковка.

Дорогая Маризэтта Сергеевна!

Пишу Вам на московскую квартиру.

Боюсь, что мое письмо опять начнет погоню за Вами.

Очень мне захотелось побывать в Дубулты, в Доме писателей. Очень соблазнительно Вы о нем пишете. Может быть, удастся туда поехать дней на десять.

О своей 15-й симфонии мне трудно что-либо написать. Она состоит из четырех частей. Солистов и хора в ней нет. «Чистая» музыка. Работал я над ней много. До слез. Слезы текли из глаз не потому, что симфония печальная, а потому, что сильно уставали глаза. Я даже показался окулисту, который порекомендовал мне сделать в работе небольшой перерыв. Этот перерыв достался мне очень трудно. Когда работается, то отрываться от работы мучительно.

Скрябин в последней части своей 1-й симфонии написал нечто вроде «Славы искусству». Там речь идет о создании некоего произведения и об окончании его. Когда же это произведение заканчивается, то его автор восклицает:

Чем же отравлен сей сладостный миг?

Именно тем, что он цели достиг.

Вот и я сейчас в таком же состоянии, как и автор, которого воспел Скрябин. После окончания симфонии, над которой я работал денно и ночью, сейчас везде какая-то пустота.

Я, конечно, буду звать Вас на исполнение симфонии. Думаю, что оно состоится в конце года.

Шлю Вам самые лучшие пожелания.

Ирина шлет Вам сердечный привет.

Ваш Д. Шостакович.

Москва, Красноармейская, 23.

19.I.1972. Руза.

Дорогая Маризэтта Сергеевна!

Если у меня будут силы, я обязательно пойду на концерт <...>.

Последнее время мне стало гораздо труднее ходить и двигаться. В Рузе я чувствую себя довольно прилично и надеюсь 28-го побывать в Москве.

Поправляйтесь скорее. Меня огорчило Ваше последнее письмо. Скорее обрадуйте меня хорошими вестями.

Крепко жму руку.

Ваш Д. Шостакович.

Мой адрес до 4-го февраля: 143150. Московская область. Станция Руза. Дом композиторов. А потом буду в Москве.

Д. Ш.

Москва, Грановского. Больница.

5.XI.1972. Барвиха.

Дорогая Мариэтта Сергеевна!

Очень меня обрадовало Ваше письмо. Я очень радуюсь тому, что Вы себя лучше чувствуете. Не торопитесь уходить из больницы. Лечитесь и поправляйтесь. Горячо поздравляю Вас с 55-летием Октября. Желаю быть Вам всегда здоровой и счастливой.

Ваш Д. Шостакович.

Вашу статью об Эккермане и Гёте¹ я читал — это очень интересная статья, с глубокими мыслями.

Мы сегодня покидаем Барвиху и 11 ноября уезжаем в Лондон, где пробудем до 30 ноября. Путешествия даются мне с трудом, но я стараюсь не сдаваться.

Д. Ш.

Ирина шлет Вам сердечный привет и самые лучшие пожелания.

Д. Ш.

¹ Мариэтта Шагинян, «„Разговоры с Гёте" И. П. Эккермана» («Новый мир», 1972, № 9).

Москва, Красноармейская, 23.

28.XI.1973. Жуковка.

Дорогая Мариэтта Сергеевна!

Спасибо Вам за письмо и за добрые слова.

Я после длительного пребывания в больнице вернулся домой. Отпустили меня до 6 декабря. А потом опять лечиться до Нового года.

Однако я надеюсь выйти раньше.

Если у Вас будет возможность, приходите 23 декабря на мой концерт в Малом зале консерватории. В программе концерта будут 1-й квартет, шесть стихотворений Марины Цветаевой и 14-й квартет.

Для меня была бы большая радость, если бы Вы послушали этот концерт.

Желаю Вам здоровья и счастья.

Ваш Д. Шостакович.

Москва, Красноармейская, 23.

13.XII.1973. Москва.

Дорогая Мариэтта Сергеевна!

Концерт, на котором я очень прошу Вас побывать, состоится не 23, а 27 декабря в Малом зале консерватории.

Я опять нахожусь в больнице. Возможно, что к концерту меня выпустят.

В концерте будут принимать участие великолепные певица и пианистка — Ирина Богачева и София Вакман.

Шлю Вам мои самые лучшие пожелания.

Ваш Д. Шостакович.

Москва, Красноармейская, 23.

10.I.1974. Репино.

Дорогая Мариэтта Сергеевна!
Спасибо Вам за Ваше письмо.

Простите меня за то, что я так долго не отвечал Вам. У меня опять плохо работает правая рука. До такой степени плохо, что я начал тренировать левую руку, но пока успехи мои в этом деле ничтожны.

Ваша статья в «Известиях»¹ произвела на меня очень сильное впечатление.

Я очень рад тому, что шесть стихотворений Марины Цветаевой являются цельным сочинением. Однако не я первый сочинял такие циклы на разные «не связанные» с собой стихи. Есть вокальные циклы у Шумана («Любовь женщины», «Любовь поэта»), Шуберта («Прекрасная мельничиха»). Наконец, «Песня о Земле» Малера на стихи древних китайских поэтов.

Сейчас мы живем в Репине. Это 30 километров от Ленинграда. Проживем мы здесь до 27 января. Потом вернемся в Москву. Адрес такой: 188648 Ленинградская область. Репино. Дом композиторов.

Дорогая Мариэтта Сергеевна! Шлю Вам самые лучшие пожелания.

Ваш Д. Шостакович.

¹ Мариэтта Шагинян, «Утоление и благодарность (С авторского концерта Дмитрия Шостаковича)» («Известия», 29 декабря 1973 года).

Москва, Красноармейская, 23.

5. III. 1974. Москва.

Дорогая Мариэтта Сергеевна!

Простите меня за то, что я так долго не благодарил Вас за Ваш столь драгоценный для нас подарок.

Я много болею. У меня плохо работает правая рука. Пытаюсь тренировать левую, но ничего не получается.

Шлю Вам мои самые лучшие пожелания.

Ваш Д. Шостакович.

Москва, Красноармейская, 23.

12.IV.1974. Жуковка.

Дорогая Мариэтта Сергеевна!

Спасибо Вам за Ваши книги, которые Вы прислали в Репино.

Из Репина я послал Вам письмо, в котором горячо благодарю Вас за эти книги. Очевидно, письмо затерялось.

Шлю Вам самые лучшие пожелания.

Д. Шостакович.

PS. Простите, что так мало пишу: у меня очень плохо работает правая рука.

Д. Ш.

НА ЗАРУБЕЖНЫХ ТЕМЫ

ЮРИЙ ЯРЦЕВ



РЕАЛЬНОСТЬ ЗЛА

Когда Джордж Кистяковский раскладывает свою жизнь по полочкам, получается, что первые двадцать лет он рос и мужал; следующие двадцать лет целиком посвятил химии; дальнейшие двадцать лет поделил между химией и созданием оружия, добиваясь успехов в химии и еще больших успехов в создании оружия; а последние двадцать лет в основном добивается запрещения ядерного оружия (не забывая, насколько позволяют силы, химию). Все так, а расшифровать не помешает.

Об Эйнштейне что говорить. Но дал же резкую отповедь военным создатель кибернетики Норберт Винер, бескомпромиссно воевал с ними Лео Сциллард, благородно переоценил собственные силы «дядя Джим» Конэнт, ректор Гарвардского университета, сказавший: «Водородная бомба? Через мой труп». А Джордж Кистяковский, профессор прославленного химического факультета в том же университете, переступил и через свое участие в создании первой атомной бомбы, и через хорошо известный ему ужас Хиросимы. Где-то примерно после черчиллевской речи в Фултоне.

Сейчас, на девятом десятке, ему не стыдно сказать о себе правду: «Я заблуждался». На его стороне жизненный опыт, вклад в науку, а самое главное — преодоление того пропагандистского тумана, который массе американцев преодолеть еще труднее, чем ему. К себе тогдашнему он безжалостно суров. Дословно: «После второй мировой войны я был достаточно глуп, чтобы наивно поверить вашингтонской пропаганде, утверждавшей, будто Советский Союз собирался завоевать мир». Уже чувствуется личность. А когда, давая характеристику Картеру, он попутно говорит: «Я недавно прочел интереснейшую книгу о Петре Великом!» — то, пожалуй, и характер, а не только кругозор. Порой колючий, но всегда независимый, живой, открытый. Без восклицательных знаков ему трудно. Придирчиво требовательный к себе, он спуска не дает никому, кто бы это ни был. Президенты, члены ли кабинета, а от ястребов разного полета, начиная с самого высокого, иногда летят клочья и перья. Откровенно высмеиваются им абсолютистские замашки современных президентов. Ну кому придет в голову сказать про того же Картера, отвергнутого миллионами избирателей: он был Америкой. Верно — никому. А фразу про Петра Великого сам Кистяковский произносит подчеркнуто, с чувством: «Вот вам яркий пример — он был Россией!»

Про себя я его называю Георгием Богдановичем. Когда б был помоложе, такую вольность он мне не спустил бы, непременно бы взорвался: «Are you kidding? George's the name!» («Шутите? Джордж я, Джордж!»).

Оно так, хотя не забыл он и родную речь. Все равно трудно себе представить, чтобы первые шаги по земле, которая должна была стать ему родной, он сделал в Киеве и сюда же спустя много-много лет приезжал старым человеком, глядел с Владимирской горки на Днепр, очевидно, ездил, как положено туристу, в лавру, но разыскивал улицы и дома, не заслуживающие, с точки зрения «Интуриста», никакого внимания, а ему дорогие по воспоминаниям детства и юности, и при всем при том оставался Джорджем Кистяковским. (Тянет иногда людей увидеть хоть небо, под которым они родились.)

Он американец. А ведь действительно выходец из России, подарившей миру немало талантливых людей. Родился на стыке двух веков. Теперь дело прошлое, но если отец, либерал предреволюционного покроя, о правах человека в царстве «столыпинских галстуков» и ленского расстрела только рассуждал, в то время как другие

сражались за них на баррикадах, гнили в тюрьмах, гибли в Сибири, то что понимал, насколько разбирался во всем происходившем сын?

Лихоlette гражданской войны навсегда прибило его к чужому берегу. После Малой Азии были Балканы, потом Западная Европа. Доказал, что песчинка одинокий человек и есть. А когда два десятилетия спустя «глава украинской державы» Скоропадский и другие уцелевшие представители белой гвардии, искавшие кому продаться, пошли в услужение к гитлеровцам, молодой ученый Кистяковский жил уже за океаном (в 1933 году став американским гражданином, а еще раньше насмотревшись на первые кровавые выходы коричневого в Берлине).

Война расплзалась по свету. Ученым в Америке тайные планы гитлеровцев внушали тревогу. Президент Рузвельт ученых поддержал. Эйнштейн благословил. О себе Кистяковский с полным основанием мог сказать: химия — моя любовь. Тайны менделеевской таблицы приглашали к никому и ничем, казалось, не угрожающим поединкам. Наяву грезились формулы в миллион раз сложнее усвоенных еще в киевской гимназии H_2O и $NaCl$. Но он стал ярким противником нацистов, оттого и согласился, как писал позже, работать над тогда еще никому не ведомой атомной бомбой.

Сейчас-то он *emeritus*, в переводе с латыни — почетный профессор в отставке. Кажется, можно почивать на лаврах. Возраст преклонный. Сиди себе в своем Кембридже, пользуйся заслуженным отдыхом. Рядом шумит Большой Бостон, а тут тишина, зелень. Все равно он не может. На счету у него поддожины докторских степеней, присужденных в Америке и Европе. Наград больше дюжины на одну — ровно тринадцать. От президентской медали Свободы до медали Франклина. Возможно, премия за открытия в области физической химии особенно дорога ему. Как подтверждение — человек дела, авторитет не дутый. И вот прежде всего в качестве «узкого» специалиста по вооружениям, осознавшего настоятельную необходимость их ограничения и сокращения, а не только члена Национальной академии наук США и Британского королевского общества, а также американских обществ физического, химического и философского, он уверенно говорит, что начало гонке вооружений, развернувшейся с е й ч а с, положило создание Соединенными Штатами первой атомной бомбы т о г д а. Не было бы ее — не было бы с тех пор накоплено во всем мире более 50 тысяч единиц ядерного оружия. Увы, раньше нависшая угроза не представлялась ему так отчетливо, как сейчас. Ученые тоже человеки.

Там, где делалась первая атомная бомба, в Лос-Аламосе, ему доверили один из семи отделов — взрывчатых веществ. Среди других заводов были Ферми и Бете. Такая табель о рангах ко всем предъявляла высочайшие требования. Поскольку все были засекречены, вклад Кистяковского лучше всего можно охарактеризовать ломоносовскими словами о пользе, которую физика от химии почерпает. Этого достаточно. Не в деталях дело. Ученые все себя оправдали, «дело дьявола», по выражению Оппенгеймера, сделали. Энергию, по словам Эйнштейна, спрятанную природой за семью замками, сначала распечатали, а затем снова упаковали в довольно компактные бомбочки (сравнительно с заключенной в них грозной силой). То, что нужна в них отпала, еще не было трагедией. Пока работали, над будущим особенно не раздумывали, а когда спохватились, было поздно. Ученым дали понять: свое дело выделали, остальное вас не касается. У военной элиты презрение к «яйцеголовым» в крови. Но сильнее презрения были подозрения. Многих уже мучили сомнения: если Гитлера нет, к чему тогда наша бомба? Если бьет двенадцатый час Японии, не аморально ли прибегать к массовому истреблению людей? Вот когда для них началась трагедия.

Наутро после испытательного взрыва за завтраком в Лос-Аламосе царил гробовое молчание. Говорить не хотелось. Ели, уткнувшись в тарелки. Перед глазами у каждого стоял гриб на ножке, упирившийся в стратосферу. Не выдержал Кистяковский: «Когда наступит конец света, последний человек увидит нечто подобное тому, что увидели мы». Похоже на прозрение? На отрезвление, возможно, да.

А ведь еще несколько часов назад, едва огненный шар обжег землю, он, Кистяковский, бросился на шею своему руководителю Оппенгеймеру: «Мы победили!» Да, они победили. Но взору тех, кто первым на танках, выложенных изнутри свинцом, добрался до эпицентра взрыва, открылась мертвая поверхность, покрытая стекловидной зеленоватой коркой; все живое на ней перестало существовать, было убито, сгорело, испарилось, превратилось в дым, пыль, прах.

Познание мира всегда сопровождается эмоциональным подъемом. Это как за-

кон. В то же время давно было замечено известным русским литератором: наука порождает гордость. У разных людей разное и расстояние от гордости до избранности, гордыни. Конечно, не кого-нибудь, а самих гитлеровцев опередили они. Одно это сулило больше чем просто акме (как называли древние греки взлет творческих сил). Но, охваченный порывом, в котором соединились возраст (ему не исполнилось и сорока пяти) и вера в своих коллег, в собственные силы, в науку, в ее могущество, Кистяковский многое вокруг себя проглядел, не больше и понял.

Мало убедиться в том, что данная константа, кривая или функция являлись единственно верными. Нужно было предвидеть, что неизбежно начнется гонка ядерных вооружений, что коренным образом изменится характер войны, что по-новому встанет и вопрос об ответственности ученых. Кому-то удалось — он не смог. Слепил его не взрыв. Где-то в глубине, на клеточном уровне, вероятно, еще жил в нем киевский гимназист, не расставшийся со всеми своими предрассудками. А ничем не прикрытый антисоветизм уже надвигался, как облако радиоактивной пыли. Говорили, что Рузвельт думал о последствиях использования нового оружия; его не стало. А Трумэну нужна была дубина, чтобы ударить по Советской стране (и существительное и глагол принадлежали новому президенту). Как второму пришествию Христа, радовался появлению атомной бомбы Черчилль. Совсем рядом витал злой дух Теллера. И если Оппенгеймер после Хиросимы пришел к тому, что ядерные бомбы — оружие агрессии, и содрогался при мысли, что наступит день, когда они будут падать с неба сотнями и тысячами, то Кистяковский... Нет, он не стал атомщиком теллеровского типа, но вот еще факт.

В Лос-Аламосе ждали капитуляции японцев. Ловили радио. Ликовали. Конец таковой войне. На радостях чокались. Импровизированное застолье было прервано фейерверком. Обыкновенная пиротехника заставила онеметь выбежавших из домов людей. Мириады искр никому не причинили вреда. Никого не обжег и отраженный горами свет. А барабанные перепонки пришли в норму сами собой. Неожиданная забава растрогала всех. Сюрприз коллегам тайком подготовил профессор К. Служба безопасности не возражала, и он немало повозился начиная с того дня, когда Хиросима сгорела в пламени атомной бомбежки.

Профессор К.? Специалист по взрывчатке? Не Кистяковский ли? Увы, для истории в отчетах сохранилась одна эта стыдливая буква. До прозрения было далеко.

В один день люди не меняются. А чтобы вчера человек решительно был за, а сегодня не менее решительно против гонки вооружений — так вообще не бывает. Ни по щучьему веленью, ни по нашему хотенью. Отношение к ней в известной мере вопрос мировоззрения. У него накапливались наблюдения. Появлялись новые факты. Он их анализировал. Мысль бежала дальше. И на смену прежнему — ложному — пришел иной взгляд на вещи, по сравнению с прежним уже истинный. Под воздействием среды сам человек в чем-то стал другим — изменилось его отношение к действительности. Не так, что вот был он, Кистяковский, как сам говорит, глуп, а потом, скажем, поумнел. Это он над собой подшучивал. Но стыд не стыд, а сильная досада на самого себя — все-таки был одурачен пропагандой, и на довольно продолжительное время, — изнутри точила, злила, заставляла думать, такой уж деятельный изнутри характер. Перемена, по его словам, произошла постепенно. А что — ведь и путь от Фултона в сегодняшний день неблизкий.

Толчок, естественно, дали вопросы, далекие от химии. Нельзя было забыть, какая сторона первой стала зарываться в окопы «холодной войны». Не прошла бесследно и Хиросима. Но начал он издавека. С незапамятных времен, из века в век повторялись нападения чужеземных завоевателей на Россию. Кем-то однажды был произведен подсчет: только за два с половиной века начиная с XIII их набралось в пределах 200. Точная цифра — 160. А в том году, когда он распрощался с Киевом, кайзеровская Германия продвинула свои войска до Донбасса. На памяти был и сорок первый год. В то же время одно за другим опровергались все измышления о советской внешней политике после войны. И в конце концов ему представилось бесспорным, что Советский Союз может и должен быть озабочен своей безопасностью. Но ему понадобилось время, прежде чем он все это понял.

Как ни странно, помог ему Эйзенхауэр. Республиканские президенты тоже ведь не одинаковы. Как и ученые. В конце 50-х годов советник Белого дома по науке и технике д-р Кистяковский присутствовал на всех заседаниях совета национальной бе-

зопасности — по указанию президента, с которым даже подружился. Вспоминает, что хорошо узнал лично многих деятелей, входивших в кабинет или близких к нему, убедился в их слабом знакомстве с фактами, оценил интеллектуальный уровень. «Я человек достаточно нескромный, чтобы прямо сказать,— признается он,— некоторые были ниже меня». Право на это у него есть. Имен он не называет. Кое-кого легко можно узнать и без подсказки. Исключение он делает для Эйзенхауэра. Тот говорил не очень гладко, но голова у него была ясная. Хуже, когда наоборот — речь, подходящая для сцены или съемочной площадки. Когда, как Рейган, президент говорит голосом, поставленным профессионально, но путано и неровно мыслит, а многого даже не знает или вообще не понимает. Надо полагать, перестала быть секретом для д-ра Кистяковского и общая одержимость крайностями «холодной войны», господствовавшая в американской столице в те годы. Вывод: «Я начал понимать, что политика формируется довольно сомнительными способами». Говорится ведь: лучше хоть один раз увидеть...

Очень вежливый эвфемизм большой лжи эти «сомнительные способы». С табачным дымом всякий раз всплывал над головами участников заседаний миф о советской угрозе. А в Пентагоне тотчас как по сигналу делали прикидку на «наихудший вариант» — прогноз того, что русские могли бы сделать лишь теоретически. Вышло плохо хуже некуда — Америка не имеет даже зонтика на случай дождя, а уж защиты от русских тем более. Требуются ассигнования.

Что Советский Союз хочет прибрать Америку к рукам — это тезис с бородой. Сразу после войны стращали русскими, захватывающими Нью-Йорк, Чикаго и Лос-Анджелес, а в Нью-Йорке — так разгуливающими в папах по Таймс-сквер. Эта площадь была местом ликования людей, когда кончилась война в Европе. Легковерные все-таки встречались. Но в настоящий плен ястребы взяли Америку тогда, когда стали запугивать людей перечислением американских городов, разрушенных советскими бомбами. Это может случиться, уверяли они, если Америка не упредит Советский Союз и первая не пригрозит разрушением советских городов американскими бомбами.

На рубеже 50-х годов Трумэну не терпелось получить водородную бомбу, раздуть военный бюджет, развязать войну в Корее. И той, и другой, и третьей задаче отвечал сверхсекретный меморандум совета национальной безопасности № 68. Поручение президента разбудило фантазию Поля Нитце. Документ получился еще тот. Не Босх в прозе, но по содержанию и тону картины, нарисованные тогдашним высокопоставленным чиновником государственного департамента, носили характер апокалипсический, хотя назывались не американской угрозой Советскому Союзу, а советской угрозой Америке. Даже у немногих избранных кровь, может, от них не леденела, но дух захватывало.

Это только говорится — чиновник. А был он главой управления по планированию политики. Хотя и должность ни о каком человеке главного тоже не скажет. Но уж водил-то его пером не Трумэн — человек независимый, Нитце писал так, как думал, и то, что считал нужным. Год назад в связи с его назначением американским представителем на переговорах о ядерных средствах средней дальности в Европе корреспондент агентства ЮПИ напомнил: да ведь он крупный банкир. Честно говоря, это как-то подзабылось. А у общестственности такие фигуры и на таком месте тем более должны вызывать пристальный интерес.

Чем всякий человек дышит, не сразу узнаешь. Легче бывает рассказать, кто он и что он. Многие сразу проясняется. У каждого ведь биография своя. Хотя не песня, а слова из нее тоже не выкинешь. Верно, что между двумя мировыми войнами, как уточнял корреспондент, Поль Нитце принадлежал к верхушке ведущей в те годы на Уолл-стрит банковско-инвестиционной фирмы «Диллон, Рид энд компани». С небезызвестным Форрестолом они были партнерами и, кажется, друзьями. Первый сидел в кресле президента, второй — вице-президента. Не секрет и чем занимались. Без помощи американских банков Гитлер не подготовился бы к агрессии в Европе, к нападению на Советский Союз.

При Трумэне оба пришлось ко двору. Нитце быстро стал одной из заметнейших фигур. Сначала занимался анализом эффективности воздушной войны. Побывал в Хиросиме и Нагасаки, а до того в Германии. Произвел подсчет: один самолет с атомной бомбой заменил 220 бомбардировщиков «В-29» с полной бомбовой нагрузкой. Похоже, судьба жителей двух японских городов произвела на него совсем иное впечатление, чем на остальное человечество. Конец Форрестола известен. А Нитце получил из рук Трумэна медаль «За заслуги». У «горячего Гарри» выбор был широкий. Мог он иметь

в виду и «план Маршалла», и восстановление рурских концернов, и создание НАТО, и развязывание «холодной войны». Неизменно одержимый антикоммунизмом, сам награжденный, и к тому, и к другому, и к третьему, и к четвертому, руку приложил поосновательнее многих и многих.

Д-р Кистяковский прекрасно знает Нитце. Сам он далек от тех, кто кричит об угрозе международного коммунизма и необходимости ввиду этого сверхсильной обороны. В сущности, ничего общего с ними не имел и не имеет. Ястребов называет ястребами, если помягче — то паникерами, а иногда и реалистами, чтобы высмеять лживость и надуманность приводимых ими «доказательств» советской угрозы. К паникерам Нитце не отнесешь — не та натура. Серьезен, спокоен, сдержан, а по-своему еще и педантичен, что зачастую характерно для потомков немецких эмигрантов. Обладает знанием ядерного и неядерного оружия. А выходит, и стратегия для него все одно что открытая книга. Как дипломат отличается упорством и настойчивостью. В то же время рассказывали, что прежде за столом закрытых переговоров Нитце мог в довольно резкой форме отстаивать свою точку зрения. Тут уж не до сдержанности, когда надо было подтверждать репутацию одного из самых стойких сторонников линии, проводившейся частью вашингтонской элиты по отношению к Советскому Союзу.

Между прочим, демократ, а служил в правительствах обеих партий, за что прозван перебежчиком. Любопытны два исключения. Не пожелал работать с Эйзенхауэром, пытавшимся трезво оценивать проблемы национальной безопасности, и ни за что бы не признался, что ошибается, несмотря на то, что имел бы своим оппонентом самого президента. Думал совершенно иначе. То же и с Картером, продолжившим переговоры об ОСВ. Это случай иной, пожалуй даже сделавший ему некоторую честь. Не захотел лукавить в отличие от Картера, всегда сильно лукавившего и ничего дурного в том не находившего. На другой лад, но тоже несхожие оказались люди.

Пока был связан с «комитетом по существующей опасности», убежденный в своей правоте, ястребиным оперением он то ли гордился, то ли не придавал ему значения. Случалось, его в глаза называли ястребом, а он снисходительно улыбался тонкими губами — если угодно, пусть ястреб. Уж какой есть. Только «реалист», да еще в устах таких людей, как д-р Кистяковский, мог его задеть. Иронизируют — значит, не верят ему, подозревают во лжи. С тем большей, удвоенной и утроенной, энергией он каждый раз повторял свое, доказывал недоказуемое, а именно: что единственный выход перед лицом коммунизма — это увеличение расходов на оборону...

Важнее манеры оценивать людей оценка фактов и явлений, даваемая Кистяковским. Доводам Нитце он противопоставляет свои. Для обороны не нужна гонка вооружений, считает он. А угроза коммунизма — да в его лексиконе и слов-то таких нет. Умудренный жизнью, он отдает себе отчет в объективном ходе общественного развития. А как специалист по оружию реальную угрозу для Америки видит прежде всего в ядерной войне. «Советская угроза» прижилась на целых три с лишним десятилетия и живет по сию пору благодаря хорошо разработанной, по его словам, практике и обретения мифов, чем, как он считает, Нитце и занимался не один год, пользуясь своим неофициальным положением. Иначе нельзя было бы вести счет расходам на гонку вооружений триллионами долларов.

Летковерных хтает и по сей день. Для спасения от русских — да разве жалко?! Отдашь последнюю рубашку, если о ядерном перевесе Советского Союза говорит не кто-нибудь, а сам Нитце, в прошлом и министр ВМС, и помощник министра обороны, и заместитель министра обороны, и даже в течение какого-то времени попечитель и научный сотрудник университета Джонса Гопкинса...

Не простая логика жизни, а хитроумная механика буржуазной политики, иногда соединяющая трудно или почти несоединимое, привела к тому, что именно Нитце сначала не менее пяти лет входил в американскую делегацию на переговорах об ОСВ-1, а в последующие годы, при Форде и Картере, свободный от государственных дел, фактически возглавлял «комитет по существующей опасности», объединивший самых отъявленных ястребов и суперястребов, которым процесс ОСВ был как кость в горле. Зигзаг в биографии, бросающийся в глаза.

Когда один из руководителей федерации американских ученых, Джереми Стоун, осудил выступления Нитце против переговоров ОСВ-2, тот, конечно, и бровью не повел. Как говорится, не имею чести знать, если этот Стоун не соглашается с тем, что по ОСВ-2 Советский Союз получит подавляющий перевес. Словом, думай, как я, иначе мне ты не пара. Что скрывать, предназначенные для общественности подобные

заявления Нитце, и не одного Нитце, только вводящие людей в заблуждение, были и вмешательством в ход закрытых переговоров, которые велись в Женеве. А переговоры были до того ужасающе сложны со стороны технической и до того длительны и нелегки со стороны дипломатической, что по-настоящему на них следовало бы дышать. Не легче приходилось и тогдашнему главному американскому делегату послу Уорнке оттого, что Нитце, как писали в газетах, позволял себе грубые выпады лично против него.

Не менее независимый и не менее верный себе, Джереми Стоун тогда же подвел итог: саботаж, иначе не назовешь то, чем занимался Нитце. Для Нитце-то Стоун был никто. Но даже и тогда, когда президент Картер пригласил его вместе с семью другими руководителями «комитета по существующей опасности» в Белый дом и напрямик спросил, почему бы им не поддержать правительство демократов, которому хочется довести до конца сильно затянувшиеся переговоры, все, кто был рядом, услышали, как Нитце первый трижды скороговоркой ответил президенту, встретившему приглашенных у дверей: «Нет, нет, нет». Вслед за ним решительным отказом ответила и вся остальная семерка.

До чего все-таки разные фигуры. Теперь уже совсем седой, несколько усохший, очень и по манерам суховатый, весь такой аккуратный немецкий господин, какой сам ни разу не сорвался и не завопил дурным голосом: «Русские идут!» — но других к тому подталкивал на протяжении длительного времени. Это Нитце. А дру Кистьяковскому, особенно когда он был помоложе, по-моему, не хватало только запорожских усов, чтобы походить на сечевого казака времен Тараса Бульбы. Внешний облик дополняется внутренней честностью, когда истина человеку дороже жизни. Чем доказывается его верность девизу на печати Гарвардского университета: *veritas* и означает истина.

Если оглянуться назад, на историю гонки ядерных вооружений, вспоминал Кистьяковский в своем интервью журналу «Кэмикл энд инджиниринг ньюс», можно увидеть, как Пентагон лгал относительно отставания Америки — сначала по бомбардировщикам, потом по ракетам, по гражданской обороне, по ПРО и т. д. Теперь вот по инерции шумят об отставании по точности ракет, а лет с десяток назад было еще отставание по многозарядным боеголовкам. А между тем известно, что большинство новых систем оружия первыми вводили Соединенные Штаты.

Механика обмана была отработана до блеска. Едва кончалась одна кампания — начиналась другая. Кистьяковский называет их кошмарами Пентагона. К некоторым в плен попадал и он, пока не убеждался в их беспочвенности. Так было с ракетным отставанием.

По наущению генералов ястреб от журналистики Джозеф Олсоп задал тон: русские впереди! А все оказалось ложью. «Я ее разгадал», — говорит Кистьяковский. Сделать это, находясь в Белом доме, ему было тем проще, чем больше знал он про закулисную зловещую роль таких высоко летающих ястребов, как оба Даллеса. В совете национальной безопасности президент председательствовал — делами заправляли они. На соглашение по Антарктике еще пошли. Очень маленький, крохотный, но шаг, и первый, вот что было важно, запретивший ядерные испытания и размещение радиоактивных веществ на шестом континенте. А советское предложение заключить договор о дружбе и сотрудничестве ранее оставили без ответа. Благоприятная возможность наладить советско-американские отношения была сознательно упущена. Почему?

Тот Даллес, который возглавлял ЦРУ, Аллен, всеми правдами и неправдами добивался разрешения на регулярные шпионские полеты «У-2». А тот, который был государственным секретарем, Джон Фостер, поддерживал его как только мог. А на своем месте мог он многое, почти все. Непосредственный доступ к президенту имели, разумеется, оба. Подстегнул их запуск первого советского спутника. В Америке он произвел сильнейшее впечатление. Нашелся, правда, один адмирал, Беннет по фамилии, который про «бип-бип» отозвался так: подумаешь, русские забросили в небо кусок железа, это и дурак сможет, а весь мир открыл рот от удивления. Карьеры адмирал не сделал. Все-таки и кусок железа в такую высь без ума не забросишь. Вот почему Пентагон так заинтересовался советскими ракетами.

Поначалу шеф Кистьяковского отнесся к планам Даллеса настороженно. Но идею воздушной инспекции и аэрофотосъемок подал Нельсон Рокфеллер. Официально-то советник президента по внешнеполитическим вопросам. Да все едино — Рокфеллер. Кто

его слушался бы? Фамильярничили одни газетчики: Роки да Роки. А президенту оставалось повторить предложение Рокфеллера от собственного имени. Так оно стало предложением Эйзенхауэра. А после спутника правые подняли настоящий визг. Надо было им отвечать. Ракеты ракетами, сказал президент на пресс-конференции, но никакой угрозы для безопасности Америки от советского спутника нет. Заодно он поздравил советских ученых с успехом. От своей оценки не отрекся и в дальнейшем, в мемуарах повторил: да, на примере спутника Советский Союз показал Америке, какое надо уделять внимание научному образованию и вообще всем видам образования...

Но правые умеют давить на кого хочешь. Пришлось Эйзенхауэру создать строго засекреченную группу Гейтера. Если вы такие умные, то порекомендуйте меры, какие следует принять. Ответ последовал самый трафаретный. Увеличить военные расходы и развернуть обширную программу гражданской обороны в противовес той, которая приписывалась Советскому Союзу. Вчитываясь в представленный доклад, президент не знал, чему удивляться. Да ведь это перепевы небывлиц, сочинявшихся еще для Трумэна. В данных разведки легко угадывался почерк младшего Даллеса. Президенту он был знаком.

Есть заслуживающий доверия очевидец, д-р Джером Визнер, младший коллега д-ра Кистяковского по Лос-Аламосу, собственными глазами видевший, как Эйзенхауэр в последний раз прижал ладонью машинописные странички и сказал: «Не тем вы занимаетесь. Лучше бы помогли мне разработать некоторые меры по разоружению, в которых я заинтересован. Я ведь жду не дождусь помощи от тех, кто должен мне помогать».

Но президент говорил одно, а братья Даллеса делали другое. Дали просочиться в прессу чрезвычайно преувеличенным сведениям о ракетных силах Советского Союза, чем немедленно воспользовались демократы, боровшиеся за Белый дом. А случилось, и вертели им, а то и вовсе ставили в глупое положение. Конечно, не мальчиком, но мужем как вертеть, а вот вертели же, факт налицо.

Авантюристы живут одним днем. После них хоть потоп. А если бы, допустим, тому и другому Даллесу сказали, что все равно через десяток лет, в год смерти Эйзенхауэра, в шестьдесят девятом, республиканцам придется пойти на переговоры об ОСВ, что им же достанется неимоверно тяжелая доля вытягивать страну из трясины вьетнамской авантюры и что они же — параллельно — подпишут целый ряд соглашений с русскими, отойдут от политики с позиции силы, согласятся с мирным сосуществованием и примут принцип равной безопасности, оба еще подумали бы, будь сие в их власти, не зажить ли на этом свете, чтобы поддерживать Бжезинского, Джексона и Картера во второй половине 70-х годов, а теперь вот, в наши дни, министра обороны Уайнбергера и президента Рейгана.

То, что Эйзенхауэр предвидел необходимость каких-то новых подходов и решений в международных делах, не одних Даллесов — многих это не устраивало. Но плох был бы он как генерал, если б не придавал должного значения тому факту, что ядерное оружие появилось у обеих сторон. Он направил вице-президента Никсона в Москву на открытие первой американской национальной выставки, сам думал поехать с визитом в Советский Союз, а Даллесам не терпелось довести до конца авантюру с «У-2». Своего они в конце концов добились. Президенту показали фотоснимки, сделанные с высоты 70 тысяч футов. На одном мяч для игры в гольф, на другом первополосная шапка одной широко известной в мире зарубежной газеты. Снимки были выше всякой похвалы, но сомнения оставались. Страстный игрок, президент, кажется, не устоял лишь перед мячом для гольфа, отчетливо видневшимся на травяном поле в Огасте, — для президента, для профессионального военного риск непростительный в ядерный век.

Знай он наперед, что и сверхчувствительные камеры корпорации «Полароид», и сверхвысотный самолет «Локхид компани» не просто упадут на советскую землю кучей обломков, а могильным холмиком перекроют едва наметившееся в зародыше движение от «холодной войны» к ослаблению напряженности, может, он и проявил бы твердость. Хотя нет, злая воля стоящих за Даллесами кругов держала его цепко. Уступал он не очень охотно. Начал с малого. На все про все устно дал ЦРУ десять дней — и ни днем больше.

Такой, казалось, был строгий приказ. А для самой, пожалуй, серьезной провокации в духе «холодной войны» ЦРУ вполне хватило считанных часов. Зато мы убе-

дидлись, радуется задним числом Кистяковский, что со стороны Советского Союза угрозы не было. Но какой сомнительной ценой! Сорвалась встреча четырех держав на высшем уровне в Париже. Завязавшиеся были контакты увяли, будто первоцветы, опаленные утренником. И Белый дом для республиканцев был уже потерян. Вышло себе дороже. Финал неизбежный, когда берут верх антисоветизм и антикоммунизм. Помнят ли об этом в Белом доме сегодня? Увы, все равно ястребы кричали и кричат о советских ракетах до сих пор и в том же ключе несуществующей советской угрозы.

Одинаковых президентов не бывает. Как ни называй приставленных к нему Даллесов, как ни удивляйся, не много ли на одного президента злых гениев, а вопроса нет — они его подминали, но подменить не могли. Кроме окружения и связей, даже «кухонного кабинета», как при Рейгане, влияют всегда и корни. Что за человек? Из каких? Чем дышит? А уж от личности во многом зависит исполнение самой роли.

Предшественника Эйзенхауэра уличала надпись на портрете похорожего на сердитую птицу старичка: «Моему другу Томасу Пендергасту в знак искренней признательности. Гарри С. Трумэн». Над головой босса, заправлявшего миссурийской мафией, портрет был на месте. До ядерного разбоя было беззаконие чисто уголовное.

Совсем другой полюс Джон Кеннеди. Между личным честолюбием выходца из северо-восточных штатов и ролью Америки в мире знака равенства не ставили, а некое сходство пытались узреть. Сильно обольщался и молодой президент.

А Дуайта Эйзенхауэра, или Айку, все чаще вспоминают сейчас в Америке в связи с его призывом учиться улаживать разногласия не силой оружия, а с помощью разума. Ничуть не парадокс. Он мог по-стариковски утешаться: войны нет — и слава богу. Ничто не мешает поразмять кости на площадке для гольфа, а вечерок провести за картами. Проигрывал редко. Хотя просадить партию в бридж — это полгоря, его можно пережить. А горе — война. Даллесы объявили коммунизм злом, а частное предпринимательство — наивысшим благом. Вольному воля. Они же плели военные союзы, насыщали «дружественные» страны оружием. Эйзенхауэр не возражал. Присоветовали ему объявить «крестовый поход за свободу» — и он объявил. Крестonosцам никакая наука впрок не шла. Мечтали и в Восточную Европу прорваться, и коммунизм свалить (как сейчас, при Рейгане). Но появилось одно «но», и президент над ним задумался.

Даллесовская доктрина устрашения материализовалась в ядерном оружии. Генералам ВВС оно пришлось по душе. На штабных учениях в Омахе проигрывались варианты ядерных атак против социалистических стран. Страсти кипели — вот-вот вырвутся наружу тем самым ужаснувшим мир грибом. На будущее, какого могло и не быть, велись секретные протоколы. Военный человек, Эйзенхауэр понял, что такого оружия нужно ровно столько, сколько требуется для обороны страны (без кавычек). То есть адекватное количество. Что сверх, ничего к ней не прибавит. А риск возрастет. Джон Фостер Даллес и генералы, те, конечно, вкладывали в «массированное возмездие» смысл иной. Для отвода глаз — ответный (мне отмщение, и аз воздам, повторял на публике богомольный Даллес), для обсуждения в своем кругу — первый удар. И диспозиции генералов и сценарии футурологов разошлись с формулой, выведенной президентом: «В ядерной войне победителей не будет, будут только побежденные». Это главное. И никакой «ограниченной» войны тоже не будет. Если отсечь второстепенное, главное-то и останется. Следовательно, сдержанность и еще раз сдержанность.

Атом оказался ускорителем, перевернувшим в умах многое, хотя не сразу и далеко не у всех. Менялась жизнь. Даже иных и бывших трубадуров «холодной войны» она заставила кое-что пересмотреть в своих взглядах, и не второстепенное, а по нынешним меркам самое главное. Убедителен пример Кеннана и Макнамары. Можно назвать других. Если бы не озабоченность будущим, первый председатель комиссии по атомной энергии Дэвид Лилиенталь не голосовал бы еще при Трумэне против ускоренного создания водородной бомбы, а позднее не сказал бы с грустью: «Я рад, что уже не молод, однако не могу без печали думать о судьбе моих внуков». Так почему было отказываться в подобной озабоченности Айку?

У него на глазах сложился военно-промышленный комплекс. Рутинной стали «вращающиеся двери», или взаимопроникновение военщины и бизнеса. Лидерство перешло к Западу и Юго-Западу. Казалось, незаметно. Но без максимального сосредоточения капиталов, рабочей силы, производственного опыта и научной базы в новых

условиях не было бы и нового качества. А оно появилось. Плюс фактор чисто человеческого. Если не агрессивность, то динамизм, своего рода воодушевление от богатства и головокружение от успехов предвещали схватку за первые места. Калифорнии и Техасу мало было иметь в настоящем и будущем своих вице-президентов. Им был нужен Белый дом. В Пентагоне они хотели видеть своих людей. Не мундиры, а пиджаки на трех пуговицах в скором времени станут определять новый тип милитаристов. Грызня из-за военных заказов не отменялась. Оттирать конкурентов будут и по старинке — локтями. Но в Калифорнии уже пестовали зверя по кличке НИОКР. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы превращались в третью ветвь военно-промышленного комплекса. Угроза росла. Не увидел бы ее только слепой. Эйзенхауэр и увидел и сказал о ней вслух наподобие завещания. Но как решился? Одумался, что ли? Спихватился? Да, иначе как прозрением его речь не объяснишь. Что ж, что президент. Что ж, что генерал.

Нынешние ястребы, мечтающие о возвращении к силовой политике, наверняка обвинили бы его по меньшей мере в слепоте перед лицом «советской угрозы» (бешеный-то Маккарти на него, был случай, кидался, а старым фразером его пренебрежительно называют до сего дня). Но переживший много уроков, включая целиком лежавший на его совести полет «У-2», он обратил внимание американцев на экономическое, политическое и даже духовное влияние «холодной войны». И ястребы и голуби это ему зачли. Каждые по-своему.

Известно, что он любил называть вещи своими именами, как-никак был солдат. Военно-промышленный комплекс — вот откуда негативное влияние. Позднее, стоя одной ногой в могиле, он испытал его на себе. Уступил давлению? Возможно. Поддался пропаганде? Но она не менее сильна. Недаром, как вспоминает д-р Кистьяковский, этот комплекс был для него источником серьезной тревоги. Он считал, что военные слишком агрессивны. А от союза военных с дельцами он добра не ждал. В перспективе ему рисовались милитаризация Америки, падение ее авторитета в мире, запутанность внутренних проблем, разброд в обществе. То есть как раз то, к чему она вплотную приблизилась сейчас.

В другой же раз Эйзенхауэр прямо сказал: «Я не доверяю этим генералам». Повод был серьезный. Он послал Кистьяковского в штаб стратегической авиации в Омахе. Оттуда исходило сильное сопротивление переговорам о запрещении ядерных испытаний, начавшимся за два года до того. Генералы что-то затевают, сказал обеспокоенный Эйзенхауэр на заседании совета национальной безопасности, вот пускай Джордж и выяснит — что. А генералы, смеху подобно, нагородили ему, специалисту, разной чепухи о возможности тайных советских испытаний. К тому времени противники полного запрета состряпали, по слову Кистьяковского, немало устрашающих сценариев на данную тему. Мир, как погруженный в летаргию, ничего не видит и не слышит, а Советский Союз знает себе проводит испытательные взрывы... В результате подписание договора отодвинулось еще на три года. Слепая, как считает д-р Кистьяковский, а на самом-то деле сознательная и организованная оппозиция в США своего добились. Подземные испытания остались вне всякого запрета еще на целых одиннадцать лет. До конца сломить сопротивление генералов оказалось не под силу даже президенту.

Что ж, сам военный, Эйзенхауэр знал им цену. Благодаря ему лучше узнал их и Кистьяковский. А верные себе генералы тем временем готовили бомбовые «ковровые дорожки» для Вьетнама, который был не за горами. Мечтали и о большем.

Уже после Эйзенхауэра он сделал самостоятельное открытие: о чем бы президент ни предупреждал, какие бы хорошие слова ни говорил, а США приобретали и збыток ядерного оружия. Кажется, д-р Кистьяковский готов почти божиться: «Своими глазами видел». А тогда удивился. Где здравый смысл? Зачем столько боеголовок и бомб? Неспециалисту известно, что ни человека, ни человечество нельзя убить ни три, ни пять, ни десять, ни пятнадцать раз подряд. Этот людоедский overkill — коэффициент многократного уничтожения, или, проще, убийство в энной степени,— сущее безумие.

Потом запольхала вьетнамская война. В едва тлевший костерок плеснули сразу из канистры. Когда дюйм за дюймом авантюра зашла в тупик, подал голос престарелый Айк: война до победного конца. На возраст и болезнь ему полагалась скидка. Да и сами по себе пять больших звезд на погонах ко многим обязывают, однако сто процентной гарантии еще ни в чем не дают. От влияния извне тем более не спасают. Что говорить о тех, у кого четыре, три, две, одна звезда? Пятизвездных генералов

после смерти Омара Брэдли прошлой весной не осталось ни одного. А он все-таки при высадке в Нормандии в «день Д» командовал сухопутными войсками под началом Эйзенхауэра, и в телеграмме, направленной президенту Рейгану, Л. И. Брежнев отметил его вклад в победу союзников по антигитлеровской коалиции. И позднее, как солдат, он не мог не осуждать своего пятизвездного коллегу Макартура, призывавшего применить в Корее ядерное оружие, и не мог не поддержать своего бывшего главнокомандующего, предупреждавшего из Белого дома об опасности милитаризации страны, могущей привести к всемирной катастрофе. Генералы, они тоже ведь разные.

Да, под конец жизни кумир оплошал. Зато на высоте оказался д-р Кистяковский. Он твердо усвоил, что любой конфликт способен в наше время перерасти в ядерный. Резонансного эффекта лучше избегать. Вот и думал хоть как-то и хоть чем-то войну во Вьетнаме притормозить. Не удалось, конечно. Опять иронизирует над собой: «Была достаточно глуп». Не глуп, а бессилен перед Пентагоном. А пожалуй что и смел. Те самые генералы из штаба стратегической авиации, за которыми он приглядывал в Омахе, уже грозились сровнять Вьетнам с землей и залить асфальтом.

Шуточка про асфальт принадлежала генералу Кэртису Лимэю. Четырехзвездный был каннибал, каких поискать. Еще накануне атомных бомбежек японских городов очень беспокоился о «чистоте эксперимента». Не дай бог помешает погода. А вбивать Вьетнам в каменный век, казалось ему, ничто не будет мешать. Авиация стала всепогодной. И на Вьетнаме эти «специалисты по систематическому разрушению» решили отыграться потому, что не давала покоя идея фикс. Ее даже не хранили как самую страшную тайну. А сейчас и вовсе — рассекретили запись совещания в штабе стратегической авиации, сделанную в середине 50-х годов. И Лимэй подтвердил: в целом все точно — и дух, царивший тогда в Омахе, и первый удар, планировавшийся подчиненными ему офицерами с таким расчетом, чтобы превратить Советский Союз в «дымящиеся радиоактивные руины». С поправкой на время похоже было на трумэновский план «Дропшот». Только уже 700 бомбардировщиков с большим лишком стояли на взлетных дорожках. И на все про все им отводилось два часа. Стало быть, даже не короткий, а укороченный удар.

Один на один да с открытым забралом против таких лимзев пойдет только смельчак. И д-р Кистяковский не побоялся стать донкихотом. В решительную минуту подал в отставку, порвал со своими военными связями, ушел из всех правительственных консультативных комитетов и написал откровенное письмо министру обороны. Больше я вам не слуга. Разрыв был полный. Не был ястребом, он стал голубем.

С тех пор при каждом удобном случае доказывать, убеждать, даже твердить, как он не без нажима уточняет, что все зло в гонке вооружений, для него стало императивом. Не может молчать — должен говорить. Видит в том свой долг. Верит, что вода камень долбит. Он почти повторяет Эйзенхауэра: «Я глубоко обеспокоен милитаризацией страны». Фантастический рост влияния неоконсерваторов и милитаристов объясняет «выпячиванием военного аспекта». Ни в какую советскую угрозу не верит. Отмечает, что за последние двадцать лет ее постоянно преувеличивали те же люди, которые сегодня внушают американцам, что русские могут ударить первыми и уничтожить расположенные в шахтах межконтинентальные баллистические ракеты «Минитмен».

Что же, лишится Америка этих своих МБР — тут ей и крышка, а русские выиграют войну, оставшись безнаказанными? Нет, говорит он, все не так. Вот ход его рассуждений. Даже если исходить из гипотезы, что другая сторона может направить свои ракеты против американских, то и тогда у президента будет полчаса, чтобы пустить навстречу им ракеты «Минитмен». Следовательно, даже не все американские ракеты будут обречены на гибель в шахтах. Но стратегические силы США состоят не только из этих ракет, зачем же лицемерить? Флот бомбардировщиков и подводные лодки — вот где большая часть американских ядерных боеголовок. Три четверти! Круглым счетом — тысячи. А в 80-х и 90-х годах к ним прибавятся подводные лодки «Трайидент» и бомбардировщики «В-1», крылатые ракеты само собой, а возможно, что и другой бомбардировщик, суцзя невидимка для ПВО другой стороны, как его рекламируют начиная с последних месяцев картеровской администрации. Соотношение внутри триады опять изменится. Доля подводного и воздушного флотов возрастет еще больше, а доля МБР, установленных в шахтах, станет еще меньше, хотя и прибавятся ракеты «МХ».

Какой же разумный государственный деятель предпримет действия, способные навлечь на его страну ответный удар таких сил? Сценарии ястребов и нереальны и неправдоподобны.

Еще года четыре назад д-р Кистьяковский указал на Ричарда Пайпса: такие вот антисоветски настроенные представители академических кругов порою провоцируют напряженность сильнее и искуснее всяких генералов. Возможно, что и покачал головой: Пайпс срывает ведь общий для них обоих Гарвард (откуда с медицинского факультета пошло нынешнее движение американских медиков против угрозы ядерной войны). Переубедить потом тех, кто наслушался Пайпса, трудно. Как же, специалист по истории России и Советского Союза (а после прихода Рейгана к власти и сотрудник совета национальной безопасности). Ему ли не ведомы коварные замыслы русских, когда он и душу-то их изучил и познал, как свою. На такую аттестацию иные полагаются, как на чек, подлежащий оплате в отделении «Чейз Манхэттен бэнк». И верят Пайпсу, будто советские руководители планируют войну с Америкой и надеются ее выиграть.

А д-р Кистьяковский подчеркивает четкое понимание советскими руководителями того факта, что ядерная война неминуемо будет иметь катастрофические последствия и для обеих стран, и для остального мира. Стало быть, проблема безопасности перестанет волновать всех и навсегда. Но самое главное, продолжает он, это все-таки то, что Советский Союз проявляет предельную осторожность в смысле использования своих вооруженных сил. И говорить о советском первом ударе значит не понимать стратегии Советского Союза. Кому говорят, те-то, наверное, не понимают. А вот кто говорит (тот же Пайпс) — те ее умышленно извращают.

И если нынешняя республиканская администрация по совету старого ястреба Юджина Ростоу, назначенного директором агентства по контролю над вооружениями и разоружению и, таким образом, как бы заново рожденного, будет «вооружаться до зубов», если вместо ракет «Минитмен» будут развернуты более крупные ракеты «МХ», и хотя бы частично, на четверть, на треть, наполовину в варианте мобильном, а не стационарном, тогда Пентагон явно получит сверхоружие для нанесения первого удара и поставит под угрозу мир и безопасность как Советского Союза, так и Соединенных Штатов. Точный в словах, оценках, выводах, д-р Кистьяковский утверждает, что Америке нужен минимум нового оружия, обеспечивающего безопасность, и не такого провокационного, как ракеты «МХ». Это ястребам хочется иметь военное превосходство настолько недостижимое, что напрасно о нем и мечтать.

Когда спираль гонки вооружений становится круче, напряженность в мире нарастает. Сейчас как раз такой период. Пожалуй, даже самый напряженный за последние двадцать лет. Точка зрения Кистьяковского: «Я считаю, долг ученых — что-то предпринять». Ведь до сих пор многие заняты разработкой новых систем оружия. А создавать оружие и быть против его развертывания нельзя. Либо то, либо другое. Проверено Кистьяковским на себе. Значит, те, кто соглашается работать на военных, сознательно принимают сторону Пентагона, сторону ястребов и генералов.

Серьезность положения заставила д-ра Кистьяковского включиться в работу группы ученых, называющих себя «Советом за пригодный для жизни мир». Пригодный — значит, безопасный, прежде всего свободный от угрозы ядерной войны. Физики кооперировались с медиками. С точки зрения врачей, ядерная война будет последней эпидемией в жизни человечества. Никакая «скорая» не поможет ее жертвам. Борьба с ее последствиями медицина не сможет. Не допустить ее вместе со всей общественностью должна.

Сейчас размах массового движения в Соединенных Штатах таков, что в нем участвуют как демократы, так и республиканцы, религиозные и политические деятели, адвокаты, профсоюзные активисты. Но первыми были врачи, в основном из Гарварда. Обеспокоенные угрозой, нависшей над всем человечеством, они еще в канун 80-х годов обратились с письмом к Л. И. Брежневу и президенту Дж. Картеру. Ответ с желанием успехов в борьбе против ядерной войны пришел один — из Москвы...

Пойдем от слова. Если война «ограниченная», то, по-видимому, скромная по размерам, небольшая, имеющая свои рамки. Поначалу даже успокаивали тем, что и вообще-то она будет «точечной». Да ведь все равно ядерной?! А чтобы военные объекты ядерное оружие поразило, а гражданские щадило, чтобы, с одной стороны, как бы

велась война, а с другой — как бы сохранялся мир в одно и то же время, по соседству, рядом — да это химера.

Сегодня насквозь фальшивый ядерный гуманизм тем опасней, что по решению Рейгана с поточных линий давно сходят компоненты нейтронных боеголовок для тактических ракет «Лэнс» и артиллерийских снарядов, принятых на вооружение в странах НАТО. И программа удваивается, а возможно, даже утраивается.

Оружие для поля боя, для поражения целей в пределах десятков километров, для продвижения наступающей армии по чужой территории, оно подсказало и новый вариант ограниченной войны: где-нибудь в Европе. Изменение тревожное. На Старый Свет стали смотреть как на будущий ТВД. А размещение в западноевропейских странах новых американских ракет средней дальности, запланированное на следующую осень, может привести и к изменению стратегической ситуации во всем мире. Возникнет дополнительная угроза со стороны Соединенных Штатов. Остро поэтому стоит вопрос, удастся ли снизить ядерное противостояние в Европе, и без того достигшее опасных пределов, прекратить дальнейшее наращивание здесь ядерных потенциалов. Л. И. Брежнев назвал его ключевым. Если американо-натовские круги не прислушаются к голосу разума, риск нестабильности возрастет и вина целиком ляжет на рейгановскую администрацию.

Ведь как было с той же нейтронной бомбой. Много лет ее держали в секрете. Есть свидетельство известного специалиста-физика Гарольда Агню о том, как еще в начале 70-х годов — при Никсоне — бакалавры и магистры из Лос-Аламоса за закрытыми дверями «продавали» ее членам конгресса. Странно, воевать ведь не ученым. А где был президент, он же верховный главнокомандующий, где были генералы?!

Президента Никсона разрядка заставила молчать. Но разрядка разрядкой, а при нем началось оснащение баллистических ракет многозарядными боеголовками; в повестку дня встали крылатые ракеты, осталась в ней и нейтронная бомба. Все равно военно-промышленный комплекс добивался всего, чего хотел. Лоббисты — те же толкачи. А тут скорее даже пламенными агитаторами, доказывавшими пользу вооружения для Америки, стали подчиненные д-ра Агню, он сам. Увы, ученые. Не денег они просили, а внимания. Ведь какая находка, какая новинка, опускающая ядерный порог ниже низкого. Радиация будет быстрой, а сама бомба умной, людей убьет, а имущество не тронет. Все останется как на блюдечке. Для исповедующих философию частной собственности сильнее довод придумать трудно.

Баловаться спичками, не боясь пожара у себя дома, чтобы другим пустить красного петуха, а самим даже не опалиться, — великое заблуждение. Откуда оно пошло? Не вчера географическая отдаленность перестала служить Америке щитом. Потому и хмурили лбы — как воевать, не навлекая на себя ответного удара? Период раздумий сменился переговорами об ОСВ. За стол сели с тайной мыслью — раньше или позже найти все-таки оружие, сулящее превосходство. Правда, когда в боевых характеристиках нейтронной бомбы узрели «приемлемость» ядерной войны в пределах ТВД, никто «эврика!» не вскричал. Почему?

Одной рукой президент Форд подписал владивостокское соглашение о межконтинентальных ракетах и бомбардировщиках, а другой — санкционировал изготовление нейтронной боеголовки (о чем мало кто знал даже в Вашингтоне). В первом случае проявился как будто реализм, во втором — явное желание и обстоятельства изменить, и время обратить себе на пользу. Сам Форд придерживался примитивной схемы: «Чем выше расходы на оборону, тем прочнее национальная безопасность». За такое Эйзенхауэр не удостоил бы его взглядом. А он еще объявил: «По своей военной мощи мы не должны уступать никому». Это после официального-то признания примерного советско-американского паритета. Слова словами, но куда серьезнее, что при нем был сделан и шаг к изменению стратегии.

Свою роль сыграл Картер. Долгих четыре года это только казалось, будто он непредсказуем, — кто умел, мог «вычислить» его наперед. И чаще всего сбывалось. Данному слову не очень будет верен. Начнет вилять и лавировать. Скажет «да», в котором будет заложено «нет», и наоборот. Доказательств хоть отбавляй. Классический пример — решение, с одной стороны, отложить производство нейтронной бомбы, с другой — продолжать модернизацию.

Вот и пойми этих президентов, вот и поверь им. Слова и дела для них абсолютно разные вещи.

Секретность помогла скрыть одну подробность. Всю основную работу проделали сотрудники Ливерморской лаборатории имени Лоуренса. А нажимали, торопили правительство подчиненные д-ра Агню. Соперничество не исключало сотрудничества. В конгрессе он это признал. Вопрос об ответственности отвел бы как некорректный. А что, группа была хотя и небольшая, но зато, по его же словам, принадлежавшая к самой элите Лос-Аламоса. Выходит, раз элита, вправе были нажимать и правы, что нажимали. Удобная логика.

Единой-то семьи ученых нет. На Теллера похож, как сын на отца, тот же отец нейтронной бомбы Козн. А д-р Герберт Йорк, сам немало поломавший голову над принципом нейтронной бомбы, пока возглавлял Ливерморскую лабораторию, бескомпромиссно осуждает проводимую рейгановской администрацией ядерную гонку. Хотя он и моложе Кистяковского лет на двадцать, а в чем-то повторил сложный и противоречивый путь старшего коллеги, осознавшего главную последовательность нашего времени (термин из астрономии подходит как нельзя более кстати). С другой стороны, если ближайший помощник Йорка в том же Ливерморе Гарольд Браун, еще более причастный к начальной стадии работ над нейтронной бомбой, при Картере был министром обороны и передал эстафету персонально Уайнбергеру, значит, идеологические шоры лишили его как ученого чувства подлинной ответственности за будущее и главная последовательность века, требующая сохранения мира на земле, была им предана забвению.

Кого-то совестью бог обделяет всегда. Но память-то существует. Гарольд Агню попал в Лос-Аламос совсем юным бакалавром. Как многие, похож был на вытнянувшегося подростка (что отвечало и той тяге к успеху и славе, какая одолевала выпускника заштатного университета в Колорадо). Но котелок у него варил. Все проверки он прошел. Надежды родителей оправдал. Сверстников в далеком Денвере заставил себе завидовать. С подъемом убыл на остров Тиниан, откуда стартовали первые ядерные бомбардировщики. С легкостью вошел и в состав одного из экипажей, бомбивших Нагасаки. Людей отбирали в них уравновешенных, без предрассудков. Такой была официальная мерка. Отказаться было бы величайшей глупостью. Как посмотрели бы на него ребята из родной бейсбольной команды? Какими глазами смотрел бы на них он? Конечно, он согласился. С тех пор репортеры неизменно прибавляют: «Тот самый, бомбил япошек. Смотрите, какой герой!»

Д-р Агню не возражает, а может, даже гордится этим. Что было молодо-зелено, верно. Что ученому всегда интересно увидеть венец своих дел, кто спорит. И то, что долетел, это еще можно было бы принять исключительно за факт биографии, если бы просто был воздушным извозчиком, как Тиббетс, Суини или Маркворд, доставлявшие на борту своих «В-29» неведомые им «изделия» и даже не предполагавшие, какую смерть они несли тысячам японцев. А он ведь прекрасно знал что к чему. Наверняка видел гриб при первом испытании. И что — внутри ничего не шевелится до сих пор?

Уже в наши дни, после отставки, на положении вольного казака, д-ра Агню развязал язык с репортерами. Еще не осела словесная пыль после дебатов о «В-1» — строить новый бомбардировщик или не строить? В своей колонке, по мнению многих более заслуживающей названия «Как мы сдаемся коммунистам», «независимые» обозреватели Эванс и Новак подняли крик: президент перечеркнул «В-1»! А какое там перечеркивание, если Картер только приостановил, только изъял его из текущего бюджета под предлогом экономии средств, которые тут же пустил на ускоренную разработку крылатых ракет, — наглядный пример того, как он держал свое слово никогда не лгать американскому народу.

Д-р Агню как специалист Картера поддержал. Но, в отличие от президента не связанный необходимостью изворачиваться и юлить, он сформулировал вопрос без оглядки на общественность, требовавшую сокращения военных расходов: чем бомбардировщики хуже ракет как средство доставки ядерного оружия против Советского Союза? И то и другое у Америки есть. И что первые дороги так, будто сделаны из золота, это известно всем, а что уязвимы, усвоил сам — летал. Может, и не натерпелся такого страха, чтобы небо показалось с овчинку, когда в одно и то же время и в одном и том же воздушном пространстве на основном самолете пожирал расстояния до цели смертоносный «Толстяк». Только теперь д-р Агню сказал: «Делайте это по многу, с помощью ракет». Лучшее ракет пока ничего не придумали. Раз не ужас

нулся тогда — спокоен сейчас. Рассуждает профессионально, чуть иронично, отстраненно, словно забыл и помнить, что за тем грибом стояло 70 тысяч убитых одним махом и если бы не расположение Нагасаки вдоль залива и не рельеф местности, взрыв унес бы человеческих жизней раза в три-четыре больше; была бы вторая Хиросима. А человечеству уже грозят другие грибы. Любой президент, по словам Агню, прежде всего должен решить, пустит ли он в ход ядерное оружие и когда именно. Как, допускает больше одной возможности — оборонительной? Не исключает а мериканский и первый удар? Предполагает его? Понять можно и так. Ястребам это наруку.

Действительно, в век ракет бомбардировщиком кого удивишь? Дорого и сложно. И все время нужно помнить о ПВО. Правда, соблазнительно и другую сторону если не разорить, то ввести в расход, и еще неизвестно, что и кому тогда влетит в копеечку: одной стороне бомбардировщики или другой — ПВО. Уже немалый плюс. Были и другие, от которых голова шла кругом. Если бомбардировщики да соединить с крылатыми ракетами, а потом с ними же и подводные лодки?.. А третий вариант — запускаемые с земли. Нацеленные на восток, они подойдут для Европы и вместе с нейтронной бомбой, вместе с «Першингами» превратят ее в ТВД.

Суть дела Картер ухватил быстро. Казалось, и заглянул дальше, в 80-е годы, что ему не всегда удавалось или удавалось редко. Мешал даже личный педантизм. Он питал особое пристрастие к съездившим время входящим и исходящим, к разным обзорам и меморандумам. Улетая на уик-энд в Кэмп-Дэвид, каждый раз брал с собой в вертолет пухлый портфель, набитый бумагами. На ночь почти всегда читал с карандашиком и кое-что переписывал от руки, не оставляя в готовом тексте живого места. Над многими вещами задуматься иногда было не под силу, а иногда просто некогда. Но когда дело доходило до программ военных, «честный дилетант» — он учился на ходу, «чемпион колебаний» — он проявлял волю. При своей-то капризности и волюнтаризме из всех членов кабинета все четыре года держал около себя только хозяина Пентагона Брауна. Того, который, с одной стороны, как будто признавал, что лепить окружающую среду по собственному желанию Америка больше не может (явный реализм), а с другой — объявлял, что перчатка ее может быть и бархатной, но рука в ней должна быть твердой (силовой подход).

Не новичок в политике, каким он поначалу притворялся, а президент, изощренными путями добивавшийся односторонних выгод для Америки, Картер думал так же и все больше и больше склонялся к силе и все дальше и дальше уходил от благочестивых рассуждений о боге, долге и сочувствии ближнему. Отпала в них нужда. Неплохой артист, он сделался поразительно противоречивым, чего сам будто не замечал. Если начинал говорить о мире, кончал обязательно войной. Репортерам даже надоело заключать пари, будет сегодня смена караула или нет. Почти каждый раз бывала. Похоже, он хотел угодить всем.

Еще одна черта. Обнаружил слабость к воинственному словарю. Присвоил и, говоря об энергетической проблеме, не упустил случая вернуть придуманную Джеймсом Шлесинджером формулу «моральный эквивалент войны». На такие интеллектуальные погребушки министр энергетики был горазд. А от себя Картер сравнивал ее с битвой — намеренное преувеличение. Из него родилось объявление района Персидского залива сферой национальных интересов Америки, военно-морская армада в акваториях Юго-Западной Азии, «силы быстрого развертывания», бесславная операция по спасению заложников в иранской столице и другие авантюры, отмеченные большей или меньшей степенью риска.

А в общем, как его ни называй, новичком или дилетантом, он вдохновлялся поставленной перед собой целью. Недовольным отвечал по примеру Трумэна: «В конечном счете ответственность несу я». Генералы ВВС, те упорно отказывались понимать принятые им решения. А с ними шутки плохи. Своевольные и агрессивные, они могли угрожать не одними отставками. Что-то похожее на молчаливый бунт Омаха устраивала не раз. В любом случае на рану, нанесенную им картеровским отказом от бомбардировщика «В-1», генералы ждали не соли, а балзама и не притихли, пока он не задобрил их своим благосклонным отношением к идее «скакового круга» для ракет «МХ». Выходит, смотрел все-таки дальше, видел больше даже многих генералов? Похоже — да. А уж про самых непреклонных ястребов из числа сенаторов и говорить нечего. Без «В-1» как бы не остались вне зоны поражения обширные районы совет-

ской территории, беспокоились те. Но он знал, на что шел. Приказал ускорить разработку авиационных крылатых ракет, как только их преимущества стали ему ясны, а потребности Пентагона в них точно определены. Рассчитывал на выигрыш и с укором внимал критикам: «Разве я беспокоюсь не о том же, о чем вы?» Никуда «В-1» от нас не уйдет, вернуться к нему можно будет если не в конце первого, то после избрания на второй срок (чего Картеру хотелось с первого дня пребывания в Белом доме).

Не эйфория, но сильное волнение было налицо. Опять радовались своему временному преимуществу. Так случалось уже не раз. На уме было одно. И без того трудно измерять уровень стратегического паритета из-за технического совершенства и многообразия развернутых и развертываемых программ. А если крылатые ракеты будут еще и дальнего действия? Предназначенные для удара по глубоким тылам Советского Союза? Запускаемые с воды и с суши? С любых мыслимых площадок, в том числе с самолетов, базирующихся на авианосцах, с подводных лодок, небольших сторожевых кораблей, грузовиков? Из районов Северного Ледовитого океана, Средиземного и Аравийского морей, Тихого океана? И с боеголовками не обычными, а ядерными, которые от первых фактически невозможно отличить, а значит, и проверить. А в Пентагоне изучается вопрос о химических боеголовках для них. И при этом генералы готовы идти на любую хитрость, чтобы хоть часть этих ракет не включать в тот или иной элемент стратегической триады и усилить таким образом ядерный арсенал США сверх лимитов, согласованных с Советским Союзом. А поговаривают и о крылатых ракетах сверхзвуковых. То-то еще будет. Безудержной эту гонку делают те, кто не знает удержу. Точнее, не хочет знать.

Если желательно, чтобы физика была красивой, чего всегда так хотелось Ферми, то просто обязательно, чтобы физики не забывали о своей ответственности. Оружие ведь не само появляется на свет. Потому и sophisticated, то есть сложное и архисложное, что все начинается с кусочка мела в руках Бора, с фейнмановского арифмометра, с логарифмической линейки Ферми и с того, что Бор — это Бор, Фейнман — это Фейнман, а Ферми — это Ферми. Как определяют этим словом людей знающих, многоопытных и даже многоумных, так в наше время тем же словом характеризуют сложнейшие системы ракетно-ядерного оружия. Последних без знаний, без умов, без талантов по крайней мере некоторых из тех, кто сам sophisticated, вообще не было бы. Незавидная судьба у слова, увы. А греческий корень — софос — только вводит в заблуждение. Никакой мудрости в этом оружии тем более нет — одна механическая премудрость. Да и работают над ним люди не чета тем.

Без увлеченности нельзя, так-то так. Но каким бы талантом мать природа ни наградила человека, разрабатывая новую идею, он должен заранее представить себе, во что она выльется потом. Не все помнят предупреждение Оппенгеймера, не все утруждают себя долгими раздумьями. Это главная беда. Когда ученые протестовали в сорок пятом, они подтверждали свою верность гуманизму. Не просто сами убедились, что с атомом шутить нельзя, — готовы были на многое, чтобы убедить других. Прежде всего, естественно, top people, тех, кто наверху. Задача всегда не из легких. Под обращениями в Белый дом, случалось, стояло не менее полусотни фамилий — и каких. До Трумэна с его философией сильной позиции и горячего дела доводы ученых колпаков дойти не могли. Когда позднее один историк спросил, много ли времени потребовалось ему, чтобы принять то решение, он спокойно ответил: «Нет, я принял его без всяких колебаний и сомнений». Протестов ученых для него как не было. Зато об них все-таки споткнулись его ближайшие советники — не одумались, не вняли рассудку, а скорее поостереглись заходить дальше. И кто знает: если бы не позиция ученых, может быть, участь Хиросимы и Нагасаки разделял бы третий японский город из списка, составленного генералом Лесли Гровсом. Кокура? Ниигата? А так изготовленная в Лос-Аламосе третья бомба осталась неиспользованной, тысячи людей живы и совесть ученых мучила меньше. С кого брать пример, следовательно, было и есть.

Энергия атома породила атомщиков. Они шантажировали Советский Союз. О контроле над ядерной гонкой не желали и слышать. Тешили душу своей монополией. Не думали, какой короткий век ей отпущен. Начали «холодную войну». Дружная, казалось, семья ученых распалась.

То в сказке — пойду туда, не знаю куда; а в жизни у каждого есть выбор. Тот же

Гарольд Агню, он как раз из тех, кто заветом Оппенгеймера о потом пренебрег не в одной науке. На ролях советника при штабе американской армии на будущем европейском ТВД завоевал доверие генералов. В свой срок возглавил сначала отдел вооружений, а потом и всю лабораторию в Лос-Аламосе. Что ни говори, тоже выбор. По-своему определенный. И когда в объединенной комиссии конгресса по атомной энергии он держал не ответ, а речь в защиту нейтронной бомбы и в похвалу коллегам из Ливермора, это было даже не непротивлением злу, а служением ему.

Совесть, честь, ум — все перевешивается стремлением к успеху любой ценой. Образом мыслей, навеянных ложными представлениями. У одних еще и безразличием к общественным проблемам. Кто-то лишен необходимой внутренней силы. Светлые головы — слабые души. Высокой ступени конформизма отвечает низкий нравственный порог. Стыдиться же некого — Эйнштейна рядом нет. А сжившиеся и спешившие с военно-промышленным комплексом — о, те вообще интересы последнего защищают как свои. Преданы гонке вооружений. Это лобби, наличие которого признал Агню. Это он сам.

А спроси его, какому богу пожертвовал он знания и опыт, д-р Агню, пожалуй, ответит: Америка — мой бог, ее оборона, ее безопасность. Но кто Америке угрожает? Не горы ли оружия, созданного при его участии, и не политики ли, угрожающие всему миру этим оружием?

Больше ядерного оружия — сильнее угроза ядерной войны. Что там нога великана, раздавившая Хиросиму, — ужасные, но все равно лишь бомбочки в сравнении с тем, что сейчас есть не просто бомбы и боеголовки, а целый комплекс ядерных средств, различных по назначению, мощности и способу доставки к цели и обладающих трудно вообразимыми поражающими способностями. И настолько сложных, что каждое в отдельности, а тем более все вместе они представляют собой, если воспользоваться выражением Маркса, о вещественную силу знания, взятую, конечно, в отрицательном значении. Публицист написал бы: орудия смерти. Пожалуй, мало, слабо. Одним таким орудием спокон веку считался обыкновенный топор. Но даже пущенный в ход против беззащитной старухи-процентщицы, он показал, что и сверхчеловеку, освободившему себя от общепринятых уз, не все дозволено. А за последние тридцать лет, по официальным данным, три американские военные лаборатории — Лос-Аламос и Ливермор плюс Сандия — создали и испытали 57 систем ядерного оружия. Так можно ли давать их хозяевам карт-бланш, своего рода право на вседозволенность, если в придачу к сотням миллионов погибших оставшиеся в живых получают целый букет физических, биологических, медицинских, генетических, социальных и психологических последствий, которые приведут к угасанию всякой нормальной жизни, «концу истории» (слова принадлежат Киссинджеру).

Без испытаний ядерное соперничество сразу ограничилось бы. Ведь благодаря им и вносятся качественные усовершенствования. Понятно, почему кампания, организованная противниками запрещения испытаний, с самого начала уступала только активности противников ОСВ. Хотя не было тех и других порознь. Одни и те же круги вели ее. Их усилиями соответствующие переговоры были прерваны.

Прямым виновником оказался президент. Тот самый Картер, который по вступлении в должность, буквально на третий день, заявил: «Я за то, чтобы запретить все испытания ядерных устройств раз и навсегда». Данному слову опять верен не остался.

Велась игра в верхах администрации. Водили за нос сторонников контроля, ходивших в голубях. Тем больше уступали ястребам, чем меньше кривая популярности утешала президента. Ради второго срока он шел на все и предпочел выглядеть мягкожестким. Стремился только к переизбранию. А спорщики уже бились об заклад, что шансы у него дохлые и поражения ему не миновать. Угрозу он чувствовал кожей и довольно писклявым фальцетом, будто юнец, который хочет кого-то перекричать, а не может, клялся в своей приверженности делу мира и призывал в свидетели бога. Вообще-то оратор был не ахти. Только на неофициальных встречах и небольших собраниях говорил убедительно. Это называлось обращение к людям на бензоколонках — процедура, которую Картер умело отработал. Упорнее других президентов он следовал совету Теодора Рузвельта — использовать Белый дом как кафедру для проповедей. Да что толку? Дорогу в ад ими еще можно было вымостить, а вот сдвинуть с места такое жизненно необходимое дело, как полное запрещение ядерных испы-

таний, это ни-ни. По большей части проповедями на любой вкус все и ограничивалось.

А расстановка сил была такой. Генералы из комитета начальников штабов как бы отпрянули в сторону. Пентагон затаился. А на передовую в схватке с голубыми вырвалось министерство энергетики. У сугубо штатских директоров обеих лабораторий взаимопонимание со Шлесинджером было полное. Хвост (лаборатории) зачастую вертел собакой (министром). Такую они забрали силу. В обороне заодно с Полем Уорнке, возглавлявшим американскую делегацию в Женеве, находился государственный секретарь Сайрус Вэнс.

За кулисами по всем вопросам, касавшимся Советского Союза, обязательно возникали споры. Вэнс считал, что в ходе переговоров лучше не обманывать доверия противной стороны и что соглашение всегда выигрыш для двоих. Как любая честная сделка. Такой была его позиция. Не белая ворона, все-таки юрист с Уолл-стрит, но рядом с президентом, рядом с ближайшим окружением президента, особенно выходцами из Джорджии, по всему, начиная с манер, он выглядел настоящим старомодным джентльменом. Нисколько не ошибся подметивший это наблюдатель.

А по Вашингтону расползались еще и слухи, исходившие от Бжезинского и его помощников в аппарате совета национальной безопасности, будто государственный секретарь только и думает о том, как бы ему проявить «мягкость» и пойти на уступки Советскому Союзу. Человек опытный, сдержанный, исполнительный, к великому племени поддакивающих Вэнс не принадлежал. Со всеми другими спорил, отстаивал свою точку зрения, а у себя в кабинете на седьмом этаже государственного департамента мог даже опустить ладонь на крышку стола со словами: «Я считаю, что единственный способ решить данную проблему — это сделать то-то и то-то», но перед президентом он сникал, соглашался с ним, даже если самому приходилось уступать. Знал, что Картер хочет единолично командовать парадом. Да и многие это знали.

Поначалу как будто соглашавшийся и с Уорнке и с Вэнсом, президент дал указание добиваться договора с русскими на пять лет. Ну что ж, пять так пять. По мнению советской стороны, в создавшихся условиях это было приемлемо. При поддержке Шлесинджера д-р Агню и его напарник по Ливермору прореагировали так бурно, что уже через несколько недель Белый дом — пока негласно — пошел на попятный. Не пять, а три года и ни днем больше. Картер то поддерживал Уорнке, а то бросил его. Такой был человек.

Когда Уорнке ему был нужен, Картер за него вступился, даже публично сказал, что сомневается в искренности тех, кто возражает против его назначения на пост главы американской делегации на переговорах по ОСВ и параллельно о запрещении всех ядерных испытаний. У ястребов к Уорнке был особый счет. Против бомбежек Северного Вьетнама возражал... Достаточного скептицизма в отношении мотивов Советского Союза не выражал... Для некоторых одна фамилия Уорнке стала поэтому красной тряпкой. А какие-нибудь Эванс и Новак по совокупности подобных «обвинений» заклеили его идеалистом-либералом. Утверждение проходило с большим скрипом. Сенатор Джексон набрал против него 40 голосов. А голоса против Уорнке были голосами против будущего договора об ОСВ. Со временем за одно это Картер, почти всегда на людях притворявшийся сущим христосиком, мог тайно невзлюбить руководителя своей делегации в Женеве. А возможно, за спиной президента скрывался Бжезинский. С Уорнке они были, что называется, на ножах. Не сошлись во взглядах, и отставка «идеалиста-либерала» фактически была предreshена.

Для американской делегации еще не были сочинены новые инструкции, вопрос обсуждался в совете национальной безопасности, а голоса директоров двух лабораторий — обычно не очень слышные, секретность все-таки — прозвучали в полную силу в тот самый момент, когда на Капитолий явился напористый помощник министра энергетики по военным программам Дональд Керр. Еще один подголосок ястребов. Испытания необходимо продолжать, объявил он, но уж если соглашаться на какой-то срок, то только для того, чтобы хорошенько подготовиться к их возобновлению и наверстать упущенное. Все равно Советский Союз испытаний не прекратит — лично Керр ни минуты в том не сомневается... А в тоне слышалось: хорошо бы обойтись без этого треклятого договора вообще, свести его на нет, выбросить в мусорную корзину, похоронить. А минимум, уж куда ни шло, — либо неограниченные испытания мощностью до 5 килотонн, либо ограниченное количество взрывов до одной мегатонны.

А мегатонна, кстати, не фунт изюма — миллион тонн толовой взрывчатки. Одна бомба такой мощности может разрушить даже самый крупный город, а несколько — парализовать целую страну. Объяснение принадлежит д-ру Визнеру.

Сторонников контроля ужаснули заявления Керра. Как, да ведь можно же дать стопроцентную гарантию надежности американского ядерного арсенала на весь срок договора! Такой была мотивированная точка зрения Уорнке. Ястребы отказывались ей внять. А на самом-то деле Америка могла быть уверена в своем ядерном оружии в течение какого угодно времени (даже при условии полного отказа от испытаний). Это уже мнение авторитетнейших физиков Брэдбери, Гарвина и Мэрка.

В сенате выступил Эдвард Кеннеди.

Он не из тех, кому лоббисты, теснящиеся в кулуарах, осмелятся подсказывать, как голосовать — большой палец кверху (за) или большой палец книзу (против). — что случается сплошь да рядом. А уж звонок, созывающий в зал заседаний, тем паче врасплох его не застанет — свое время он знает, важное голосование не пропустит. Оратор он что надо. На трибуне всегда очень эмоционален. Говорит зажигательно. Обладает даром убеждать. Для него слова что клавиши. Болельщики футбола, любители джаза — один как будто черт, buffs есть buffs, как ни переводи. Но эти любители ядерных испытаний, эти приверженцы идеи бесконечного отравления жизни на земле, эти ее поклонники и сторонники, даже почитатели, они не брезгают никакими аргументами, чтобы отдалить наступление того дня, когда Америка перестанет взрывать ядерные устройства хотя бы под землей...

Повторы, идущие крещендо, производят сильное впечатление. Как у всякого хорошего оратора, у него свои приемы. Очень помогает окружающий его ореол. Раз он Кеннеди, ему нельзя не быть впереди. Когда пафос достиг наивысшей точки, можно было понять его и так: на то они и потерявшие голову, осатанелые, ошалевшие, выходящие из себя buffs, чтобы все время откапывать доводы в защиту своих кумиров — ядерных грибов, грибочков.

Ни аргументы, ни доводы ястребов доверия не внушали. А Кеннеди пускай жаргонным, хотя и общепотребительным словом хотел пронять всех отказывающихся взглянуть опасности в лицо, вызвать у них беспокойство сродни его собственному, завербовать новых противников гонки вооружений. Он бил в одну точку. От членов сената требуется поддержка резолюции № 124 о полном запрещении ядерных испытаний. А сам перестал бы быть Кеннеди, если б не вошел в число ее соавторов. Чем и подтвердил правоту избирателей, позднее, в ходе опросов, отметивших знание им национальных проблем и способностей к лидерству. Многие согласились с тем, что при чрезвычайных обстоятельствах он способен теперь рассуждать трезво. Великодушные тут ни при чем. Былые грехи молодости раздували враждебно настроенные газеты. А возраст и опыт брали свое, и он внушал людям доверие.

Многих ему удалось убедить. А главный козырь лежал у него в кармане — он достал и зачитал копию открытого письма трех физиков президенту Картеру. Это тоже был голос Лос-Аламоса, но той поры, когда на правах ближайших помощников Бора, Оппенгеймера, Ферми, Кистяковского и других по крайней мере двое из троих, Брэдбери и Мэрк, принимали участие в создании первых атомных бомб, держа в уме Гитлера. И письмо против ядерных испытаний подписали потому, что были убеждены: пора с этой глупостью кончать.

Без испытаний усовершенствование уже имеющихся ядерных устройств, боеголовок, бомб, боезарядов, их качественное улучшение и миниатюризация натолкнулись бы на неодолимый барьер. Те же «Першинги» и крылатые ракеты, предназначенные для Европы, хоть частично, а были бы заранее обезглавлены. И для ракет «МХ» пришлось бы удовольствоваться уже имеющейся боеголовкой «Мк-12А». Полный запрет нужен как воздух. Будут запрещены все испытания и всеми — перестанет быть такой безудержной гонка ядерных вооружений. Связь тут прямую.

Больше, меньше заслуга Кеннеди, а судя по опросам, три четверти американцев поддержали в то лето полное и всеобщее запрещение ядерных испытаний. Почувствовали их опасность, рискованность, ненужность. Но если сам президент не рвался в бой, то вот и результат: договор висит в воздухе. Месяцы переговоров пошли прахом. Даже позднее, когда Советский Союз внес предложение о годичном моратории на любые ядерные взрывы, американская сторона пребыла глуха и нема.

Надежды Кеннеди не сбывались. Резолюция № 124 пылилась в канцелярии сената. О ней и вовсе бы забыли, если б не он. На каждом шагу правым виделось предательство национальных интересов. Мстили и за «В-1», и за договоры о Панамском канале, и за Уорнке, и за то, что земля круглая, а день сменяется ночью, ночь же — днем. Само собой, и за резолюцию № 124 тоже.

А Кеннеди и сегодня верен себе. Своим предложением о замораживании производства, испытаний и развертывания ядерного оружия, внесенным в сенат совместно с республиканцем Марком Хэтфилдом, он всколыхнул общественность по всей стране. Людей не оставляют равнодушными заявления такого рода: «Я убежден, что Советский Союз полон решимости сесть за стол переговоров и договориться о сокращении и ликвидации ядерных арсеналов». Говорит ведь не кто-нибудь, а Кеннеди. И сами собой возникают вопросы к Белому дому: а мы? стремится ли Америка всерьез к таким переговорам? Толчок к размышлению дан. Прозрение — удел не всех. Настроения меняются у большинства.

С точки зрения правых, новые прегрешения Кеннеди вытекают из старых. От нейтронной бомбы нос воротил? Воротил. За ратификацию Договора ОСВ-2 без всяких поправок был? Был. Кампанию против ядерных испытаний вел? Вел. И это ведь не все. Да разве можно такого прощать?!

Его клеймили массачусетским либералом, а он день за днем повторял, пока обсуждался вопрос о ядерных испытаниях: запретить, запретить, запретить... Увы, президентом был не он, а Картер. Оправдания последнему нет. Каким он был, таким оставался до конца. За улыбку прятал коварство. Таился даже от своих министров. Умел говорить сладким голосом, но исподтишка строил комбинации. Выслушивал Вэнса, а полагался во всем на «друга Збига», да еще и стравливал их. Вообще обнаруживал изворотливость дьявольскую. Но шел на поводу не у одного Бжезинского. Главную свою зависимость скрывал, как грех или тайный порок. В мечтах заносился и видел себя великим президентом. Легко пришел к тому, что целью стал оправдывать средства. Для горячего поклонника Трумэна вполне закономерный итог.

На него, правда, оказывался нажим, о котором полностью не узнать. За кулисы вход воспрещен не только в театре. Но его податливость не была тайной. Не объяснялась ли она в данном случае влиянием Лос-Аламоса и Ливермора? Не прямым, конечно, а через Пентагон, через Шлесинджера, входившего в кабинет. У Картера он пользовался полным доверием. Сближало их присущее обоим сочетание высокомерия и самодовольства. Приходится опять копаться в психологии.

Одному ударила в голову победа на выборах, легко объяснимая в свете Вьетнама и Уотергейта. На «ВВС-1» летает не кто-нибудь, а он. Приветственным маршем оркестр ВМС встречает его. Салюты из 21 залпа в иностранных столицах дают в честь него, на него глазуют и толпы зевак по пути следования президентского кортежа. Без всего этого он остался бы первым человеком Плейнса (штат Джорджия, 683 жителя на конец 1976 года).

А другой, Шлесинджер, слыл просто очень большим умником. Картер любил говорить о себе, о чувствах и переживаниях, с раннего утра распивавших ему грудь. Явный эгоцентризм. А Шлесинджер даже молчал так, словно никого умнее и значительнее его во всем свете не было и нет. Диагноз, в сущности, тот же. Как бы слепленные из одного теста вплоть до голубых ледяных глаз, что Картер, что Шлесинджер, оба отличались и холодным умом. Считалось — аналитическим. Правильнее будет — расчетливым. Могли развязать любую проблему, выжать, обескровить и умертвить ее, а останки прикрыть флером из высоких слов и восклицаний. Но если по части умственной вивисекции Шлесинджер все-таки мог дать Картеру фору, то в фарисействе и морализировании хозяин Овального кабинета давал уроки Шлесинджеру.

При Форде последний иногда еще позволял себе обращаться к другим участникам заседаний так, как если бы кресло президента пустовало, — демонстрировал свое интеллектуальное превосходство. А с Картера он не спускал глаз, и случалось, что одна пара ледяных зрачков отражалась в другой. Зато и Картер внимал каждому слову своего министра энергетики. Часто и подолгу они наслаждались обществом друг друга без свидетелей, благо и предлог был — энергетический кризис. Но в один из дней Шлесинджер лично передал в секретариат президента в Белом доме письмо по поводу ядерных испытаний. Хотя он всегда имел доступ к уху президента, а на этот раз порога Овального кабинета не переступил. Прием необычный. Вызов не вызов, а вроде брошенной перчатки. Чем и вызвал фурор. Ультиматум? Президенту?! У секретарей,

принявших письмо как дипломатическую ноту, вытянулись лица. «Isn't Jim getting too big for his breeches?» («Не слишком ли он задирает нос, этот Джим?»). А на самом-то деле он знал, что президенту нужен был подобный демарш. Возможно, тот его ждал, а возможно, сам и подсказал, зная, что Шлесинджер и компания все равно откажутся поддерживать договор, если он будет представлен на рассмотрение сената.

Об ультиматуме разблаговестили газеты. Что нажим — то был настоящий прессинг. Но Картер охотно пошел ему навстречу. Удобно: и с ястребами у него лады, и голуби видят в нем человека, склонившегося исключительно перед силой. Видит бог, не хотел, а не мог не уступить. Тому доказательством и дежурная улыбка. Мягко-жестким — на все вкусы — он и был.

Президент-демократ Картер легче и непринужденнее чувствовал себя с консерватором-республиканцем Шлесинджером, чем с кем-либо еще, и оба пребывали в восторге друг от друга. До поры до времени, как оказалось. Живые люди оценивались президентом, как фигуры на шахматной доске, — с точки зрения новой, более выгодной лично для него комбинации.

Не миновал своей участи и Шлесинджер. За место он не держался. Раньше тоже отовсюду уходил с чувством исполненного долга. Самодовольный был человек. А теперь и нейтронная бомба готова, и переговоры о запрещении всех ядерных испытаний отложены в долгий ящик, и разработка новых боеголовок могла пойти без задержек. Иначе бы Картер с ним не расстался. Но тот задумал и некий ход, связанный с подписанием Договора ОСВ-2. Если не быть, то хоть казаться великим президентом хотелось, как есть и пить. Даже сильнее. На бумаге было гладко — глаже нельзя. Он едет в Вену. Ястребам преподносит новую «стратегию контрсилы», при живом авторе, Шлесинджере, воплощенную в президентской директиве № 59. Начинает готовиться к триумфу на выборах. Еще один четырехлетний период в Белом доме ему обеспечен. А постоянно конфликтующий с сенаторами и рассуждающий об американском отставании от Советского Союза Шлесинджер на каком-то этапе мог стать для президента помехой. Даже политической обузой.

Картер не почувствовал никакой вины, а Шлесинджер обиды. У некоторых людей верность и неверность могут сменять одна другую по мере надобности. Вчера то, а завтра это. Все прочее — сантименты. Картеру надо было дошлифовать моноцентрическую систему своего правления. Разве не оправдание? А стоило ли горевать Шлесинджеру, когда его поджидало место консультанта в известной фирме Лимэнов на Уолл-стрит, да еще с окладом больше, чем у президента? «Сильный аналитик» был нарасхват. Та самая интеллектуальная надменность, которая, кажется, у него в крови, соблазняла многих. Хотя многих и отталкивала. Се человек? Был бы им, коли б не был... Шлесинджером.

И полугодом после того не прошло, как перед Дональдом Керром открылись двери в Лос-Аламос. Д-р Агню, прежний директор, со щитом удалился. Д-р Керр сел на его место. Первого Шлесинджер поблагодарил, второго благословил. Очень сильная дружина толкала Керра наверх. Ведь что такое помощник министра хотя бы и по военным делам? Правая рука, а все-таки чиновник какого-то там средневысокого ранга. Нужно ездить в конгресс, отвечать на вопросы, одним сенаторам поддакивать, других уламывать, на третьих что есть силы давить; а тот же Кеннеди разве был ему по зубам? А что такое директор Лос-Аламоса? О, это совсем, совсем иное дело. Кругом единомышленники. Все говорится открытым текстом. В Пентагон вхож. С фирмами — прямая связь. У ворот охрана — МР. Военная полиция, как положено. И на трусливых либералов, на чистюль из академических кругов можно теперь плевать. Верно, что университетские бездельники, как любил их называть Никсон. Запомнят они и Керра до конца дней... Внутренних монологов не чужды даже керры. Фигура он злоеца. Кому-то от него могло здорово не поздоровиться. Осознавшим свою ответственность ученым прежде всего. А ястребам он приглянулся.

Близилась к завершению переговоры об ОСВ-2. Общественность не скрывала нетерпения. А Лос-Аламос и Ливермор уже грызлись — кому конструировать новую боеголовку для ракеты «МХ». Сотрудничество не исключало соперничества. Конечно, свои бранятся — только тешатся, но, спасибо президенту, полный запрет на испытательные взрывы им больше не грозил. А процедуру утверждения новых образцов ядерного оружия Керр знал лучше других. Министр обороны Браун обратится к министру энергетики Шлесинджеру. В официальном письме будут изложены все характеристики за-

прашиваемой боеголовки, и непосредственному шефу Керра останется только решить — одной лаборатории засучить рукава или обеим. Генералы ВВС требовали «игрушку» мощностью в 400 килотонн, по меньшей мере раз в двадцать превосходящую ту, которая была сброшена на Хиросиму. Придется, наверно, обойти ограничения на подземные испытания. На каком этапе и как — будет видно. Но «МХ» — задание на сегодня и завтра, а в планах на послезавтра — лучевое оружие. Без работы сидеть никто не будет, а Керр, в свою очередь, расшибется в лепешку, но доверие оправдает.

На башню из слоновой кости Лос-Аламос не похож. И чистой наукой там не пахнет, и от бурь времени не спасает, хотя «край света», как говорил Оппенгеймер. Наоборот — бури-то для всего света Лос-Аламос и готовит, приближает. Не простые — ядерные.

Честные ученые все пытаются расследовать и предать огласке влияние милитаризма на науку. Это трудно. Для чужих глаз Лос-Аламос закрыт не на семь, а на семьдесят семь замков. Военной лаборатории крышу дает Калифорнийский университет — учреждение чисто гражданское. Ежегодно только за вывеску ему переплачивает около 4 миллионов. Кажется, ни за что ни про что, да и не ахти сколько. Но аномалия не в том. Результаты фундаментальных исследований на кафедрах используются разработчиками оружия. А что без ведома самих исследователей — не извиняться же перед ними. И когда чисто случайно в университетском архиве нашелся машинописный листок, отнюдь не безобидное письмо ученому соседу, подтвердилось главное — дух, царящий в этой святой святых военно-промышленного комплекса.

Есть такой служебный жанр — мем о. Производное от слова «меморандум». Но означает и нечто вроде деловых заметок — на память для себя, к сведению коллег, для информации и последующего исполнения. В данном случае обращается главный менеджер Лос-Аламоса Уильям Дил к помощнику директора Эдварду Хэммелу. Старший, стало быть, наставляет младшего, начальник — подчиненного. Главный менеджер ведь тоже босс. Рука об руку с д-ром Агнио он до Керра заправлял в лаборатории всем. Полномочия широкие, возможности неограниченные. А тон записки говорит о немалых и личных претензиях. Вот текст, практически не получивший распространения в Америке:

«В последние годы меня тревожит то обстоятельство, что большинство американцев не понимают, почему у нас есть ядерное оружие.

В самом деле, они испытывают такой страх перед ним, что их ответы на вопросы о ядерном оружии лишены, как правило, элемента здравого смысла.

Причина же в действительности очень проста — чтобы сохранить нашу свободу.

Поведение Советского Союза имеет в своей основе единственную декларированную цель — мировое господство.

Таким образом, имеющееся у нас ядерное оружие должно защитить наше право на образ жизни, который мы избрали.

Зло не в ядерном оружии, а в том, от чего оно нас защищает. Мао сказал, что винтовка рождает власть. Мы нуждаемся в такой власти, чтобы сохранить наш образ жизни. Наша винтовка — это ядерное оружие.

Наша свобода расцветет в грибовидном облаке».

Полемизировать тут особенно не с чем. Судя по заключительной фразе, ложь о советской угрозе готовы даже поэтизировать. Ей нельзя отказать и в образности. Но правды в ней нет. Ничто не расцветет в грибовидном облаке. Земля превратится в страну Зазеркалья. Все станет наоборот. Живое мертвым. Зеленое незеленым. Обесцветится красное, желтое, голубое. Все и всюду будет цветя цвета пепла. Что не сгорит, не испарится и если не улетучится, то опустит лепестки, крылышки, руки — кто что. Увянет, поблекнет, сникнет, съжигается, сморщится и скрючится. А вспоминая одно не очень легкое словечко, раскритикованное со всей горьковской страстностью и любовью к родному языку и непримиримостью к тем, кто его коверкает, засорит, а то и просто губит, вызывает в нем белокровие, пожалуй что все-таки и с к у к о ж и т с я. Очень будет на то похоже. Не к добру, а слово может ожить, как бы заново родиться, когда жизнь кругом станет умирать.

Зато автор раскрывается до конца. Ему очень бы хотелось навязать большинству американцев извращенно-параноидное восприятие окружающего мира. Дьявольским зельем послужит вкальваемым лошадиными дозами антисоветизм. Чтобы на ядерных бомбах люди прижились бы и жили, даже ощущали бы под ногами твердую

почву, а на зеленой лужайке им было бы не так удобно — как будто что-то слегка их даже покусывало бы, а что-то малость и щекотало. А уж если взять самую суть, главный менеджер Дил недогнувшей рукой перевел на язык дидактической прозы то, что лет за тридцать до него спрессовал в одну фразу «великий мозг» Теллер: «Для мира мы нуждаемся в оружии!» — а задолго до Теллера древние агрессоры выразили еще лапидарнее: хочешь мира — готовься к войне.

Всегда отвратительно лицемерие внутри одной семьи. Знает ведь, что в подунном мире Америке ничто не угрожает, если не считать ее внутренних проблем, а ближнему внушает обратное. И гриб видится ему не над Америкой, конечно, а над другими странами, точнее — над Советским Союзом, хотя страху он нагоняет на соотечественников. Значит, когда подобные люди говорят — оборона, они подразумевают наступление, когда защита — нападение, когда ответный удар — то первый и когда упорно твердят про господство над миром других, сами во сне и наяву видят американское господство над другими. Аморализм? Налицо. Деградация личности? Еще бы нет. Рекорд безответственности? Да какой. Безответственность? Абсолютная. Ни грана истинного патриотизма и гражданского чувства. А дело-то серьезное.

И вот если публицист назовет Лос-Аламос просто кузницей оружия, пускай даже наисложнейшего, то будет прав только отчасти. А влияние на политику? Диалектика такая: всегда, при всех администрациях имевшая своих адептов в Белом доме или возле него, силовая политика неизбежно ведет к гонке вооружений, оружие же толкает на край пропасти американскую политику.

Лос-Аламос похож на государство в государстве. Президенты приходят и уходят, а системы оружия одной администрацией передаются другой, как семейный капитал. Недоделанное при демократах доделывается при республиканцах. Процесс не прерывается. Если оценивать всю послевоенную политику Америки с этой стороны, она была неизменно двухпартийной с большими или меньшими отклонениями от такой сквозной линии.

Нельзя переоценивать определяющую роль оружия — считаться с ней следует. Тот, кто первым чувствует преимущества новой системы и предлагает ее Пентагону, или, наоборот, тот, кто заранее придает ей желательные заказчику качества и свойства, тот влияет и на внешнюю политику и на военную стратегию. Недаром они sophisticated. И зависит от них многое. Пример? Трумэну нейтронная бомба показалась бы игрушкой. Он по-миссурийски упивался грубой атомной мощью. Соответственно, при нем стратегия варьировалась в пределах плана «Дропшот». 300 водородных бомб — и Советскому Союзу конец. Даже на бумаге было гладко лишь до той поры, пока не стал реальным ответный ядерный удар через океан (а точнее — через Северный полюс). Произошло это быстро. А самоослепление не покидало атомщиков долго. Наконец «отбрасывание» уступило место «устрашению». От «массированного возмездия», «сдерживания», «гибкого реагирования» и «взаимного гарантированного уничтожения» — равновесия, паритета по-каннибальски, со временем испугавшего самих каннибалов, — решили перейти к доктрине ограниченной (а теперь уж, похоже, и сверхограниченной) тактической ядерной войны. Толчок дала предложенная ливерморскими учеными нейтронная бомба. Генералам открылось, будто уже не порог, а порожек нужно перешагнуть, чтобы хоть всю Европу, хоть любую ее часть по собственному выбору сделать ТВД, оставив при этом Америку и вдалеке и в стороне, а главное — в целостности и сохранности.

Как самый подходящий вариант «европеизации ядерного риска» такая война привиделась им даже ограниченной дважды — и полем боя, и взрывными устройствами, дающими волну только лучевую. Мило, спокойно, доходно. Можно и перчаток не снимать. Это не столько стратегия, сколько философия. Столько же обманная, сколько самообманная. На ее опасность через печать указали еще Картеру виднейшие советские ученые. Потому ведь и оружие массового поражения, что и ударная волна, и тепловое излучение, и радиация, и радиоактивные осадки — больше, меньше, а все будет. Но buffs останутся buffs. Собираясь баловаться ядерными спичками, эти болельщики, эти любители, эти почитатели научно-технических новинок не подумали о мировом пожаре. Притворяются, будто не ведают, что идут дорогой, ведущей все равно к катастрофе. Надеются на собственное везение. Не понимают, что призывы советской стороны к благоразумию, готовность ее к переговорам вплоть до полного извращения европейского континента от ядерных средств средней дальности и тактических — это

не признак слабости. Заблуждаются даже те, кто сидит повыше менеджера Дила. В Пентагоне, в Белом доме.

Если грибовидное облако, по Дилу,— это гарантия свободы для одних, то для других, для тех, кого оно накроет с головой, это верная гарантия гибели. И что же, таким приговоренным к ядерной смерти странам и народам безропотно покориться своей участи, бухнуться на колени и просить о пощаде? Западная Европа ответила взрывом подлинно народного негодования. Объединились практически все слои общест-венности, и потому нынешний подъем антивоенного движения — настоящее воле-изъявление миллионов.

Слова о свободе, расцветающей в ядерном облаке, не мог написать научно мыс-лящий, по выражению Резерфорда, просто человек, чьи достижения полезны всем другим. Чтобы глубже проникать в тайны природы, предупреждал великий физик, нельзя ожидать прихода сверхлюдей. А вот они и появились — из Лос-Аламоса.

У этой тройцы, у Дила, Агню и Керра, мнящих себя элитой, но впитавших самые примитивные догмы антисоветизма, своего за душой очень мало, если не сказать — нет ничего. Что там опасность для мира, для человечества: индивидуализм, непомерное честолюбие, а возможно, и несбывшиеся надежды на фоне успехов действительно ода-ренных и действительно крупных личностей, элементарная зависть, наконец,— все мо-жет вылиться у таких, как они, в мизантропическую агрессивность. А ведь дилы, агню и керры вершат и современной политикой в Америке и наукой, у них в руках и потрясающие открытия, сделанные другими, и сами эти первооткрыватели, способные на новые озарения, возможно еще более полезные, а возможно и еще более опасные для будущего человечества, в зависимости от того, кто ими воспользуется. И разве можно быть уверенными в том, что жажда всемирной власти не ускорит по-явление политических геростратов, одурманенных мегаломанией и потому вдвойне и втройне опасных в такое сложное и тревожное время, как сейчас.

Контроль над ядерной кнопкой принадлежит президенту. С ним неразлучен офи-цер, одетый в штатское, которого называют человеком с черным чемоданчиком. Он повсюду сопровождает верховного главнокомандующего, чтобы тот в любой момент, где бы ни находился, мог отдать нужные приказы на случай ядерной войны. Всегда было именно так. А теперь, кажется, есть нововведение. У президента Рейгана при себе особый жетон. Наравне с карманными деньгами или водительскими правами — в бумажнике. На нем секретный код. Запустить с его помощью ядерные ракеты почти то же, что щелкнуть зажигалкой и закурить. Мал, да удал жетончик-то? Все будет зависеть от чувства ответственности хозяина бумажника. А черный чемоданчик остае-ся символом угрозы, висящей над миром двадцать четыре часа в сутки.

Когда полномочия на использование ядерного оружия хоть частично перейдут к Пентагону, вдвойне резонным станет вопрос: а что, если война возникнет по ошибке, по просчету, по злой воле? Вследствие предельной готовности стратегических сил, психиче-ского состояния обслуживающего персонала, исколотого занозами «советской угрозы», возможен несанкционированный пуск ядерного оружия. В роли герострата опасен ду-шевнობольной или злоумышленник. Реален и межеумок, потянувшийся к кнопке «ради интересу». Я не хочу, чтобы какой-нибудь сержант развязал третью мировую войну, сказал президент Кеннеди. На тихоокеанском театре он порядком навалился низких лбов и челюстей, перетирающих резинку. Но президент не уточнил: лбы лбами, а все-таки одурманенный наркотиками и оболваненный антисоветской пропагандой — не про-сто же сержант. Вполне может оказаться на его месте и своевольный генерал с одной звездочкой, которому обойти контроль будет даже легче.

В картеровские времена был год, когда ядерная тревога объявлялась почти 50 раз. Срабатывает инструкция. Стратегические силы приводятся в состояние боевой готов-ности. Между исправлением ошибки и выполнением команды «запуск в момент пре-дупреждения» пролетают минуты, которые короче секунд. На этаким-то волоске мир и висит. Страх, не покидающий людей даже на КП, плохой советчик. А если за первой ошибкой последует вторая, за ней третья и т. д., какая-то может оказаться роковой. Сможет ли президент ее предотвратить? И успеет ли? Не пойдет ли в ход жетончик из бумажника? Не откроется ли какой-нибудь чемоданчик или сейф раньше времени? Не полетят ли в ракетные подразделения, на базы ВВС, экипажам бомбардировщиков, круглосуточно находящимся в воздухе, подводному флоту ВМС, пребывающему в по-

груженном состоянии, приказы, неадекватные ситуации? Момент можно назвать критическим.

Если бог создал мир за семь дней, включая день отдыха — рабочая неделя с уик-эндом, — то в день x , который оттого и x , что неизвестно, когда наступит и наступит ли вообще, судьба цивилизации может решиться в считанные минуты и часы. Целого дня для мировой катастрофы будет слишком. Как ползло само время в прежние века, так тянулись войны. Что Столетняя, что Тридцатилетняя. А Семилетняя совсем близко к нам. Поверить в нее легче. По длительности почти как первая мировая (меньше пяти лет) или вторая (шесть дней в день). А тут и дня много? В голове не укладывается. Это потому, что психологически люди к ней не готовы.

Смотрите, приглашает д-р Кистяковский, что будет, когда мегатонные боеголовки горохом посыплются с неба. Грибовидное облако каждого отдельного термоядерного взрыва всосет великое множество обломков бетона, кусков породы, камней, щебня, земли, песка и пыли. За несколько минут из них вырастет гигантская башня. Столпотворение будет похлеще вавилонского. Но люди будут не в толпы собираться, чтобы сотворить столп, а разбежаться врассыпную кто куда. Да от такого, в сущности тоже рукотворного, столпа далеко ли убежишь?.. Потом все, что поднимется до самой стратосферы и выше, начнет падать на землю.

Что будет именно так, сомневаться не приходится. Уже проверено на практике, когда в начале 60-х годов было проведено особенно много испытаний ядерного оружия в атмосфере. Выявилась такая пропорция. Боеголовка мощностью в мегатонну, взорванная на земле, поднимает в воздух вместе с грибовидным облаком около миллиона тонн всевозможных частиц и обломков. А если в 10 мегатонн? А в 25? Значит, соответственно, в 10, в 25 раз больше и т. д.? А если грибов будут десятки, сотни, тысячи одновременно? Если по земной поверхности пройдет смерч, составляющий и м и которого будут волны ударные, тепловые, лучевые от десятков, сотен и тысяч ядерных взрывов, — не одни же обломки? Земля превратится в ад крошечный. Наступит светопреставление. Начнется то смертоубийство, когда смерть будет разлита по всюду.

Из всего, что определяет современную ситуацию в мире, нет ничего важнее советско-американских отношений. От них зависит будущее — куда двинется мир, остановившийся перед развилкой, о которой говорил Л. И. Брежнев. Либо мир и мирное сотрудничество между всеми государствами, либо «холодная война» и опасное балансирование на грани войны настоящей. Третьего не дано.

В смысле обороны положение Соединенных Штатов нельзя считать ни отчаянным, ни непоправимым. С таким признанием, опровергающим вопли ястребов, девятый по счету председатель комитета начальников штабов генерал Джоунс выступил еще на старте рейгановской администрации. Оно отражает реальность. Никакой угрозы извне для Америки нет. Вот если бы он имел в виду экономику или финансы, тут дело было и есть швах по-прежнему. Но он высказался только по своей части, где до отчаяния далеко, как до луны, а поправлять просто нечего, и случайная проруха четырехзвездного генерала тем была ценна, что авансом опровергала нынешнюю милитаристскую кампанию Белого дома.

А у д-ра Кистяковского за плечами такая жизнь, столько думано-передумано и так критически пересмотрено, переоценено и отброшено многое из того, во что верил раньше, а то, что понял и во что поверил с того момента, как поумнел, объективно представляется ему настолько единственно разумной точкой зрения, что он ни на секунду не задумывается над вопросом: что подрывает безопасность Америки? Отвечает: истерия. Без агрессивных и хорошо финансируемых кампаний (все его слова) гонка вооружений выдохлась бы. А она не выдыхается. Благодаря кому и чему?

В комиссии палаты представителей по делам вооруженных сил, где «великий мозг» Теллер свой человек, весной того года его не слушали — ему внимали. А он, как ракета с боеголовками индивидуального наведения, метил сразу в несколько целей. Стратегического превосходства следует добиваться уже в лабораториях. Начало там, у грифельных досок, с которых обсыпается мелок, не поспевающий за бегущей мыслью. Реальное значение имеет качество идей. Как в случае с любым товаром, высокое качество полагается поощрять. Иначе: чем идеи лучше, тем дороже. Гонка технологии требует увеличения средств на НИОКР. Но Теллер-идеолог и Теллер-

политик не мог не плеснуть бензинчика в пламя той истерии, о которой предупреждает д-р Кистяковский.

Фраза о русских, обогнавших Америку по числу ракет и, следовательно, угрожающих ей если не каждую минуту, то каждый час, должна была обдать слушателей жаром, опалить, даже обжечь их. Она и опалила и обожгла, хотя была лживой и провокационной по существу. Это бикфордов шнур. По нему бежит струя огня, сравнимого по температуре с горячей плазмой. Мгновенно воспламеняются лоббисты, и цепную реакцию ассигнований и военных заказов не остановить уже ничем. После Теллера есть на кого сослаться и генералу, прибывшему в конгресс из Пентагона. «Яйцеголовым нельзя не верить. Свое дело они знают. Слушайте, джентльмены, слушайте!» Последняя точка поставлена. Пока бушует истерия, гонка вооружений будет жить да здравствовать.

Покою не дают ястребам советские ракеты. По Договору ОСВ-2 Советский Союз может иметь 820 наземных пусковых установок для МБР с боеголовками индивидуального наведения. Ну, допустим, 300 из них тяжелые. На Западе распространяют именно такую цифру и там же, на Западе, их окрестили «СС-18». Так называет их и д-р Кистяковский. Ну, допустим, как утверждают дальше генералы Пентагона, что они обладают очень высокой точностью, если, конечно, приводимые цифры соответствуют действительности.

Но зачем столько нервных клеток изводить, доказывая, будто советские ракеты создают смертельную угрозу для ракет американских, находящихся в своих бетонированных шахтах. Так ли это? Да нет, отвечает д-р Кистяковский, Пентагон не только постоянно, но и невероятно преувеличивает угрозу. Как-то странно опровергать то, чего не будет никогда, ни при каких обстоятельствах. Наш первый удар по Америке — вещь просто невысказанная. Осведомленные люди относят его к области фантастики и там. Но ястребы твердят свое — мы уязвимы, мы беззащитны, ответить на удар даже не успеем... И распространяют эту ложь по сей день.

Вот правые провалили Договор ОСВ-2. Говорить спокойно на такую волнующую тему д-р Кистяковский не может. «Это самая настоящая трагедия». Да и чего было ожидать от Картера, если тот поставил знак равенства между собственным благополучием и благополучием страны, а свои личные интересы, прежде всего переизбрание на второй срок, считал чем-то главным. Государство — это я. Будто на дворе у нас XVII или XVIII век, возмущается Кистяковский. А ястребам, получившим на растерзание Договор ОСВ-2, по примеру президента оставалось только сказать: Америка — это мы.

Что ж, Америка осталась бы в накладе, если б сенат его ратифицировал? Отнюдь нет. Он был ей и исключительно выгоден по целому ряду очень важных причин. Таково мнение объективных специалистов типа Уорнке, Сквилла и других. Никто из них не утверждает, что ОСВ-2 — это панацея. (Да идеальных соглашений и не бывает, о чем предупреждал еще Рузвельт.) Но, по словам д-ра Кистяковского, несмотря на довольно высокие уровни ракет с многозарядными боеголовками, согласованные обеими сторонами, ОСВ-2 все-таки лучше, чем ничего. А без Договора, считает он, может случиться так, что безопасность Америки будет ослаблена и американцы обнаружат, что на всех парах идут к ядерной войне. Серьезное предупреждение. Ведь если бы напряженность, недоверие, подозрительность уменьшились, одно это уже дало бы эффект. Налицо, однако, были бы еще и непосредственные выгоды для безопасности Америки.

Во-первых, ОСВ-2 ограничивал число боеголовок индивидуального наведения на одной ракете десятью. А теоретически она способна нести их и 20 и 30. Сам собой как будто напрашивается простейший способ увеличить боевую мощь. Так плюс это или минус для другой стороны, если на советских ракетах будет только по 10 официально разрешенных боеголовок? Кажется, двух мнений быть не может. А когда президента Рейгана спросили, в чем он усматривает неравенство, будто бы выгодное Советскому Союзу и невыгодное Америке, тот не задумываясь ответил: нельзя проверить количество боеголовок, установленных на ракете. «У нас нет метода, позволяющего это сделать». Для первой пресс-конференции в Белом доме вопрос был очень важный, и президента быстро уличили то ли в незнании, то ли в сознательном искажении: неправда ваша, г-н президент. Договор ОСВ-2 в действительности весьма кон-

кретен на сей счет; он предлагает такие методы верификации, которые позволяют точно определять количество боеголовок на стратегических ракетах. А без него это было бы как раз невозможно.

Во-вторых, советской стороне пришлось бы несколько уменьшить общее число носителей стратегического оружия. Л. И. Брежнев назвал цифру — 254 единицы. Что и сколько бы Америка от этого потеряла? А ничего и нисколько. Только бы выиграла. А если нынешняя администрация, похоронившая Договор ОСВ-2, к тому же и отступит от него, Советский Союз вправе будет задуматься — а стоит ли еще их сокращать?

В-третьих, устанавливался предел для ракет «СС-18». Этому факту, очень эмоционально признается д-р Кистяковский, он придает величайшее значение. В сущности, все стало как на ладони. Отпал главный козырь в руках правых. Ну и что, что у русских триста таких, соответствующих положениям Договора ОСВ-2 тяжелых ракет? Сами же выбрали триаду — МБР, бомбардировщики и подводные лодки, сделав главную ставку на вторые и третьи, а также на крылатые ракеты большой дальности и разместив основную массу новых боеголовок — несколько тысяч — преимущественно на подводных лодках. Вот как примерно отвечают ястребам типа Кистяковского. И они правы. «Дестабилизирующий фактор», — сказал Рейган. Но почему? Разве кто виноват, если так по-разному пошло научно-техническое развитие, что основу стратегических сил Советского Союза составляют МБР наземного базирования?

Если отбросить как лживый тезис Поля Нитце о советском ядерном перевесе, усиленно пропагандировавшийся им, пока он стоял у руля «комитета по существующей опасности», и исходить из официально зафиксированного примерного равенства сил обеих сторон независимо от различий в их структуре и характере, выход-то все равно один — снижать общий паритет без ущерба для подлинной безопасности, то есть гарантированной целостности как Соединенных Штатов, так и Советского Союза. Чтобы, проще говоря, силы неизменно были баш на баш. Сколько у тебя, столько у меня. Ты не имеешь перевеса надо мной, а я над тобой. К общему спокойствию. Увы, никакие доводы ястребов не вразумляют. Места они себе не находят. Покоя тем более. А в чем дело?

Когда сигналы подает военно-промышленный комплекс пускай хоть голосом Теллера, хоть чьим-то еще, все равно, горячие головы воспламеняются быстрее сухих дров. Если у русских больше тяжелых ракет и если на их стороне ядерный перевес, что мы теряем, не нанести ли нам удар первыми? Провокационные речи тем и опасны, что облегчают провокационные действия.

А когда против гонки вооружений высказывается человек в штатском, ученый или врач, жалуется д-р Кистяковский, к его словам слушатели относятся скептически. «Вот я говорю о милитаризме, об оружии и иногда ловлю на себе недоумевающие взгляды. Подозрительно: не военный, а так уверенно толкует о войне. И меня слушают, а тем внимают». Почему? Практическая жилка заставит американцев скорее поверить человеку в форме — форма и внушает доверие. Иных даже завораживает. А Пентагон не молчит, предупреждает Кистяковский. У генералов большой аппарат «специалистов», налаженные связи со средствами массовой информации, свои люди в конгрессе. И всегда найдется чем ошарашить публику. То под соусом расхожих метафор типа «русские идут!», то с помощью взятых с потолка цифр. Поток не иссякает. И все-таки люди к нам прислушиваются, радуется д-р Кистяковский. А как же, иначе сейчас не было бы антиядерного движения такого размаха. Но генералы, как известно, в плен не сдаются. Рейгановская администрация спровоцировала настоящий милитаристский бум. Что же впереди? У него ответа как будто нет. «Я не знаю, что сейчас происходит с Америкой, и чем все это кончится». Не безнадежно, но честно. «Я-то до дня X, вероятнее всего, не доживу по причине преклонного возраста», — обращается он к своим слушателям. Но ему не безразлично, познают они весь ужас ядерной войны или нет. И свою задачу он по-прежнему представляет себе четко: не молчать, раз не молчит Пентагон.

И потому когда физик Ричард Гарвин вместе с Брэдбери и Мэрком подписал открытое письмо против ядерных испытаний, а сенатор Кеннеди его публично зачитал, это было разоблачением того извращенного мышления Пентагона, которое, по мнению д-ра Гарвина, опаснее всяких советских ракет. В чем полностью согласен с ним и Кистяковский. Оно берется за эталон. И в конечном счете кому поделкатней прививают, а кому грубо вдалбливают в голову именно такое извращенное мышление.

Делается это всяко, разными путями. Пример с ракетой «МХ» далеко не единственный, но со многих точек зрения очень наглядный.

У американцев нет отдельного командования ракетными войсками стратегического назначения. По традиции три рода войск — армия, авиация и флот — дополняются корпусом морской пехоты. Из их состава формируются сейчас «силы быстрого развертывания». В качестве аванса еще первому командующему СБР были даны обещания относительно «ограниченной стратегической поддержки» бомбардировщиками «В-52» с ядерными бомбами. И межконтинентальными ракетами тоже распоряжаются генералы ВВС. Те, которые сидят в штабе стратегического авиационного командования в Омахе, мало чем отличаются от тех, за которыми двадцатью двумя годами раньше там же присматривал по поручению Эйзенхауэра д-р Кистяковский. Тогда генералы тормозили переговоры о запрещении ядерных испытаний. Сейчас они горой за ракету «МХ». 200 таких ракет и 4600 укрытий для них на территории штатов Невада и Юта — вот какой был первоначальный план ВВС.

Черт ногу бы сломал во всей этой паутине хитроумных попыток обмануть другую сторону, получившей название скакового круга. Да в ней ли было дело? Ничего похожего в натуре не появилось. Свое соломоново решение Рейган объявил 2 октября прошлого года — дата памятная. «Скаковой круг» упразднился. А что взамен? Всеобъемлющая «программа стратегической модернизации», чтобы заткнуть «окно уязвимости» в американской обороне. Программа-то Рейгана, но план скорее всего Уайнбергера. Все пять пунктов привязаны к триаде. Строительство подводных ракетоносцев «Трайдент» продолжать. «В-1» восстановить. А ракеты «МХ», по крайней мере поначалу, временно разместить в шахтах ракет «Титан-2». В дальнейшем вопрос о базировании стал очищаться, как лукавида от шелухи. Капризные, но очень мощные «Титаны» сохранить, а «МХ» разместить в укрепленных шахтах ракет «Минитмен-3». Это конец? Нет, поиски наивыгодного варианта продолжаются. А суть остается прежней — что старых вариантов, что новых. Все равно ракеты «МХ» предназначаются для первого удара по Советскому Союзу. И работа над ними идет. Расходы подскочили до 3 миллиардов и продолжают расти. График есть график. Первые 10 будут готовы к 1986 году, а он не за горами. Полностью на вооружение они поступят к концу 80-х годов (на каждое последующее поколение новейших систем ракетно-ядерного оружия уходит не меньше десяти лет) и будут раза в два крупнее ракет «Минитмен-3».

Гигантскими, уточняет д-р Кистяковский. С довольно большими боеголовками числом не меньше десяти и с очень высокой точностью поражения. А в результате общий взрывной потенциал американских ядерных средств увеличится. Зловещий план, не успокаивается он. В общей форме, но подтверждающий, сколь безмерно извращенным может быть мышление генералов. И когда генералы говорят, что ракеты «МХ» необходимы, поскольку лишь они одни в состоянии уничтожить советские ракеты в их пусковых шахтах, и в то же время клянутся, чуть ли не бросая назем свои фуражки с кокардами и крабами, требуя, чтобы им поверили, что сами-то произведут запуск лишь после того, как русские «выстрелят» первыми, — вот тогда извращенное мышление Пентагона предстает в абсолютно законченном виде. Кому и какой резон уничтожать пустые шахты? Это бессмысленно, говорит д-р Кистяковский. Ждать от генералов разумных действий — нет, не настолько он наивен. Хорошо узнал их еще при Эйзенхауэре. Просто подтверждает: дураков пулять такой машиной в белый свет как в копеечку не найти даже в Пентагоне. Значит, все-таки первый удар? Из западного полушария в восточное?

Самое умопомрачительное в том, что возрастающий риск ядерной войны приравнивают к наиболее эффективному способу укрепления стратегических позиций Америки. Опять притворяются беззащитными овечками, отданными на съедение волку. Даже берутся доказывать это. Но тому же д-ру Кистяковскому уже приходилось вскрывать подобные уловки Пентагона. Порочный круг паникерства и эскалации, типичных для гонки вооружений, — вот его мнение. Ракета «МХ» снова выдала военных и штатских ястребов с головой. И опять все сошло, как на бумаге.

У гонки вооружений своя инерция. Преодолеть ее трудно, если не преодолеть политику ястребов, хотя при желании можно. Но с каждым витком будет не легче, а труднее. Беда вся в том, что задействовано, говоря по-нынешнему, столько влиятельных групп «особых интересов», высоких инстанций, других структур общества. Простое перечисление по верхам: министерство обороны, военные подрядчики от

левиафанов до сотен средних и тысяч мелких фирм, научно-исследовательские учреждения с Лос-Аламосом, Ливермором и Сандией во главе списка, правительственные ведомства на уровне министерств, конгресс, персонально члены кабинета и, наконец, Белый дом. Если иметь в виду рейгановский курс на американское превосходство, то начало в конце (Овальный кабинет). Если иметь в виду генералов, которые ждут дня X, чтобы подать команду «пуск!», то конец в начале (Пентагон).

А линия одна. Хотят поломать сложившееся равенство стратегических сил, чтобы похоронить сам принцип равенства и одинаковой безопасности сторон. Ставка на превосходство — это ставка на силу. А сила материализуется в системах вооружения, с каждым новым поколением становящихся sophisticated в такой же мере, в какой и приобретающих самодовлеющее значение. Что было последним словом вчера, завтра станет вчерашним днем. Пресловутые семимильные шаги не идут в сравнение со скоростью развития военной технологии. Беспощадно динамичное — вот оно какое по определению, данному одним специалистом Массачусетского технологического института. И никакие ограничения на честном слове долго не продержатся. Угроза реальна. Почему?

Все время встречали, вклинивались, мешали провокационные шаги с американской стороны. Список их длинен. До какого-то момента то были, скажем, боеголовки «Мк-12А». Вместе с новейшими сверхточными системами управления они превратили ракеты «Минитмен-3» в средство против советских МБР наземного базирования. Шаг потенциально провокационный. Договор ОСВ-2 наложил некоторую узду. А если Пентагон приступит к развертыванию ракет «МХ», оружия, по свидетельству д-ра Кистяковского, не просто, а чрезвычайно провокационного, при создании и базировании которого следовало бы проявить предельную осторожность, тогда подлинные размеры стратегических сил США почти ускользнут из-под всякого контроля. На то, собственно, и бьют.

Каких только собак не вешали на Договор ОСВ-2. И слабость-то Америки он будто бы увековечивает. И советскую угрозу-то Америке он будто бы увеличивает. Нельзя ни увековечить, ни увеличить то, чего нет. А ведь даже из проверки сделали проблему. У д-ра Кистяковского на этот счет не возникало никаких сомнений. Пока проверять можно. Но беспокоиться о проверке нужно. Так называемых национальных технических средств до сих пор было вполне достаточно. По-своему образно и точно отозвался Кистяковский: «Но не Мата Хари!» Сие действительно без надобности. Лучше бы, конечно, он сказал: «Без «У-2», без Пауэрса». Куда самокритичнее было бы. Ну да ладно. Кто старое помянет, тому глаз вон. Сам же теперь подчеркивает: контролировать можно без проникновения на территорию другой стороны. Значит, все, что осложняет отношения между государствами, лучше побоку. А это главное. Если бы все думали похоже — задача упростилась бы. Увы...

За русскими надо, говорят такие, как Теллер, подглядывать и потому, что они разными окольными путями нарушают соглашения, достигнутые в рамках ОСВ. Обвинение серьезное, но бездоказательное. Кроме распускаемых слухов, ничего нет. Это стандартный прием Вашингтона, объясняет д-р Кистяковский, потому что просто не было никаких нарушений.

Рядом с мнением объективных знатоков «доказательства» таких специалистов, как Теллер и Керр, или таких обозревателей, как Эванс и Новак, не просто ложь, а истощный призыв: да стоит ли Америке хоть в чем-то ограничивать себя? И не лучше ли ей отбросить за ненадобностью все ограничения вообще? Даже забыть о переговорах относительно полного и всеобщего запрещения ядерных испытаний и незамедлительно развернуть новые испытания. Тогда на пути ограничения и сокращения стратегических вооружений автоматически опустится шлагбаум. Уж коли ставка на силу, то и верх берет воспринятая сверхчеловеками философия вседозволенности. Нельзя, а мы хотим. А раз хотим, нам можно. По праву сильного. Не в духе времени, конечно, но по-своему закономерно. В джунглях и правила поведения джунглей, если не кто-нибудь, а сам Рейган подтвердил, что они самые первые, они самые лучшие... Слепота, да еще глухая.

Угроза тем больше, чем выше придуманный «теоретиками» пресловутый overkill — коэффициент многократного уничтожения человечества. Цифры гуляют разные. Это смотря по тому, кто и с какой целью каждый раз берется считать. Да не все ли равно — 3, 5 или 15 тонн ТНТ приходится на брата?

Д-р Гарвин давно пришел к выводу, что у американцев ядерного оружия намного больше, чем целей. И Поль Уорнке авторитетно подтвердил: да, соотношение в пользу боеголовок чудовищное. Так было и три, и пять, и восемь, и десять лет назад. Вот еще доказательство извращенного мышления Пентагона. Говорят, что у них 25 тысяч единиц ядерного оружия всех типов дома и за границей. Называют и значительно большую цифру: 30 тысяч. Это очень много. А к тем, что есть, президент Рейган хочет добавить еще 17 тысяч. Нужно ли столько? Даже если из имеющихся 25—30 тысяч оставить максимум 500—1000 боеголовок и только на подводных лодках, предложил другой здравомыслящий специалист, Сидней Лэнс, все равно безопасность и оборона США будут гарантированы. А поскольку ничьи первые удары Америке не угрожают, не будет нужды и в ответных. Пускай себе лодочки тогда и плавают хоть до скончания века. Зато остальные 24 или 29 тысяч с чем-то можно было бы положить на стол переговоров с русскими и обеспечить Америке и всему миру надежду на будущее.

Между прочим, тоже выход. Почему бы не отнестись и к нему вполне серьезно? Куда там, такой вариант не для Пентагона. Для генералов Шлесинджер еще в первой половине 70-х годов придумал «ограниченную» войну, да не «локальную», с применением обычного вооружения, хотя и под прикрытием ракетно-ядерного щита, как предлагалось задолго до него, при Кеннеди, а исключительно ядерную, и не тактическую, а стратегическую. До министра энергетики он ведь был министром обороны, а вообще-то кем только не был — и директором ЦРУ тоже. Этот высоколобый хозяин Пентагона при двух президентах-республиканцах все тогда упростил до предела. Не война будет, а игра. Страхи преувеличены. Волноваться не к чему. США и Советский Союз по-джентльменски обменяются парой-тройкой ядерных ударов, обязательно тотально-разрушительных, а потому вполне допустимых, по таким целям, как ракетные стартовые площадки, авиабазы, командные центры, а потом, словно игроки, усядутся подсчитывать убытки. Раз удары точечные — мазать нельзя. Ни городские, ни промышленные центры с большим скоплением населения затронуты не будут. Поляны и березки тем более останутся в стороне — кому они нужны? Ни правых, ни виноватых, ни агрессора, ни жертву искать не придется. Идиллия — и только. Кто-то немножко проиграет, кто-то немножко выиграет. И так будет повторяться не раз и не два. Периодически. За зеленым столом проигравший и то пускал себе пулю в лоб. Раньше случалось. А тут война есть — войны нет. Новая стратегия будет «гибкой» и даже «гуманной». Одна ракета — один военный объект. Шутка сказать, МБР да если с боеголовкой не в одну мегатонну, а на объектах и вблизи все равно люди... Сплошной обман и явная потеря чувства реальности.

По идее Шлесинджера, американский первый удар не исключался, а предполагался — при определенных обстоятельствах. Но обстоятельства создаются людьми. По желанию, по прихоти, по произволу. Все равно самоубийственная для собственной страны была бы акция. Подтверждающая такую оценку людей, которые не ведут, что говорят и что творят: сила есть — ума не надо. А 20—30 миллионов погибших не в счет. Слабонервным Шлесинджер и соломки подстелил прибавлением двух слов — «всего лишь». А от остальных скрыл, что на американские точечные удары и выборочные налеты, придуманные им для красного словца, последуют ответные удары — необязательно точечные и выборочные. На войне как на войне. И катастрофа все равно превратилась бы в глобальную.

Очень многое знал Шлесинджер про мегатоннаж и прочее. В стратегию и «оборону» временами уходил с головой. Испытывал к ним влечение — род недуга. На официальных обедах и то рассуждал о замыслах русских, о соотношении американских и советских сил. Взял такой разгон, что удержаться не мог. С Картером спелись они быстро. В Плейнс он летал к тому дважды. Подышать воздухом, как объяснял репортерам. Познакомил будущего президента со своим «меню возможных вариантов». Расходы на «оборону»? Должны расти. НИОКР военного назначения? Давать максимум. Новая подводная система «Трайидент»? Заслуживает первого места. «В-1»? Шлесинджер стоял за бомбардировщик вторжения, лучше «В-1», который он выпустил в первый испытательный полет еще при Форде, а Картер отвечал уклончиво — там посмотрим. На подходе были крылатые ракеты. Но, в общем, «меню» Шлесинджера пришлось ему по вкусу. Только он был себе на уме, а речистый Шлесинджер упивался «самонадеянностью силы» и самого себя поставил в положение блестящей изоляции от возможных последствий ядерной катастрофы — как будто

личная безопасность, а то и вечная жизнь гарантированы ему Белым домом или дарованы всевышним. Ни тревоги, ни беспокойства, даже самого малого волнения не заметить было в его льдисто-голубых глазах. Неприкосновенен? Неуязвим? Защищен принадлежностью к элите? Чем-нибудь еще? Просто он один из тех, кто в полном смысле слова безответственно пользовался собственным положением. Ведь у каждого свое представление об ответственности. Так он говорил, когда был министром обороны. Выходит, что ответственность, что безответственность — различия нет. Слова стираются и либо теряют свое значение, либо приобретают противоположное. Дело обычное в той среде. Черта, присущая равно Бжезинскому, Пайпсу, да каким угодно другим «теоретикам», считающим себя лучшими и умнейшими и спокойно вззирающим на угрозу войны. Отсюда их стратагемы и цифры.

Сейчас жизнь повернулась в тревожную сторону, и минувшей весной Шлесинджер выдавил из себя несколько слов, как будто бы реабилитирующих Договор ОСВ-2. Вернуться к его рассмотрению — мысль здравая. Но до конца ли искренняя? Ведь и крестным отцом «комитета по существующей опасности», развернувшего в 70-е годы яростное наступление против ОСВ-2 и сорвавшего его ратификацию сенатом, был не кто-нибудь, а именно Шлесинджер. Покидая картеровский кабинет, он предсказывал, что 80-е годы будут мрачным периодом, отмеченным конфронтацией. А кто сделал больше него самого, чтобы это сбылось? Все-таки пикейные жилеты в старой Одессе не сказали бы: Шлесинджер — это голова. Строгие были судьбы. А если голова, то дурная, подставляя лысину солнцу, прошамкал бы самый пикейный из пикейных. Прямолинейный, но, в сущности, справедливый был бы приговор — и не ему одному.

Современный апокалипсис моложе ядерного века на пять лет. Точно по календарю. От сорок пятого до пятидесятого. Еще умирали медленной смертью жертвы первых ядерных бомбардировок, а совет национальной безопасности утвердил тот самый меморандум № 68, от которого захватывало дух. Апокалипсические прогнозы служили артиллерийской подготовкой перед Кореей. Полю Нитце немало пришлось над ними посидеть, а чуть-чуть, возможно, самому от них и поседеть — до того страшные импульсы посылались им «холодной войне».

Хотя аккуратному Трумэну оставалось лишь вывести свой автограф: «К исполнению», переломить настроения общественности оказалось непросто. Жива была память о майских днях сорок пятого года, когда тысячи людей вышли в Нью-Йорке на Таймс-сквер, от души радовались тому, что Гитлер сгинул, а русские такие замечательные парни. Безумец Форрестол подсказывал Трумэну — нужна цельная программа «холодной войны». Хладнокровие редко покидало галантерейщика из Миссури. Не выносишь жара, говаривал он, держись подальше от кухни. Уж очень хотелось ему запугать американский народ до потери штанов (по совету сенатора-республиканца Ванденберга). Но чего ему хотелось до потемнения в глазах — эти свои тайные желания он доверил только бумаге, и то позднее. Победы в Корее не было как не было, и Трумэн заметался. Продолжать зашедшие в тупик мирные переговоры? Ни за что на свете. Уж лучше ультиматум Москве с десятидневным сроком.

На семи листках, исписанных жестким почерком, в распространенном жанре мемо, он отвел душу: «Это означает, что Москва, Санкт-Петербург, Мукден, Владивосток, Пекин, Шанхай, Порт-Артур, Дайрен, Одесса и Сталинград, а также все промышленные центры в Китае и Советском Союзе будут стерты с лица земли». Цепляться за труп умершей политики (по выражению лорда Солсбери) мог человек, соединявший невежество с импульсивностью. Но стопроцентное невежество по части истории с географией отступило перед фактом: бомбы есть и будут у других. А импульсивность обошлась бы дорого. Приходилось сдерживаться.

Ну ладно, Корея вышла Трумэну боком. Конец у него был бесславный. Если бы не Хиросима, мир о нем забыл бы. Два долгих десятилетия потом соседи в захолустном Индепенденсе (штат Миссури) видели по вечерам, как у себя в кабинете при свете лампы он склонялся над столом. Дописывал мемуары? Оправдывался перед историей, чтобы еще раз в нее войти? Такой Трумэн был безопасен.

А вот если бы в Белом доме после него оказался не Эйзенхауэр, а другой генерал, Макартур, возможно, некому было бы оплакивать ни Америку, ни остальной мир. Очень пронизательный человек, президент Рузвельт считал его одним из самых опаснейших в стране людей. «Вращающиеся двери», соединившие Пентагон с монопо-

лиями, оказались как раз для него. В кресло президента компании «Ремингтон» отправленный в отставку «старый солдат» уселся, как в седло. Еще раньше через те же двери и туда же проследовал генерал Лесли Гровс. Для Бора, Ферми, Кистяковского и тех, кто с ними работал, последний был в Лос-Аламосе надзирателем в погонах. В качестве первой жертвы Хиросиму назвал он. Во всех отношениях фигура ясная. В случае чего этим двоим не пришлось бы тратить время на поиски общего языка. А Макартур-президент вряд ли удержался бы как минимум от применения атомного оружия в Корее. Этого ему хотелось, может быть, больше, чем Трумэну. А максимум был — распространить войну на весь азиатский материк. И риск войны мировой вряд ли остановил бы его.

Разница с Эйзенхауэром существенная, видная невооруженным глазом. Вспомнить о ней полезно именно сегодня, когда иные деятели в штатском уподобляются таким генералам, как Макартур.

Да, Айк тоже был немолод. Да, увлекался гольфом. Но не мягок был, а острожен, не малоактивен, а сдержан. Да, при нем Даллес-старший призывал к балансированию на грани войны, а Даллес-младший задушил сначала Иран, а после Гватемалу. Но в том году, когда Айк дал санкцию на операцию против Гватемалы, он отказал в использовании атомного оружия для спасения французов под Дьенбьенфу во Вьетнаме. Все-таки осмотрительность как президент проявил. И при всем при том, конечно, оставался Эйзенхауэром.

Доктрина его имени привела к кратковременной высадке морской пехоты в Ливане, а навстречу советской зенитной ракете на «У-2» полетел Пауэрс. Из песни слова не выкинешь. Было это, было и другое. Но из Ливана пришлось быстренько убраться восвояси. Урок или нет? И грань войны он все-таки Даллесу перейти ни разу не дал. Знал, чем может кончиться Трумэн еще распался: «Я из Кореи не уйду». Айк понял, что уйти придется. За стол переговоров в Кэсоне сел — и военные действия прекратились. Первая послевоенная встреча глав четырех держав тоже состоялась при нем. При нем, при вице-президенте, дважды баллотировавшемся вместе с ним, в недрах тогдашней республиканской администрации стало вызревать согласие с идеей ослабления напряженности. В начале 70-х годов оно привело к советско-американскому диалогу и даже признанию принципа мирного сосуществования. На ногах у Америки еще висели гири вьетнамской войны. Выйти из нее было мучительно трудно. У ястребов и «патриотов» никаких рецептов, кроме дальнейшей эскалации, не было. А разрядка, как прожектор, осветила дорогу к упрочению мира. Хоть на время, а международный климат стал здоровее. Но забрезжило уже при Айке, это факт. Старший Даллес и тот не все, но главное увидел в ином свете. На смертном одре, поздно, но все же, все же...

Сегодня ни Макартура, ни Эйзенхауэра давно нет. Первый-то всегда был вроде старого ворона времен расширения американской военно-экономической экспансии. Навсегда привязанный к тихоокеанскому театру, к Японии, Китаю, Азии, он считал их своей вотчиной. И для него что корейцы, что китайцы, что японцы, что филиппинцы — все на одно лицо были азиатами, которых он предпочел бы видеть мертвыми. На том до конца стоял. Тем многих и отпугивал.

Несколько иначе обстояло все с Айком. Кое-кому в правящей элите разброд среди республиканцев показался чересчур затянувшимся. Одолеть Рузвельта при всем желании им было не под силу ни во второй, ни в третий, ни в четвертый раз. Другое дело — кандидат, выдвинутый после галантерейщика из Миссури. Тут шансы были. Но требовалось имя, требовалось знамя. А более подходящей фигуры, чем Эйзенхауэр, было не найти. Первое слово сказали на северо-востоке. К Рокфеллерам прислушались остальные. Главное, в Америке ему ровни нет. Избирателям герой войны должен понравиться. А от политики, в сущности, далек. Мешаться не будет. И по личным качествам, кажется, то, что надо. Можно будет вертеть им как угодно. А подобрать ему кабинет — за этим дело не станет.

На западном побережье смотрины состоялись в «Клубе богемцев» близ Сан-Франциско. Это сейчас и президент из Калифорнии, и министр обороны оттуда же. Богемцам остается только ликовать. Сбылось то, о чем они мечтали. Под вывеской их клуба собирается деловая элита, тяготеющая к республиканской партии. Богемцам подвластно решение любого жизненно важного для Америки вопроса. Даже такого: **одобрить или отвергнуть** намечаемого кандидата в президенты. А в том самом ставшем

рубежным пятидесятом году, когда Трумэн планировал корейскую войну, а Нитце сочинял свой апокалипсис, богемцы еще не вошли в силу. Калифорния оставалась садом. Конечно, Голливуд и порядком оскудевшая нефть. Конечно, самолеты. Но ракетно-электронный бизнес еще не вышел из пеленок, а неологизм aerospace, буквально означающий «воздух-космос», еще не вошел в обиход. Пришлось богемцам удовольствоваться местом вице-президента для своего кандидата. Генерал выступил перед ними с программной речью. Ее встретили и критически, и скептически. Хозяева нашли гостя слишком либеральным. Что за разговор: богатство, бедность... Но, видимо, решили: ничего, обломаем, — хотя чутье их не обмануло. О, если бы богемцы могли предвидеть, что на исходе второго срока президент захочет поделиться с народом возникшими у него опасениями — страна-то превращалась в «гарнизонное государство». Спустя десять лет, прежде чем навсегда оставить Белый дом и удалиться на свою ферму в Геттисберге, Эйзенхауэр выступил с прощальной речью по радио и телевидению. Начал, преодолевая кашель, устало, тускло, невыразительным стариковским голосом, а потом разошелся и главную мысль выразил точно и сильно. Одной только нижеследующей фразой было сказано почти все: «Существует и будет существовать возможность того, что мощь военно-промышленного комплекса неоправданно, в гибельных масштабах возрастет». Он как в воду глядел и, если бы не был Эйзенхауэром, благодаря лишь своему предсказанию бесповоротно вошел бы в современную американскую историю.

Без малого уже два года великая старая партия, как называют себя республиканцы, снова у кормила власти. Вообще-то лучше никогда ничего не идеализировать. И на солнце бывают пятна. А люди разные, личности тем более не похожи одна на другую. И неповторимы каждая по-своему. Ошибки одной отличаются от ошибок другой. Равно как достоинства. А злая воля или слепая ненависть к народам, выбравшим иную социальную систему, это уже патология. С ней недалеко до беды.

Сменивший Айку в Белом доме Кеннеди тоже был не святой. На протяжении всей избирательной кампании обвинял республиканцев — допустили отставание от Советского Союза по ракетам, Америку ослабили, престиж ее уронили. На этом коньке и въехал в Белый дом. А ведь ничего подобного не было, как признал д-р Кистяковский. Да разве он один? А Макнамара, а другие, прозревающие с таким значительным опозданием. Хотя внять голосу рассудка никогда не поздно, но пораньше все-таки было бы лучше. Тот же Кеннеди и его министр обороны поверили в худшее — что Америка отстает. Не терпелось объявить: «Меры приняты». А нужды в них не было. Ответная реакция другой стороны, естественно, не заставила себя ждать и представилась в облике нового «худшего». Так повторилось раз, другой, третий... После какого-то раза у Макнамары открылись глаза — вот причина эскалации. Собственные меморандумы того времени ему теперь страшно читать. А кто виноват? Не сами ли политики, оказывавшиеся в плену у ястребов с их гиканьем и свистом? А назад ходу уже не было. Только вперед, к очередному, еще более худшему худшему.

Все познается в сравнении, президенты в том числе. Приходится говорить правду. Не военный Эйзенхауэр, а штатский Кеннеди подвел мир к ядерной войне из-за ракет на Кубе. 1962 год тем и памятен. Оба принадлежали к одному лагерю, а люди были разные. Кеннеди как будто не слышал речи Айку. Лозунгу «Ракеты!» придал характер национального приоритета, и проект «Аполлон» послужил вполне пристойным фасадом. Взятся за наращивание стратегических сил и учредил агентство по контролю над вооружениями и разоружению. Говорил о покорении Луны, а держал в уме военно-политическое первенство Америки. Это ли не пример двоедушия даже самых, казалось бы, мыслящих буржуазных политиков?

Никаких слов из песен лучше не выбрасывать. А то может выйти квипрокво. Сорокалетний президент ввел в школах обязательный курс антикоммунизма. Кто знает, возможно, и предвидел если не грядущие антивоенные выступления, то явную неохоту молодежи воевать. На слова юные сердца клонут. А для горячиж и мокрых дел можно на вербовать головорезов. И провал на Кубе, тем более неожиданный, что ближайшие советники, которым он доверился, вроде «царя разведки» Даллеса, судили удачу, объясняют, почему становление «зеленых беретов» и вообще частей «специального назначения» — это тоже заслуга Кеннеди. Своим чередом приближался Вьетнам, и счет трупов, печально известный body count, был открыт Пентагоном тоже на первом году его правления. Он же и по горячим следам начавшихся потерь

одобрил программу химической войны в Индокитае. География иногда расшифровывает политику. Четыре подводные лодки с ракетами «Поларис» англичанам продал тоже Кеннеди. Услуга за услугу — и на британских базах получили постоянную прописку лодки американские. Прицел был дальний. А свои и натовские средства передового базирования все придвигал к границам Советского Союза.

Да, наиболее ретивые поклонники стратегии «передовых рубежей» склоняли президента к тому, что нужен затяжной конфликт для вовлечения в него всего коммунистического мира. Подходящей ареной сочли Вьетнам. Доказывали, что нужна выгодная военная позиция. Чем не подойдет весь Индокитай? А если бы Кеннеди пошел еще и на разрыв контактов с социалистическими странами, не было бы даже договора о запрещении ядерных испытаний в трех средах. Он не пошел, и меньше чем за четыре месяца до его гибели столько лет проявлявшие неуступчивость генералы из Омахи сдались на милость победителя. Президент взял верх.

Даже из множества подобных штрихов без одного дополнительного портрет составил бы неполный. Хоть и в последний период из неполных-то трех лет, запоздало, а Кеннеди понял: полагаться исключительно на ядерное оружие нельзя. Разумнее конфронтации сотрудничество. Но слово было уже сказано, а дело сделано: ракеты, Вьетнам. Только конца своей отчаянно безнадежной попытки совместить и пушки и масло увидеть ему не удалось.

Похоже отчасти на то, что происходит сегодня. Республиканец Рейган поначалу охотно цитировал демократа Кеннеди. Америке нужна военная машина, которая была бы первой в мире. «Я повторяю: первая — и basta!» В духе Кеннеди, шлифовавшего свой язык и стиль по книгам и речам Черчилля, сейчас не очень-то поговоришь. Но призыв вооружаться, чтобы когда-нибудь потом то ли перейти к серьезным переговорам о сокращении вооружений, то ли не переходить к ним, а просто использовать их как ширму, тянуть время, как сейчас, чтобы реализовать намеченные военные программы, — это и означает мир на основе силы. А возможен ли он?

Если и при Кеннеди ставка на силу вела только к эскалации напряженности, то при Рейгане это, как говорится, уже чревато... В живой речи дополнение — чем, какой бедой? — ради усиления иной раз намеренно опускается. По языковым нормам не очень как будто грамотно, зато впечатляет... Тоже современное словоупотребление, но ясно, что грозит человечеству такое — просто ой-ой-ой... Быть может, и гибель самой жизни на земле, прямо указал Л. И. Брежнев в своем послании второй специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по разоружению. Чтобы сберечь мир, предотвратить ядерную войну, Советский Союз принял на себя обязательство не применять первым ядерное оружие. Для главы нынешней республиканской администрации это не пример. Быть с веком наравне не всем дано. Нужно же преодолеть сиюминутные интересы, стать выше различий в общественном строе, образе жизни или идеологии. А чего ждать от самонадеянности государственных деятелей, попирающих законы экономической и общественной жизни, уповающих, кроме силы, на собственную ловкость, на личное везение и даже не желающих заглянуть хотя бы не в самое отдаленное будущее?

Всемирно известный д-р Спок, предельно честный, но по натуре очень эмоциональный человек, а потому иногда заблуждавшийся и строго себя за то судивший, говоря о всех Кеннеди, которых знал, рубил с плеча: «Я не уважаю их миллионы, их тщеславие, их glamour». Последнее — ореол имени — больше, меньше, а присутствует до сих пор. Чары же, некогда заставлявшие молодых людей даже стричься под президента, улетучились без остатка. Да и на политической сцене Кеннеди теперь только один — Эдвард. Чем-то и напоминает он своих братьев, особенно старшего, а чем-то — и сильно — отличается от них. Сложившийся политик, не такой уж и молодой (перешагнул пятьдесят), он живет в иное время. И опыта ему не занимать. Три полных срока с хвостиком в сенате многого стоят. Да и дух времени можно понимать по-разному. А с господствующими сейчас в коридорах власти веяниями взгляды Кеннеди кардинально расходятся. Потому что откликнулись американцы на его призыв о замораживании ядерных арсеналов, что увидели какой-то просвет в тучах, застилающих горизонт.

Он отвергает ядерный конфликт как «приемлемый вариант». С ним согласны даже те, кто до сих пор не интересовался политикой. Убеждают их не просто слова.

Для него вечной темой стало сокращение бюджета Пентагона. Система ПРО «Сейфгард», бомбардировщик «В-1», шпионские самолеты АВАКС, крылатые ракеты, авианосцы, подводные лодки «Трайидент», ядерные боеголовки «Мк-12А», нейтронная бомба — от всего этого Кеннеди предлагал и предлагает отказаться в пользу программ медицинского обслуживания, образования и т. п. Сами за себя говорят и цифры. Если сложить вместе сокращения, за которые он голосовал, наберется не меньше 100 миллиардов долларов. Столько же дало бы и предложенное им вместе с сенатором Хэтфилдом замораживание. А осуществить его можно было бы в довольно короткий срок. Сразу отпали бы изъятия из социальных фондов, разрешилась бы проблема дефицитов, реальным стало бы оживление экономики, снижение безработицы... Поспокойнее жилось бы без гонки вооружений — вот главный плюс.

Хуже нет рисовать людей одной краской — будет либо панегирик, либо черное пятно. Разумеется, либерал, но — и Кеннеди. Одно маленькое исключение, искупавшееся всей его деятельностью, он все-таки себе позволял. Для истребителя морской авиации «F-18». Без чужих подсказок был за. А объяснение простое: двигатель для него делается в родном Массачусетсе, на заводе компании «Дженерал электрик» в городе Линн. Рабочие места и голоса избирателей друг с другом связаны. Но исключение только подтверждает правило. Хотя факт и незначительный, без него не было бы реальной фигуры политического деятеля, пользующегося даже большим общественным признанием, чем любой из его братьев. А не считаться с чисто американскими условиями и традициями ему нельзя. Иначе правым легче было бы продолжать наскоки на него. Пока же, судя по опросам, среди демократов он даже лидирует. Картер, кстати, тот вообще плетется в хвосте. А моторы да и сами истребители могут строить другие компании и в других штатах, да и строят, зато в сенате Эдварда Кеннеди не заменить сейчас никому.

Отношение к истине часто сближает политиков из разных партий и разводит принадлежащих к одной. У республиканцев есть примеры и кроме Айка, из прошлого, более близкого к нам. Просто, как проговорился нынешний хозяин Белого дома еще до своей победы на выборах: «Сколько бы ни шутили по поводу его любви к гольфу, а деятельность Эйзенхауэра на посту президента была гораздо лучше, чем это многим казалось». Так в чем дело? Действительно лучше — и намного. Недаром после Айка ни один президент не продержался у власти два полных срока. И если дурной пример заразителен, хорошему сам бог велел следовать. Это не заторно, но мудро.

А много ли мудрости в том, чтобы в наше время добиваться военного превосходства над Советским Союзом? Оно недостижимо. Надеяться на победу в ядерной войне тем более нельзя. Это иллюзия в квадрате. Генералам хочется нарастить мускулы. Президенту нужен запас прочности. То и другое — эвфемизмы грубой силы. А для чего она? Чтобы угрожать советской стороне? Чтобы одним странам давать длинный поводок, другим короткий, несмотря на то, что они ходят в союзниках, а третьи, четвертые и пятые — неприсоединившиеся, гордые, строптивые, обидчивые — вообще держать в страхе божьем перед Америкой с ее могуществом и богатством? Смахивает на мировое господство. Это как болезнь, полученная по наследству. Дает себя знать глубоко сидящая, по словам Л. И. Брежнева, привычка бесцеремонно вести себя с другими государствами, действовать на международной арене так, будто определенным американским кругам позволено все.

Если то, что планируется, афишируется, предлагается и делается рейгановской администрацией, не повторение пройденного, не возвращение к старому, а новое и а ч а л о, разница между старым и новым как бы стирается. Никому не возбраняется вслед за острословами повторять, что новое — это всего лишь хорошо забытое старое. Хотя ничто не забыто — ни пещерные макартуровские признания, ни каннибальские трумэновские деяния, — все же то, что было тогда, способно только предостеречь от того, что может случиться сейчас, завтра, послезавтра. Сходства, а тем более повторения не будет. Современное ядерное оружие все изменило. Ему подчиняется даже история. И на этот раз она обернется для человечества не фарсом, как писал когда-то Маркс, а трагедией, теперь уже ни с чем не сравнимой. Фарсовый элемент внесет разве что позвякивание кубиков льда в стаканах с апельсиновым соком на подземном КП в Адирондакских горах, где за спиной президента безмолвной и безликой тенью будет возвышаться человек с черным чемоданчиком. А снаружи земля встанет дыбом,

и сравнение с тем, что делалось над головой Гитлера, прятавшегося в подземельях имперской канцелярии, покажется слабым.

Наивно было думать, что можно войти в Овальный кабинет и повернуть ход истории. А теперь видно — и очень опасно. Да еще с таким багажом: Рейган был против договора о запрещении ядерных испытаний в трех средах, против ОСВ-1, против ОСВ-2. В год последних выборов он заявил, что добиваться нераспространения ядерного оружия «не наше дело», а позднее возглавляемая им администрация отменила ограничения на экспорт ядерных материалов, пригодных для производства оружия... Неплохой был бы девиз: «Думать по-новому и действовать по-новому». Сказано Линкольном. Но если то, что провозглашается сегодня, ведет к массированным военным приготовлениям, последние могут приобрести критическое значение. Взаимосвязь количества-то с качеством сохраняется.

Значит, если не мирное соревнование, если не мирное сосуществование, если не переговоры для выработки конкретных мер по сокращению стратегических вооружений и ограничению их качественного совершенствования, как предлагает Советский Союз, тогда что? Более высокий уровень вооружений? Более высокий уровень противостояния? Новая «холодная война»? Конфронтация? Риск, переходящий все границы?

Та же ракета «МХ» тем и опасна, что у какого-нибудь лихого президента может вызвать искушение напасть на Советский Союз. Серьезность этой мысли одного американского обозревателя не вызывает сомнений. Примером лихого президента до сих пор служил Трумэн. Знал ведь, что недаром в народе говорится: не буди лиха, пока лихо спит, — а пошел наперекор людской мудрости, разбудил, за что и поминают его во всем мире не добром, а лихом. Без меры восторгавшийся Трумэном Картер сделал по сходной дорожке едва ли несколько первых шагов. И кончил тоже бесславно, чуть ли не позорно. Как хотел, великим президентом не стал.

А для Рейгана все зло — во вмешательстве государства в частно-предпринимательскую деятельность, в так называемом регулировании. Оно пусть спит хоть мертвым сном, лишь бы большой бизнес бдл, наедал щеки, процветал. Как будто благополучие Америки, ее народа и интересы бизнеса тождественны. Президенту и приведенная поговорка пришла на память только в одной этой связи. Не ослеп человек, а слепота вроде куриной напала. В свете прибылей военно-промышленного комплекса ближайшие перспективы, возможно, рисуются неплохими. Оружейным подрядчикам везет как никогда. Но на ветер будут выброшены огромные средства («Черт с ними!») и влияние на экономику может быть только отрицательным («Не впервой — переживем!»). Не спасет и чисто американское убеждение, что каким-то образом проблемы страны будут решены. Лауреат Нобелевской премии Василий Леонтьев предсказывает в экономике США даже еще больший хаос, чем сейчас. Присяжный оптимист, какие в Белом доме водились всегда, скажет, что хуже быть не может. Но будет хуже, говорит Леонтьев и перечисляет: темпы инфляции опять повысятся, учетные ставки еще больше возрастут, капиталовложения в промышленность прекратятся, безработица усилится. Впереди явный пассив.

Конечно, не судный день. Крушения капиталистической экономики до конца века не запланировано. А что произойдет, если политическая риторика, всегда набравшая силу в трудные времена спада, перейдет в конфронтацию? Ответа избегают. А ведь когда опасность ядерного противоборства приблизится, она напомнит уже о другом судном дне.

От ядерной катастрофы не застрахован ни бизнес, никто. Только в таком случае и подтвердится по-старомодному напыщенная формула «единой нации перед богом», если, конечно, под богом в данном случае разуметь угрозу ядерной катастрофы. И потому даже как-то странно, если в принципе признается, что зло спящее лучше бодрствующего, то почему забывается, что нет сегодня зла более лихого, чем ядерное оружие? Или, может, по примеру Трумэна нынешний президент отважился бы это лихо разбудить? Не хочется верить, хотя временами на то как будто и похоже. Так или иначе, а наговорено самим Рейганом и его ближайшими советниками уже столько лихого, что все вместе они безрассудно тормозат, расталкивают и будят ядерное лихо. Время другое, а отголоски давно минувшего слышны не просто отчетливо, а на более высокой и новой ноте. Опять, как сказал Уайнбергер, наращение американского военного присутствия охватит многие районы, находящиеся вблизи и Советского Союза и вдали от Соединенных Штатов. Мечтают о войне «ограниченной», но планируют и «затяжную», хотя все равно ядерную. И фактор географический, как десятки

лет назад, понимают донельзя упрощенно. Мы далеко, нас защищают океаны... Если это геостратегия, то сам Уайнбергер горе-стратег. И горе Америке, если так думает большинство богемцев, в чью семью на правах не последних членов входят и нынешний президент и его министр обороны.

А кроме слов есть дела. Новая стратегическая программа и новый военный бюджет уже не риторика. О том и другом президент сказал, откликаясь на хвалу ястребов и хулу голубей: «Это только начало». А что дальше? Напоминает вестерн: хватайся за пистолет, иначе самому будет худо. Но то кино. Конечно, первоочередность национальных проблем устанавливать президенту. Звучит-то как — national priorities! И что сегодня, что завтра, от сделанного выбора зависит судьба страны. А в течение первых ста дней вопрос об ограничении стратегических вооружений ни разу даже не ставился на официальное обсуждение в совете национальной безопасности. Не до того было. Зато готовилось решение о производстве нейтронного оружия. Разрабатывались стратегическая программа из пяти пунктов и «директивы в области обороны на 1984—1988 годы». Планировались рывок по химическим ОВ и меры по милитаризации космического пространства. И «ограниченная» ядерная война уже рисовалась больше не по Шлесинджеру. Не обмен ударами, а так, перестрелка местного значения, удаленная от американских берегов, или вроде того. И не только не страшная, и не только возможная, но при некоторых обстоятельствах даже и целесообразная. А «довооружение» НАТО (по Картеру) потянуло за собой «нулевой вариант» (по Рейгану). Тем и другим Европа обязана Пентагону. Линия прежняя — видеть в ней будущий ТВД. И если картеровская администрация по меньшей мере трижды, как подсчитали в Америке, отклоняла советское предложение о неприменении первыми ядерного оружия, то рейгановская не поддержала и внесенную Советским Союзом в ООН Декларацию о предотвращении ядерной катастрофы.

Думать о будущем только в плане военного превосходства Америки, возрождения ее былой славы и величия, как если бы она была осенена особой благодатью, а Рейган так и думает, — старо это, как мир. Богемцам кажется, что они в седле и в наступлении. Непохоже, однако, чтобы уставшая за последние десятилетия Америка переживала подъем. Выдают ее серебряные нити в волосах и морщинки у глаз.

А мир, напротив, помолодел и поновел. И будет новеть. Социализм заявил о себе в обоих полушариях. После Хельсинки и старушка Европа переживает вторую молодость, что было бы невозможно без разрядки, без развития сотрудничества между Западом и Востоком, без антивоенного движения, собравшего под своими антиядерными лозунгами миллионы людей. Если мир проявлял и проявляет все растущее нежелание подчиняться воле правящей Америки, как же ей быть? Видеть в национально-освободительном движении терроризм — убого. Утверждать, что кто-то манипулирует движением сторонников мира, значит оскорблять и свой народ тоже. Забывать, что на силу у противной стороны имеется контрсила, непростительно. Обезоружить ее с помощью разных «всеобъемлющих» предложений не удастся. Думать, что с ней легко будет разделаться, сверхрискованно. Мечтать о мировом порядке, совместимом только с западными ценностями, вообще неумно. А превращать антикоммунизм из величайшей глупости нашего времени в преступление века — что может быть опасней? Не окуляться никакие крестовые походы против социального прогресса, против социалистических революций. Крестоносцев ждет крах без всяких дивидендов.

Что не хотят ни о том, ни о другом, ни о третьем, ни о четвертом, ни о пятом всерьез задуматься, к сожалению, очевидно. Силен соблазн действовать так, будто времена американского «руководства» можно чудесным образом вернуть. Заблуждение — только и всего. Не забыто, памятно, что кто-то уже собирался и миром руководить и демократию защищать. Политике силы дань отдавали — и бесславно. К атомному шантажу прибегали — тоже без всякого успеха. А были желающие даже грань войны перейти, тоже влекомые на торную дорожку безумством антикоммунизма. Хорошо, что вовремя кто-нибудь их сдерживал. Как Эйзенхауэр Даллеса. Да и сами спохватывались и предусмотрительно останавливались у предпоследней черты, будто чувствовали холодок, бегущий по собственной спине.

Пока не поздно, кому-то нужно взглянуть на мир трезвыми глазами уже сейчас. Слово «разрядка» исчезло из вашингтонского лексикона. Одному республиканскому президенту (Форду) такая вольность дорого обошлась. Боятся слов, а неприемлемо мышление с позиции силы. И если, по заключению одного многолетнего наблюдателя

американских политических нравов, экс-губернатор еще мог поступать так, будто он и самого себя не особенно принимает всерьез, то уж президенту никак нельзя забывать, кто он и что он, и давать волю своему грубому антисоветизму.

Арсеналы средств массового уничтожения есть у обеих сторон. Исходить нужно из сложившегося паритета. И лучше пусть он будет ниже, нежели выше. Идея военного превосходства вытекает из общей философской идеи американского образа жизни с его неизменным рефреном: мы первые, мы лучшие, мы избранные. По-другому, иначе, короче сие выражают так: мы — номер один. Хоть и песня вчерашнего дня, но если помогает, если утешает, да ради бога. Чем бы дитя ни тешилось. Только поджидает время. И хочется сказать: don't push your luck, Mr. President. Вы первые? Ну и ладно. Допустим. Но не зарывайтесь, г-н президент. Не испытывайте судьбу. Помните об острых углах... А то и применительно к теме еще громче: не играйте с огнем.

Велик ли четырехлетний срок пребывания в Белом доме? Еще год, еще другой — и как не было их. Это президент знает. По опыту Калифорнии, как сам признал. Но Калифорния еще не вся Америка. Мир тем более значительно больше и той и другой. Кроме продолжительности пьесы, нужно еще не забывать о месте действия. Прилагательное «глобальный» происходит от английского слова globe — земной шар. Хотя в политике не абсолютно применима старая актерская заповедь: окружение играет короля, — не мешает и оглянуться: те ли рядом партнеры и суфлеры? Может, они и подходящи для прогулок верхом — только не для решения вопросов, касающихся судеб войны и мира. «Кухонный кабинет» и большая политика — все-таки между ними немалая разница. А успех президента зависит от достоинств ближайших помощников. Сказано самим Рейганом. В другой раз он признался: «Я доволен моей командой, и страна тоже должна быть довольна ею». Но если с этой самой team все в порядке, не пришлось бы менять на ходу помощника по национальной безопасности, а потом и государственного секретаря. Чего же ждать стране дальше? А ведь зрителям (условно говоря) не прикажешь, когда хлопать, а когда свистеть.

Месяц за месяцем, медленно, но верно популярность президента снижается. «Рейганомика» объясняет многое, но не все. Дело и в том, что расширению ядерного арсенала люди предпочитают переговоры с Советским Союзом о разоружении. По словам сенатора Кеннеди, народ оказался прозорливее собственного президента. Заявления о том, что в ядерной войне можно победить, одних ужаснули, других пробудили, третьих сплотили. Люди собираются на улицах «больше трех». Митинги, манифестации, марши мира, составление петиций и сбор подписей под ними, встречи ученых и врачей, проповеди священнослужителей в церквях... Где же тут «рука Москвы»?

А барометр общественных настроений в Западной Европе показывает на непрекращающееся сильнейшее возмущение. Неспокойны, небезучастны к нынешнему курсу Белого дома люди и на других континентах. Приходится на них оглядываться. А требуется нечто большее — изменение курса. Когда в Белый дом пришла группа авторитетных ученых из разных стран, чтобы предупредить президента о катастрофических последствиях ядерной войны, он их выслушал накоротке, сесть не пригласил, стоял и сам. Был немногословен. Ничего не обещал сделать, чтобы такую войну предотвратить, и даже отказался признать, что никто из нее не выйдет победителем. Тут уж, кажется, помощники ни при чем. Хоть и десять минут, а ученые говорили с человеком, чей палец может прикоснуться к кнопке запуска ракет — достаточно ему извлечь из бумажника тот жетон.

Будь с ними д-р Кистяковский, думаю, он наверняка повторил бы в глаза президенту то, что каждый раз говорит всем другим: угроза реальна.

Который теперь час? Ответить можно по-разному. На символических часах организации ученых-атомников США без трех минут полночь. Не ратифицирован договор ОСВ-2, налицо обострение международной обстановки — вот и пришлось перевести стрелку на минуту вперед. Это не значит, что до наступления дня *x* остались считанные минуты. Но можно сколько угодно восклицать: «Время, остановись!» — а лучше все-таки остановить ястребов.

Когда в памятный день 12 июня миллион американцев вышел на нью-йоркские улицы, людьми двигал здравый смысл и желание сберечь жизнь. Рейгановской администрации они, мягко говоря, выразили недоверие. Тогда же по случаю Дня Франклина Рузвельта в ООН сенатор Кеннеди сказал: «Как американец, я полностью от-

вергаю абсурдную теорию, по которой завтра мы сможем уменьшить число своих атомных бомб, если сегодня будем продолжать создавать новые». Кому он отвечал? Одному высокопоставленному сотруднику совета национальной безопасности — тот спокойно, почти бесстрастно заявил, что по поводу ядерного конфликта нечего, мол, и беспокоиться. Всего столько-то процентов за и всего столько-то против. Это был Пайпс. Подтвердивший характеристику, данную ему д-ром Кистяковским: провокатор напряженности похлеще всяких генералов. Кому еще? Одному помощнику заместителя министра обороны — тот не менее спокойно и не просто равнодушно, а цинично и во всеуслышание сказал, что для выживания человеку необходима только лопата, чтобы вырыть яму, и куча земли, чтобы накрыться ею сверху и уберечься от радиоактивных осадков. В сущности, могила. Имя этого субъекта не заслуживает даже упоминания.

Видеть солнце, а не грибовидные облака в небе — что может быть естественнее такого желания? Первая обязанность любого государства перед своими гражданами — гарантировать им жизнь. Без мира это невозможно. А надежду на мир сулят только реальные дела, которые позволили бы затормозить гонку вооружений и перейти к разоружению, прежде всего ядерному. Такова линия Советского Союза.

А вот линия правящей Америки. Обязательство не применять первыми ядерное оружие на себя не брать. На замораживание ядерных арсеналов не соглашаться. Переговоры о полном и всеобщем запрещении ядерных испытаний не возобновлять. Кругом сплошное отрицание.

Что это как не пренебрежение кровными интересами всех народов, включая американский, охваченных, говоря словами Л. И. Брежнева, глубокой тревогой за свою судьбу.

Всегда жили с мыслью: после нас придут другие. Без нас, но человечество пребудет на земле всегда. Не возникало и вопроса: может ли вообще человек не быть? Да философы-материалисты шли на костер — ныне, присно и во веки веков будет! А теперь может случиться так, что после нас не будет никого.

Это не пессимизм. Пессимисты не верят в завтрашний день. Оптимистам не безразлично, каким он будет, и потому они говорят правду. Ядерная война не неизбежна. Но реальность зла, нависшего над человечеством, — это само ядерное оружие да еще безрассудство тех, кто хотел бы, даже хочет сделать немислимое мыслимым: пустить его в ход.



ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

СИЛЬВА КАПУТИКЯН



НА СТЫКЕ ВЕКОВ И ВЕКА

Наверное, это так: если хочешь постигнуть настоящее, вникнуть поглубже в то, что вокруг тебя, полезно бывает оглянуться на прошлое, поискать и постараться найти истоки этого настоящего, «прихватить» их с собой и вновь вернуться к нынешнему дню, сравнить его с тем, что было давно.

Передо мною письма нашего классика Ованеса Туманяна. Среди них особенно тревожно звучат те, что написаны с 1915 по 1920 год, когда султанский ятаган вершил свое черное дело, лишал крова и жизни тысячи и тысячи мирных жителей Западной Армении. А вот письмо, написанное в 1921 году в первые месяцы установления советской власти в Армении, оно адресовано в Париж крупному армянскому поэту Аветику Исаакяну: «Аво-джан, получил твое письмо. Ты пишешь: «Если время удобное — позови, и я приеду». Приезжай, Аво-джан. Для нас «удобного» времени не было и вряд ли будет, и все же приезжай. Приедешь, увидишь наш край разоренным, наш народ почти истребленным, а тех, кто остались в живых — надломленными, душевно разбитыми, круг наших родных и друзей поредевшим. Увидишь, какая огромная доля из моря несчастий этого мира выпала на нас, особенно на меня и тебя. И все же приезжай... При всем этом должен тебе сказать, что наше теперешнее правительство намного лучше, чем ты можешь себе представить. Особенно литература и искусство никогда не удастаивались у нас такого внимания. Край разорен, и к тому же очень повредила засуха, но здесь прилагают много усилий для спасения и восстановления. И мы всячески должны помочь. Очень многое есть, о чем тебе написать, но я жду тебя. Приедешь — поговорим и сделаем, что сумеем... Теперь все получают возможность заняться своим делом. При всех наших бедствиях, это очень много. Словом, приезжай, Аво-джан, все же приезжай. Твой Ованес».

В этих торопливо начертанных строках столько боли и тревоги, напряженное дыхание мучительных, но и вдохновенных дней, столько тоски, мечтаний, надежды и трогательно повторяющемся призыве: все же приезжай, Аво-джан, все же приезжай...

Вот с такой отраженной в письме — сложной, путаной, драматической — жизнью и вошла Армения в состав советских республик шестьдесят лет назад, присоединилась к радуге, вобравшей в себя более семидесяти цветов. Как и другие народы, армянский народ внес в эту радугу и собственный цвет, многослойный опыт своих веков и своей души: камень памятников, 1600-летнюю письменность, помогавшую ему выстоять, пергаменты манускриптов, строки Нарекаци, мелодии Комитаса, а также веками накопленную память поколений, боль старых и новых потерь, тревогу о судьбе своих раскиданных по свету сынов, негасимую ярость против нечаянного еще насилия и расправы, но вместе со всем этим: все же приезжай, Аво-джан, все же приезжай.

И приехал Аво, Аветик Исаакян, приехал, и по-новому зазвучала его лира:

К чудесному, нагорному, зеленому,
В весенних розах склоню я прильну,
К дыханью материнскому, бездонному,
Что шевелит пшеничных нив волну.

Меня чаруешь речью ты прекрасною,
Меня влюбленным зовом кличешь ты.

Тебя я вижу новую и ясную
С чертами древней, вечной красоты.

О мать! Твое грядущее, как молния,
Могуче, ярко блещет предо мной.
Армения, сил вечно юных полная,
Звук гордый речи сладостной, родной.

(Перевел В. Державин)

Еще до Исаакяна приехали, собрались на этом клочке родного нагорья, в этом новом ковчеге великие сыны своей земли: поэт Егише Чаренц, художник Мартiros Сарьян, архитектор Александр Таманян, композитор Александр Спендиаров, археолог Торос Тороманян, лингвист Рачия Ачарян и многие, многие другие. Приехали, чтобы отдать родине силу, талант, чтобы стать опорой своему полуголодному беженцу-народу, одержимому волей выжить, жить, созидать.

Сейчас от Еревана тех дней ничего не осталось. И тщетно пытаются найти главный архитектор города хоть одну улочку, хоть один уцелевший уголок, чтобы таким его и сохранить, передать векам. Только несколько чернокаменных домов устояло под натиском времени, остальные же — глинобитные, выцветшие домишки, которые и до встречи с бульдозером еле держались, — исчезли. Поэтому-то и нет у нас домов-музеев Чаренца, Таманяна, Спендиарова — домов, где жили они в те годы. Для всех них домом-музеем стала воспрянувшая из руин, окрепшая Армения. Ее новые города и села, улицы и площади, университеты и институты, гидростанции, каналы, сады словно одушевлены их именами, памятью их подвижничества.

Армения — страна великих приездов, великих возвращений. Приезд или возвращение из дали расстояний: Парижа, Берлина, Москвы, Петербурга, Тегерана, из самых разных уголков мира. Приезд или возвращение из дали времен: из дали 2750-летия царя Аргишти, заложившего первый камень крепости Эребуни, каменную метрику Еревана. Из бог знает какого языческого безвестия эхом отдаются голоса бородатых гоxtанских бардов. Из I века, через ухабистые перепутья двух тысячелетий шагают сейчас к нам, встав с разбитых колен, стройные, голубеющие от близкого неба колонны только что восстановленного храма Гарни. У величавых резных дверей Матенадарана — гранитная перенга седоголовых ученых мужей, и среди них сам Месроп Маштоц, начало из начал долгой-предолгой дороги нашего письменного слова.

На привокзальной площади словно для минутной передышки, обуздав коня, остановился Давид Сасунский. Отстояв свободу Сасуна, он, этот исполин народного эпоса, доскакал до Еревана, и благодарный народ возвеличил его, с опозданием, правда, на тысячу лет, но зато как возвеличил! Тогда, в 1939 году, это был один из первых праздников литературы, отмеченный с таким размахом и широтой, когда закладывалась ставшая теперь всеобщей традиция, давшая возможность еще ярче засверкать всему многоцветью радуги. В Ереван съехались писатели из самых разных краев, съехались, чтобы воздать дань уважения и понимания Давиду из Сасуна, воплотившему в себе нравственную силу народа, его идеал мирного, справедливого бытия. Среди гостей были Алексей Толстой, Всеволод Иванов, Александр Фадеев, Павло Тычина, Максим Рыльский, Георгий Леонидзе, Иосиф Гришашвили, Сamed Вургун.

То были семь дней и семь ночей из сказки. На улицах не протолкнуться. Под гром дholов и звуки зурны парни и девушки в сасунских костюмах плечо к плечу в круговом танце постукивали каблуками об асфальт, отплясывали так же, как их деды и отцы когда-то на склонах горы Марут. На стенах домов, на обочине дороги, на стенах — Давид Сасунский в доспехах, с мечом-молнией в руках. Когда же на площадь Ленина из арки Дома правительства на своем пенистогривом скакуне выехал чемпион мира тех лет — тяжеловес, изображавший Давида, — ликование дошло до предела. Казалось, что Давид, помирившийся с миром, и вправду через десять веков вышел из пещеры и явился народу, что произошла стыковка веков и века.

Прошлое оживает в настоящем. Только зеленые ростки свидетельствуют о жизнестойкости корней. Без живого, пульсирующего настоящего любой народ — лишь достойные истории, хоть и прекрасный, но, увы, экспонат, и чтобы увидеть его, надо пойти в музей, перелистать старые книги, энциклопедии.

И вот армянские века, словно затаившиеся под развалинами времени, в лучшем случае воспетые в поэтических элегиях, оплакивающих былую славу, за эти шестьдесят

лет ожили, обрели себя, и не только в реставрированных памятниках, в научных изданиях, но и в живом душевном общении прошлого с сегодняшним, когда прошлое, вековой опыт подталкивает, становится истоком созидания, питает силой своих корней.

Побывавший в Армении известный русский писатель Федор Абрамов писал в «Неве», в статье «В армянском мире»: «Эти пламенные творения из камня созданы великими сынами Армении, теми, кто черпал свое вдохновение в обращении к древним истокам нации, ее многострадальной и героической истории, кто жил всеми заботами сегодняшнего дня и кто нес в своем сердце свет будущего».

В жизни, в повседневности Армении есть одна черта, одна особенность, отличающая, пожалуй, только ее. К сожалению, отличие это, увы, не от хорошей жизни.

Жители Западной Армении, те, что чудом спаслись, рассыпались по миру. Больше половины армян живет не на своей земле. Поэтому-то и возникло в нашем языке новое слово «спюрк», то есть армянство, рассеянное по свету. Спюрк не имеет ничего общего с понятием «эмигрант». Армяне не добровольно оставили родную землю, а были оторваны от нее насильственно — огнем и мечом. Отсюда и любовь и непрестанный интерес к возрожденной Армении, которая олицетворяет идею родной земли, самим своим существованием вселяет силу там, на чужих берегах, устоять перед всепоглощающим валом ассимиляции.

В этом еще одна миссия советской Армении в жизни нашего народа.

Каждую ночь ереванское радио начинает беседу со своими далекими сыновьями, которая на обыкновенном языке называется радиопередача, а по существу это звон колокола, звучащего с куполов родных гор. Каждое лето в Армению приезжают из-за рубежа сотни детей, на обыкновенном языке это называется отдыхать в пионерских лагерях, а по существу — припасть к дедовской земле, воде, камням, вдохнуть запахи цветов родины, чтобы потом всю жизнь хранить это в своей крови. Каждую весну и осень в Ереван приезжают тысячи армян из спюрка, которые на обыкновенном языке называются туристами, а по существу — паломники, добравшиеся наконец до храма, до такой схожей с храмом далекой родной земли.

В последние годы среди них мы часто видели Уильяма Сарояна. Напоминающий восточного дервиша какой-то отрешенностью своей, даже аскетичностью, обычно в одном и том же далеко не новом светлом плаще, он вышагивал по земле, лазил по горам Армении, как бы стараясь прикоснуться к этим металлическим скалам, чтобы они словно магнит собрали воедино, вытянули из глуби его те притихшие, давние заряды, что толкались в крови, чтоб сильнее ощутил он сладостную боль своей принадлежности к этой земле, к своему древнему племени. Сладостная боль и в его словах, которые он произнес у нас в Ереване, на своем грубоватом битлисском наречии. Изведавший радость всемирного признания, писатель все-таки чувствовал себя обездоленным. «Вы не родились, как я, в чужой стране. Вы еще не понимаете своего счастья, потом поймете... Многие из вас объездят мир, увидят много, много прекраснейших мест — и поймут, что нет более прекрасного места, чем твоя родина».

В мае этого года Сароян навсегда возвратился в Армению. Согласно завещанию прах его должны были захоронить во Фресно и в Ереване. Разделенный надвое, как и народ его. Когда урну опускали в могилу, всеми нами овладело то необъяснимое чувство, которое, наверно, точнее всего можно было бы выразить словами самого Сарояна: «В мире где-то что-то не так...»

Похоронили его рядом с Комитасом.

Гроб с телом Комитаса привезли из Парижа в 1935 году.

Такие грустные, но исполненные глубокого смысла возвращения до сих пор есть в Армении...

Невозможно представить себе народ без национальной памяти.

Существует собирательная память поколений, которая переходит из века в век, из крови в кровь. И чем народ древнее, тем сильнее века закаляют, тренируют его память, потому что именно памятью, этим цементным раствором, соединяются, скрепляются долгие разнобойные века, именно через нее, через память, созданное в одном столетии может быть донесено до следующего. Конечно, весьма существен и сам душевный склад народа, его судьба, его история — в данном случае армянского народа.

Но были времена, когда память становилась нашей белой. Невозможно без горечи

читать строки известного западноармянского поэта Ваана Текеяна, чудом избежавшего страшной участи своих собратьев, погибших в пятнадцатом году:

Забудем ли мы наши беды и раны?.. Наверно,
Забудем — не правда ли? — если вернемся в свой дом...
Забудем ли вместе со скорбью своею безмерной
И горечь и гнев, что сжигают нам души огнем?
Наступит ли день, что не вспомним мы, господи боже,
Все зло, причиненное нам,— и людьми и тобой?
И снова мы петь и любить беспрепятственно сможем?..
О, знаю, еще мы гонимы жестокой судьбой..
Но, господи, слышишь, приблизь этот день, чтобы снова
Твое восхвалять милосердые мы были готовы..

(Перевела Е. Николаевская)

Весною этого года в Ереванском государственном университете был вечер Кайсына Кулиева. Он часто приезжал к нам, с любовью и не однажды писал об Армени стихи, поэмы, а, как говорит Саят-Нова, «любовь приносит любовь». И вот сегодня он щедро взимает любовь. Студентка филфака, стройная и гибкая, как горянка, которую воспевают Кулиев, не сводя с поэта восторженных глаз, читает его стихи на армянском, в переводе Амо Сагияна:

Я повидал немало разных стран,
объездил я едва ли не полсвета,
но возвратился из страны армян
и ныне повторяю имя это.

Во мне живет любовь к ее камням,
сто раз оплаканным, сто раз воспетым,
любовь к ее сынам и дочерям,
ее пророкам и ее поэтам.

В моих горах сегодня снегопад,
снег падает с небес легко и немо.
Передо мной белеет Арарат,
хотя смотрю я на снега Чегема.

(Перевел Н. Гребнев)

Я слушаю, и на память приходят разговоры с моими зарубежными соплеменниками: «Кто он, этот Кайсын Кулиев? Турок?» «Нет, балкарец. Балкарцы — один из тюркоязычных народов». «Тюркоязычных? — недоумевают мои собеседники. — А как же тогда он пишет так об армянах, о Комитасе?..»

В Чикаго я была в гостях у химика Этяна. Он числился в дашнакской партии, но душою был уже очень далек от нее. Этян показал мне свои статьи, написанные после возвращения из Армении. Одна из них о дружбе армян с другими советскими народами. Эпиграфом к ней строки Расула Гамзатова, которые показывает мне Этян:

Как армянин, я Арарат люблю,
Как армянин, с ним вместе я скорблю.
Туман его, дыхание его
Сгущаются у сердца моего.

(Перевел Я. Козловский)

Я представляю, какое чувство вызовет у тех же моих зарубежных знакомцев очерк татарина Рамиля Хакимова «Разговор с камнем», особенно этот отрывок из него:

«...здесь зияет и кровоточит жгучая рана армянской земли. Армения, не знаю, где другая твоя ладонь. Наверно, на головах твоих детей. Но эта — вот она: поднята к небу, и на ней горячий уголь. И как только он не прожжет ладонь?! Боль нячила, пестовала армян во все тысячелетия их истории, и огонь теперь уже не может обжечь, он лишь будит память. Откуда-то струятся скорбные мелодии Комитаса. Они — словно голос самой многострадальной армянской земли. Комитас не выдержал ужасов резни и сошел с ума... звуки эти переворачивают душу. Как будто сама земля стонет. Перед большим горем теряешься. Тут уж ничем не поможешь. Можешь только присоединиться к нему...»

Вся книга Хакимова пронизана любовью и таким уважением к народу, как будто

далекому и по географии и по складу судьбы, с таким участием и жаром души он ведет свою беседу с камнем, словно от этого жара камень смягчится, исполнится благодарности.

Прочел бы все это Ваан Текеян! Ведь смягчается не только камень, глубоко вросший в жесткую армянскую землю, но от сердечности слов, от участливости и понимания того же Рамиля Хакимова, Кайсына Кулиева, Расула Гамзатова и многих других наших друзей спадает камень, тяжестью лежавший на наших сердцах.

Недавно мне представился случай прочитать в зарубежных армянских газетах о цикле передач Анкарского телевидения за последние месяцы. Три комментатора, пространно излагая предысторию трагических событий 1915 года, заявляют, что никакого запрограммированного геноцида не было, была лишь массовая депортация армян из пограничных с Россией поселений, продиктованная законами тогдашнего военного времени, ибо армяне ориентировались на Россию. Таково «обвинительное заключение», в подтверждение которого приводится ряд высказываний армянских общественных деятелей.

Надо сказать, что комментаторы более чем скромны, приводя эти высказывания, потому что начиная с XVII века — от яростного поборника национального освобождения Исраэла Ори — до Абовяна, Налбандяна, до наших дней все прозорливые люди Армении связывали с Россией свои надежды на свободу, тянулись к России, верили в нее. Чем не «обвинительное заключение» слова Аветика Исаакяна: «Присутствие одного красного русского солдата на границе армянской страны стоит тысячи Вильсонов и Лиги Наций».

Речь не только о физической безопасности, о защите от врага. Веками томившиеся под иноземным игом армяне ждали и видели свое спасение в великом северном соседе. В селах Западной Армении люди нарекали сыновей Русетами — Русью; русских в просторечье называли керн (дядя), постоянно твердили: «Кери знает, кери поможет, кери придет». И все это, естественно, само собой рождало внутреннюю привязанность, почти что чувство родства к тому, кто должен прийти, должен помочь. Несмотря на неприглядные поступки царских чиновников, это чувство всегда было присуще тем, кто стоял у руля духовной жизни народа.

«По мне, — пишет Ованес Туманян в канун Октябрьской революции, — не тот или иной политик решает ход истории, исторический путь и миссию той или иной нации. Они часто встречаются в политику как отдельные опечатки. А лучшие из них не то чтобы двигают ход истории — они просто понимают его и поступают сообразно. Следовательно, повторяю: дурное заявление или поступок того или иного политика не имеет для меня значения. Другое дело — заявление самой нации, которое делает она устами лучших своих сынов. А лучшие сыны России никогда еще не показывали себя жестокосердными».

Октябрьская революция, ее социалистические порядки создали социальную основу, при которой стало возможным проявиться лучшим чертам лучших сынов России, их великодушию, готовности прийти на помощь, широте и благородству.

Впервые в истории создалось новое сообщество — дружный союз братских народов, где каждая нация, большая или малая, пережила свое возрождение, и чем более отсталой она была, тем ярче и интенсивнее шло ее развитие.

Это восхождение сказывается и в Армении. Маленькая, занимающая на карте очень незначительную часть территории Советского Союза, наша республика равноправная, равногласная участница всех его свершений.

Помню еще одно непосредственное впечатление от Уильяма Сарояна.

Большой зал нового ереванского кинотеатра «Россия» переполнен. Празднуется 150-летие присоединения Восточной Армении к России, события, определившего дальнейшую нашу судьбу. Сцена тоже по-необычному многолюдна. Гости из Москвы, Ленинграда, делегации из союзных республик во главе с первыми секретарями ЦК. Зал — закругленный амфитеатр, поэтому можно взглядом охватить всех сидящих. Все время я глядела то на сцену, то невольно вправо. Там где-то в середине зала сидел Уильям Сароян. Я смотрела на него и удивлялась. Нескольким раз до этого мы встречались с ним в разных местах, и обычно подвижный, непоседливый, он долго не выдерживал. В разгаре застолья вскакивал вдруг, скороговоркой выпаливал: «Больше сидеть не могу, нужно уходить, большое спасибо». И не успевали окружающие опомниться, как его уже нет. А тут пять или шесть часов сидит как прикованный — весь

внимание, восторженно хлопает. Потом он часто вспоминал этот день: «Я был просто ошарашен... в первый раз увидел, как столько высоких мужей восхваляют наш народ». И еще как-то в другой раз заметил: «Я рад был понять, что армянский народ бодр, весел, уверен и спокоен за свою судьбу».

На всех дорогах своей жизни в Америке, во Фресно, Сароян постоянно общался с армянами, и облик его соплеменника представлялся ему совсем по-иному. Об отце своем, переселенце из Западной Армении, из города Битлис, он говорил: «У моего отца состояние души бывало обычно или грустное, или чрезвычайно грустное». Это «чрезвычайно грустное» состояние души пронизывает и знаменитое, ставшее хрестоматийным стихотворение классика болгарской поэзии Пейо Яворова «Армяне»:

Изгнанники, жалкий обломок ничтожный
народа, который все муки постиг,
и дети отчизны, рабыни тревожной,
чей жертвенный подвиг безмерно велик.
В краю, им чужом, от родного далеко,
в землянке, худые и бледные, пьют,
и сердце у каждого ноет жестоко;
поют они так, как сквозь слезы поют.

(Перевел М. Зенкевич)

Это был классический образ армянина, в общем-то верный, особенно для того времени, когда было написано стихотворение, то есть для начала века.

После этого армянский народ пережил еще большие беды, но сейчас, всего через несколько десятилетий, я уверена, если появится новый Яворов, с той же силой таланта и сострадания, в его стихах возникнет совершенно иной облик. Да он уже создан, он уже существует, этот новый образ, в книгах советских писателей разных национальностей. Совсем недавно вышли в свет два объемистых тома «В стране семи весен», куда входят произведения русских писателей об Армении. Армянский читатель с радостью принял и сборник стихов известного литовского поэта Эдуардаса Межелайтиса «Каменное вино». Наверное, только Армения, ее говорящие камни, ее пергаменты, библейская виноградная лоза, осеннее кипение молодого маджара, уверенная поступь хозяина этой земли могли вызвать к жизни такое название.

Да, вечная ноша грусти и «чрезвычайной грусти» не отягощает больше душу армянина, исчезло ощущение сиротливости, отчужденности от общего течения времени, нет комплекса уничтожения. Наоборот, армянин горд своим прошлым, своим настоящим, горд тем, что создает новые ценности, что он полноправный участник могучей общности советских людей.

Новый образ жизни в нашей стране оставляет свой четкий след, формирует духовный мир советского человека, в том числе и советского армянина. Наши декады, Дни литературы, симпозиумы, юбилеи, встречи, огромный размах переводов и изданий — все это стало привычным, обиходным, введено в государственное русло. Такова моральная позиция страны, ритм ее новой духовной жизни.

Если кто-то из нас попытается нарисовать карту своих дружб, то увидит, что день ото дня на ней обозначаются все новые места, появляются новые краски и рельефы, новые люди, новые языки. И тут не только география, не простое прибавление людей. Все это оказывает прямое воздействие на наш душевный мир, расширяет его меридианы, накладывает на него свои цвета, незаметно отликает новый духовный сплав.

Я это особенно чувствую, когда и дома и за границей встречаюсь со своими зарубежными сокровниками.

Разговариваем обо всем — вновь переживаем прошлые беды нашего народа, невзгоды спюрка, радость возрождения Армении. Но наступает момент — и я чувствую, как между нами образуется какой-то водораздел. Мои сородичи остаются на берегах Аракса, у подножия Арарата, у стен Эчмиадзина. А у меня в душе кроме этого еще другие, им непонятные, ими не воспринимаемые краски и оттенки. В моей душе живет Москва с ее исполинским дыханием и в то же время такая домашняя, привычная. Во мне живет память о Марии Петровых, которая была для меня не только переводчиком моих стихов, но и мерилом честности, человечности; я радуюсь новой книге Кайсына Кулиева, его чудесным стихам об Армении, в которую он влюблен, как юноша; меня живо интересуют сроки окончания строительства преобразующей таджикскую землю Нурекской ГЭС, где я недавно была; я рада, что белорусские зодчие

сумели создать такой поразительный памятник народной трагедии, как Хатынский мемориал; словом, кроме того, что я частица Армении, я — частица нашего могучего сообщества.

Становится ли меньше от этого во мне армянская доля? Расчленяется ли моя душа, раздваивается? Нет, она становится только более целостной.

Обо всем этом я говорила в своей книге «Меридианы карты и души», говорю и здесь, ибо невозможно завести речь о внутреннем мире советского человека, не отметив эти новые его духовные приобретения, эти основные черты советского патриотизма.

Так рушатся преграды, разделяющие людей, и создается эмоциональная общность сердец. Создается... Еще долгий путь должен пройти человек, чтобы окончательно победить в себе века и полностью принадлежать новому веку.

Мне кажется, в нашей стране невозможно оставаться замкнутым в своей национальной скорлупе, быть человеком, не видящим ничего дальше своего порога, точно так же как невозможно оторваться от родовых корней, потерять национальную память. Если и есть такие люди, они выпадают из русла естественного развития, на общем духовном рельефе страны они бесплодная грядка, с которой нельзя ожидать полноценного урожая. Суть такого человека — манкурта — во всей точности и глубине открыл нам Чингиз Айтматов в своем романе «И дольше века длится день», противопоставляя ему старика Едигея, прошедшего через горнило войн, испытаний, хранителя народных устоев и морали, широкого, великодушного, отдавшего свое сердце миру.

В киноповести Гранта Матевосяна «Хозяин», недавно опубликованной в журнале «Советакан арвест» («Советское искусство») главный герой — лесник. Под острым, как лемех, пером писателя от страницы к странице он вырастает из простого сторожа лесного участка возле села Цмакут в неуступчивого стража всего подлинно ценного, что есть в этом мире.

Когда читаешь роман Ч. Айтматова, повесть Г. Матевосяна, книги замечательных русских писателей, пишущих о людях земли, а также наиболее примечательные произведения братских литератур, при всей разноязыкости и разнохарактерности их главные герои по большому счету сливаются в один обобщенный образ человека, который аккумулирует в себе опыт непреложных нравственных норм и которого никакие ветры и взрывы атомного века не смогут оторвать от корней, от глубин народной памяти. Кажется, что он, этот сын Земли с большой буквы, чувствующий себя в ответе и за клочок родного поля, и за судьбы планеты, стоит, твердо упираясь ногами, на макушке земного шара, а перед ним — вся земля, исчерченная не меридианами и параллелями, а бороздами от плуга...

Армянская советская литература, ее выдающиеся поэты и прозаики — все они в кругу самых острых, животрепещущих проблем современного мира. У каждого свой четкий голос, своя тема, но все вместе, с нашим общим «армянским акцентом», они вливаются в многоголосье советской литературы еще одной многозвучной струей.

В интервью, данном Федерико Феллини корреспонденту «Юманите», мне интересно было прочесть такие строки: «Художник, писатель, режиссер, артист могут плодотворно работать лишь на своей земле, там, где они пустили глубокие корни. Для самовыражения им, как воздух, нужен свой родной язык, отражать они должны жизнь своего народа, вдохновляться его духовными ценностями». Мысль, в общем-то, не новая. Но любопытно, что говорит об этом один из самых крупных и самых современных кинорежиссеров мира и говорится это в век космонавтики и невесомости не только в чисто физическом значении этого слова...

Впервые в истории человек оторвался от Земли, от ее притяжения, полетел к Луне, в неизвестные дали, и языки мира, казалось, давно сложившиеся, обрели новые слова, новые словосочетания и понятия, такие, как «спутник», «космонавт», «луноход», «прилуниться», и многие другие. Думалось, этот отрыв от Земли должен был укрепить в человеке любовь и привязанность к матери Земле вообще, должен был всех людей мира сделать всеземлянами, не оставив места для национальных чувств.

Но произошло неожиданное. словно бы, оторвавшись от Земли, человек внезапно испугался: а не затеряется ли он в бездонности космоса, не обезличится ли мир под натиском НТР, не нивелируется ли? Инстинктивный этот страх продиктовал ему же-

вание еще крепче прильнуть к своим основам — к своей земле, к месту своего рождения, к своему роду и племени, заставил его отыскивать свои корни, чтобы, ухватившись за них, противостоять любой невесомости.

Безусловно, важнейшую роль в национальном самосознании народов сыграло существование Советского Союза, расцвет и развитие наций, входящих в социалистическое содружество, пробуждение народов Азии и Африки, сбросивших колониальное иго и встающих на собственные ноги.

В понятиях «национальная память», «национальные корни»; пожалуй, самое густое, самое сильное ответвление — язык. Не случайно выдающийся русский педагог Константин Ушинский так подчеркивает значение языка в жизни народа: «Пока жив язык народный в устах народа, до тех пор жив и народ. И нет насилия более невыносимого, как то, которое желает отнять у народа наследство, созданное бесчисленными поколениями его отживших предков. Отнимите у народа все — и он все может воротить; но отнимите язык, и он никогда более уже не создаст его; новую родину даже может создать народ, но языка — никогда: вымер язык в устах народа — вымер и народ».

Когда мы говорим о советском человеке, о новом духовном сплаве, гармонически включающем в себя национальное и интернациональное, естественно, наша мысль обращается к соотношению языков и к собирающему их вокруг себя русскому языку.

В 1946 году я, тогда еще совсем молодая поэтесса, поехала в Алма-Ату на 100-летие Джамбула, можно сказать, впервые проклюнулась из своей «национальной скорлупы», вышла в широкий мир, написала стихотворение, которое заканчивалось следующими строками:

Ведь от северных вьюг до бесснежного юга —
Мы единой семьи, что любовью крепка,
Но могли ли мы, братья, понять друг друга,
Если б не было русского языка?

Это истина, которая сопровождает нас на каждом шагу нашей жизни и дома, и в Москве, и в самом отдаленном уголке Советского Союза.

Русский язык для нас нечто большее, чем языковой посредник. Духовно-эмоциональная информация, которую мы получаем каждую минуту от окружающей нас жизни, от повседневного общения с другими народами, которая составляет часть нашего внутреннего мира, чаще всего входит в наши души посредством русского, с участием русского языка. В многонациональной и многоязычной Советской стране знание русского подразумевается само собой и как составная часть преобразующейся, обретающей новые оттенки народной памяти, памяти социалистических наций.

Но при едином развитии экономики и культуры, чувствуя себя неотделимой частью советского общества, каждая нация, каждая республика развивает свою культуру и язык, сохраняет свое национальное лицо и самобытность. Это не имеющее подобного себе в истории многонациональное содружество, созданное доктриной социализма, гуманнее, чем, скажем, Соединенные Штаты Америки, где мельница американской истории смешала, перемолола все нации и племена, создав одноязычный, но национально обезличенный конгломерат.

В бытность свою в Нью-Йорке я как-то попала в гости к пуэрториканцам. Их родина, Пуэрто-Рико, — первый из тех островов Вест-Индии, на который ступила нога испанцев. С начала века Пуэрто-Рико находится под эгидой Соединенных Штатов. Я хорошо запомнила ту густенно-бунтарскую атмосферу вражды и протеста против американцев, которая все гуще накалялась в той небольшой комнате. Помню юную девушку Фигероу, на темнокожем лице ее сверкающие, словно клинок, глаза и гневные слова: «Я испанского не знаю, в школе тех, кто говорил по-испански, наказывали... Мать моя не знает английского. Я с матерью разговариваю через сестру. Ненавижу английский, он разлучил меня с матерью...»

Русскому языку предназначена благородная роль не разлучать, а объединять людей и народы. Очень точно сказал академик Д. С. Лихачев в своих «Заметках о русском»: «...великий народ, народ со своей большой культурой, со своими национальными традициями, обязан быть добрым, особенно если с ним соединена судьба малого народа. Великий народ должен помогать малому сохранить себя, свой язык, свою культуру».

Это слова истинно русского человека. Того русского, которого ждали и на которого так надеялись мои предки, именем которого в городе моих родителей, в Ване, крестили детей.

Беру письма Ованеса Туманяна, еще раз проглядываю драматические строки: «Приезжай, Аво-джан. Для нас удобного времени не было и вряд ли будет, и все же приезжай».

Не только для Туманяна и Исаакяна не было удобного времени, чтобы целиком отдаться литературе, «заняться своим делом». Веками не было удобного времени и для армянского зодчего, художника, композитора, земледельца, кузнеца, ювелира. Войны, нашествия чужеземцев, постоянный гнет не позволяли им полностью проявить себя. К концу жизни, после долгих странствий нашедший пристанище в советской Армении писатель и мыслитель Костан Зарян в романе «Корабль на горе» устами своего героя говорит: «Страна жаждет... оросить эти земли, дать им жизнь, извлечь на свет божий несметные богатства, которые таят они в себе,— вот что нам надо... Вглядитесь лучше: эти земли, как и наша нация, страдают от одного и того же: они не могут дать всего того, что в силах дать, что могли бы дать...»

...И вот вода идет десятками новых каналов по скалистым туннелям из горных водоемов. Идет и несет материнскую благодать земле, веками осужденной на бесплодность. Усилиями человека и машины она освобождена сейчас от булыжников, разрыжена, помягчела и готовится к материнству. Из-под вековых каменных нагромождений высвобождается и творческий дух народа. Он порывается вверх, к солнцу, чтобы дать миру, то, чего под вековой угрозой страха и смерти не мог дать прежде. Скрытые под затвердевшими, труднодоступными пластами армянского языка, под лавой и пеплом отбушевавших веков несметные духовные богатства являются миру, восстанавливаются, переводятся. Из пещеры отшельника неподалеку от Вана, сменив рубище аскета на пурпурную мантию гения, спускается Григор Нарекаци, молитва-восстание которого возносится уже на русском, английском, французском, на множестве языков и наречий.

Свое победное шествие по миру продолжает Арам Хачатурян, умевший магией танца с саблями отвести взмах сабле. На вершине Арарата молодые физики пытаются обуздать златогривого коня — Солнце, направить его животворную силу в помощь человеку. Обросший архитектор в фартуке каменщика вместе с каменотесами реставрирует древние храмы Гарни, Амберт, Татев, чтобы сохранить их для новых тысячелетий, хотя и знает, что скопившихся в арсеналах мира бомб хватит на то, чтобы разрушить земной шар, превратить его в дым и пепел.

В недавно открывшейся городской музыкальной школе, носящей имя великого просветителя Абовяна, легкое постукивание детских пальчиков по клавишам заглушает тревожные голоса в эфире. А в Ереване, в Центре детского эстетического воспитания сотни правнуков Мартироса Сарьяна рисуют дом, дерево, бабочек. Самый младший среди них, смугленький Рубик, первый раз рисует солнце. Как и у детей всего мира, у Рубика солнце тоже похоже на широко раскрытый глаз: овал, а вокруг — густые длинные ресницы. Этот широко распахнутый глаз зорко следит за тем, чтобы земной шар не провалился в тартарары.

И вместе с Рубиком не спускает глаз, стережет мир вся огромная его страна. От края и до края. Бережет и бережет.

Приезжай, Аво-джан, все же приезжай!

Перевела с армянского Т. СМОЛЯНСКАЯ,



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

В. ПИСКУНОВ,
доктор филологических наук



АВТОРИТЕТ ИСТОРИИ

...учиться у уроков истории, не прятаться от ответственности за них, не отмахиваться от них...¹

Обращаясь к народам Западной Европы и сопоставляя их исторический опыт с русским, Александр Блок писал в поэме «Скифы»:

Для вас — века, для
нас — единый час.

Это ощущение спрессованности, плотности, стремительности движения времени, рожденное революционной Россией и воплотившееся в строке поэта, пронизывает всю советскую литературу. Оно задает ритм поэмам В. Маяковского, обращаясь ко времени, определяет широкий шаг его стиха: «Наш бог — бег, сердце — наш барабан». Оно воодушевляет публицистику М. Горького послеоктябрьской поры, всю — на контрастах прошлого и настоящего, всю устремленную в будущее. Образ быстробегущего времени становится героем повестей и романов А. Серафимовича и Д. Фурманова, К. Федина и Л. Леонова с их пафосом открытия нового революционного мира — беспредельного и подвижного, напряженного волевой энергией. Бег времени диктует даже названия книг: «В грядущее» Е. Чаренца, «Века и минуты» Х. Тахташа, «Темп» Н. Погодина, «Время, вперед!» В. Катаева, «Не переводя дыхания» И. Эренбурга, «За бегущим днем» В. Тендрякова...

Годы, уплотненные до взрыва, в каждый из которых вместились десятилетия, а иногда и века. И говоря сегодня о шестидесятилетии Советского Союза, мы имеем в виду не просто шесть хронологических десятилетий, а огромный массив времени, целую эпоху, знаменующую начало нового

летосчисления мировой истории. Ее содержание для нас, критиков и литературоведов, заключается в рождении социалистического искусства, возникновении невиданного до сих пор эстетического феномена — многонациональной советской литературы, которая так существенно обновила картину мирового литературного процесса, способствует самопознанию людей и народов, во многом служит ускорителем художественного развития человечества.

Как истории, так и современности известны примеры сосуществования в границах одного государства «разноязычных, разноплеменных литератур»: австрийской, венгерской, чешской, сербской, западноукраинской — в пределах лоскутной Австро-Венгерской империи, английской, ирландской, валлийской — в Великобритании, бельгийской и фламандской — в Бельгии, литератур на французском, английском и украинском языках — в Канаде, испанской, каталонской, галисийской, баскской — в Испании... И, как правило, главной тенденцией в развитии этих литератур было и остается стремление к обособлению, противопоставлению себя другим, то есть тенденция центростремительная.

Напротив, особое качество советской литературы, предвосхитившее пути развития других социалистических литератур и намечающее будущее мировой литературы, состоит в том, что она существует и развивается как органическое единство — единство в многообразии языков, традиций, художественных исканий и открытий. Это единство — осуществленная мечта Горького о возникновении «единой социалистической культуры, которая не стирая

¹ Ленин В. И. Полное собрание сочинений, т. 35, стр. 419.

индивидуальные черты лица всех племен, создала бы единую, величественную, грозную и обновляющую весь мир социалистическую культуру».

По-новому осознавая и осмысливая этот факт в год шестидесятилетия образования Союза Советских Социалистических Республик, мы говорим о творчестве советских писателей, заходит ли речь о русских Л. Леонове или С. Зальгине, украинце О. Гончаре или киргизе Ч. Айтматове, аварце Р. Гамзатове или грузине Н. Думбадзе, белорусе В. Быкове или литовце Э. Межелайтисе, чукче Ю. Рытхэу или молдаванине И. Друцэ... Список без труда можно продолжать и продолжать, потому что он включает в себя представителей более чем 70 советских национальных литератур, каждая из которых при этом осознает себя и частью единого советского народа. И если мы с оправданной гордостью отмечаем факт возникновения новой исторической общности — советского народа, то новая культурно-историческая общность — многонациональная советская литература — прямой результат этого величайшего социального процесса.

Каждая из национальных литератур влилась в русло единой советской литературы, обладая собственным национальным опытом. В одних случаях это была богатая многовековая традиция письменной культуры, печатного книжного слова, в других — древняя фольклорная традиция, эпическая и лирическая, в третьих — все начиналось сначала на многотрудном пути художественного освоения действительности. Русская литература еще до Октября достигла вершин реалистического искусства, грузинская находилась в поре расцвета романтической образности, узбекская и таджикская опирались на великую поэзию восточного средневековья, а многие народы Севера, Сибири и Дальнего Востока не имели даже собственной письменности. И в преодолении этой полистадиальности, в ускорении развития литератур и выводе их на орбиту современного художественного сознания огромную роль сыграла литература Пушкина и Толстого, Достоевского и Чехова, Горького и Шолохова.

«Книги Пушкина и Блока, Гоголя и Тургенева, Чехова и Горького помогли мне глубже понять и почувствовать не только душу России, но и свой собственный латышский край и человечество», — свидетельствовал крупнейший латышский поэт Я. Судрабкalis. Русская классика, русская советская литература вошли в духовный мир всех советских людей, способствуя форми-

рованию идеалов гуманизма и социализма, чувства национальной гордости и интернационального братства.

Сегодня, однако, речь должна идти не только о воздействии русской литературы на остальные, но и о взаимодействии советских культур, о расширяющемся обмене художественными ценностями. В наши дни понимать «собственный край и человечество» помогают книги белорусских писателей-баталистов, исторических романистов Грузии и Казахстана, поэтов Украины и Северного Кавказа, эстонских, армянских и азербайджанских прозаиков. В их творчестве опыт русской и мировой классики, горьковская традиция, органически соединившись с национальным художественным опытом, открыли перспективы для появления многообразных и новаторских форм искусства социалистического реализма. Смелое соседствование народного предания и космической фантастики в прозе Ч. Айтматова, древнего мифа и тончайшего психологизма в романах О. Чиладзе, гоголевской праздничности и романтической одухотворенности в украинской «химерной прозе», притчи и документа в прибалтийских литературах, преломление эпической традиции в жанре исторического романа у А. Алимжанова — неповторимость художественных миров, которые в своей совокупности образуют феномен современной советской литературы.

Этот взлет и подъем братских литератур, бывает, пытаются охарактеризовать как чудо. В наших критических статьях встречаются ссылки на «киргизское чудо», имея в виду романы Ч. Айтматова, пишут о «литовском чуде», включая в него не только поэзию Э. Межелайтиса и Ю. Марцинкявичюса, прозу Й. Авижюса, М. Служкиса, но и кинематограф В. Желакявичюса, как о чуде говорят об открытиях грузинских прозаиков и кинематографистов. В этом слове отразилось наше эмоциональное отношение к увиденному и прочитанному. Однако чудо всегда за пределами понимания. Здесь же действует вполне познаваемая, хотя, возможно, не до конца осмысленная нашей критикой закономерность. Расцвет советской многонациональной культуры обусловлен победой Октября, раскрепостившего творческую энергию всех народов Советского Союза, объединившего их общностью работы и борьбы, которые изменили лицо века.

Остается немногим более пятнадцати лет до конца столетия — срок совсем небольшой по календарю истории, вполне обозримый даже с точки зрения обыкновенной че-

ловеческой жизни. Новое столетие, как говорится, не за горами, а смена веков всегда обладает в глазах современников многозначительностью символа; приближаясь к подобным рубежам, они испытывают собственную причастность к истории, как бы достигают перевала Большого Времени, с которого открывается будущее и широко расстилается пройденный путь. Так было — так будет. Не составляют исключения и наши годы, способствующие росту исторического самосознания.

«Острее стало ощущение шагов Истории самой» — поэтическая строка Я. Смелякова чрезвычайно характерна для мироощущения современности. К памяти, без которой люди перестают быть людьми и уподобляются манкуртам, вызывают распутинское «Живи и помни», трифоновское «Время и место», память — главное условие «закона вечности» Н. Думбадзе, категорический императив героев «Буранного полустанка» Ч. Айтматова, романа О. Чиладзе «И всякий, кто встретится со мной...». Смысл XX века, его значение для судеб человечества — эти вопросы постепенно становятся достоянием даже обывденного сознания, над «событиями, грозными в истории Земли», задумывается все более широкий круг людей.

Оглядываясь на пройденное, поневоле соотносишь прогнозы, которыми было встречено наступление XX века, с сегодняшним нашим пониманием событий и явлений. Вот, например, одна из самых проницательных работ, которая прямо озаглавлена: «Предсказание о судьбах, ожидающих человечество в XX столетии». Прозорливость Герберта Уэллса, автора «Предсказания...», не может не вызывать восхищения, пока речь идет о перспективах науки и техники. Однако преодолеть традиционный для мышления XIX века порог евроцентризма писателю-фантасту оказалось много труднее, чем земное притяжение или даже пределы нашей галактики: «Только французский, немецкий или английский языки представляют залог сделаться собирательными для всей совокупности человечества. Я не думаю, чтобы в будущем иные языки смогли постоять за себя»².

К предвидениям и пророчествам тяготел также Андрей Белый: за три года до начала войны он расслышал «поступь больших событий, надвигающихся на мир»; Хиросима была еще делом далекого будущего, а в поэме 1921 года «Первое свидание» уже

предсказана возможность грозной катастрофы и едва ли не впервые ей дано название:

Мир — рвался в опытах Кюри
Атомной, лопнувшей бомбой...

Уэллса и Белого — художников очень и очень разных — сближает прежде всего способность заглядывать за горизонт настоящего, улавливать черты грядущего. Но вот что знаменательно: провидческий дар обоих давал осечку, едва речь заходила о грядущем «мироздании слова» и новых отношениях между нациями.

Как показало время, прогнозы в этой области реже всего оказывались достоверными, не часто соответствовали ходу исторического процесса, так как их авторы — а их было немало — ориентировались в конечном счете на евроцентристскую шкалу ценностей.

Между тем XX век вырвал из исторического небытия целые народы и континенты, приобщил их к сознательному историческому творчеству, не оставив сомнений на тот счет, что все нации — большие и малые — способны вносить свой вклад в мировую историю и культуру. Один из самых значимых итогов XX века — века сложного, грозного, противоречивого — как раз и состоит в этом расширении идеи человечества, которая сегодня отождествляется с собранием всех народов земного шара.

Процесс включения ранее отсталых наций в круг исторически деятельного человечества становится все более интенсивным, хотя в ряде случаев он и сопряжен с огромными трудностями, сопровождается ростом националистических настроений и амбиций — от крайне левых маоистского толка до «новых правых», стремящихся к возрождению нацизма.

«Двадцатое столетие является первым периодом в истории, когда все человечество пришло к одной и той же позиции национализма», — умозаключает один из главных теоретиков «доктрины паннационализма», американский профессор Г. Кон. И дает этому объяснение в работе, носящей программное название «Сущность национализма»: «Национализм — это идея, *idée-force* (идея-сила. — В. П.), которая наполняет душу и сердце человека новыми мыслями и чувствами и которая побуждает его превращать свое сознание в упорядоченное действие».

Многотрудный опыт XX века не оставляет сомнения на тот счет, сколь безнадежно и бесперспективно отождествлять подъем национального чувства с национализмом, проповедовать превосходство «избранного народа» над остальными, непременною

² Г. Уэллс. Предсказание о судьбах, ожидающих человечество в XX столетии. М., 1903, стр. 197.

враждебность наций друг к другу. Национализм в нашем столетии обернулся такой трагедией для многих миллионов, что забыть об этом было бы преступлением!

«Лучше всего служит человечеству тот, кто, будучи связан корнями со своим народом, развивает его духовные и нравственные потенции до такой высокой степени, что он оказывается способным обогатить все человечество» — итог, выстраданный годами антифашистского Сопротивления, обеспеченный вековым запасом культуры. Первостепенная роль в том, что он оформился в сознании людей XX века, принадлежит Октябрю, опыту социалистического строительства в Советском Союзе.

Само собой разумеется, что за рубежом предпринимаются энергичные попытки нейтрализовать воздействие советского опыта, помешать его распространению, поставить под сомнение его всемирно-историческое значение. Сошлемся хотя бы на книгу американского социолога Чарльза К. Уилбера «Советская модель и развивающиеся страны», в которой «советская модель» рассматривается как исторически равноправная капиталистической, в качестве одной из возможных альтернатив для развивающихся стран. «Надо надеяться, — пишет Уилбер, — что лидеры «третьего мира» извлекут лучшее из капиталистического и советского опыта, будут сочетать его со своим собственным своеобразием, чтобы создать новую и гуманную цивилизацию».

Уилбер заявляет о себе как о приверженце «нового синтеза». Существуют на Западе и теории прямо противоположные, утверждающие вообще невозможность взаимопонимания и сотрудничества между народами. «Запад есть Запад, Восток есть Восток» — по этой формуле строится вся монография Мадлен Руссо «Черные и белые в свете истины», которая посвящена сравнительному изучению культур Европы и Африки. Автор утверждает, что культуры разных континентов несовместимы, потому что европейцы рационалистичны по самому складу своего мышления и мировосприятия, африканцы же склонны к метафоричности, символизации обыденного сознания и мифотворчеству. На этом основании реализм провозглашается специфически европейским, локальным направлением искусства, тогда как африканская культура, дескать, искони предрасположена к интуитивной символической.

Знаток Дальнего Востока Р. Хэллорен выводит в книге «Япония. Видимость и реальность» важнейшие аспекты современной социальной жизни Японии преимущественно

из устойчивых особенностей национального культурного типа, утверждая, что «отношение Японии к внешнему миру является продолжением внутреннего национального характера японцев». И. Х. Шэнкс в работе «Война из-за слов» пишет о противопоставленности «восточной цели достижения nirваны» и «западного интеллекта» и т. д.

Подобные теории сложились не без влияния концепции всемирной истории Арнольда Тойнби. Английский ученый в своей книге «Воздействие русской революции. 1917—1967», выпущенной к пятидесятилетию Октября, не ограничиваясь сравнением культур, ставил вопрос в более широком плане. Он пытался опровергнуть ленинскую теорию естественного союза русского и европейского пролетариата с угнетенными массами Азии и Африки, ссылаясь на то, что их разделяет непроницаемая стена различных религиозных традиций.

В свою очередь крупные современные американские психологи М.-Л. Фарбер и К. Клинеберг исходят из того, что «психологический склад нации» лишь приспосабливается к истории, но не может быть изменен ею в «константной сущности». Таким образом, исторически обусловленное отчуждение наций и национальных культур выдается за незабываемый закон, утверждается невозможность их взаимопонимания и сотрудничества, диалога между ними.

Как свидетельствуют приведенные примеры, поиски национальной устойчивости в сдвинувшемся мире привлекают все большее внимание буржуазных философов, историков, психологов, искусствоведов. Особенно модными становятся рассуждения о том, что человечество, мол, разочаровавшись в «эпохах судорожного исторического творчества» и утомившись от безрезультатности «бурь и натисков», обращается к куда более плодотворным эпохам чистого созерцания и самоуглубления, обдумывания национального феномена. В результате, как утверждают сторонники этих концепций, человечество воспарит до таких вершин, как «Речи к немецкому народу» Фихте, где немцы объявлены средоточием разума всего человечества, как гегелевская философия «откровения национального духа», по сравнению с которыми идеи Французской революции выглядят «убогими и плоскими».

Подобное, по их мнению, произошло не только в Германии, но и в России, где после поражения декабризма и «кризиса» революционной демократии, после «террористического утара» народовольцев появились подлинные мыслители — «выразители народ-

ного духа, вечного и неизменного». На чаше весов современных буржуазных историков, изучающих русскую общественную мысль, К. Леонтьев и М. Катков, В. Соловьев и Н. Бердяев, С. Булгаков и Д. Мережковский явно перетягивают В. Белинского и Н. Чернышевского, Н. Добролюбова и А. Герцена, Д. Писарева и Г. Плеханова. Первые истину «богом упоенные люди», столпы истинной народности, представляющие «исконную линию русской души». Вторые — всего лишь вожди интеллигентов, стоявшие «вне предания».

В этой связи особенно часто вспоминается В. Розанов с его поэтизацией России — хранилища начал «гармонии и примирения», думаящей свою вековечную думу о душе, вместо того чтобы суетливо расходовать силы и таланты на «второстепенную» задачу преобразования действительности.

Когда же та самая Россия, на неподвижность и «практическую незаинтересованность» которой делалась ставка, Россия, которую любили сравнивать со спящей красавицей, уподоблять Святогору, отождествлять с Обломовым, совершила неимоверный рывок, потрясла мир, за короткий период одолела дорогу длиною в века, «парадокс России» не мог не стать в центре современных зарубежных концепций национального, не послужить индикатором многих теорий и самых разнообразных умозрений.

Для большинства советологов русские революции, годы советской власти якобы лишь замутили и исказили душу народа, попытались вынуть из нее национальный стержень, лишить характерности. Сошлемся хотя бы на американского профессора Э. Салливана, упорно настаивающего на том, что Россия целиком выразила себя в укладе патриархальной деревни и что русская патриархальность — единственная жизненная форма, целиком соответствующая душе этого народа.

Идиллии, возникшие на почве русской религиозно-философской мысли начала века, продолжают сегодня обрывать все новыми «аргументами». Чаще всего их сторонники утверждают внеположность «святой Руси» революции, которая, мол, затронула только верхние слои жизни и оказалась бессильной сдвинуть русскую душу с ее коренных, извечных основ.

Но подобные теории все основательнее опровергаются жизнью, и тогда «русская невинность» начинает переосмысливаться то как признак «русской примитивности», то как маска агрессии. Скажем, в книге О. Шпенглера «Пруссачество и социализм» Россия трактована как совершенно особый

мир, непостижимый для европейца и враждебный ему, характеризующийся «апокалиптическим бунтом против античности», мир, получивший свое выражение в «азиатском деспотизме» самодержавия. А. Тойнби ставит на одну доску «государство Петра и Ленина», видя в них обоих черты Восточно-Римской империи. Примером подобного рода манипуляций может служить также известная книга Д. Беллингтона «Иконы и топор» (Нью-Йорк, 1967), в которой сказано о неизменности русской души, заключенной с давних пор между двумя полюсами — смирением и бунтом.

Варианты спасения от «экстремизма русской души» предлагаются самые разнообразные — здесь и проповедь «третьего пути», и «новые модели социализма», наконец, просто ставка на национализм, который, оказывается, способен выдержать любые исторические испытания. «Коммунизм в конце концов, видимо, капитулирует перед национализмом во всемирном масштабе», — читаем мы в книге Е. Майоника «Немецкая внешняя политика. Проблемы и решения».

«Спор о России» стал поистине всемирным, потому что затронул кардинальнейшие проблемы человеческого существования. Он ведется на разных уровнях, вовлекает в свою орбиту представителей самых разных общественных дисциплин. Примечательно, что противники социализма вновь и вновь ищут поддержку у русских идеалистов начала века, готовы видеть в их трудах едва ли не «конечный вывод мудрости земной». Их наследие продолжает оставаться существенным фактором современной «драмы идей», оказывать воздействие на сегодняшние умонастроения, особенно в той части, которая касается проблем нации и национальной культуры.

Исходная посылка сторонников «религиозного сознания» заключается в том, что история — это в первую очередь духовная история, выступающая в качестве квинтэссенции и основы всех остальных исторических процессов и событий. Но и сама эта религиозно-духовная история, как верно отмечено в книге В. Кувакина «Религиозная философия в России», всего лишь феноменология, обнаружение и символизация некоторого замысла, провиденциальной судьбы России, которая на протяжении тысячелетий являет миру «русскую идею» независимо от того, осознает она это или нет, правильно или неправильно стремится ее реализовать.

Как не вспомнить тут настойчивые утверждения В. Розанова насчет того, что

факты истории — всего лишь «нарос на человеке», истинное же, первичное находится совсем на другом уровне, чем история, и постигается лишь подлинным искусством, видящим свою цель в познании религиозной природы человека. В культивировании «мистических задатков» русской души состоит, по Розанову, истинный выход для России, и потому она, как «масло с водой», никогда не сольется с марксизмом, обращающим народ в сторону материальных интересов.

Вспомним: консервативно-охранительная концепция Розанова оформилась на рубеже веков и уходила корнями в традиции русской религиозной мысли 70—80-х годов. Своеобразие общественных отношений в стране, идущей к революции, состояло в том, что к началу нового столетия и вчерашние либералы стали неуклонно сдвигаться вправо, поворачиваться от буржуазной демократии к реакции. Уже в сборнике 1902 года «Проблемы идеализма», этой идеологической предтече «Вех», сделана попытка ревизовать марксизм, неспособный якобы дать ответы на вечные вопросы бытия, «одухотворить» его за счет религии, «спиритуалистической метафизики», которая одна в состоянии раскрепостить личность от власти детерминизма и положить предел внешней необходимости. Окончательное сближение «либерально-рептильной» (по выражению В. И. Ленина) и откровенно реакционной ориентаций произошло в печально известном сборнике «Вехи», авторы которого были единодушны в нападках на русскую революцию и революционную интеллигенцию, как были единодушны и в проповеди религиозно-метафизических идей и верований.

Через год после «Вех» вышел другой проблемный сборник с претенциозным подзаголовком «Настоящее и будущее русской интеллигенции, литературы, театра и искусства», который характеризовался отчетливой направленностью против «утопизма, окрашенного в социалистический цвет». Тогда же — в 1910 году — появилась книга Бердяева «Духовный кризис интеллигенции». Начался, говоря словами Горького, невиданный «поход против демократии и демократических свобод». Читающая публика, как было принято в ту пору говорить, получила десятки книг и статей, пронизанных ненавистью к социализму, якобы пекущемуся о ближайших практических целях и одинаково равнодушному к высшим потребностям духа.

Особо часто противники марксизма ссылались на пример Герцена, который, мол, пото-

му и пережил свою трагедию, что не сумел круто порвать с «позитивными мыслями», обратиться в сторону «религиозных глубин». На примере Герцена, утверждал Мережковский, «предсказан вопрос, от которого зависит судьба всей русской интеллигенции: поймет ли она, что лишь в грядущем христианстве заключена сила, способная победить мещанство и хамство грядущее?».

«Властителями русских дум» объявлены только и исключительно религиозные мыслители, которые вопреки «интеллигентской суете» неумоимо тянут «преемственность национального самосознания». Так писал Бердяев в своей работе «Русская идея», тот самый Бердяев, что еще в период «Вех» провозглашал «кризис рационалистической философии, насаждаемой Западом и отечественной радикальной интеллигенцией», настаивал на том, что дух русского народа может быть воспринят «лишь мистической или художественной интуицией».

Ссылка на художественную интуицию сделана вовсе не для красного словца. Авторы «Вех» постоянно стремились навязать бой демократии на почве отечественной классики, целиком завладеть ею. Классика, если верить ее веховской интерпретации, — это особый мир, который «радикальной интеллигенции так и не удалось захватить», страна, в которой живут «без шор общественно-утопической морали», где «в самый разгар гражданственности» Толстой славил мудрую «глупость» Каратаева и Кутузова, Достоевский изучал «подполье»...

Еще В. Соловьев в работе «Национальный вопрос в России» (1891) пронизательно раскрыл методы консерваторов националистического толка, выхватывавших из творчества великих писателей отдельные частности, чтобы в конечном счете объявить главным у Жуковского «реакционный романтизм», в «грибоедовской сатире на Москву» по-своему перетолковывать несколько фраз против поверхностного подражательства, сатиру Гоголя, этот «страшный суд предвостопольской эпохи», заслонить проповедью «Переписки», лучшим произведением Пушкина назвать оду «Клеветникам России», усмотреть смысл творчества Гончарова в полемических выпадах против нигилизма, преклоняясь перед Л. Толстым, свести его к Каратаеву и каратаевщине... Философом схвачен и указан самый коренной изъян консервативной мысли, во многом смотрящей мимо действительного развития и потому вынужденной конструировать умозрительную картину жизни вместо ее объективного анализа и исследования,

К сходным приемам консерваторы вынуждены были прибегать и перелистывая страницы отечественной истории. Известно, что при самом пристальном внимании славянофилов к прошлому и их несомненной заслуге в постановке вопроса о народе как «единственном и постоянном действователе истории» (А. Хомяков), тем не менее на славянофильском фундаменте не было воздвигнуто сколько-нибудь полного курса отечественной истории. И не в последнюю очередь потому, что большая масса реальных фактов, явлений, процессов, открытых ими, сведена в статистические структуры, исключающие возможность дальнейшего движения и развития. Естественнo, что реальная история выступала в роли сурового оппонента этих учений.

Чем дальше и решительнее пути жизни расходились с консервативными идеалами, по мере того как действительное развитие оставляло все меньше надежд на осуществление консервативных утопий, тем все более отчетливо утрачивался либеральный антикрепостнический дух отцов славянофильства 40-х годов, тем неотвратимее консервативная мысль, подобно стрелке компаса, склонялась в сторону политической реакции и мистицизма.

И «провозвестнику экзистенциализма» Н. Бердяеву, и «учителю церкви неославянофилов» П. Флоренскому классики старого славянофильства кажутся «наивными прихожанами». Они говорят о пропасти, которую вырыла первая русская революция между славянофильской верой в патриархальный быт, «семейственный уклад» России и положением после 1905 года, когда не стало никакой «уверенности в твердости земляной почвы».

Старое славянофильство упрекается в излишней приверженности «эмпирической истории», с которой больше не связывают никаких надежд, ибо «русская идея» теперь ставится в прямую, нерасторжимую связь с теориями религиозно-мистическими. По утверждению Бердяева, разум еще может помочь европейцам — «людям закона» и «людям формальной организации», но полностью заказан нам, так как «русская идея есть воля к нисхождению». Нация в таких случаях трактуется как реальность порядка мистического. К нации-де не применимы никакие социально-классовые категории; русский народ как нация, как цельный организм есть реальность умопостигаемая, сверхэмпирическая, мистическая...

Наше столетие знает опыт решения национального вопроса, на который мы сегодня, в год шестидесятилетия образования Со-

ветского Союза, оглядываемся с особой гордостью. Это опыт национального строительства в СССР, служащий живым воплощением идей В. И. Ленина, осуществлением ленинских принципов национальной политики.

Исходная посылка Ленина состоит в том, что национальные отношения не могут быть оторваны от социально-экономических процессов, изъяты из-под действия общих законов классовой борьбы, истолкованы как самодовлеющие и неизменные. «По сравнению с «рабочим вопросом», — писал Ленин, — подчиненное значение национального вопроса не подлежит сомнению для Маркса. Но от игнорирования национальных движений его теория далека, как небо от земли»³.

Ленинское высказывание помимо всего прочего направлено также против К. Каутского и каутскианства, оказавшего известное воздействие на часть российской социал-демократии. Лидер II Интернационала исходил, как известно, из того, что «духовное единение наций» и их «экономическая равноценность» могут быть достигнуты лишь путем «увеличивающегося нивелирования... не считаясь с тем, будут ли некоторые эстеты презрительно морщить нос или нет».

Столь же реформистски по существу решался национальный вопрос лидером австро-венгерской социал-демократии О. Бауэром, хотя он руководствовался прямо противоположными, чем Каутский, установками. Теории нивелировки наций по мере «их движения по пути прогресса» Бауэр противопоставляет учение о все большем разединении народов; об углубляющейся дифференциации национальностей в социалистическом обществе.

И та и другая концепции встретили резкое осуждение со стороны Ленина, который противопоставил им интернационалистскую позицию, опирающуюся на глубокое знание классовой реальности. Борьба за социализм, по Ленину, — это и есть лучший способ борьбы за национальные интересы народов. Исходя, однако, из того обстоятельства, что исторические пути разных наций неодинаковы.

В ленинских трудах постоянно ощущается внимательное, уважительное отношение к традициям народов; к своеобразным условиям их развития, ко всему, что касается непосредственно «национальной психологии»⁴. На страницах его работ мы встречаем великое множество точных наблюде-

³ Ленин В. И. Полное собрание сочинений, т. 25, стр. 301.

⁴ Там же, т. 45, стр. 357.

ний и проницательных суждений, которые могут и должны быть взяты на вооружение философами, социологами, историками, психологами, литераторами для характеристики национального своеобразия народов.

С неизменной гордостью Ленин писал о революционном размахе, упорстве, стойкости русских рабочих и крестьян. А чего стоит реплика, что «немец воплощает... начало дисциплины, организации, стройного сотрудничества на основе новейшей машинной индустрии, строжайшего учета и контроля»⁵.

Выдержки подобного рода легко продолжить, и все они с неумолимой логикой подводят к обобщающему выводу, который был сформулирован как один из основных коммунистических принципов: «Исследовать, изучить, отыскать, угадать, схватить национально-особенное, национально-специфическое в конкретных подходах каждой страны к разрешению единой интернациональной задачи...»⁶.

Именно этот теоретический принцип был положен в основу практической работы по созданию Союза Советских Социалистических Республик, базирующегося на полнейшем доверии и ясном сознании братского единства народов, как определял этот союз Ленин.

Буквально до последних дней своих Ленин следил за неуклонным соблюдением этого принципа, постоянно подчеркивал, что максимум демократизма сводит до минимума национализм, настойчиво предупреждал об опасности администраторских увлечений в решении национального вопроса. «Мы убеждены,— говорил Ленин в речи на IV сессии ВЦИК IX созыва,— что если наша революция достигла настоящих успехов, то это потому, что именно власти на местах, опыту самих мест мы всегда уделяли самое главное внимание»⁷.

Ленин не устал повторять, что неослабеваемое внимание к интересам различных наций будет способствовать их добровольному взаимному сотрудничеству, создавая предпосылки успешного развития всего самого ценного в современной цивилизации...

Ленин иронизировал над такими коммунистами, которые, сталкиваясь с новыми вопросами, обращаются за исчерпывающими ответами к «старым книгам», а не находя их там, впадают в состояние уныния и растерянности. Ленинская мысль не призна-

вала постоянной оглядки на цитаты и авторитеты, вся была устремлена к поиску конкретных ответов на вопросы, заданные действительностью. Он говорил: «...раз возникли массовые национальные движения, отмахнуться от них, отказаться от поддержки прогрессивного в них — значит на деле поддаться националистическим предрассудкам...» Но рабочий класс, тут же писал Ленин, «меньше всего может создать себе фетиш из национального вопроса»⁸, мы должны рассматривать и оценивать его с точки зрения интернациональной перспективы.

Во всех работах Ленина по национальному вопросу — и в статье «Национальный состав учащихся в русской школе», и в «Критических заметках по национальному вопросу», которые были написаны и опубликованы в том же 1913 году, и в статье «Итоги дискуссии о самоопределении», датированной 1916 годом, и в тезисах, докладах, речах, адресованных II конгрессу Коммунистического Интернационала (1920), — проводится сквозная мысль о том, что интернационалист во всех случаях должен «бороться против мелконациональной узости, замкнутости, обособленности, за учет целого и всеобщего, за подчинение интересов частного интересам общего... иного пути к интернационализму и слиянию наций, иного пути к этой цели от данного положения нет и быть не может»⁹.

Все значительно в такой постановке вопроса. Она целиком основана на понимании национального как категории, находящейся в процессе движения, развития, обновления. Хотя при этом Ленин далек от того, чтобы представлять национальное лишь как механически производное от социально-исторического, как зеркальную форму его отражения. Не сбрасывались со счетов ни устойчивые традиции культуры, ни психические черты нации, которые складывались столетиями и тысячелетиями, ни многие другие факторы, активно участвующие в формировании духовного облика нации. Ленин полагал их весьма существенными и неизменно с ними считался.

Не оставив камня на камне от пресловутых теорий «национального единства», которые вольно или невольно служили преградой на пути роста революционного сознания и классовой дифференциации сил, Ленин разработал поистине динамичное, подвижное, революционное учение о нациях, которое твердо стоит на фундаменте истории и социологии.

⁵ Там же, т. 36, стр. 82.

⁶ Там же, т. 41, стр. 77.

⁷ Там же, т. 45, стр. 249.

⁸ Там же, т. 25, стр. 302, 301.

⁹ Там же, т. 30, стр. 45.

Еще Маркс и Энгельс издевались над «истинными» социалистами — всеми теми «философами, полуфилософами и любителями красивой фразы», которые на досуге предавались мудрствованиям «об осуществлении человеческой сущности». Выхолостив французскую социалистическо-коммунистическую литературу так, что «она перестала выражать борьбу одного класса против другого... немец был убежден, что он поднялся выше «французской односторонности», что он отстаивает, вместо истинных потребностей, потребность в истине, а вместо интересов пролетариата — интересы человеческой сущности, интересы человека вообще, человека, который не принадлежит ни к какому классу и вообще существует не в действительности, а в туманных небесах философской фантазии»¹⁰.

С тех же позиций анализа классовых противоречий ведет Ленин борьбу против «экономического романтизма», который, как и «немецкий истинный социализм», прикрывал свою неспособность к научному исследованию мелкобуржуазным морализаторством, рисовал картину абстрактного общества, «в котором уже нет никаких противоречий»¹¹.

Ленин был нетерпим к подобного рода философским спекуляциям, подмене науки мифотворчеством. В частности, это касалось понятия «нация», когда из него пытались выхолостить реально-историческое содержание, лишить классовой сущности. Абстрактным фантазиям был противопоставлен принцип исторического исследования, классового анализа, который учит рассматривать явления в их совокупности, развитии, действительной сложности, противоречивости.

Представляя читателям журнала «Просвещение» статью товарища Ветерана «Национальный вопрос и латышский пролетариат», Ленин писал в редакционном предисловии: «...для «наций без истории» негде искать (если не в утопии) примера и образца, как среди наций исторических»¹².

Казалось бы, беглое замечание, мысль, мимоходом оброненная на полях чужой рукописи, но за ней — целая концепция, тщательно продуманная и точно сформулированная дилемма: либо опираться в изучении национального вопроса на опыт истории, считаться с объективными процессами общественного развития, либо третировать

современность и предаваться прекраснотупным мечтаниям.

Резкая грань между марксистской «историко-экономической теорией нации», которая обладает достоинствами подлинной научности, и теориями, ориентированными на желаемое вопреки сущему, проведена впервые в работах о народничестве. И впоследствии, будет ли Ленин разоблачать программу «национально-культурной автономии», разьяснять опасность «национал-коммунизма» или отстаивать право наций на самоопределение, его мысль неизменно обращена к реальной истории, твердо стоит на том, что нет у человечества иного времени и пространства развития, кроме исторического.

Наиболее красноречивое подтверждение тому — Россия Ленина. Она живет по всеобщим законам истории и при этом отмечена глубоким своеобразием, единственная и особенная.

Отвечая «героям II Интернационала», которые любили прибегать к оговорочкам, когда речь шла о мельчайшем отступлении от «немецкого образца», Ленин подчеркивал: «...им совершенно чужда всякая мысль о том, что при общей закономерности развития во всей всемирной истории несколько не исключаются, а, напротив, предполагаются отдельные полосы развития, представляющие своеобразие либо формы, либо порядка этого развития. Им не приходит даже, например, и в голову, что Россия, стоящая на границе стран цивилизованных и стран, впервые этой войной окончательно втягиваемых в цивилизацию, стран Востока, стран вневосточных, что Россия поэтому могла и должна была явить некоторые своеобразия, лежащие, конечно, по общей линии мирового развития, но отличающие ее революцию от всех предыдущих западноевропейских стран и вносящие некоторые частичные новшества при переходе к странам восточным»¹³.

Запад и Восток. Географическое положение России, ее история и быт, экономическое развитие и идеология, умственное движение — все способствовало тому, что вопрос о соотношении двух великих материков человеческой культуры неизменно являлся одним из самых главных «русских вопросов».

Односторонность Запада, несмотря «на всю чистоту и выглаженность», становилась тем очевиднее, чем основательнее давали о себе знать последствия капиталистического прогресса, а человек на Западе ли-

¹⁰ Маркс К. Энгельс Ф. Сочинения. т. 4, стр. 452.

¹¹ Ленин В. И. Полное собрание сочинений. т. 2, стр. 171.

¹² Там же, т. 24, стр. 342.

¹³ Там же, т. 45, стр. 379.

шался, по определению Герцена. веры в будущее. Страшными гримасами обернулись на деле благороднейшие проповеди свободы, равенства и братства, что дало Л. Толстому (да и ему ли одному?) право заметить: «...когда западные народы шли на этот путь, все передовые люди звали их на этот путь, теперь же не я один, а мы многие видим, что это погибель». Надежды на спасение Толстой связывает с «восточным элементом». Отсюда, как утверждал Ленин, и аскетизм, и непротivление злу насилieм, и глубокие нотки пессимизма, и убежденность в ничтожестве всего материального рядом с духовным.

Повсеместно крепло убеждение, оформившееся уже в классической литературе предшествующего столетия, что именно России суждено проложить новые пути человечеству. Общая постановка вопроса заключала в себе самые разнообразные практические варианты, открывала простор для немало го числа проектов: объединение церквей у В. Соловьева, русское религиозное мессианство Достоевского, скифство «младших символистов»...

«Дворянские Геродоты», начиная с Погодина и Шевырева, твердили, что «Западу на Востоке быть нельзя, и солнце не может закатываться там, где оно восходит» (М. Погодин, «Древняя русская история до монгольского ига»). Космологические аллегории, однако, соседствовали и мирно уживались со вполне трезвыми расчетами на возможность изолировать Россию от революционного тогда Запада, задержать сколько возможно ее развитие. Очень кстати пришла мысль, что, только «обезнародив народ», можно сделать его восприимчивым к «западным идеям». Европейца охотно и неоднократно сравнивали с человеком, носящим в себе «заразительный недуг», окруженный атмосферой опасного дыхания (С. Шевырев, «Взгляд русского на образование Европы»). Теоретические выкладки такого рода не проходили мимо сочувственного внимания начальства, подкреплялись неукоснительными действиями администрации, видевшей высшую мудрость в том, чтобы «тащить и не пущать». Так граф Растопчин писал в донесении Павлу: «России с прочими державами не должно иметь иных связей, кроме торговых», — на что император не замедлил откликнуться резолюцией: «Святая истина!» И это далеко не самый курьезный случай.

Ленин был непримирим к «самобыткам» всех сортов и оттенков, стремившихся по сути дела увековечить «восточную неповиженность», укоренить пассивность,

фатализм, непротivление злу насилieм. Именно у Ленина проблема Запада и Востока впервые оказывается составной частью общего учения о пролетарской революции, обусловлена анализом соотношения классовых сил во всем мире, пониманием неравномерности исторического процесса разных стран.

Автор «Развития капитализма в России», «Империализма, как высшей стадии капитализма», «Тетрадeй по империализму» острее, чем любой из современников, видел и понимал диссонансы капиталистического прогресса, потери, понесенные человечеством при переходе на эту стадию развития. Ни один современный Ленину теоретик не мог равняться с ним в научной основательности критики капиталистического миропорядка, не оставившего, по словам Маркса, «между людьми никакой другой связи, кроме голого интереса, бессердечного „числогана"»¹⁴. Но понимая и объясняя все это, Ленин твердо стоял на том, что искать спасения в бегстве от цивилизации и проповеди патриархальности — сплошная нелепца, абстрактное морализирование.

Ленин восхищался Л. Толстым, критика которого во многом потому столь убедительна, что он смотрел на ужасы капитализма глазами патриархального крестьянина. Когда же народники, а потом эсеры упрекали социал-демократов, что те взялись за «малопочтенную задачу приукрасить капиталистическую петлю», Ленин призывает в союзники историю, не колеблясь выступает от ее имени, доказательно обвиняя своих идейных противников в неумении понять объективный ход экономического развития.

Народники видели в наступлении капитализма только упадок, регресс страны. Кадеты и их предшественники, напротив, были убеждены, что Россия шаг за шагом должна повторить путь Западной Европы и стать заправской страной капитализма. Об этом писали Ковалевский, Лучицкий, Виноградов. А труды историков дополнялись публицистическими выступлениями, самое заметное из которых, конечно же, Д. Эртеля: необходимость эмансипации интеллигенции от народа мотивирована в его «Письмах» тем, что головоотяпство — основная черта и решающее качество народной жизни. «Кто в этом виноват: татарщина ли, вотчинный ли принцип государственной власти, православие ли, крепостное ли право — разбирать трудно и долго; одно несомненно и бро-

¹⁴ Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения, т. 4, стр. 426.

сается в глаза — мучительность жизни среды этого киселеобразного конгломерата, мучительность для самих «головотяпов» и, быть может, еще большая для их интеллигенции. Малоземелье, податные тягости, гнет международной политики с ее чудовищными вооружениями... — все это — увьи — еще не объясняет удивительной отсталости «города Глупова», его полнейшей несостоятельности перед насущными задачами века. В сущности, «город Глупов» до сих пор гораздо более азиат, кочевник и раб — с хорошими и дурными качествами такого состояния, — нежели сознательный и правомерный союз здравомыслящих людей».

Итак, для одних русский народ — богоносец, возле которого только и дано обрести спасение интеллигенции. Для других — «головотяп», с которым «здравомыслящим людям» следует поскорее размежеваться. Ленин не раз говорил о пестроте, запутанности русской жизни, но выводил отсюда мысль о том, что именно в трудящихся массах заложены дремлющие великие силы революции, «возрождения и обновления», призывал ориентироваться не на психологию «забитой массы», а на объективные условия, преобразующие психологию «борющейся массы», на очищение революционного самосознания народа, приобщение широких слоев трудящихся к делу творчества жизни.

В ленинских трудах история утрачивает мистический характер, фатальную предопределенность, роковую заданность. Активность человеческого действия и ход истории оказываются глубоко внутренне соотнесенными, диалектически взаимообусловленными.

«Чуждо ли нам, великорусским сознательным пролетариям, чувство национальной гордости?» — спрашивает Ленин и дает свой знаменитый ответ, обнажающий самую суть марксистского понимания проблемы: «Мы любим свой язык и свою родину, мы больше всего работаем над тем, чтобы ее трудящиеся массы (т. е. $\frac{9}{10}$ ее населения) поднять до сознательной жизни демократов и социалистов»¹⁵.

«Любим» и «работаем» неотделимы. Любовь к народу, гордость им — в ленинском понимании чувство активное, революционно преобразующее, а не пассивно-созерцательное.

Быть демократом в решении национального вопроса значит проявлять безусловную враждебность всякому угнетению какой-либо национальности. Но социалисты не огра-

ничиваются общедемократическими требованиями. Оберегая равноправие всех национальностей, они последовательно стоят на точке зрения интернационализма.

«Тот не марксист, тот даже не демократ, — со всей категоричностью сказано в «Критических заметках по национальному вопросу», — кто не признает и не отстаивает равноправия наций и языков, не борется со всяким национальным гнетом или неравноправием. Это несомненно. Но так же несомненно, что тот якобы марксист, который на чем свет стоит ругает марксиста иной нации за «ассимиляторство», на деле представляет из себя просто националистического мещанина»¹⁶.

Ленинская мысль, в частности, направлена и против расхожих, очень живучих представлений, будто национальное бытие и мещанство обязательно по разные стороны баррикад, будто мещанство только и исключительно тяготеет к космополитизму, проявляя полное равнодушие к национальному вопросу, совершенную незаинтересованность в нем. Ленин, напротив, очень часто говорил о национальном мещанстве, подчеркивал его силу и устойчивость. Тема эта волновала также Горького — автора окурковского цикла, «Жизни Матвея Кожемякина», «Жизни Клима Самгина».

Истинная, а не холопская национальная гордость совпадает, по Ленину, с социалистическим мирозерцанием, и поэтому настоящими патриотами своей родины являются те, кто пустой националистической болтовне противопоставляет истинный героизм борьбы за свободу и за социализм, — Радищев, декабристы, революционеры-разночинцы 70-х годов, социал-демократы.

Вслед за Марксом Ленин говорит об острой необходимости объединения движения масс с революционной теорией, носителем которой является революционная интеллигенция. Ленин называл опыт и знания интеллигенции высшим человеческим достоинством, высмеивал прожектерские попытки построения чистой пролетарской культуры.

Вот как характеризует Горький ленинскую позицию тех первых лет революции, когда большая часть наиболее квалифицированной интеллигенции отказалась сотрудничать с советской властью: «Беседы с ним на эту тему возникали почти при каждой встрече. И, хотя на словах его отношение к интеллигенции оставалось недоверчивым, враждебным, — на деле он всегда правильно оценивал значение интеллектуальной энергии в

¹⁵ Ленин В. И. Полное собрание сочинений, т. 26, стр. 107.

¹⁶ Там же, т. 24, стр. 125.

процессе революции и как будто соглашался с тем, что, в сущности, революция является взрывом именно этой энергии, не нашедшей для себя в изжитых и тесных условиях возможности закономерного развития».

Ленин придавал огромное значение интеллектуальной энергии в процессе революции» помимо прочего еще и потому, что «такой дикой страны, в которой бы массы народа настолько были **о г р а б л е н ы** в смысле образования, света и знания,— такой страны в Европе не осталось ни одной, кроме России».

Мысли о культурном подъеме масс, приобщении миллионов к знаниям, культуре владели Лениным постоянно. Даже в голодной и холодной Москве, обдумывая пути перехода к новой экономической политике и занимаясь разработкой плана ГОЭЛРО, Ленин находит время для разговора с Кларой Цеткин об искусстве и красоте, которые служат гармонизирующим началом действительности, одухотворяют ее, становясь необходимостью свободной жизни свободного человека. Для Ленина и для его собеседницы социалистическая революция знаменовала осуществление вековых чаяний человечества. Только с социализма начнется, по их твердому убеждению, участие большинства населения во всех областях общественной и культурной жизни. Одним из самых существенных аспектов этого движения будет то, что оно направлено против увековечения национальной ограниченности, несет с собою неумолимую интернационализацию хозяйственной, политической и духовной жизни человека, способствует соединению и сближению наций.

На рубеже веков очень популярна была книга Н. Данилевского «Россия и Европа», выдержавшая несколько изданий, снабженная восторженным предисловием Н. Стрехова, в котором она определена как катехизис истинно национального духа. Автором книги отвергается «единая нить в развитии человечества, та мысль, что история есть прогресс некоторого общего разума, некоторой общей цивилизации. Такой цивилизации нет... Существуют только частные цивилизации, существует развитие отдельных культурно-исторических типов».

Подобная трактовка выражает, по мысли Ленина, крайнюю степень буржуазной ограниченности в понимании национального вопроса. Ограниченности, столь свойственной и методологии многих современных буржуазных ученых, занимающихся проблемами культурного строительства в СССР. После Октября они уже не могут отрицать **взаимозависимость общечеловеческих событий**,

однако именно это, по их мнению, и означает гибель национальных культур. Один из самых характерных примеров на этот счет — предисловие Ганса Кмоха к антологии «Украинская лирика», изданной в Висбадене. Автор горестно сокрушается, что современность вытеснила идиллию вишневого сада, чумаков, порожистого Днепра, овечьих легендами. На основании этого делаются выводы о разрыве связей человека с природой, о крушении пантеистического мировосприятия, которое будто бы всегда и единственно было опорой славянской поэзии.

На сходных посылках строят свои системы доказательств многие советологи—в том числе канадский профессор Джордж Луцкий, поставивший под сомнение само существование советской многонациональной литературы, Р. Моррис, автор работы «Литература в Средней Азии», опубликованной в журнале «Сервей», профессор Колумбийского университета Р. Волдсворт, написавший книгу «Литературная политика в советском Узбекистане», М. Фридберг, автор монографии «Русские классики в советских обложках». Ко всем этим работам в полной мере применимы слова Ленина о том, что понятие «национальная культура» определяется не теми или иными намерениями «данного интеллигента», но «объективным соотношением всех классов данной страны и всех стран мира». В связи с тем, что национальная культура заключает в себе как демократическую и социалистическую, так и буржуазную культуру, марксисты, писал Ленин, должны стремиться к разоблачению веры во «внеклассовую национальную культуру», проявлять принципиальную нетерпимость ко всякого рода попыткам «отделить от сливающейся нации экономики... идеологическую область общественной жизни, где всего легче «чистая» национальная культура или национальное культивирование клерикализма и шовинизма».

Резервации национальной культуры, взятой в ее наиболее консервативных устоях, противопоставлен динамический принцип ее преобразования в интернациональную культуру демократизма и всемирного рабочего движения. Путь к интернационализму лежит не помимо национального или вне его, но заключается в том, чтобы брать из каждой национальной культуры «только ее демократические и ее социалистические элементы», всеми силами использовать всякую возможность общения с передовой культурой других народов.

Наряду с утверждением равноправия национальных культур и их уникальности в

ленинских трудах постоянно присутствует также мысль о неравномерности национально-культурного развития разных народов. Преодоление этого разрыва, оставшегося в наследство от веков угнетения и порабощения,— одна из центральных задач революции. «Красный Октябрь,— говорил Ленин Кларе Цеткин,— открыл широкий путь для культурной революции величайшего масштаба, которая осуществляется на основе начавшейся экономической революции, в постоянном взаимодействии с ней. Представьте себе миллионы мужчин и женщин, принадлежащих к различным национальностям и расам и стоящих на различных ступенях культуры,— все они теперь устремились вперед, к новой жизни. Грандиозна задача, стоящая перед Советской властью. Она должна за годы, за десятилетия загладить культурный долг многих столетий»¹⁷.

Огромную роль в содействии развитию языка и литературы угнетенных доселе или бывших неравноправных наций призваны сыграть большие передовые социалистические нации, к союзу с которыми, как верил Ленин, «потянутся при социализме трудящиеся массы, лишь бы вчерашние угнетатели не оскорбляли высокоразвитого демократического чувства самоуважения долго угнетавшейся нации, лишь бы предоставили ей равенство во всем, в том числе и в государственном строительстве, в опыте построить «свое» государство. При капитализме этот «опыт» означает войны, обособление, замкнутость, узкий эгоизм привилегированных мелких наций (Голландия, Швейцария). При социализме трудящиеся массы сами не согласятся нигде на замкнутость по чисто экономическим, вышеуказанным мотивам, а разнообразие политических форм, свобода выхода из государства, опыт государственного строительства — все это будет... основой богатой культурной жизни, залогом ускорения процесса добровольного сближения и слияния наций»¹⁸.

Будет «основой богатой культурной жизни» — не простой прогноз на будущее, но программа практической работы, которой руководствовалась партия, приступив к созданию первого в мире многонационального социалистического государства.

Буквально через считанные дни после взятия власти в октябре была принята «Декларация прав народов России», провозгла-

сившая равенство и суверенность народов. Те же принципы равноправия народов, свободного и беспрепятственного устройства их национальной судьбы, добровольного и братского сотрудничества между ними были положены в основу первой Конституции СССР, датированной 1924 годом.

Октябрь не ограничился, однако, провозглашением равных прав народов. Своеобразие советского опыта состояло в том, что все материальные и духовные ресурсы общества, все имеющиеся в распоряжении революционного пролетариата средства были брошены на помощь наиболее угнетенным при царизме нациям для обеспечения их перехода к советскому строю, а в перспективе к коммунизму.

Народы, вошедшие в состав Советского Союза, жили, по сути, в разные исторические эпохи, были разделены даже не десятилетиями, а целыми столетиями. На территории бывшей Российской империи сосуществовали едва ли не все общественно-экономические уклады, известные истории человечества. С полным основанием Ленин говорил о пестроте России, имея в виду, в частности, огромные различия в уровнях культуры и образованности. Действительно, по переписи 1897 года в России насчитывалось немногим более 20 процентов грамотных мужчин и около 10 процентов — женщин. В Туркестане (как тогда назывались нынешние республики Средней Азии и Казахстана) было 1,6 процента грамотных узбеков, 1 процент — казахов, 0,7 процента — туркмен, 0,6 процента — киргизов. По подсчетам статистиков, если бы прирост грамотности коренного населения Средней Азии шел прежними темпами, то в этих условиях всеобщая грамотность была бы достигнута через 4600 лет. На других национальных окраинах дело обстояло и того хуже: около 60 народов вообще не имели собственной письменности.

«За несколько десятков лет чукчи и эскимосы проделали огромный путь, на который другим народам потребовались многие столетия»,— свидетельствует известный чукотский писатель Юрий Рытхэу. И такая общая закономерность социализма, сумевшего благодаря раскрытию творческой энергии масс преодолеть неравномерность общественно-экономического и культурного развития народов. Если в 20-е годы насчитывалось около 30 литератур, принимавших участие в общей работе художественного освоения «прекрасного и яростного мира», если на Первом съезде советских писателей были представлены уже 52 разноязычные литературы, то сейчас речь идет

¹⁷ «В. И. Ленин о литературе и искусстве». М. «Художественная литература». 1969. стр. 666.

¹⁸ Ленин В. И. Полное собрание сочинений, т. 30, стр. 36—37.

свыше чем о 70 литературах, которые образуют в совокупности единое понятие — многонациональная советская литература.

Дело, однако, не может быть сведено к одним количественным показателям, хотя и они достаточно красноречивы. Главное все же в том, что литературы сумели за короткое время совершить «эстетический рывок» от периода первоначального накопления тем, жанров, сюжетов к современному уровню художественного осмысления действительности. Глубоко закономерно, что критика ведет сегодня счет национальных литератур не по «местному времени», но ориентируясь на общесоюзные художественные открытия.

В связи с выходом английского перевода «Прощай, Гульсары!» известный критик Деннис Огден писал: «Для большинства читателей, родным языком которых является английский, советская литература все еще остается только русской литературой... Многие до сих пор говорят «Россия», когда хотят сказать «Советский Союз», а советская литература все еще почти полностью отождествляется с русской». Такой подход Огден справедливо считает устаревшим. В том же духе высказался француз Леон Робель, опубликовавший в «Нувель обсерватор» статью под многозначительным для западного читателя заголовком «Мир, который еще предстоит открыть». Автор перечисляет множество советских книг последних лет, достойных, по его мнению, занять место в первом ряду современной литературы. И полно глубокого смысла, что здесь рядом с русскими — имена писателей других республик. Их произведения пришли в зарубежные страны не как экзотика, не как диковинный рассказ о далеких и неизвестных землях, но благодаря острейшим проблемам и художественным открытиям. Подобный скачок требовал, конечно, исканий и исканий, «кристаллизации нового типа писателя», о чем с убежденностью говорил Ч. Айтматов.

Не будет преувеличением утверждать, что именно за последние годы процесс кристаллизации нового типа писателя, овладевшего культурой мирового реализма и поднявшего потолок родного искусства слова, идет особенно интенсивно, что никогда не были столь ощутимы качественные сдвиги в литературах, подготовленные многолетними количественными накоплениями.

Искусство слова — на новом историческом рубеже, оно вступило в полосу бурного обновления, что связано с новым расцветом национального художественного самосознания народов,

Стоит обратиться к трудам специалистов по советскому кино и театру, изобразительному искусству и музыке, литературе и архитектуре, как бросится в глаза принципиальная общность суждений и выводов о стремительном росте художественного творчества в братских республиках. Новое соотношение сил в современном советском искусстве выражается, в частности, и в том, что всесоюзные художественные выставки строятся теперь по республиканским разделам, что национальная кинематография Литвы, Грузии, Киргизии приобретает международный авторитет, что проза Ч. Амирэджиби, О. Чиладзе, Н. Думбадзе, эстонских и литовских авторов, белорусских баталистов, казахских писателей на историческую тему занимает все более существенное место во всесоюзном литературном процессе, а поэзия И. Знедониса и О. Сулейменова, И. Драча и М. Каноата, Э. Межелайтиса и Ю. Марцинкявичюса являет сегодняшний уровень нашей литературы, ее состояние и перспективы. Такие писатели стремятся измерить поэтическое время и пространство так, чтобы ни на миг не забывались традиции родной земли, они идут собственной дорогой, не удаляющейся в сторону от пути, который проторили предки. «Предки, в бою поддержите меня...» — это из казахского поэта О. Сулейменова, строки которого перекликаются со множеством других поэтических откровений «от финских холодных скал до пламенной Колхиды». И такое совершенно естественно, потому что нет и не может быть искусства-гомункулуса, искусства, развивающегося в безнациональном вакууме.

Чрезвычайно интересен малоизвестный отзыв А. Фадеева на книгу А. Барбюса, посвященную Золя. Делая пометы на ее полях, Фадеев записал: «Книга хорошая, но Барбюс совершает ошибку, когда понятие интернационализма противопоставляет патриотизму «вообще» (у него интернационализм безнационален, что невозможно...)».

Можно сказать и иначе: подлинно национальное в свою очередь невозможно без интернационализма, потому что это не два обособленных понятия, которые то существуют порознь, то дополняют друг друга, как получается в иных наших критических статьях, а живое диалектическое единство, нерасторжимое по самому своему существу. И хотя диалектика необычайно сложна, движение неравномерно, но его противоположности не противоречивы, а дополнительные, если пользоваться языком современной науки. На языке поэзии это звучит иначе —

проще и сердечнее. Точные слова для обозначения этого единства нашел Р. Гамзатов, прильнувший душой, по собственному признанию, сразу к двум аулам:

И один из них обетованный,
Где меня под напев родника
Ветер в люльке качал деревянной,
Запеленатого в облака...

А другой мой аул в этом мире —
Белый свет, что распахнут всегда
И лежит предо мной на четыре
Стороны от аула Цада.

(Перевел Я. Козловский)

Нет сомнений, что истинный рост национального самосознания народов предполагает их открытость по отношению к «земле людей», устремленность навстречу многоголосой и разноязычной действительности, восприимчивость к новому жизненному содержанию. Таковы подлинные параметры современной советской литературы. «Отцу, матери, отчей земле» посвящены «Люди на болоте» И. Мележа, а события в полесской деревеньке Курени определяются всемирно-историческими революционными сдвигами. Титаны человечества — от Бетховена до Ленина — уверенно присутствуют в горских стихах К. Кулиева. Хождение по мукам героев романа Й. Авижюса «Потерянный кров» приводит их к окончательной утрате иллюзий о Литве, отгороженной от мира. Только приобщившись к духовному братству революционеров, герой романа О. Чиладзе «И всякий, кто встретится со мной...» обретает смысл своего существования и открывает свою Грузию. Наконец, роман Ч. Айтматова «Буранный полустанок», в котором судьбы людей, живших в

далекой степной глуши, становятся средоточием мировых вопросов..

Надо сказать, что реальность литературного процесса опережает наши теоретические обобщения. Со страниц критических статей звучат не лишние справедливости призывы глубже постигать коренные духовные начала народной жизни и основательнее изучать роль собственных литературных традиций. При этом порою без должного внимания остаются такие реальные процессы, как интенсивность взаимодействия культур на современном этапе, рост стилового многообразия литератур и другие. Процессы, которые идут с ускорением и пока только ожидают своего многогранного научного осмысления.

Национальное сегодня — на семи ветрах истории, и, следовательно, его степень, уровень в культуре, искусстве, литературе измеряются соответствием живым потребностям национального бытия. В современных условиях социалистического строительства подобное соответствие означает повсеместное развитие и упрочение интернациональных идеалов нашей литературы. Обращаясь к фактам из жизни всех братских республик, нетрудно сделать вывод о взаимном обогащении советских культур, расширении зоны их действия, вызванном постепенным сближением социалистических наций, единством исторических путей, судеб и устремлений. Складывается единый тип многонациональной советской культуры. Формируется общность нашей литературы, которая, по мысли Горького, «выступает как единое целое перед лицом... революционно-пролетариата всех стран и перед лицом дружественных нам литераторов всего мира».

ВАДИМ КОВСКИЙ



ВЕЧНОЗЕЛЕНОЕ ДРЕВО ЖАНРА

Заметки о современном грузинском рассказе

От частого употребления слова начинают блекнуть, скользить поверх сознания. Мы привыкли говорить о советской литературе «многонациональная» уже почти автоматически, не вникая в удивительный смысл этого термина. А ведь он означает, что речь идет о десятках больших и малых литератур со своей историей, традициями, письменностью и о том, что все это огромное и разнообразное художественное богатство находится в сложнейшей системе творческих взаимодействий, движется, растет, сохраняя одновременно и целостность и отдельность своих слагаемых...

Сегодня советскую литературу не представить без произведений киргиза Ч. Айтматова, белоруса В. Быкова, грузина О. Чиладзе, молдаванина И. Друцэ, литовца Й. Авижюса, вне совокупных художественных усилий национальных литератур в деле развития творческого метода и изобразительных средств, жанров и стилей. И именно поэтому, вероятно, вряд ли найдется критик или литературовед, который решился бы утверждать, что знает наш литературный процесс во всем его объеме и размахе.

Несмотря на уникальное посредничество русского языка в общении национальных литератур между собой и в их общении с самой широкой читательской аудиторией, невозможно не только перевести на русский все написанное, но даже и прочитать все переведенное. В подобной ситуации особую профессиональную роль начинают играть творческие встречи литераторов из разных республик, живой обмен опытом, совместное обсуждение текущей художественной практики и получение информации, что называется, из первых рук. Мне, в частности, две такие встречи, проведенные Главной редакционной коллегией по художествен-

ному переводу и литературным взаимосвязям при Союзе писателей Грузии, не просто открыли ряд новых имен и произведений, но и позволили познакомиться с одним из ведущих жанров грузинской прозы и более того — пересмотреть некоторые свои представления о современном состоянии этого жанра в целом.

Дело в том, что уровень творческих контактов и взаимодействий внутри многонациональной советской литературы со временем становится все выше, порождая в критике и литературоведении естественную тягу к обобщениям: устанавливается типологическое родство в произведениях, выросших на разной национальной почве; отдельные тенденции и проблемы той или иной национальной литературы порой распространяются на весь литературный процесс (тем более если это литература русская, занимающая особое место в общем художественном развитии) и т. п. Искать черты сходства в литературах разных народов, справедливо заметил как-то по этому поводу Г. Ломидзе, задача важная и перспективная, «однако здесь надо соблюдать чувство меры... Нередко одобрение исследователей вызывает, как ни странно, факт, когда один художник чем-то непременно похож на другого. Между тем ясно, что всякий истинный писатель интересен прежде всего своеобычностью дарования».

Акцент на художественно своеобычном, неповторимом при условии, что он не мешает чувству общности, правомерен, надо полагать, и при сравнении одной национальной литературы с другими. Грузинский рассказ в этом отношении ненавязчиво и деликатно преподавал мне, если так можно выразиться, урок научной корректности. Несколько ярких произведений последних лет —

Ч. Амирэджиби, Н. Думбадзе, О. Чиладзе, — опубликованных на страницах журнала «Дружба народов», сделали сегодня общеизвестным и в каком-то смысле даже популярным современный грузинский роман. Что же касается рассказа, то он не только мало переведен (хотя ряд сборников рассказов на русском языке издан и в Москве и в Грузии), но к тому же еще отброшен в тень расхожим взглядом, согласно которому сегодня — время расцвета крупных повествовательных форм.

В русской литературе очередной пик рассказа действительно пришелся на конец 50-х — середину 60-х годов. Рассказ в то время, говоря в самых общих чертах, заострил социальное звучание прозы, демократизировал состав ее персонажей и характер конфликтов, опробовал новые изобразительные средства, а затем как будто бы сошел со сцены. Не хочу сказать, что рассказ исчез — рассказов в журналах по-прежнему много, — но он перестал восприниматься как художественное событие, служить тягловой силой литературного процесса. В данном случае, однако, как я теперь понимаю, следует делать оговорку, что речь идет о конкретной литературе с ее конкретной жанровой ситуацией, которая не репродуцируется механически другими национальными литературами, даже заключая в себе достаточно широкий художественный смысл. В грузинской прозе период 60—70-х годов — период расцвета жанра рассказа, сохраняющего свою стабильность и по сей день.

С другой стороны, и само соотношение жанров внутри разных национальных литератур различно. В грузинской прозе (как, кстати, и в европейских литературах) границы между рассказом, повестью и романом вообще ощущаются гораздо менее остро, чем, например, в литературе русской. Конечно, самой художественной практикой они всегда и в любой национальной литературе так или иначе обозначены, ибо здесь создаются творческие эталоны жанра. «Со времен Толстого, — пишет С. Зальгин, — рассказ прошел через множество изменений и эволюций, он бывал за это время и условным, и ассоциативным, и фантастическим, и на все лады экспериментальным, все-то он претерпел, но... лишь только мы услышим слово «рассказ», так сразу же нам вспоминаются Толстой, Тургенев, Григорович, Чехов, Куприн, Короленко, Бунин». Точно так же грузинский читатель, наверное, вспомнит при этом слове многие имена начиная с С. Орбелиани: Г. Церетели, Э. Ниношвили, Д. Кадияшвили, ближе к нам — Н. Лордкипанидзе, М. Джавахишвили и другие. Одна-

ко уже и в грузинской классике рассказ жанрово оформлен гораздо менее определенно, чем в русской, предвстая то короткой повестью, то притчей, то дневником. Понятно, что критика и литературоведение в Грузии, в свою очередь, не слишком озабочены самой проблемой теоретического различения жанров, то есть теми мало кого устраивающими объяснениями, согласно которым рассказ изображает один эпизод человеческой жизни, повесть — ее отрезок, а роман — всю жизнь (и действительно, разве во многих рассказах Чехова не вся жизнь и разве многие классические рассказы не длиннее современного «короткого романа»?).

Причины подобной «теоретической беззаботности» кроются в национальной традиции, в специфике национального художественного мышления и слишком мало пока изучены, чтобы о них подробно говорить. Во всяком случае, обращаясь к современной грузинской прозе, я мог бы с равным основанием назвать роман Н. Думбадзе «Я, бабушка, Илико и Илларион» циклом рассказов, а рассказ Т. Чиладзе «Пятница» — неразвернутым романом, и такую возможность, в русской литературе достаточно редкую, дают здесь многие произведения.

То, что грузинская проза чужда резко выраженной жанровой «иерархии», влияет на нее самым непосредственным образом: рассказ выступает тем органическим и постоянно необходимым способом творческого самовыражения, который не испытывает никакого ущерба при переходе прозаиков к крупным повествовательным формам. Рассказы продолжают писать, став романистами, «в рассказ» идут поэты, драматурги, сценаристы, публицисты, и естественно, что школа рассказа поднимает общий уровень прозы, отражается на состоянии других жанров. Ведь даже такой знаменитый ныне роман, как «Дата Туташхиа» Ч. Амирэджиби, при всей динамической целостности своей структуры построен как последовательно развертывающаяся серия рассказов-притч...

Состояние этого жанра в современной грузинской прозе невольно наводит на мысль, что раз есть такой рассказ, как грузинский, то не следует особенно удручаться и по поводу общего положения рассказа в сегодняшнем литературном процессе. Выразительно характеризует рассказ даже сухая цифирь: редакционная коллегия предложила нам, собравшимся в Грузии, произведения более чем 50 авторов! И это все не первые опыты, а вещи, уже опубликованные

либо на русском, либо на грузинском, либо на обоих языках сразу. В списке рассказчиков были ветераны грузинской прозы, писатели поколения 30-х годов, участники Великой Отечественной войны. Рядом с такими мастерами жанра, как Р. Инанишвили, О. Чхеидзе, О. Иоселиани, П. Чейшвили, выступали прозаики, чьи имена стали известны только в середине 70-х годов,— Н. Шатаидзе, М. Джохадзе, а вслед за ними шли совсем молодые — М. Цоцкалаури, Г. Чохели, Г. Ломадзе.

Сколько-нибудь полный обзор грузинского рассказа, вероятно, был бы непосилен даже и большому специалисту — рассказы, как мы видели, пишут в Грузии почти все литераторы,— и я хотел бы поделиться лишь размышлениями о самом жанре, имея в виду, конечно, что это будут заметки критика, но никак не специалиста по грузинской литературе. В такой позиции, впрочем, есть свои преимущества.

Панорама грузинского рассказа, несомненно, включена в контекст многонациональной советской литературы 60—70-х годов прямым и непосредственным образом. Мы найдем здесь обостренное чувство нравственности и близость к первоосновам народной жизни, активный гуманизм и углубленность исторической памяти, полемику с бездуховным рационализмом и бюрократической выморочностью человеческих отношений, сатирико-ироническую реакцию на всякого рода фальшь, постоянный интерес к национальному характеру, любовь к природе — одним словом, все те черты, которые составляют идейно-эстетическую первооснову общего художественного развития последних десятилетий. В то же время перед нами образец особой, специфически национальной прозы со своей проблематикой и ни на кого не похожими персонажами, прозы, возникающей в результате сложных жанровых взаимодействий между многоликим образом рассказчика и его жизненным материалом, смело вовлекающей в оборот самые современные и самые архаические стилевые пласты, наречия, диалекты...

Тематически-интонационный строй грузинского рассказа широк и красочен. Жанр, играющий в литературном процессе такую роль, должен быть открыт всему объему национальной жизни, владеть всеми средствами ее воплощения. Со страниц этого рассказа встают старая грузинская провинция и современный город; опустевшие селения в ущельях и сутаолока столицы; старики, заканчивающие свой век, и молодежь, только начинающая жить; люди «от земли» и рафинированные интеллектуалы. Мы встре-

тим здесь вещи, очень близкие духу русской деревенской прозы, и произведения сугубо урбанистические, далекую историю Грузии и современность, эпизоды военных лет и остросоциальные зарисовки уходящих в прошлое типов и ситуаций.

Излюбленные персонажи грузинского рассказа — люди самые обыкновенные, с их слабостями и недостатками, надеждами и разочарованиями, нелегким, повседневным трудом, бытом, болезнями, старостью и смертью. Иногда, правда, они могут приобрести живописное обличье «маленьких великанов», но чаще всего это простые крестьяне, скромные городские служащие или те, кто нуждается в помощи и защите: старики, дети и животные. Прекрасные, пронзительные вещи написаны о стариках — «Дочь мельника» О. Иоселиани, «Старые зурначи» М. Элиозишвили, «Потом придет и автобус» О. Чхеидзе. А рядом — целая россыпь рассказов, создающих впечатление, если воспользоваться словами грузинского критика З. Абзианидзе, будто «дети бежали в литературу». И удивительное множество анималистических произведений, где в отличие от традиционного русского антропоморфизма, давшего нам и великого «Холстомера» Л. Толстого и «Изумруда» Куприна, животное не очеловечивается, но зато рисуется в его глубоких реальных связях с человеком, позволяющих точно и тонко очертить саму человеческую психологию.

Быть может, главная и определяющая облик современного грузинского рассказа черта — его доброта и гуманность, его душевное внимание ко всему живому, существу, творящему на земле труд и красоту. Ведь если задуматься — это совсем не случайно, что около животного здесь нередко оказывается ребенок, что старость и юность даны не в антитезе, а связях, что все время подчеркивается мысль о вечном круговороте природы, о силе естественных начал в человеке, о необходимости мужества и любви, чтобы жить и поддерживать друг друга...

В своем простом и действенном расположении к людям грузинский рассказ имеет большую художественную традицию XX века, восходя к «Женщине в платке», «Трагедии без героя», «Старикам» Н. Лордкипанидзе, «Свадьбе Курки» и «Чанчуре» М. Джавахишвили, к прозе Г. Леонидзе, Д. Шенгелая, С. Квдиашвили. Мы принимаем в сердце эту традицию, настраиваемся на ее волну, и потому, вероятно, даже малейший диссонанс здесь задевает слух. Таким диссонансом звучат, например, на первый взгляд некоторые интонации рассказа

Г. Панджикидзе «Снег» с его холодным и подчас даже неприязненным изображением всех, кто окружает умирающего Никифоре: и его жены Марты, и фальшиво голосащих на похоронах женщин, и быстро напивающихся на поминках сельчан. У Г. Панджикидзе вообще в рассказах резкое и неожиданное зрение, подчас обнаруживающее склонность к экзотическим ситуациям и типам сильных мужчин («След на море», «В горах»), а подчас как бы принципиально противостоящее ностальгическим настроениям, сентиментальности и мелодраматизму, которые тоже ведь иногда проявляются в грузинской прозе в качестве продолжения ее высоких гуманистических достоинств. Вероятно, «Снег» несет в себе эти элементы внутренней полемики. Подобная полемика с более основательными художественными мотивировками явственно ощущается в любопытном рассказе «Августовский жаркий день», описывающем, как горожанин, повинаясь внезапному импульсу, заезжает в родную деревню, где не был уже семнадцать лет, как ему неприятно это посещение, как больше всего он хочет, чтобы его не узнали, но его узнают, и как совершается чисто формальный ресторанный ритуал земляков. В чем-то, правда, отношение автора к персонажам и здесь повторяет «Снег», но ему уже даны достаточно сложные художественные мотивировки.

Если стиль Г. Панджикидзе я бы условно обозначил словами «жесткий реализм», то Р. Иранишвили или О. Иоселиани почти всегда погружены в стихию лиричности, если не Думбадзе как никто склонен к романтическому, почти на грани легенды повествованию (тут надо бы назвать и рассказ «Hellados» и повесть «Кукарача»), то Д. Карчхадзе сатиричен, остроумен, ироничен... Художественно-эмоциональная палитра грузинского рассказа необычайно разработана, с равным успехом вовлекает читателя в атмосферу захватывающего веселья и благограживающей душу грусти, поэзии и сарказма. И эта нюансировка присутствует на всех уровнях жанра — начиная от общих, лейтмотивных звучаний и кончая отдельными деталями. Право же, мне не забыть теперь старого крестьянина из рассказа М. Элиозишвили «Сардо», которому в молодости сельские кулаки отпилили ногу, его копанья в своем огороде вместе со взрослым сыном-придурком, которого он учит арифметическому счету по... могилам родственников, добавляя сюда, когда цифр не хватает, могилы живых и даже еще не родившегося внука. И не забыть сироту Априю, «огуречного вора» Р. Иранишвили, веч-

но голодного мальчишку, потерявшего на фронте отца, привыкшего дома к попрекам и скандалам, не забыть, как он заплакал впервые оттого, что захотел утешить мать, оттого, что пронзило его насквозь тепло материнских волос, «теплых-теплых при такой вечерней прохладе»... И тут в пору поговорить об искусстве жанра в целом.

Наверное, слово «рассказ» — самое естественное и изначальное из всех жанровых категорий. Настолько естественное, что большинство читателей вряд ли возьмется объяснить, что же это такое. Рассказ подразумевает интересного рассказчика, он велик по объему, прочитывается (или прослушивается) одним махом, и одновременно в нем, как в капле воды, сквозит и переливается вся жизнь, о которой мы узнаем из хорошего рассказа не меньше, чем из романа или повести, и есть в этом, право же, какая-то магическая тайна. Искусство рассказа — совсем особое искусство: здесь автору некуда спрятаться, нечем заслониться, здесь не выручит ни третье лицо, ни острая фабула, ни изощренный повествовательный прием. И здесь нет времени на раскату, ибо читатель должен быть взят в плен сразу: голосом, интонацией, обаянием личности автора.

Так берет в плен читателя Г. Дочанашвили. Вот уж действительно рассказчик милостью божьей. Прочитайте пока одно только название — «Аралети, Аралети...». И подзаголовок к нему: «Мой Бучута, наш Тереза». И первую фразу: «В Аралети история случилась однажды не приведи господь...» И следующую, где сказано, что «после той истории — кто бы подумал! — на всю губернию прославленный тамада Пармен Двали пить бросил и, озадаченный, по ночам на звезды смотрел, вместо рога подзорную трубу держал, правда, на первых порах с непривычки не к глазам приставлял, а ко рту...». Право же, надо быть очень ленивым и нелюбознательным человеком, чтобы сразу после этого не погрузиться в прелестное, остроумное повествование про косный провинциальный городок, чьим главным «украшением» были его люди — «одни плохие, другие еще хуже», в эту мистерию-буфф, историю про сонное обывательское сознание, разбуженное вдруг фантастическим появлением маленького Бучуты, в это буйство фарсовых, гротесковых красок, смело сочетающихся с романтическим пафосом, в переходы от бытовой эксцентрики к лирическим интермедиям, в эту смесь раблезианского юмора и высоких подробностей, фантазии и достоверности почти натуралистической,

Проза Г. Дочанашвили вся замешена на таких стилевых контрастах, на хорошо организованной пестроте ведущего узора. Игра стилями в ней не самоцельна — стилевой слой окружает и выявляет характеры, подчеркивает необычность происходящего, заостряет парадоксальность авторской мысли. В рассказе «Человек, который очень любил литературу» столкновение сухой социологической терминологии и живой человеческой речи подчеркивает и укрупняет реальный жизненный конфликт: обескровленная научная абстракция наталкивается на резкий и непонятный ей отпор гуманитарного сознания. А как еще может быть схвачен изменчивый, текучий, безалаберный характер главного героя рассказа «Он был рожден для любви, или Гриша и главное», если не путем создания ему некоего стилевого аналога в виде беспечно и естественно льющемся повествовательного потока со всей обязательностью этой кажущейся «болтовни» о хороших и плохих людях, о поэзии, о фотонах, с артистическим переложением песенки о капитане Грзе и т. п.?

Некоторые рассказы Г. Дочанашвили имеют оттенок прямой назидательности; очень важно любить литературу, еще более важно любить родную землю (рассказ «Любовь к чему-то, что надо скрывать...»). Оттенок этот идет, очевидно, из особого пристрастия грузинской прозы к жанру притчи, которая, кстати, в «Аралети, Аралети...» выступает в чистом виде. Еще более, чем Г. Дочанашвили, тяготеет к притче такой замечательный рассказчик, как О. Чхеидзе. Чхеидзе — мастер, владеющий многими формами и приемами рассказывания. Здесь и бытовая зарисовка «Чоче» — о том, как живущая в городе дочка привозит к отцу-крестьянину очередного мужа и тот не хочет сидеть с ними за одним столом; и сатирическая «Черника» — о мошеннике, заготовителе ягод, испортившем своими разглагольствованиями веселую пирушку выпускников гуманитарного факультета, который и он когда-то имел глупость закончить; и романтическая легенда «Нисла» (мне довелось прочитать ее в прекрасно звучащем, еще не опубликованном переводе Э. Аналишвили) — о любви крестьянина-горца, наездника во многих поколениях, к своей породистой лошади, словно рожденной для воли и скачек, а не для той черной пахотной работы, которая ей предназначена в только что созданном коллективном хозяйстве; и блестящая психологическая новелла «Муж Магло», где образцово-показательные, на взгляд окружающих, семейные отношения вдруг взламываются решительным объ-

яснением, обнажающим всю их нелепость и ненужность, и в этом объяснении, буквально в считанных строках, ярко встают перед читателем два полярно противоположных и колоритных человеческих характера...

Впрочем, подобные аннотации дают о рассказах Чхеидзе очень бледное представление: этому прозаику, как и Г. Дочанашвили, свойственна изощренная стилевая палитра. Сквозь многоголосие речевого потока, кажущуюся хаотичность внутреннего монолога персонажей Чхеидзе поначалу трудно пробираться к сути, но вскоре происходит привыкание, освоение формы, вне которой эти произведения просто не могли бы существовать. Внутренний монолог, еще десять—пятнадцать лет назад вызывавший немалое наше внутреннее сопротивление, ныне уже вошел в плоть и кровь литературы. У истоков его, во всяком случае в пределах двух последних десятилетий (ибо этот прием широко применялся и в классике, но в несколько иных, более «спокойных» вариантах несобственно-прямой речи), принято считать литовскую прозу. Начитавшись грузинского рассказа, я уже сомневаюсь, надо ли вручать кому-то в этом отношении пальму первенства, но вот о национальной художественной специфике внутреннего монолога в разных литературах говорить, видимо, правомерно. Во всяком случае, начинался этот способ повествования в литовской прозе, у М. Слущкиса, с ярко выраженной интеллектуальной окраски и был связан прежде всего с городской жизнью, с достаточно рафинированным, «интеллигентским» сознанием персонажей. Грузинский рассказ широко применяет внутренний монолог при изображении объектов совсем иного рода — в нем реализует себя сознание народное, в его пределах мыслит и чувствует простой крестьянин, а может быть, и сам автор, ощущающий себя крестьянином (вполне допускаю, что эта черта вообще свойственна закавказской прозе, ибо на таком монологе и на таком восприятии держится, например, вся проза Г. Матевосяна).

Притче форма внутреннего монолога как будто бы вообще противопоказана, ибо глубоко индивидуализирует повествование, препятствуя требуемому обобщению и «знаковости». Тем более любопытно, что О. Чхеидзе пишет две прекрасные притчи — «Зедаше» и «Земля» — именно в этой форме. Первая из них — о сопротивлении человека надвигающемуся небитию: умирает старый Даглара, и больше всего мучает его мысль, что не доживет он до дня святого Георгия, когда можно будет почать кувшия

с зедаше, вином, специально выдерживаемым к праздникам. С поразительной, физически ощутимой отчетливостью воссоздаются все усилия умирающего добраться до кувшина и утолить безумную жажду, которая оказывается ничем иным как жаждой жизни: старик пьет вино, и с каждым глотком возвращается к нему сила. Здесь притчевая символика непонятным образом вырастает из гущи самых бытовых, живописно плотных деталей. По другому принципу построена «Земля», с самого начала сознательно неправдоподобная, зловеще гротесковая, метафорическая: земля отторгает, не принимает гроб старика, который был давно с нее согнан, мучался в городе и вернулся умирать в родную деревню... Но это неправдоподобие тоже погружено в бытовые слои — в подробное описание похоронной процедуры, в какой-то коллективный внутренний монолог, где слиты воедино голоса могильщиков и родственников, автора и самого старика.

Спектр притчи в грузинском рассказе очень широк. Если «Земля» — притча социальная, то, например, «Иги» Д. Качадзе — романтико-фантастическая: в пещерном, предысторическом предке нашем, единственном из всего племени, впервые пробуждается духовное, творческое начало, которое ведет его к неизбежной гибели, ибо выделяет из общего, стадного существования, но Иги успевает перед смертью заразить своей жаждой свободы и творчества маленького мальчика, и он теперь понесет эстафету дальше. Если «Бесы» Н. Думбадзе мастерски сочетают в своем замысле фольклорную основу с литературной, то изысканные сказки Г. Петриашвили уже весьма далеки от народного начала; если в «Нислаури» Т. Бибилури вырисовывается романтическая метафора пустеющих маленьких деревень, то в странных городских коллажах Г. Ломадзе просвечивает притча об одиноком человеке в суеете большого города...

Естественно возникает вопрос о причинах тяготения грузинского рассказа к этой форме, которая нынче стала в литературном процессе столь модной, что как бы чем-то уже и компрометирует себя. К грузинской прозе, однако, мода эта, мне кажется, не имеет ни малейшего отношения. Притча здесь мотивирована, вероятно, прежде всего двумя обстоятельствами: высоким этическим пафосом прозы, стремящейся к установлению особо действенных отношений с читателем, и своеобразной национальной художественной подпочвой (вполне возможно, грузинской критикой и литературоведением вопрос этот рассматривается как-то иначе

или давно решен, и я опять-таки хочу подчеркнуть, что не претендую ни на приоритет, ни на бесспорность своего взгляда).

Притче, в частности, нужны сильные романтические и поэтические импульсы. Романтическая тональность составляет великую традицию грузинской литературы, а проза и поэзия расположены здесь очень близко друг от друга (не случайно столь многие грузинские прозаики являются еще и профессиональными поэтами). В современном грузинском романе — в «Законе вечности» Н. Думбадзе, «И всяком, кто встретится со мной...» О. Чиладзе, в том же «Дате Туташиа» — оба эти начала, романтическое и поэтическое, ощущаются не меньше, если даже не больше, чем в рассказе. С другой стороны, у истоков грузинского рассказа располагается народная новелла, которая хотя и лишена, по замечанию составителя сборника таких новелл профессора А. Глонти, отвлеченного назидательного моралите сказки, но тоже тяготеет к очень высокой, сплошь и рядом именно притчевой концентрации смысла.

Характеристика содержания и мотивов народной новеллы, данная в предисловии А. Глонти, бросает, что очень примечательно, определенный ответ и на современный грузинский рассказ: «Бьет ключом в новелле жизнь... Ее герои — реальные люди — ведут за собой слушателя и читателя в поле, в лес, на реку... в крестьянский домишко... на базар с неизменными его заведдателями — кинто, с духанами и духанчиками; в город с тесными улочками, водоносами, оружейниками и чувячниками... Самобытный сюжет новеллы и ее композиционная компактность — свидетельство высокого художественного вкуса народа... Каждый рассказ проникнут своим, особым дыханием. В одном случае — это мягкий лиризм, в другом — искрометный юмор, веселье, иногда раздумчивость и философичность...» О персонажах и интонациях народной новеллы мы не раз вспомним, читая, например, «Приключения Шалико Хвингиадзе» Р. Чейшвили, «Озорников» Р. Инанишвили, «Маску» Т. Бибилури. Но есть смысл вспомнить о ней и в связи с некоторыми сюжетно-фабульными проблемами развития грузинского рассказа.

Новелле как разновидности рассказа свойственна особая острота, прочность и лаконизм сюжетно-фабульной организации. В современной прозе сегодня наблюдается явное ослабление сюжетно-фабульных начал, на что верно обратил внимание Е. Сидоров («Литературная газета» от 23 июня 1982 го-

да), и это не столько недостаток ее, сколько особенность нынешнего этапа художественного развития, обусловленная тягой к эпике, широким культурно-философским обобщениям, расшатыванию традиционных жанровых структур и т. д. Вместе с тем на рассказе подобное ослабление отражается, быть может, наиболее болезненно, ибо ни где сюжет и жанр не включены в систему столь тесных художественных взаимозависимостей. Сплошь и рядом читатель сегодня под обозначением «рассказ» находит либо просто зарисовку из жизни, либо концептивную повесть, либо материалы к роману.

Не собираюсь утверждать, что в грузинской прозе мало таких жанрово неоформленных рассказов. Выше уже шла речь об отсутствии четких жанровых границ как специфической национальной традиции грузинской литературы. К тому же, как я теперь понимаю, здесь ярко выражен сам дар рассказывания, прочно связанный помимо традиции и с национальным характером. Вместе с тем это именно дар рассказывания, который может быть, по существу, реализован в любом жанре. Все упоминавшиеся, например, вещи Г. Дочанашвили действительно не столько рассказы в строгом жанровом смысле, сколько просто увлекательные повествования, встречи слушателей с блестящим собеседником. Более того — дар рассказывания вообще подталкивает художника в сторону от жанра. Но одновременно дар этот подразумевает и совершенно особую художественную «самодостаточность», завершенность исполнения, словно бы позволяющую автору поставить точку в любом отрезке повествования и зафиксировать точкой жанр...

В форме тонкой психологической зарисовки написан, например, рассказ А. Сулакаури «В снегопад», где муж и жена просто смотрят в окно на густо падающий снег, и от непересекающихся их воспоминаний веет одновременно и привычным теплом, и эмоциональной неудовлетворенностью «составившегося» брака. Меткой наблюдательностью отличаются простые истории Т. Бибилиури: вот людская многоголосоца с выяснением отношений в переполненном автобусе («Счастливым концом»); вот поездка двух вдов на рынок, их взаимное подшучивание, за которым и война, унесшая мужей, и женское одиночество, и невеселое мужество («Смех»); вот трогательные попытки старика и старушки при встрече узнать друг в друге тех давних, когда-то знакомых, и радость узнавания и договоренность прийти на похороны к тому, кто умрет первым

(«Прощание»). Жанр зарисовки преобладает и в первом изданном в Москве сборнике рассказов способной М. Джохадзе «Человек из маленького двора», стилю которых, по словам Т. Чиладзе, свойственны ярко выраженная энергия, сильные чувства и в какой-то мере даже «мужская дерзость и откровенность».

Очень выразительный художественный образец жанрово неоформленного рассказа — «Пятница» Т. Чиладзе (в такой же степени, кстати, не оформлен и его роман «Вот кончилась зима»). Чиладзе обладает талантом столь интенсивного психологического письма, окрашенного поэтическим видением мира, что сюжетными двигателями его произведений становятся сама психологическая деталь, сам поэтический акцент, а единое смысловое и эмоциональное целое складывается из цветной мозаики отдельных эпизодов, задавая напряженную работу восприятию... Этот принцип господствует и в «Пятнице» с ее сложным и глубоким размышлением о судьбе ребенка, ставшего жертвой семейного разлома.

Вернемся, однако, к собственно новеллистической традиции, порождающей совсем иной тип рассказа — компактного, динамичного, основанного на интонационных контрастах и завершающегося неожиданной развязкой. Чтобы показать спектр возможностей такого рассказа в современной грузинской прозе, остановлюсь на двух примерах, диаметрально противоположных по своему жизненному материалу и по характеру художественных решений.

«Операция «Тетя Тасо» Д. Карчхадзе построена как непринужденное и остроумное повествование от первого лица, которое ведет, я бы сказал, интеллектуальный горожанин, постоянно иронизирующий над всеми персонажами и более всего над самим собой, а заодно и над формой рассказа, то громогласно объявляя ее элементы («пролог», «экспозиция», «завязка»), то излагая фабулу в канцелярски-деловом стиле («детальный план действий», «три этапа», «четыре опорных принципа» и т. д.). Сюжет «Операции...» состоит в следующем. Есть скромный экономист-товаровед Сико Меладзе («Как все экономисты, я увлекаюсь поэзией и, как все товароведы, живу средне»), имеющий жену и четырех «девочек-ангелочков», но не имеющий квартиры, и есть его двоюродная тетя Тасо, заслуженная учительница и «аристократка», которая одна занимает пятикомнатную квартиру, терпеть не может родственников и никого не собирает к себе прописывать. Рассказчик разрабатывает изощренный психологический

план завоевания тети Тасо и ее квартиры, для чего вынужден разделить любимое увлечение старухи — посещение театров и разговоры о театре. Осада длится два года. Сико добивается у тети Тасо положительно «условного рефлекса» на свое присутствие и становится ей необходим. Перед читателем разворачиваются их уморительно-забавные и одновременно тонко пародирующие реальность «искусствоведческие» споры. Наконец тетя сдается, а рассказчик, получив собственный ключ от квартиры, празднует уже не столько решение жилищной проблемы, сколько интеллектуальную победу. И вдруг за первой следует вторая, совершенно непредвиденная развязка — наш торжествующий герой случайно слышит, как тетя Тасо объясняет сестре причину своей уступки: «Он играл блестяще, моя дорогая. Я немало хороших артистов перевидала на своем веку, но такого...»

«Вдовьи слезы» О. Иоселиани изображают грузинскую деревню времен войны с одинокими женщинами, их тяжким трудом и написаны в виде внутреннего монолога молодой вдовы Даро, потока ее живой, неотесанной речи. В отличие от рассказа Д. Карчхадзе здесь ничего не происходит, и, более того, автор высекает весь новеллистический эффект своего сюжета из отсутствия какого-либо действия. Фабула строится лишь на распаленном воображении вдовы, которая все время ожидает посягательства на свою честь со стороны одного из немногих оставшихся в селе и к тому же неженатых мужчин, верзилы Луки, и, предполагая возможные ситуации покушения, мысленно уговаривает его не делать этого. Ее непроизнесенный диалог с Лукой на протяжении всего их вечернего пути с мельницей, откуда арубчи везет муку в деревню, настолько забавен, трогателен, богат оттенками, что читатель вслед за героиней почти начинает верить в реальность не происходящего — вплоть до последней фразы новеллы, когда Лука, ни слухом, ни духом не подозревающий, что творится с бедной Даро, саживает ее с арбы у дома: «Спокойной ночи, того (девочка)»...

Теплая человеческая интонация звучит в грузинском рассказе сплошь и рядом даже тогда, когда автор откровенно иронизирует или смеется. Обе упомянутые новеллы и в этом смысле очень показательны. Прелестна в своей ясной, духовной, интеллигентной старости тетя Тасо, но ведь и племянник ее не просто мошенник, покушающийся на чужую жилплощадь, — за его легкими, остроумными разглагольствованиями и действиями приоткрывается натура талантливая,

артистическая, нереализованная, а разоблачение настолько ему не безразлично, что он и от квартиры, пожалуй, может отказаться. Что же касается «Вдовьих слез», то сколько искусства требуется, чтобы пройти по тонкой грани, отделяющей чарующую фривольность народного анекдота от вульгарной пошлости, чтобы увидеть в смешном печальное и, веселя, грустить.

Оба эти типа рассказа, один из которых надо бы просто назвать рассказыванием, а другой новеллой, сосуществуют в современной грузинской прозе на равных правах, и настоящие мастера, в общем-то, владеют ими с одинаковым успехом. Скажем, тот же Д. Карчхадзе явно тяготеет к острому новеллистическому мышлению, но его «Гигант» построен скорее на принципе рассказывания. А у Г. Дочанашвили наряду с рассказываниями есть блестящая романтическая новелла о внезапном и простом движении сердца — «Иогани Себастьян Бах» и есть новеллистическая шутка «Проходная пешка», где маленькому, незаметному человечку Алекси жильцы во дворе из жалости начинают проигрывать в шахматы и он буквально разбужает от важности...

Вместе с тем у меня создалось впечатление, что какой бы тип рассказа в грузинской прозе ни преобладал у того или иного писателя, какими бы приемами рассказ ни пользовался, какой бы степени мастерства ни достигал, самые крупные художественные завоевания жанра связаны здесь с подлинно народным мироощущением, с глубокой социальной эмоцией, с жизненной правдой, обретаемой в русле большой национальной традиции. Там, где подобные связи утрачиваются, рассказ теряет свою самобытность, нивелируется, подгоняется под некий общеевропейский стандарт.

К сожалению, эти утраты, обезличивание рассказа чаще всего происходят в прозе молодых, внушающей подчас тревогу за будущее жанра. Не хотелось бы прослыть ретроградом, но вот отдельные персонажи и сюжеты, судите сами: спившийся молодой человек погибает в автомобильной катастрофе (как последнее звено выродившегося рода), после того как уже свихнулся и повесился отец, спился дядя и т. п. («Диоскурия, город, затопленный морем» Д. Топуридзе); молодой урод ненавидит окружающих за свое уродство («Факелы, Квазимодо!» М. Абашидзе); слепой юноша невольно участвует в ночной оргии «золотой молодежи» и сначала затянут в постель некой Мери, а потом брошен всеми в пустом доме («Терранги» Л. Табукашвили); пациент психиатри-

ческой больницы интригует по телефону женщину, для чего совершает вылазки из палаты по крыше и однажды разбивается насмерть («Гипсовый человек» Г. Ломадзе); чей-то племянник мчится на машине в никуда, по пути вспоминая, как жил с женой своего дяди («Зной» А. Чхиквишвили); девушка влюбляется в наркомана и, родив от него уродца, оставляет мужа («Выбор за мной» А. Мхеидзе); фрейдистский комплекс нереализованного желания заставляет молодого человека всюду искать девочку из своего детства («Платформа «Ботанический сад» С. Пайчадзе)...

Речь идет не о том, что нельзя изображать изломанные судьбы или заглядывать в темные уголки человеческой психики. Для литературы нет запретных тем, если только это Литература. Но в данном случае мы скорее сталкиваемся с распространенным явлением литературности, игры в искусство, хотя я не стал бы уравнивать все названные и не названные произведения по социальной значимости их материала или по дарованию авторов (рассказы Г. Ломадзе, например, полны метких наблюдений, стилистически интересны, тогда как текст «Платформа «Ботанический сад» вообще вряд ли может быть назван художественной прозой; рассказ А. Мхеидзе по крайней мере несет в себе любопытную психологическую информацию о процессах женской эмансипации, тогда как «Зной» вообще лишен реального содержания, и т. д.).

Литературность — это вторичность видения, отсутствие серьезной идеи и позиции, ради которой только и стоит писать, холодное анатомирование вместо живого и страстного соучастия, выдумка вместо жизни, буквально осаждающей нас своими проблемами. Настораживающие черты литературности присутствуют отнюдь не только в молодом грузинском рассказе. В свое время о них много говорилось при обсуждении эстонской прозы. А совсем недавно в журнале «Дружба народов» своими наблюдениями над рассказами молодых армянских прозаиков поделился Л. Аннинский: «Итак, повторяю вопрос: где все это происходит? В некоем Городе. В Городе вообще. В многолюдном, пустом, чужом Городе... Ну, хорошо, кто же действует в этом поддунном

мире? Непонятно. Он. Она. Мужчина. Женщина... Апокалипсические метафоры (впрочем, бутафорские)... Характеров, в сущности, нет — есть рефлекс и реакция; сюжеты рассечены и раздроблены... Неощутим в этой пелене не только уровень личности (духовная проблематика), но и уровень индивида (социальный типизм)».

Право же, новеллистический стиль этот не нов и неинтересен. И я лично предпочту страданиям новоявленного Квазимодо, которыми сам автор, кстати, ничуть не мучается, а лишь пользуется, чтобы дать герою возможность скривить гримасу вселенской скорби и разочарования, простой рассказ тоже, кстати, молодого Н. Шатаидзе «Ниша» — о том, как неожиданно померла у крестьянина корова Ниша и все уговаривают его побыстрее везти мясо на рынок, пока не испортилось, а он, чудак, медлит и медлит — то ли боится, что корова больная была и мясо у нее заразное, то ли никак с ее смертью не свыкнется, не может расстаться...

Грузинский рассказ сегодня беспощаден к любым отступлениям от нравственных норм народной жизни и необычайно чужок к любому добру. Корни его глубоко уходят в национальную почву. Его персонажи и есть народ, те простые люди, трудом которых держится земля. Его лучшие художники талантливо воплощают сегодняшний день Грузии, ее историческую память и совесть, духовные усилия и надежды. Они могли бы сказать о своей работе так же, как русский поэт Владимир Соколов говорит о своей: «Что-нибудь о России: стройках и молотьбе?.. Все у меня о России, даже когда о себе».

Что же касается высших этических и эстетических целей грузинской прозы, то их точно определил в рассказе о писательской работе, так и названном — «Дело», Г. Дочанашвили: «„Правда — свет, настоящий свет, — думали они (писатели. — В. К.), вслух, конечно, этого не произносили, потому что как чумы избегали патетичности. — Только правда, только она — любым способом, любыми приемами...” А способов и приемов, как известно, благодарение богу, множество, и они писали, ничего себе — писали».

ЖИЗНИ И ЖИЗНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ



ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

В. Турбин. Аул и мир.— **Григорий Бровман.** Постигая связь времен.— **Е. Старикова.** Встреча и разлука с Померанцевым переулком.— **Ю. А. Лукин.** Поверна современностью.

ПОЛИТИКА И НАУКА

Валентина Елисеева. Поиск героя.— **София Майданская.** Город-легенда.— **Юрий Давыдов.** Необыкновенный полковник.— **В. Френкель.** Первые шаги Вселенной.

Литература и искусство

АУЛ И МИР

Оралхан Бокеев. Поющие барханы. Повести. Перевод с казахского. М. «Советский писатель». 1981. 343 стр.

Кто-то приехал в устоявшийся мирок, обитателей всполюшил. И остался от вторжения шрам, которому долго предстоит заживать, быльем порастать. Приезжего уж и след простыл, а его томительно, неотвязно вспоминают обитатели мира, в который он вторгся. Пришел, увидел, победил — точно по формуле Гая Юлия Цезаря разворачивается действие повестей Оралхана Бокеева.

Что ж, знакомая ситуация: Евгений Онегин вторгся в устоявшийся мирок русской деревни, к Лариным; Базаров вторгся к Кирсановым; и начни вспоминать, перебирать героев, вторгавшихся в стабильные, устойчивые миры и мирки, переворачивавших мирки кверху дном, не сумеешь остановиться: тут, кроме Онегина, Базарова, и Хлестаков Иван Александрович и Печорин. Ситуацию вторжения некоего возмутителя спокойствия в чьи-то жизни разрабатывали в драматургии, в стихотворных и прозаических повестях, в романах. Но не могу я припомнить случая, чтобы явлена она была изнутри: не с точки зрения стороннего объективного наблюдателя и не с точки зрения самого вторгающегося, а с точки зрения обитателей мира, в который некто однажды вторгся. Вторгся, положим, Гарин. бравый улан, в небольшой городишко, выиграл у тамошнего казначея в карты молоденькую жену и исчез. Но что, если бы Лермонтов показал события повести в стихах «Тамбовская казначейша» с точки зрения... Авдотьи Николаевны, жены, в азарте проигранной ка-

значеем улану? Что-то же она, сердечная, почувствовала, что-то переживала. Но что?

Жизнь неотделима от художественной традиции. Благопристойному оседлому горожанину трудно и представить себе, сколько добрых людей нынче кочуют, переселяются с места на место: круглый год забиты общие вагоны поездов самых невероятных маршрутов, покачиваются контейнеры с домашними вещичками на платформах товарняка. Едем мы и едем куда-то. Тут и энтузиасты, и просто трезвые люди, добротные работяги, ищущие, где бы осесть; вереница сезонников и неугихающие шабашники. Кадровики сетуют на текучку кадров; и оно, конечно, худо, когда текучка. Но с другой стороны посмотреть: страна огромна, всюду строится что-то, возводится, реставрируется; и тянется люд честной поглядеть, как оно там да что, и не может он успокоиться. Это жизнь; но и традиция тут как тут: в устоявшиеся миры небольших городков, рабочих поселков, колхозов, совхозов то и дело приходят ныне какие-то до неизвестности обновленные герои русской литературы XIX столетия. И снова, снова смущает Онегин душевный покой Татьяны; снова ввязывается не в свое дело неугомонный Печорин, а судебные очерки нет-нет да и о новом Хлестакове расскажут.

Время словно бы само отыскивает писателей, которые могут запечатлеть его облик; и Оралхан Бокеев — один из таких избранных. Бокеев видит, чувствует мир как не-

что постоянно перемещающееся, движущееся. Ему, казаху, это, надо думать, и особенно странно, но особенно и понятно: уж кто-кто, а казахи не могут не нести в глубинах национальной памяти воспоминаний о жизни как постоянном перемещении, о вошедших в быт пространственных поисках. Города их, по-моему, овеяны какой-то особенной радостью: это же — го-ро-да! Города, дарованные еще живущими поколениями поколениям будущим. Города без следов бывших ран: их не осаждали, не брали штурмом, не жгли, не обращали в руины. Это но-вы-е города; каждый дом в них свидетельствует о том, что кочевать из конца в конец степи уже никогда не придется; и умирительна белая юрта, вкрапленная в архитектурный ансамбль Алматы: стилизованный памятник кочевому прошлому, времени, с которым прощаются; юрта почтенна, но ни современных заводов, ни Академии наук, ни университета, ни, положим, горкомхоза в юртах не разместишь.

С кочевьем покончено, но тем не менее кругом-то кто-то кочует, кочует и не может утомониться. Приезд, появление нового человека в стабильном мире, в микросоциуме, по Оралхану Бокееву — отголосок, отломок громадных социальных явлений. Оседлый аул перед причудливо кочующим миром. Девушка, молодой специалист, на работу направлена в аул, а кого-то другого гонит по жизни простодушное любопытство, кого-то — беззащитный авантюризм. Но в этом кочевье писатель узнает, словно бы сон вспоминая, то, чего народ его не может не помнить — кочевье. Кочевье с его неожиданностями: степные случайные встречи, в каждой из которых надо безошибочно угадать, кто тебе повстречался, друг или враг; неожиданно обрываемые знакомства. И Бокеев показывает долгожданный или внезапный приход, появление какого-то неизвестного изумленными глазами аборигенов — изнутри того мира, в который пришелец вторгается. О вторжении Печорина в мирок честных контрабандистов поведал у Лермонтова он сам, Печорин. Девушке из прибрежной хаты, слепому мальчику автор слова не дал, хотя и они, надо полагать, сложили бы вполне правдомерную версию событий, развернувшихся когда-то на морском побережье. Бокеев словно переворачивает известную ситуацию, показывая ее с изнанки, притом глазами людей бесхитростнейших, до самозабвения добрых: в «Отголоске юных дней» — глазами подростка, полюбившего приехавшую в его аул девушку — агронома; в повести «По-

езда проходят мимо» — глазами старика казаха Дархана.

«Один из многих разъездов на большой Туркестано-Сибирской магистрали, аул Жыланды, а вместе с ним и Дархан встречали свое очередное утро спокойно...» Дархан — старик, о беде которого — повесть «Поезда проходят мимо». (Жалко, что в переводах не могла сохраниться игра слов, каламбурь, звуковые и смысловые повторы, которыми, судя по всему, богат стиль Бокеева: Жиланды дословно значит «змеинный», а рельсы, подходя к разъезду, «вьются змеями.) Спокойно на разъезде. А дальше — воспоминания старика: сорок лет проработал он здесь, на железной дороге. Все знают его в ауле, и он всех знает; знают все и то, что когда-то был у него, одинокого, сын, что сын был не родным, а приемным и что он пропал без вести. Дархан все же ждет сына: повидать перед смертью. А она приближается. На глазах у всех воздвигает себе Дархан мазар, надгробие: каждый день выходит на новую, последнюю работу свою, ладит кирпич к кирпичику.

Похоже на Чингиза Айтматова, на «И дольше века длится день»? Да, похоже. И датирована повесть 1976-м. Если допустимо говорить о приоритете в художественной литературе, то приоритет за Бокеевым: и разъезд в казахской степи, и прозрачной, ясной души человек, старик рабочий, и могилы близ железнодорожных путей... Но у литературы начала нет; ситуации, характеры и приемы не могут быть сведены в каталог, нумерованы и за кем-то закреплены. И эпически величавый старик, и могила, и ритмообразующие курсивы есть и у Бокеева и у Айтматова.

Следя за становлением казахской прозы, видишь, как проза рождается из устного народного творчества, преданий, песни. Упусти это из виду, стиль Бокеева может показаться выпяченным, сделанным: «Ночь, эта холодная сладострастница, еще не пресытилась ласками яркого месяца и все льнула нагим сахарным телом к лунному сиянию — бесстыдно являла миру свою обольстительную красоту». Красивости, зело жестоко нами преследуемые? А оно не красивости вовсе, а то же, что было на заре русской реалистической прозы, у Гоголя всего прежде: мир — огромное единое тело, а все-то в мире живое, и всюду какой-то языческий Эрос царит, и одна вещь, одно явление природы жаждет обладать другой вещью. Натурное тело ночи, да еще и сахарное к тому же — не безвкусица, а мирозеркальная особенность, присущая песне, дозволенная ей вековыми традициями. Переходы от ка-

кого-то отчаянно отважного пения к описанию реалий современной действительности у Бокеева, может быть, еще слишком резки, видны «швы»: эпическая песнь и тотчас же вроде бы: очерк — тогда-то и там-то с такими-то должностными лицами произошло то-то. Но механистичность сосуществования очерка с песней-сказкой — дань естественному для литературы процессу. Переводчики Бокеева, видимо, проделали героическую работу: неудачи, накладки есть и у них, однако главное они передали: переход, перелив песни в будничное повествование, в эпизоды из жизни совхозных овцеводов, полеводов, трактористов, из маетной жизни железнодорожников. Тут все устоялось; но за пределами устойчивого мирка бурно плещется неугомонный, странствующий, кочующий мир. Мирище, если можно так выразиться. И оттуда в тихие уголки то и дело вламываются, врываются гости.

Дождался сыночка старик Дархан! Едет, едет к нему воскресший сынок. Едет в новом обличье: не сын едет, а сын сына, внук. Неожиданный подарок судьбы: нынче еще кто-то кого-то ищет, порываясь заглядить следы войны; и старик Дархан объявил через прессу, что ищет сына. И — отозвалось объявление: сын, оказывается, погиб, но жив у Дархана внук. И на разъезде Жиланды, на «змеином» разъезде, высыпали все этого внука встречать: ликование, праздник.

Тут опять необходимо сказать о забавном и жутковатом совпадении сюжетов, мотивов, ритмов. Русская литература всегда была очень внимательна к ситуации самозванства, к фигурам самозванцев различного толка. И сейчас они возродились. Пожиже стал самозванец, мелкотравчат он: не Отрепьев, не Пугачев. Давно распалась корпорация детей лейтенанта Шмидта, доставившая нам когда-то немало веселых минут. Но самозванец в литературе живет. Стал он камерным, действует не в масштабах державы, а в масштабе семьи. И в «Старшем сыне» Александра Вампилова появился самозванец-импровизатор, вторгшийся в семью провинциального музыканта на правах внебрачного сына. В «Ожидании» Николая Евдокимова — очаровательная в своей наглости девушка, самозванная внучка почтенной московской старушки, все еще ожидающей, что сын ее когда-нибудь вернется с войны. И на разъезд Жиланды, где серебристо змеятся рельсы, пришел, приполз самозванец. Нынешний. Мелкий: на царство не претендует, в отпрыски выдающихся революционеров не лезет. Просто жулик, переросший в самозванца. Взял у старца Дар-

хана сбережения, отложенные на мазар, на могилу, — и ищи ветра в поле. А Дархан из тех людей, которые чрезвычайно смущаются, ежели их облапошивают; они люди большой и легкоранимой души, и даже какой-нибудь неотданный долг душу таких людей отчаянно ранит: мол, да как же так можно, взяли в долг и не отдали? А тут прямое мошенничество. Но и эпизод уголовной хроники для Бокеева — повод к созданию грустной эпической песни. Песни-вопроса: и старик когда-то совершил тяжелейший грех, и вторжение в его жизнь самозванца, лжевука — не расплата ли это за грех его? Дархан когда-то отрекся от маленького ребенка, от настоящего сына, позволил ему умереть. Самозванец-мошенник — тень его собственного греха. И вопросом кончается повесть-песнь: мать простила грешника отца. Имела ли она право на это?

А в другой повести, «Отголоске юных дней», пришествие постороннего в устоявшийся мир веселое, жизнерадостное. «Прошло уже десять лет, как кончилась война, и люди, исхудавшие в лихое, голодное время, постепенно набирались сил... Снова стало возрождаться простодушие, какая-то детская непосредственность и безрассудная доверчивость». Доверчивость доверчивостью, но в аул приезжает... немка. Девушка-немка, агроном. И аул в смятении: как же это — приезжая немка будет хозяйничать на полях? В одном ауле доверчиво распространяется объятия прожженному жулику, в другом честнейшую девушку встречают в штыки; соприкосновение аула и мира у Бокеева чревато драмами поздних прозрений, озарений задним числом. Немку, может быть, и поймут, но пока вокруг нее воздвигается стена недоверия. Агроном Луиза завоевывает признание медленно, шаг за шагом. А навстречу ей первым протягивает руку десятиклассник-казах Нурлан.

И опять традиционная ситуация приезда-вторжения показана изнутри. Перевернута. Представим себе: жил в своей деревеньке провинциальный юноша Евгений Онегин, а откуда-то извне, из города нагрянула в его мир загадочная и блистательная Татьяна. И Онегин ее полюбил, хотя был моложе ее, совсем зеленый, неопытный юноша. И признался ей, а она ласково и тактично отвергла его. «Отголосок...» Бокеева — современный вариант хрестоматийного сюжета. «Евгений Онегин» времен форсированной женской эмансипации, переездов, непрерывного соприкосновения наций: казах, безнадежно влюбленный в немку и старательно осваивающий русский язык, чтобы с нею общаться.

Уехала немка Луиза. Остались в память о ней цветы, радостные подсолнухи: она привила их здесь, в скотоводческом ауле. Прозаически, деловито — на силос. Но это агротехническая сторона дела. А есть поэтическая: «Черная степь зеленела всходами подсолнухов. А в ясном небе громадным цветущим подсолнухом висело солнце, как бы оставленное в дар колхозникам агрономшей...»

О вторжениях-неожиданностях у Бокеева

и «Поющие барханы», и «Снежная девушка», и баллада в прозе «Камчигер». Там свои варианты подобных вторжений. Но закономерность ясна: во-первых, вторжения, приходы, наезды, показанные с точки зрения мира, куда вторгается «кочевник» наших дней; во-вторых — неизменное сопряжение сугубой реальности с местным или с общенациональным преданием. С эпической песней, с пантеистической лирикой или со сказкой.

В. ТУРБИН.



ПОСТИГАЯ СВЯЗЬ ВРЕМЕН

Вадим Кожевников. Корни и крона. Роман. «Знамя», 1981, №№ 9, 10; 1982, №№ 1, 2.

Михаил Алексеев. Драчуны. Роман. «Роман-газета», 1982, №№ 10, 11.

Александр Проханов. Дерево в центре Кабула. Роман. «Октябрь», 1982, № 1.

На последних страницах романа «Корни и крона» Вадима Кожевникова мы читаем: «Чем больше люди отдаляются от того, что они пережили, тем увереннее считают даже незначительные события тех лет вехами своего времени. И это не только дань уважения прошлому, но и уверенность в том, что ничто случайно не приходит и само по себе не уходит. Ведь худшее не сразу сменяется лучшим. И не по давности времени старое уступает новому. Ничто не изживает самое себя без причины...»

Читатель этой статьи может предположить, что речь пойдет об историческом романе. Но нет, В. Кожевников посвятил свое произведение современному рабочему человеку, целой династии советских рабочих людей. А речь о вехах времени, о дани уважения прошлому рождена той истиной, что пройденный нашим обществом путь, насыщенный живым трепетом современности, является в то же время и путем историческим. Художником это может быть постигнуто прежде всего в свете жгучей актуальности. Вспоминается, как в одной из литературных дискуссий середины 50-х годов Степан Злобин горячо ратовал за понимание истории и современности революционной эпохи как неразрывного единства при всех его противоречиях. (Эти свои размышления Степан Злобин опубликовал в сборнике «Советская литература и вопросы мастерства».) Не все вняли тогда пафосу речей талантливого и темпераментного исторического романиста; сейчас ясно, как он был прав, выдвигая по-новому заостренные идейно-эстетические критерии понимания и оценки взаимосвязи исторического и современного в романе наших дней. Прошедшие десятилетия литературного развития целиком

подтвердили этот взгляд. Связь времен стала одним из существеннейших и оправдавших себя принципов художественного воплощения жизни советского общества в его развитии.

Конечно, в яркую человеческую судьбу литература не может вместить все процессы, характерные для широкого исторического времени, — тем более закономерно в романах наших дней встает тема преемственности поколений. Авторы часто обращаются к изображению семьи не только в ее домашнем, бытовом аспекте, но и прежде всего в сфере социальности, труда, вкладываемого представителями данного семейного коллектива, если можно так выразиться, в общую сокровищницу материальных и нравственных ценностей, создаваемую обществом. В связи с этим вспоминаются «Журбины» Вс. Кочетова, «Истоки» Г. Коновалова, о рабочей династии металлургов собирался писать А. Фадеев в «Черной металлургии». Разговор о рабочих династиях весьма к месту в связи с новым романом В. Кожевникова.

Место его действия — современный машиностроительный завод, переживающий большие перемены. Научно-технический прогресс не терпит отставания, топтания на месте, рутинного отношения к делу. Это свойственно всем этапам производства, всем его подразделениям. Из большого и сложного рабочего коллектива на первый план выдвигается фамилия Должиковых. Их глава Семен Фомич — участник гражданской и Отечественной войн, это корень рабочей династии, вполне реальный и в то же время символический дед. Он знаток машиностроительного дела, умеющий передать свой опыт молодым, иногда, при этом не скроем,

страдающий морализаторством, утомляющим читателя. Сыновья старика Дмитрий, Егор и Геннадий после войны вернулись на родной завод. С ними и племянник Семена Фомича Марат Должиков. Автор пишет: «Каждый Должиков отличался особым характером; профессии у всех были разные, внешне они не слишком походили друг на друга, но на заводе их всех одинаково уважали и ценили за мастеровитость, считали зубастыми, потому как если дело касалось интересов производства, они, не стовариваясь, выступали, и всегда единомысленно, испытывая при этом даже некоторое удивление: откуда и как мог один Должиков отгадать мысли другого Должикова». (К сожалению, характеры героев, по утверждению автора, особые у каждого, раскрываются преимущественно в изложении самого персонажа — здесь психологический анализ страдает неполнотой.)

Мысль о преемственности поколений последовательно и интересно реализуется автором на протяжении всего повествования. Всплывающие в памяти героев эпизоды минувшей войны дают их переживаниям глубину и масштабность. Труд ратный и заводской тесно переплетаются в мироощущении героев. Когда на заводе случаются заминки или нравственные казусы, на выручку приходит боевое прошлое — воскрешенное в памяти, оно помогает героям найти выход из сложной ситуации. Зрелость мысли, рожденной многолетним опытом жизни и борьбы, подсказывает наиболее точные решения производственных проблем, верные пути творческих поисков.

Природу этих процессов В. Кожевников хорошо знает и рассказывает о них правдиво. Именно так описан конфликт между общественностью завода, с одной стороны, и представителями министерства — с другой. На заводе по инициативе передовых рабочих, преимущественно молодых, создается по всем параметрам улучшенный двигатель, сулящий большую прибыль предприятию. Ответственное лицо из министерства, прибывшее для приемки станка, было, как замечает автор, «знатоком теории осмотрительности». Знаток сыграл роковую роль в судьбе нового двигателя: его изготовление было по формальным причинам отложено, завод терял выгодного заказчика, рабочие лишились премии. Писатель справедливо рисует эту ситуацию как нравственную. Не случайно в центре ее оказывается секретарь парткома Зубцов, который был на фронте политработником, батальонным комиссаром, и вынес отсюда добрую привычку советоваться с людьми при возникновении

трудных обстоятельств. Рабочий должен неизменно чувствовать себя хозяином предприятия и сообразно этому действовать. В романе «Корни и крона» убедительно показано, какие практические результаты для производства и психологического климата на предприятии дает верное следование этому принципу. «Сами вырастили на заводе именитых людей, сами вынуждены с ними считаться», — замечает директор.

Внуки старого Должикова проходят серьезную школу жизни и в семье и на производстве. И хотя в романе, как и в нашей жизни, нет пресловутой проблемы отцов и детей в ее традиционном драматическом понимании, тем не менее и безоблачности тоже нет, небосклон над Должиковыми не раз затягивается тучами, и писатель не скрывает этого от читателя. Верно главное: духовная взаимосвязь старшего и младших поколений советских людей органична и жизнедеятельна. Грядущее незримо присутствует в размышлениях, переживаниях и надеждах и дедов, и отцов, и детей. Как каждое здоровое и полноценное дерево с крепкими и добрыми корнями, глубоко вошедшими в родную землю, династия Должиковых дает свежую, цветущую, молодую крону. Это не только абстрактная философская посылка, это итог живых наблюдений и исследований автора, уже много лет работающего над произведениями о людях труда, о сменяющих друг друга поколениях советского общества в войне и мире, в живой, реальной обстановке, которая складывается в многоликой и противоречивой подчас действительности.

Правда, изобразительный материал романа порой отступает перед публицистическим, отсутствие единой сквозной коллизии приводит к новеллистической структуре. (В ней автор всегда был силен, начиная с памятного рассказа военных лет «Март—апрель». Внутреннее творческое влечение к рассказу чувствуется и в других крупных по объему произведениях автора, таких, например, как повесть «День летящий».) На некую общую нить нанизываются сцены, эпизоды, зарисовки, монологи и диалоги, составляющие подобие потока жизни военного и мирного времени. И хотя почти каждая из введенных в роман таким образом ситуаций по-своему интересна (история отношений Марата Должикова и немецкой антифашистки Эльзы, сердечные дела молодых героев Кости, Нелли, Октябрины, некоторые коллизии и эпизоды заводской жизни и семейного быта и т. п.), тем не менее местами остро чувствуешь читательскую жажду единой романной коллизии с развернутым

и целостным художественно-психологическим анализом характеров основных, проходящих через весь роман действующих лиц.

Горячо поддержав интерес литературы к теме социалистического труда и его героев и констатировав известные успехи на этом пути писателей-первопроходцев, наша критика сейчас, в начале 80-х, не может не видеть, что в эпоху зрелого социализма перед этой темой стоят как никогда серьезные и крупные задачи. Речь идет о масштабах писательского видения, о внутренней органической связи частных коллизий жизни и быта рабочих людей с философским дыханием эпохи, с большими проблемами общества и человечества. Возрастание роли рабочего класса как определяющей созидательной силы материального и духовного развития общества требует, видимо, более объемного подхода к теме, понимаемой по-горьковски широко и многогранно. Заводская площадка, даже самый огромный модернизированный цех, как и семейные отношения заводчан, — недостаточная платформа для воплощения темы советского рабочего класса 70—80-х годов. Впрочем, и лучшие романы 30-х годов, составившие эпоху в советской литературе, такие, как «Соть», «День второй», «Время, вперед!», «Гидроцентральный», и другие, по справедливости показывали рабочих людей того времени на широком фоне социалистической индустриализации, обнаруживая и воплощая в своих героях и через них всеохватывающий пафос общественного преобразования страны в труде, в созидании, в нравах и быте, в морали и этике. Замкнутость производственными вопросами как таковыми была им чужда. Это были книги об эпохе и тем самым об ее творцах — рабочих людях. Еще больше оснований у нас сегодня ожидать от художников слова именно таких дерзаний и решений!

Требования времени выдвигают перед авторами романов, представляющих собой глубоко философский и художественно многоплановый жанр в литературе, задачу воплотить социальный эпос истории, которая органически сливается с судьбами отдельной личности или отталкивается от нее, крупномасштабно запечатлевая коллизии и конфликты, свойственные тому или иному моменту. Тематические ограничения, узость художественного взора лишают произведения эпического простора и психологической глубины, если говорить не об очерке, рассказе или повести, а о романе. Не случайно А. Фадеев во время работы над романом «Черная металлургия» писал: «Это все не только роман о металлургии — она

в центре этого романа, — но это роман о советском обществе наших дней, это роман самонужнейший, архисовременный». Нельзя, разумеется, перед различными по масштабу и уровню дарования писателями выдвигать одни и те же художественные задачи, но если говорить о той основной и определяющей тенденции, которая может привести нашу прозу к завоеванию новых идейно-эстетических высот, то она именно в словах Фадеева: роман о советском обществе с главным героем — рабочим классом самонужнейший, архисовременный. Научно-техническая революция не только не исключает, но, наоборот, предполагает философское осмысление тех новых неизведанных отношений между человеком и техникой, человеком и окружающей природной средой, человеком и обществом, человеком и миром, коллективом, семьей, которые возникли и складываются в коллизиях и противоречиях нашего времени и далеко за пределами строительной площадки или заводского двора.

Может быть, всего полней и действенней сказывается связь времен в автобиографическом романе. Автобиографизм, воплощение собственного жизненного опыта, лежит, как известно, в основе многих современных романов (и не только современных). Но есть у нас писатели, которые принципиально во всех своих произведениях опираются на пережитое, субъективное начало определяет всю художественную структуру, все содержание их произведений. Отчего, впрочем, они не становятся ни менее объективными, ни менее значимыми для литературы.

К таким авторам с полным правом можно отнести Михаила Алексева. Его романы и повести вобрали в себя многое из пережитого, передуманного и перечувствованного писателем на его большом жизненном пути. «Солдаты» и «Дивизионка» — суровые годы Великой Отечественной, «Вишневы омут», «Хлеб — имя существительное», «Карюха», «Ивушка неплакучая» — дореволюционное бытие, годы тяжелого бедняцкого детства в селе Монастырском на Саратовщине, тревожная голодная юность и вновь фронтовое время... А вышедший в нынешнем году роман «Драчуны» как бы синтезирует все деревенские повествования и, будучи откровенно автобиографичным, позволяет нам с наибольшей ясностью представить себе творческое своеобразие этого писателя.

Михаилу Алексеву свойственны ограниченность мировосприятия, цельность и последовательность творческих исканий. Читая

последний роман, невольно чувствуешь, как именно развивались в едином психологическом ряду (но каждая по-своему) его героини — Фрося Вишенка из «Вишневого омута», Журавушка («Хлеб — имя существительное»), Феня Угрюмова из «Ивушка неплакучей». Никому из них не дана была легкая, беззаботная жизнь, не лежала перед ними прямая, протоптанная тропа, точно так же как не знает ее в «Драчунах» мать рассказчика, на долю которой выпало так много страданий, горя, жестоких изломов судьбы, не помешавших ей, однако, сохранить уважение и любовь к людям, душевную доброту и отзывчивость, верность и преданность крестьянскому труду, стремление воспитать в детях честность, совестливость.

Автор недаром предваряет свое повествование словами Л. Н. Толстого в записи А. Б. Гольденвейзера: «Мне кажется, что со временем вообще перестанут выдумывать художественные произведения... Писатели, если они будут, будут не сочинять, а только рассказывать то значительное или интересное, что им случалось наблюдать в жизни». Эти слова великого художника и мудреца, как мне представляется, направлены против такой выдумки и сочинительства, когда они есть уход от правды, увеливание, приукрашивание, успокоительные придумки и легковесное сочинительство, которые и поныне соблазняют многих. И лучшие произведения литературы нашей революционной эпохи тем именно сильны, что их авторы рассказывали о самом значительном в своей жизни...

Позволю себе в этой связи маленькое отступление. Работая в свое время над монографией о творчестве В. В. Вересаева, я обратил внимание на оценку В. И. Лениным одного из произведений писателя. Речь шла о «Записках врача». Там Вересаев, между прочим, рассказал, как ему в студенческие годы пришлось в дерптской университетской клинике наблюдать тяжелые роды. Ярko и правдиво изобразив страдания женщины, автор восклицает: «И для чего любовь со своей поэзией и счастьем? Для чего любовь, если от нее столько мук? Да неужели же «любовь» является не насмешкою над любовью, если человек решается причинять любимой женщине те муки, которые я видел в акушерской клинике?»

Этот волновавший некогда писателя вопрос много лет спустя затронул В. И. Ленин. В 1918 году в статье «Пророческие слова» он писал: «Возьмем описание акта родов в литературе, — те описания, когда целью авторов было правдивое восстановление всей тяжести, всех мук, всех ужасов этого акта, например, Эмиля Золя «La joie de vivre»

(«Радость жизни») или «Записки врача» Вересаева. Рождение человека связано с таким актом, который превращает женщину в измученный, истерзанный, обезумевший от боли, окровавленный, полумертвый кусок мяса. Но согласился ли бы кто-нибудь признать человеком такого «индивида», который видел бы только это в любви, в ее последствиях, в превращении женщины в мать? Кто на этом основании зарекался бы от любви и от деторождения?»¹

Ленин высоко оценил в этих произведениях правдивость изображения мук, что выпадают на долю женщины-матери, но он же, как ясно каждому, спорит с теми, кто только это и видит в любви и материнстве. Вопрос этот, как показал Владимир Ильич, имеет глубокую социальную трактовку. Вслед за Марксом и Энгельсом Ленин, прибегая к социально-исторической аналогии, говорит «о долгих муках родов, неизбежно связанных с переходом от капитализма к социализму»². И как грешно видеть единственные последствия любви лишь в мучениях женщины, так нельзя в рождении нового общества, воплощающего высшие и наиболее благородные идеалы человечества, видеть одни страдания и горести, хотя нельзя отрицать, что в обеих этих ситуациях, индивидуальной и общественной, муки неизбежны, причем во втором случае муки истории — долгие муки.

Коллективизация сельского хозяйства в нашей стране была процессом огромного социально-исторического, экономического и нравственного масштаба. Михаил Алексеев изображает ее оптимистически, но, помня завет Толстого, без сочинительства и иллюзий, ибо социальный оптимизм советского общества не в игнорировании или пренебрежении к реальным фактам, противоречащим такой оптимистической идеальности, а в трезвом и глубоком партийном анализе этих фактов, их причин и истоков, в ленинском понимании способов облегчить муки рождения нового... Роман «Драчуны» правдиво рассказывает об остром столкновении в деревне враждующих социальных сил, которые представлены, с одной стороны, верными и последовательными сторонниками идеи ленинского кооперативного плана, идеи коллективизации, а с другой — поверхностными толкователями народного блага, не говоря уж о тех, кто становился сознательным врагом нарождающегося нового и по вине которых наступает нелегкий 1933 год, принесший физи-

¹ Ленин В. И. Полное собрание сочинений, т. 36, стр. 476.

² Там же.

ческие и нравственные страдания жителям родного писателю села Монастырского.

По своей внутренней эстетической структуре роман «Драчуны» можно назвать полифоничным. Два голоса слышны в нем, то сливающиеся в один, то отдаляющиеся друг от друга, но никогда не образующие диссонанса. Рассказ сельского паренька, школьника 20-х годов, мягко корректируется (уместно напомнить, что слово это от коректно) улычивым, а иногда и ироничным голосом автора наших дней. Мишка по прозвищу Хохол передает все, что видит, слышит, переживает в свои детские годы, так, как понимал тогда, в детстве, свои радости и горести, — озирающий минувшее автор интерпретирует его видение, опираясь на свой зрелый опыт, на пережитое и переосмысленное. В литературе этот прием не нов, известны классические примеры. Но я хотел бы подчеркнуть искусность автора, сумевшего в этом двухголосии сохранить единство и пластичность повествования, избежав нарочитости и преднамеренности, которыми чреват такой прием. Удача романа, на мой взгляд, в достоверности и достоверности рассказа. Двойное «я» повествования мастерски реализовано и художественно и психологически.

Надо подивиться острой и глубокой памятью писателя к мелким и мельчайшим деталям времени. И не только к внешнему облику тогдашнего села, но и к психологическим особенностям семейных отношений и нравов, которые фиксирует наблюдательный мальчонка Миша сквозь размышления и лукавую улыбку автора.

«Стоит ли говорить, что и катанье на льдине не всегда оканчивалось для нас благополучно. Случалось, что прогретая и как бы пронзенная насквозь острою саблей солнечного луча льдина неожиданно крошилась под нами, и мы оказывались в холодящей воде, барахтались между льдин, как мокрые щенки, судорожно цепляясь кончиками коченеющих, красных от ледяной воды пальцев за кромку... Должно быть, кто-то из взрослых на такой вот случай доглядывал за нашей забавой с прибрежных дворов, потому что почти всегда находился спаситель, который, не мешкая, бросался в воду, подплывал к терпящим бедствие и одного за другим выбрасывал на берег, а потом загонял в свою избу, вталкивал на горячую печку и обогревал, отгоняя простуду. И если среди несчастных магелланов оказывался сын спасителя, то его батька на наших глазах, как бы для всеобщего поучения, устраивал ему выволочку... Обогрешшись и обсушив одежки, мы потихоньку разбрелись по своим

домам и в первые дни после «кораблекрушения» вели себя действительно и тише воды и ниже травы: были послушны до невозможной уж степени. Это настораживало мою мать, присматриваясь ко мне, она спрашивала:

— Что с тобой, сынок?

— А что? — в свою очередь спрашивал я, стараясь по ее глазам определить, не узнала ли она ненароком о причине такой резкой перемены в моем поведении.

— Да так... Больно ты, сынок, тихонький какой-то... Вот я и подумала: не струсил ли с тобой что.

— Не, мам. Ничего не струсилось. Но ведь ты у нас одна все дела делаешь.

— Ты что же, сыночка, пожалел свою мамку? — Глаза ее уже быстро, как копытные следы на санной дороге, наполнились мутноватой влагой. — Спаси ты Христос, сынок. Хоть один пожалеет...

И, подняв кончик платка к глазам, она сейчас же выходила на двор, где уже в несколько очередей выстроились, ожидая ее, разные дела»...

Так искусно автор от сценки баловства Драчунов на тающем льду органично переходит к описанию крестьянского труда и быта, к образу матери, согретому теплотой и любовью рассказчика. При этом необходимо отметить, что роман далек от какого-либо воспевания стародавних крестьянских обычаев и нравов, которые принято называть патриархальностью. Трудовая Мишкина семья ждала в эти годы от революционной нови улучшения своей экономической участи и шла к этому через препятствия и лишения. Вера в торжество крестьянского труда, в счастливую грядущую жизнь детей была неизбыточной! Оптимизм этот находил выражение не в одних громких лозунгах и клятвах, а в доверии к жизни, в честном труде и общих усилиях на благо революционного преобразования деревни. И первым символом этого сложного процесса, который изобиловал трудностями и противоречиями, был трактор, вдруг неведь откуда взявшийся, загремевший на сельской околице и пускавший клубы черного дыма. А если еще учесть, что за рулем непонятной и страшноватой машины сидел родной брат нашего героя, прошедший специальные курсы, Ленка, сейчас же подхвативший Мишку на сиденье, то станет понятно ликование ребятни. «Гордый, распираемый этой гордостью изнутри, не знающий, что с нею делать, чувствующий себя героем, повелителем всего и всех, в том числе и этой ревушей машины, я оглядывал мчавшуюся и впереди и по бокам орду своих сверстников, долее всех

удерживая глазами Ваньку Жукова (одного из активных драчунов-противников.—Г. Б.), который как жеребенок скакал вприпрыжку прямо перед носом нашего с Ленкой трактора. Я следил за ним и слышал, что не испытываю к своему неприятелю ничего недоброго, враждебного». Это было начало примирения и одновременно начало взросления...

А рядом с этим светлым и чистым — рассказ о злостных перегибщиках, составлявших живые списки «кулаков» и «подкулачников», о голодном годе. Здесь уже не Мишка рассказывает, хотя и его голос по-прежнему слышен, — основную тему ведет автор. «Тридцать третий год остался и останется в памяти моей самой ужасной отметиной. И как ни тяжело и ни горько вспоминать о нем, я все-таки обязан сделать это перед своими земляками. Обязан перед памятью людей, отдавших свои жизни хоть и не на боевых рубежах Великой Отечественной, но совершивших подвиг уже одним тем, что в самую трудную минуту, до самого своего смертного часа не разуверились в советской власти, не предали ее анафеме, не проклинали, завещая эту святую веру всем, кому суждено было жить, бороться, побеждать и исполнять свои обязанности на крутых поворотах истории».

В этой искренней и задушевной декларации легко увидеть истинно оптимистическое восприятие жизни, несмотря на все ее жестокие превратности. Ответственность перед своей профессией, чтоб не сказать миссией, требует той самой правды, о которой говорил Толстой. Вера в жизнь, в животворящие силы бытия, вера в социалистическое общество, которое преодолевает на своем восходящем пути малые и большие трудности. Строительство нового мира требует не только тяжелого и упорного труда, но и идейной и нравственной стойкости в самом высоком и реальном значении этого слова.

Молодой писатель Александр Проханов также прочно опирается на собственный жизненный опыт, уже первые его книги повестей и рассказов «Иду в путь мой» и «Желтеет трава» были насыщены очерковыми впечатлениями от поездок по стране, а роман «Кочующая роза», открыто автобиографический, был целиком основан на впечатлениях от поездок по Сибири, Дальнему Востоку и Средней Азии, от встреч с различными людьми этих советских земель. Придя в литературу из журналистики, А. Проханов сохранил лучшие качества газетчика — жажду новых встреч и впечатлений, новых знакомств и новых участий в

больших и малых делах своей страны. Об этом свидетельствует и его роман «Место действия».

Но вот новая страница неутомимых исканий журналиста и писателя: многочисленные поездки за рубеж. Ангола, Мозамбик, Нигерия, Кампучия. Пытливым взором вглядывается А. Проханов в то, что происходит в этих пробуждающихся к свободе странах. В результате двух поездок в Афганистан, кроме пространных очерков в «Литературной газете», родился новый роман — «Дерево в центре Кабула». Появление романа не случайно. Автора привлекают события, в которых происходит столкновение противоположных социально-политических сил, рождение новых общественных отношений, нового строя. И здесь главная тема — связь времен, муки истории. Для глубокого ее решения недостаточно очеркового, пусть и весьма пронизательного, взгляда, необходим тщательный психологический анализ сложной и противоречивой социально-драматической ситуации. Этой трудной творческой задаче может ответить скорее всего форма политического романа.

«Дерево в центре Кабула» основано на непосредственных наблюдениях и исследованиях автора. Пребывание в Афганистане — это тоже элемент биографии А. Проханова. Однако роман, строго говоря, не автобиографичен, хотя его основной и главный герой советский журналист Волков есть alter ego автора. Сохраняя все богатство личных наблюдений и размышлений, А. Проханов получает в то же время известную творческую свободу, столь необходимую в романе. На мой взгляд, романист воспользовался своим правом на художественный вымысел, всецело опирающийся на реальные, лично наблюдаемые и изученные факты. Это ощущаешь и в построении сюжета, правдивого и многозначного: журналисту Волкову довелось быть свидетелем отправки из Советского Союза колонны тракторов в Афганистан, он же наблюдает и прибытие тракторов в тот кишлак Чус-Лакхур, где им и предстоит проложить первую хлебоносную борозду. Приходит на ум невольное сопоставление с аналогичным эпизодом из только что рассмотренного нами романа Михалда Алексева. Конечно, события эти — появление первого трактора в селе Монастырском и первой тракторной колонны в Афганистане — не поддаются прямолинейному сравнению, но общее тут присутствует, ибо в обоих случаях раскрываются глубокие закономерности социальной истории человечества. Первая тракторная борозда — символ больших преобразований. Волков видит, как

радостно встречают афганцы трактора, видит он и вмятины на машинах от бандитских пуль, знает о гибели Нила Ладова, веселого, жизнелюбивого человека, одного из тех, кто сопровождал машины на афганской земле. Это воплощенная в живых образа ленинская мысль о «долгих муках родов, неизбежно связанных с переходом от капитализма к социализму...». Знали эти муки односельчане Михаила Алексеева, еще более наглядны они ныне в бурной действительности Афганистана. Но рождение нового общества неотвратимо. И на капотах советских тракторов, исчерканных вражескими пулями, где стояли подписи сопровождающих (в том числе погибшего Ладова), ставят сейчас свои имена простые крестьяне, афганские и советские солдаты, без помощи которых не дойти бы машинам до этих далеких глубинных мест. Смысл этих бесхитростных подписей в великом слове «дружба», за которым не риторические излишняя, а борьба, кровь, сама жизнь человеческая. Высока и дорога эта дружба. И простые афганцы сознают, понимают это. Сегодня за нее приходится бороться, но именно в ней коренится зародыш грядущего счастья этого веками обездоленного народа. Проханов-Волков наблюдает сцены суровой борьбы, и наблюдения эти исполнены грусти и драматизма. Он размышляет о вековой нищете этого народа, голоде, трущобном существовании, глубоко укоренившемся сознании раба. Отсюда в людях безотчетный страх, возвращенный долгими годами колонизаторства, страх перед современными душегубами с американским и пакистанским оружием в руках... В этом социально-психологическом комплексе нелегко разобраться, отделяя одни нити от других. Журналист Волков, зорко глядяваясь в происходящее, невольно сравнивает этот мир с тем, что свойственно человеку другого мира, советскому человеку.

Но герой далек от чистоплюйства, пренебрежения, хотя многое в наблюдаемом и вызывает внутреннее чувство неприязни, даже протеста, желание немедленно вмешаться и изменить ход событий. Это и есть борьба света со мраком, добра со злом, длительная, кровопролитная, мучительная борьба. Это революция. Она протекает в своеобразных, запутанных формах. Скоропалительные способы и рецепты здесь не подходят. Офицер афганских органов безопасности Хасан говорит об арестованном бандите-душмане: «Он не знает, что он против народной власти... Он неграмотен. Всю жизнь с детства получал из рук феодала лепешку и был ему благодарен, как богу, Ко-

гда мы взяли у феодала землю и хотели отдать ему, он не взял, а в ужасе отшатнулся... Когда феодал передал ему автомат и велел убивать, он стал убивать. Он — тень феодала, раб феодала». А Волков вглядывается в руки арестованного, «большие крестьянские руки в мозолях». Социальная природа явления герою-журналисту ясна, но далеко не так ясно, как же вытравить из трудящегося человека эту рабскую покорность злу, это полное непонимание своего человеческого предназначения. Приучить бы эти рабочие руки к рычагам современных сельскохозяйственных машин, а они орудуют смертоносными изделиями иностранного, враждебного революции производства...

В книге волнующие страницы — о контрреволюционном путче в Кабуле, который был инспирирован Пакистаном, откуда доставлены и вдохновители контрреволюционного мятежа и оружие. Но путч потерпел неудачу, хотя поначалу в него были вовлечены немалые силы, поддавшиеся на злостную агитацию провокаторов-националистов. Писатель подробно говорит об опасности для революции такого рода выступлений, о жертвах, которые они приносят. Новая, революционная власть, опираясь на наиболее сознательные круги передовых афганцев — военнотружеников, интеллигенцию, рабочие коллективы, — сокрушает подобные путчи, продиктованные извне. Не стоят в стороне, естественно, и советские воины, пришедшие на помощь дружественному народу. Идеи интернационализма, чувство братской революционной солидарности всегда определяли и определяют отношение советских людей к революционному движению народов, сбрасывающих путы капиталистического или феодального рабства. Эти искренние чувства советских воинов, специалистов других профессий, работающих в Афганистане — врачей и архитекторов, инженеров и техников, агрономов и меллиораторов, — хорошо переданы писателем.

Александр Проханов написал политический роман, который по природе жанра не мог не быть насыщен публицистичностью. Однако и чисто изобразительный его ряд, на мой взгляд, привлекает красочностью описаний, выразительностью отдельных картин и эпизодов. Психологическое постижение характеров, воссоздание их национального колорита, обрисовка нравов, бытовых норм, всего житейского уклада людей надо отнести к достоинствам этого первого в нашей художественной прозе опыта создания романа о современном Афганистане, переживающем эпоху революционных преобразований.

Пожалуй, никогда еще в нашей общественной жизни и литературе столь сильно не ощущалась связь времен революционной истории, как в эти годы. Точно чуткий барометр, стремится наше искусство уловить и запечатлеть внутреннее единство дня прошедшего с днем нынешним и грядущим. Этот осознанный историзм присущ и рассмот-

ренным нами произведениям. В них связь времен обретает осязаемую художественную конкретность. Историческое — как современное, современное — как историческое. Изображение диалектики этого процесса остается важной задачей нашей литературы.

Григорий БРОВМАН.



ВСТРЕЧА И РАЗЛУКА С ПОМЕРАНЦЕВЫМ ПЕРЕУЛКОМ

Ирина Велембовская. Вид с балкона. Повести и рассказы. М. «Советский писатель». 1981. 288 стр.

Несколько лет назад покойная С. Д. Разумовская, научившая не одного литератора уму-разуму и как редактор и как страстно заинтересованный читатель, упрекнула меня полшутя:

— И разговаривать с вами не хочу. Уткнулись в своего Распутина и ничего больше не хотите знать.

— Ну и чего такого особенного из текущей прозы я не знаю?

— Вы не знаете Ирины Велембовской.

— Ну и что?

Ответила я с вызовом, но упрек задел меня. Дело в том, что моя собеседница в числе многих впоследствии известных писателей открыла некогда и Веру Панову, помогла увидеть свет ее «Спутникам». А для меня и это имя и эта книга не безразличны. Как же мне было после такого разговора сразу не прочесть только что опубликованную тогда в «Октябре» повесть Велембовской «Вид с балкона»? Прочитав, я признала справедливость обращенного ко мне упрека.

Известно, что читателю часто нравится как раз то, чего не хватает ему в собственной жизни. Примеры известные, примеры классические. И все-таки момент узнавания себя в восприятии искусства тоже очень важен. Думается, в популярности И. Велембовской как раз он играет большую роль. Многие и многие читатели в простых историях, рассказанных писательницей, узнают себя и близких.

Велембовская пишет о горожанах, о людях рядовой судьбы.

Сам повествователь сродни своим героям: он скромен и сдержан, никогда себя не выставляет, речь его проста и неукрашена. В собственных пристрастиях и художественных секретах рассказчик никогда не признается. Да и какие, казалось бы, здесь секреты? Из всей книги «Вид с балкона» только рассказ «Тайна вклада» обладает, кроме обычного для Велембовской точнейшего знания

подробностей существования рядового нашего современника, не свойственным, в общем-то, автору качеством: этот прекрасный рассказ построен по правилам искусной новеллистики, когда неожиданной завязке отвечает столь же неожиданный финал, парадоксальный с точки зрения сюжета, но в то же время ни в чем не нарушающий стихии естественной обыденности, в которой пребывают герои Велембовской. В остальных же случаях истории простых человеческих жизней выливаются как бы сами собой, без затей и литературных хитростей. Вот как мы с вами рассказываем друг другу историю чьей-либо жизни. Впрочем, мы с вами чаще рассказываем о том, что нас поразило. С какой стати мы станем рассказывать о том, что случается каждый день? А Велембовская вытаскивает из нашей с вами жизни то, что мы в ней сами часто и не замечаем, во всяком случае не осмысливаем. Очень незаметным и трудноуловимым образом она делает это простое и обыкновенное важным и необходимым. «Орест Иванович стал отцом более чем четверть века назад. И обстоятельства, которые предшествовали рождению его первого и единственного сына, не были особенно радостными, не такими, о которых хотелось бы помнить всю жизнь». Ему, Оресту Ивановичу, жизнь свою и вспоминать не хочется, ничего примечательного, а тем более значительного он в ней не видит, а вот автору зачем-то надо ее рассказать с обстоятельностью серьезного эпического повествования, которое и нас вовлекает в нечто серьезное.

В этой пристальности к обыденному и женской зоркости к его приметам, как бытовым, так и психологическим, есть какая-то сдержанная и скрытая полемика. По отношению к чему? Скорее всего ко всякого рода патетике и литературным схемам. И если первый грех начисто отсутствовал с самого начала в даровании писательницы,

то искусства подчинения литературным схемам на пути Велембовской встречались, и она испробовала различные способы сопротивления им.

Первая книга И. Велембовской вышла в «Советском писателе» в 1965 году. Она вобрала в себя профессиональные опыты писательницы конца 50-х — начала 60-х годов. Деревенская тема входила в моду, и Велембовская откликается на веяние времени. У нее есть собственные жизненные впечатления, позволяющие это сделать, но литературно она ориентируется далеко не на самые передовые и яркие образцы той эпохи. Примером тому может служить хотя бы рассказ «Среди полей». По построению рассказ близок к газетному очерку: учитель ботаники проездом с экскурсией на Куликово поле оказывается в деревне, где он некогда жил в детстве, и вместо крытых соломой изб с земляным полом застаёт достаток и уют: румяные пышки на столе, танкетки на ногах у девушек, готовый к молотье электроток и т. д. Ни проблем, ни сюжета в этом рассказе нет. Пожалуй, обращает на себя внимание лишь некая полемичность по отношению к идеализации патриархальных черт деревни — тенденции, заметной в середине 60-х годов. В личном опыте Велембовской, видимо, нет оснований ни для любования прошлым, ни для острых социальных конфликтов.

Отсутствие этого сказывается и в более зрелых произведениях писательницы той поры — «Лесной истории» и «За каменной стеной». Деревенский материал служит здесь основанием для изображения прежде всего драмы чистой женской души, поправной и мужским эгоизмом, и прерассудками косной среды. Но по истечении времени после чтения первых повестей Велембовской в памяти читателя остаются не столько отдельные образы и сюжеты, сколько излюбленные локальные краски писательницы: полевая черноземная российская деревня и суровый приисковый быт на фоне такой же суровой сибирской природы. Впечатления от сибирского золотого прииска — второй питательный слой начального творчества Велембовской. На этой почве выросла не только «Лесная история», но и повесть «Дороже золота».

Когда читаешь теперь эту повесть 60-х годов, два разнородных впечатления складываются одновременно.

Прежде всего думается: как много надо знать прозаику, как широко ему надо быть осведомленным в профессиях своих героев, в их быте, среде, окружающей природе, в их языке. И какой приметливый глаз у ав-

тора повести «Дороже золота», и какая чуткость слуха, и как добросовестно проделана большая работа. Все собрала писательница, все употребила в дело: и экзотичные для столичного уха словечки сибирских промысловиков, и редкие пословицы и частушки... Это с одной стороны.

А с другой, а второе впечатление: при такой-то осведомленности и явно не из вторых рук — какая удивительная подчиненность старой литературной традиции. Отнесенная к послевоенному времени драма героя повести Ивана Казанцева, бывшего красного партизана, удачливого старателя, властного бригадира приисковой артели, сложенного к концу жизни собственной жадностью, — эта драма и по своему смыслу и по литературной структуре повторяла как в зеркале традиционную и для старой русской и для ранней советской прозы драму народного самородка, ставшего жертвой собственных эгоистических инстинктов.

Повторяемость этой драмы в отечественной литературе, безусловно, тоже о многом свидетельствует. Сама по себе такая верность писателей разных эпох одной и той же схеме — интересный историко-литературный факт. Однако отсутствие собственного взгляда на невыдуманные события, отсутствие литературной новизны в их художественном преломлении привело к тому, что трагические события повести Велембовской «Дороже золота» воспринимались читателем как достаточно привычные, во всяком случае вовсе не соответственно фактам, изложенным в повести. Самобытный герой ее безоговорочно подводился автором под стандартную мораль осуждения собственничества и индивидуализма вне контекста конкретных исторических событий. Торжество традиционного штампа над свежестью непосредственных впечатлений исказило и сюжет повести. Читателю 80-х годов кажутся странными муки старика из-за невольной совершенной им кражи, притом что он легко забыл о страданиях собственного сына... Ах эти невинные литературные схемы! Казалось бы, что в них? Повернет писатель сюжет так или чуть-чуть этак. А не эти ли повороты формируют потихоньку и полегоньку, но отнюдь не прямо, не непосредственно массовую мораль, расхожую эстетику? Может показаться странной критика произведения чуть ли не двадцатилетней давности, отнюдь не самого слабого в творчестве писательницы, а лишь явно отмеченного печатью времени. Вероятно, намерение разоблачить достоинства и недостатки этой давней вещи и не пришло бы в голову, если бы не особый характер последних повестей и

рассказов Велембовской, столь непохожих на старую повесть. В современных сюжетах писательницы, куда менее эффектных, чем прежние, привлекает, помимо точного знания описываемой жизни, скромное, без деклараций, но твердое противостояние ее схемам и общим местам. На это надо было решиться.

Противостоять упрощенным схемам Велембовской тем более нелегко, что ведь схемы всегда отражают некую, но очень обобщенную правду, а писательница при своем вкусе к обыденным подробностям быта в то же время склонна писать как раз об очень общих процессах и явлениях, к которым причастно громадное число ее современников.

Во взгляде на течение их жизни у Велембовской постоянно ощутима некая социологическая основа, которую я бы назвала демократическим оптимизмом. Писательнице присуща уверенность в благе для простых людей каждого шага социального прогресса, даже если он выражался и в не очень крупных масштабах. Ее приметливый женский глаз не пропустит ни одной подробности на пути материального усовершенствования жизни, хотя бы лишь появления штапельного полотна в ассортименте изделий швейной фабрики, на которой работает самая обаятельная из скромных героинь Велембовской — Мариша Огонькова. Для трезвого взгляда Велембовской совершенно ясно, что по сравнению с избой, топившейся по-черному, да еще с земляным полом, одна из шести коек московского общежития есть не что иное, как прогресс, отдельная комната на двоих — большое достижение, а однокомнатная квартира с газом и ванной — достижение великое. Все герои последней книги Велембовской отмечают свой житейский путь этими или примерно этими простейшими вехами житейского благополучия, типичными для вчерашних выходцев из деревни и сегодняшнего рабочего или служилого люда столицы. И писательница смотрит на этот путь и на эти вехи теми же глазами, что и сами ее герои. И ничто не собьет ни автора, ни ее героев с этой позиции, никакая поэтическая тоска по прошлому не обернется туманной иллюзией возможного возврата к нему.

Поздно, опоздали. Да ведь надо же и представлять себе, что на обширных российских пространствах далеко не над каждым деревенским домом грустили и радовались деревянские кони над резным наличником. В полевой деревне и деревья на них не хватало, там и печи топили соломой. Герои Велембовской родом как раз из этих деревень.

К тому же при устойчивом социальном оптимизме Велембовская любит писать о людях обыкновенных, но хороших, с прочным нравственным стержнем. Таковы все главные героини ее последних произведений. Обличать прямое зло в литературном смысле проще, чем раскрывать диалектику обыденной жизни, когда никто ни в чем не виноват, у каждого своя очевидная правота, но в результате человеческая драма, как говорится, налицо. Произведения Велембовской как раз такого рода.

Правда, при склонности к изображению «хороших людей» в портретной галерее Велембовской почти непременно присутствует тип грубой и бойкой, хваткой и в конце концов несчастливой бабенки. Появление этого типа — нравственная издержка быстрой приспособляемости к индустриальному прогрессу, одна из его, так сказать, оборотных сторон, чутко уловленная Велембовской. Но всем этим шумным, светливым, непутевым Дуськам, Луськам, Лидкам твердо противостоит другой человеческий тип, будь то женщина или мужчина, — скромный и чистый человек, навеки верный своей неприметной, но прямой жизненной дороге.

И вот если бы писатель, органически наделенный столь помогающим ему в творчестве демократическим социальным оптимизмом и верой в «хороших людей», видел бы в достижении благ цивилизации и торжестве своих любимых героев идеал человеческого существования и здесь ставил бы как художник точку, то тогда его утверждение было бы и великой пошлостью и великой скукой. И там, где Велембовская намекает на возможность такой точки, у нее получается или назидательность, или сентиментальность. Вот почему так важны и обязывающи финалы ее повествований. Но там, где в концовках повестей Велембовской есть или сдержанная печаль, или скрытая улыбка, или немой вопрос, там побеждает правда и поэзия.

В старом рассказе писательницы «Женщины» три женских судьбы выстроены в сюжете по четкому принципу прямых противопоставлений: добродетельная, но аскетическая жизнь военной вдовы, старой фабричной работницы Екатерины Тимофеевны, несладкая жизнь ее подруги Дуськи Кузиной, соблазненной смолоду кажущейся легкостью городской жизни, и обещающая избежать двух этих крайностей судьба молодой Альки. Тезис, антитезис и синтез. Стройный, но не самый глубокий принцип художественной логики. И при массе примет точного знания жизни этих городских в первом поколении женщин финал повести

получился назидательным: избегай крайности аскетической добродетели и грубого эгоизма — и все образуется. Если бы так!

Совсем иное дело финал повести «Мариша Огонькова». История жизни, начатая с вынужденного ухода из деревни девочки 1929 года рождения, с испытаний подростка военной поры, с постепенного вкоренения девушки в московскую рабочую среду, обрывается на 60-х годах. Две сестры, две городские женщины — праведная Марина Парфеновна и несчастливая эгоистка, так и оставшаяся до зрелых лет просто Лидкой, стоят над давно покинутой материнской могилой на сельском кладбище. «Но не Мариша упала на могилу и заплакала, потому что на кладбище чаще оплакивают собственные ошибки и беды, чем память тех, кто спит тут мертвым сном».

Не потому печалится и читатель на этих конечных страницах повести «Мариша Огонькова», что славная ее героиня, заслужившая, казалось бы, все радости жизни, оказалась все-таки обделенной ими, не издав ни горячей взаимной любви, ни ощущений материнства. Эти мотивы ее в целом-то благополучной судьбы, согретой тихими привязанностями, — лишь внешнее выражение более глубокой и общей печали. Чем неприметней драма и чем меньше сам человек склонен считать ее драмой, тем охотней отзывается наша душа на искусство писателя ее отыскать и раскрыть как некую свою тоску о каждой единичной человеческой судьбе, столь богатой задатками и всегда ограниченной реализованными возможностями. Даже когда решение судьбы — результат свободного выбора человека. Но вместе с вечной печалью рождается в человеке и постоянно присущий ему порыв к надличному бытию. В чем бы он ни выражался — в бескорыстном поступке, в творчестве, в любви, в умении хотя бы на миг ощутить свое единство с природой и раствориться в ее красоте, — этот порыв, эта уверенность в своей возможности к нему приобщиться и придает поэзию любому, даже самому бедному человеческому существованию. Марина Парфеновна Огонькова над родной могилой вновь обретает счастье видеть чистое сельское небо и испытывает бескорыстное желание, чтобы хоть когда-нибудь извели это чувство городские дети ее непутевой сестры, пролившей искренние слезы сожаления о несбывшемся и несбыточном. Сложные ощущения вылились у Велембовской в концовке повести «Мариша Огонькова» в правдивые и лишённые какой-либо патетики слова, ни в чём не

противоречащие тихой героине и ее бесхитростной судьбе.

Скромная жизнь Мариши Огоньковой, однако, прежде всего духовно питается из мощного источника причастности к общенародному военному подвигу. Всего одну зиму четырнадцатилетняя девочка проработала в госпитале с талантливым врачом и строптивой красавицей Валентиной Михайловной Селивановой, чей выразительный портрет так удался писательнице. Но ярким светом служения чему-то высшему озарили этот год и это знакомство существование Мариши Огоньковой.

Повесть «Мариша Огонькова» построена по простейшему принципу хроники одной человеческой судьбы. А так как Марине Парфеновне и имя ее нравится, и жизнь свою — не очень богатую событиями, но без единого постыдного пятнышка — помнить и вспоминать в отличие от героя «Вида с балкона» хочется, то и автор повести, как бы просто следуя этой потребности своей героини, равно внимательна ко всем страницам ее судьбы. В том числе и к тем, когда малая судьба человека оказывается на фоне больших событий истории.

Когда я впервые читала «Вид с балкона», то прежде всего подумала: и как это Велембовская решилась написать о такой неприметной жизни, какой видится жизнь Ореста Ивановича, изобразить такой неяркий, хотя стойкий и определенный характер? что двигало ею в выборе этого характера и этой скромнейшей жизни? и что нам в ней раскрылось?

Дав своему малоприметному герою редкое имя Орест, И. Велембовская словно сказала: только и приметно что имя. В отношении автора к биографии Ореста Ивановича есть нечто парадоксальное, но данное как само собой разумеющееся: герой — участник двух войн (гражданской и Отечественной), солдат, командир, свидетель и вершитель большой истории. Но об этих страницах его жизни в повести упомянуто вскользь. Не потому ли, что в великих событиях эпохи он — как все, как миллионы? Его участие в них выносятся за скобку, как общий множитель. Конечно, именно они-то и сформировали подспудно характер героя — его упорство, терпение, аскетизм, житейскую непритязательность и умение радоваться простым благам жизни. Но свое, особенное, встающее перед ним как вопрос и загадка и потому главное начинается у Ореста Ивановича в личных неурядицах и радостях жизни.

В таком подходе к биографии и характеру человека — когда большая история толь-

ко угадывается по малым отсветам, а драма частной жизни рассматривается внимательно и объективно, словно под лупой исследователя, — оригинальность и повести И. Велембовской, и ее писательского взгляда. Такой угол зрения, выбранный писательницей, не позволяющей себе ни малейшего авторского комментария, ни единого лирического мотива, формирует (но не формулирует) определенную мысль: личность человек становится собственным выбором и поступками, самовольным усилием души, не иначе.

Впервые Орест Иванович делает определяющее его судьбу усилие, приняв на себя долг единоличного воспитания сына. Вот в этом странном отцовстве и проявляется опосредованный исторический опыт: что легло на плечи, то уж вынесу, не сброшу по дороге. Но нигде в этой повести писательница прямо не говорит о связи большой истории и малой драмы. Связь эта растворилась в правдивейших подробностях, а у автора выработалась достаточно и глубины и вкуса, чтобы не спрямлять того, что совсем-совсем не прямо.

С течением времени в том качестве мировосприятия Велембовской, которое условно назовем демократическим оптимизмом, все сильнее проявляется уверенность в необходимости для ее простых и славных героев приобщения к более развитой и изощренной культуре, причем не столько в форме простой осведомленности в ее фактах, что часто и выдается за культуру, сколько в форме самой насущной и труднодостижимой — в форме духовно насыщающих и возвышающих человеческих связей, дающих взаимное душевное обогащение. Что в конце концов оказывается в жизни ценнее этого?

У Мариши Огоньковой тяга к человеческим отношениям, более тонким и внутренне богатым, чем те, которые могут дать ее близкие, в том числе и преданный муж, проявляется в пожизненной ее прикованности к обитателям некой коммунальной квартиры на Большой Полянке. Там в гордом одиночестве живет бывший военврач Селиванов в окружении столь же одиноких интеллигентных и деликатных соседей. В точных портретах этих людей, в эпизодах многолетних посещений Мариши этой чужой и ставшей самой родной квартиры Велембовская сумела просто и четко зарисовать конкретные черты взаимосвязи разных культурных слоев современного города, процесс, составляющий примечательную психологическую черту его духовной истории.

Автор смотрит на такое особенное в культурно-психологическом смысле явление, как старая русская интеллигенция (старая не столько по возрасту, сколько по корням, прочно уходящим в историческую почву), удивленными глазами своих простодушных героев. Словно она сама все еще никак не привыкнет к жизни, главным принципом которой считается сведение до терпимого минимума материальных потребностей и до возможного максимума духовных. Мариша Огонькова, потянувшись однажды к людям таких принципов, не может оторваться от них, питаясь духовно этими своими привязанностями и ими же возбуждая ненасыщаемый духовный голод.

В «Марише Огоньковой» взгляд автора обращен больше в послевоенное наше прошлое. В «Виде с балкона» он приближен к настоящему и даже пытается прозреть некие приблизительные проекции будущего. Велембовская нарисовала точные, изящные и чуть ироничные силуэты новых родственников Ореста Ивановича, который через женитьбу сына волей-неволей прикасается к неким культурным ценностям и потребностям, доселе ему неизвестным: болезненная тоненькая женщина в обтрепанных джинсах, ее умniejsкая и тихонькая дочка и бабушка девочки, старая дама, особенно поразившая Ореста Ивановича своей утонченной хрупкостью. Улыбкой сочувствия и снисхождения сопровождает писатель — исподволь и почти незаметно — недоумение своих столь разных героев перед судьбой, так причудливо их соединившей.

Простодушный Орест Иванович открыто удивляется собственной тяге к той таинственной силе, которая стоит хотя бы за пристрастием новых родственников к виду на некий московский дворик с их ветхого балкона. Только хорошо взглядевши в изящно уводящую Зою Васильевну в антураже панельной новостройки, Орест Иванович как будто что-то понял в недоступной ему прежде эстетической природе вида с балкона в Померанцевом переулке.

Но с такой же улыбкой сочувствия и снисхождения смотрит трезвым и добрым взглядом Велембовская и на не защищенную ни от каких житейских ветров хрупкую духовность новых родственников Ореста Ивановича. Ведь и им, таким непреходливым и нравственно стойким, таким сдержанным и открытым нематериальным радостям жизни, — ведь и им нужна, ох как нужна какая-нибудь опора, хотя бы в лице такого прочного и земного Ореста Ива-

новича. И вот в этой почти неуловимой, заметной лишь в выборе контрастных по стилю слов и выражений улыбке писателя и над прозаической приземленностью «реального» человека, остающегося по удовлетворении насущных нужд перед духовной пустотой, и над воздушной неприспособленностью «поэтичных» интеллигентов,— в этой направленной в обе стороны необидной улыбке и правда и прелесть «Вида с балкона».

К сожалению, в концовке повести звучит нота излишней сентиментальности. Все дело лишь в последней и очень, казалось бы, для финала выразительной фразе. Повесть кончается словами девятилетней девочки, обращающейся к странному семейству, растерянному рождением двух близнецов: «Давайте лучше подумаем, как мы назовем наших маленьких детей». Милая фраза, особенно в устах ребенка, особенно с этим примиряющим и объединяющим словом «наших». Эта фраза подводит под сюжетом итоговую черту, ставит окончательную точку. Но мне вдруг вспомнилось, как в возрасте вот этой самой Алочки из «Вида с балкона» я проливала слезы умиления и облегчения над счастливым концом «Давида Копперфилда» и вдруг стала рассматривать в книге последнюю ее картинку. На иллюстрации какого-то старого английского художника изображалось, как женатый герой романа, обхватив голову руками и за-

жав уши, выбегает из комнаты, где бесчисленные мальчики и девочки переворачивают вверх тормашками его счастливый дом, чуть ли не уподобляясь в своих забавах персонажам известной картины Брейгеля «Детские игры». Этот юмористический аккорд художника превращал счастливую точку финала романа Диккенса в много-точие.

С пристрастием возвращаясь снова и снова к финалу повести «Вид с балкона», можно заметить, что при явной склонности автора к сюжетному умиротворению противовесом ему служит сама стилистика повести, в которой до самого конца грубоватые «метражные соображения» Ореста Ивановича и его мечты о раздельном санузле для внуков забавно и выразительно контрапунктируют, если можно так сказать, с пространственными воспоминаниями Зои Васильевны о неких давних близнецах, появление которых свойственно их роду. Этот словесный противовес намекает, что и в данном случае тоска может означать лишь начало нового многоточия.

Велембовская — писатель, честно ищущий выражения в слове и глубинных процессов современности и своего к ним отношения. Поэтому-то и есть смысл обращать внимание не только на удачу в ее книгах, но и на противоречия в развитии ее доброго таланта.

Е. СТАРИКОВА.



ПОВЕРКА СОВРЕМЕННОСТЬЮ

М. Б. Храпченко. Собрание сочинений в четырех томах. Т. 1. Николай Гоголь. Литературный путь, величие писателя. 1980. 711 стр. Т. 2. Лев Толстой, как художник. 1980. 598 стр. Т. 3. Творческая индивидуальность писателя и развитие литературы. 1981. 431 стр. Т. 4. Художественное творчество, действительность, человек. 1982. 479 стр. М. «Художественная литература».

В обществе развитого социализма перед литературой и искусством стоят новые — более высокие и масштабные — задачи, вытекающие из сформулированной в решениях последних съездов КПСС целостной концепции возрастания роли культурно-художественного потенциала в формировании и развитии у советских людей коммунистического мировоззрения, коммунистической нравственности, активной жизненной позиции. Еще раз об этом напоминает постановление ЦК КПСС «О творческих связях литературно-художественных журналов с практикой коммунистического строительства» (июль 1982 года). Постановление отмечает, что возросшая общественная активность, политическая зрелость и

профессиональное мастерство позволяют нашей литературе полнее проявлять себя в решении задач коммунистического строительства, в удовлетворении культурных запросов народа.

Курс партии на интенсификацию народного хозяйства, совершенствование производственных отношений, новые задачи развития советской экономики — все это открывает большой простор для художественного творчества, художественных поисков в сфере социально значимой проблематики, в утверждении достойных советского человека жизненных целей, последовательном развенчании аполитичности и потребительской психологии. Открываются широкие возможности для повышения воспитатель-

ного значения художественного слова, создания произведений высокого патриотического звучания, поэтизирующих служение родине, делу партии.

Отмечается в постановлении и то, что в поступательном движении советской многонациональной литературы и искусства, в воспитании народа огромную роль играли историко-литературные и литературно-критические работы, лучшие из них характеризуются мировоззренческой целеустремленностью, умением рассматривать общественные явления исторически, с четких классовых позиций, они определены и принципиальны в своих оценках. Такие работы ориентируют художников на решение главной цели — обогащение искусства актуальным жизненным содержанием, создание высокохудожественных произведений о современности.

Достигают историко-литературные и литературно-критические работы этой своей цели тогда, когда сами литературоведы и критики верно и точно выявляют магистральные, определяющие тенденции развития художественной культуры, когда они точны в своих исходных методологических принципах, когда открывают новые пути для обогащения современной художественной практики достижениями богатейшего опыта мировой и отечественной культуры.

И еще одним немаловажным обстоятельством обуславливаются при этом успех и действительность литературной теории. Речь идет о подлинно современной научной методологии.

Когда наша советская эстетическая и литературоведческая науки еще только складывались, основные категории, понятийный аппарат были взяты ими, как известно, из гегелевской эстетики. В этом был свой немалый резон, так как гегелевская эстетика не только вобрала в себя все ценное и значительное из предшествующих эстетических концепций и трудов, но и явилась, по существу, высшей точкой в развитии всей домарксовской науки о художественном творчестве. Опираясь на огромный художественный опыт от древнегреческого искусства до начала XIX века, гегелевская эстетика обозначила — хотя и на идеалистической основе — широчайшую панораму развития литературы и искусства, верно вскрыла причудливую диалектику различных сторон художественного творчества. Не случайно поэтому многие и многие категории и проблемы, рассмотренные в эстетике Гегеля (художественный образ, содержание и форма, классификация искусства на виды и жанры, прекрасное, трагическое, возвы-

шенное и т. д.), а прежде всего сам гегелевский диалектический подход к трактовке искусства были в свое время взяты на вооружение для того, чтобы на материалистической основе построить подлинно марксистскую теорию литературы и искусства.

Со времени издания гегелевских лекций по эстетике прошло более полутора столетий. Новый художественный опыт, изменившиеся соотношения между искусством и обществом, искусством и его «потребителями», историческое движение художественного творчества, с одной стороны, и возникновение и утверждение в общественных науках диалектико-материалистического метода — с другой, повлекли за собой и необходимость нового теоретического осмысления. Гегелевские трактовки не могут уже объяснить многие художественные явления. Скажем, трагедия или семейный роман давно не существуют в их традиционном, чистом виде; и, напротив, никогда раньше и представить было невозможно, чтобы в одном произведении переплетались фольклорное, легендарное начало с традиционно реалистическим, с научной фантастикой, как это происходит, например, в прозе Чингиза Айтматова. Неудивительно, что в наше время предпринимались и предпринимаются в эстетической и литературоведческой науке попытки найти новые подходы и новые решения. И здесь многое, если не все, зависит от соответствия предлагаемых новых идей реальному художественному процессу, от методологической четкости и определенности исходных позиций.

Обо всем этом много думаешь, перечитывая труды академика М. Б. Храпченко, вошедшие в недавно завершённое собрание сочинений.

Работы замечательного литературоведа неоднократно издавались. Книга «Творческая индивидуальность писателя и развитие литературы» удостоена Ленинской премии, книга «Художественное творчество, действительность, человек» — Государственной премии СССР. Не менее известны специалистам и широкому кругу читателей его работы о классиках русской литературы — Гоголе и Толстом. Но собранные впервые вместе, труды эти складываются в единую целостную концепцию, исключительно важную для понимания методологии и теории современного литературоведения и искусствознания. Практически все основные, кардинальные проблемы, с этим связанные, рассматриваются здесь в целостном виде, всесторонне (я бы сказал, комплексно, если бы это слово все к месту и не к месту не

применялось в наши дни). Включенные в собрание сочинений труды как бы подводят известные итоги многим литературоведческим и эстетическим дискуссиям последних десятилетий, сообщают то, что достигнуто нашей отечественной наукой о литературе и искусстве.

Хронологически сначала были написаны работы о гениях русской литературы Гоголе и Толстом, а затем труды теоретического плана. Автор шел от частного к общему, от анализа творчества отдельных художников к обобщающим теоретическим построениям. Но читателю, особенно молодому научному работнику, аспиранту, студенту-дипломнику, думается, следует начинать чтение с двух последних томов. Тогда и творчество великих писателей предстанет в более объемном виде, включенным в контекст всего мирового художественного развития.

Характернейшая примета нашего времени — пристальное внимание к проблемам методологии. Никогда еще, пожалуй, не выходило столько работ, рассматривающих методологические основания художественного творчества и — шире — художественной культуры. Как никогда часто исследователи обращаются к достижениям смежных научных дисциплин.

На Западе появилось изрядное число теорий, авторы которых пытаются дать объяснение природы художественного творчества и искусства в свете научно-технической революции, методы специальных дисциплин (кибернетики, теории информации, инженерной психологии, эргономики и т. п.) широко прикладываются к эстетике, теории культуры, искусствознанию, вытесняя при этом философский, социологический подходы. В трудах академика М. Б. Храпченко дается всесторонний обстоятельный критический анализ многих таких новых и новейших западных теорий. Советский ученый отмечает, что так называемая информационная эстетика, заменяющая все традиционные понятия математическими числами, видит в произведении искусства лишь особый вид информации, лишает искусство какой-либо связи с жизнью. Нет слов, художественный образ действительно содержит известную содержательную информацию, однако антинаучно отождествление информации и познания действительности средствами искусства во всем богатстве и многообразии объективного мира. Тем более неправомерно рассмотрение искусства в ряду с географическими картами, рекламой, дорожными знаками, принимаемыми как своеобразный код, система знаков...

Структурализм — одно из самых распространенных сегодня на Западе направлений в изучении искусства и литературы. В работах структуралистов, пишет М. Б. Храпченко, структура художественного произведения часто отождествляется с эстетическим знаком, а сама определенность эстетического знака неотделима от структурных особенностей творческих созданий. Отбрасывая понятия историзма, социологического и философского анализа, игнорируя творческую и жизненную биографию художника, структуралисты все сводят к изучению «элементарных частиц», выявлению того, как автономно существующие произведения соотносятся с «общей литературной структурой». Естественно, что от таких структурных связей невозможно перейти к раскрытию исторического значения и жизненного функционирования художественных явлений. Общей методологической ошибкой сторонников подобных «точных методов» является стремление придать своему направлению глобальный характер. С интересом следишь, как спокойно и аргументированно М. Б. Храпченко раскрывает все плюсы и минусы семиотического, моделирующего, системно-структурного и т. п. подходов, показывая конкретно, что здесь следует взять на вооружение, а что заслуживает безусловной критики. Важно, что ученый считает вполне возможной саму постановку проблемы знакомых явлений в отношении искусства, ибо существует не прямое отражение действительности в различных знаковых формах (аллегория, развернутая метафора, символ), что не противоречит принципам реализма, другим видам и формам художественного обобщения. И теория моделирования может быть с пользой применена в литературоведении, помогая построить научную модель процессов движения художественной культуры. Другое дело, когда само искусство пытаются представить как своеобразную модель жизни или все в художественном произведении рассматривают только в качестве средства и способов воплощения знаков, а структуру произведения представляют лишь как систему эстетических знаков, не более того. Нельзя, невозможно отодвинуть в сторону познавательные, воспитательные, социальные функции искусства, нельзя игнорировать идеологическое содержание художественного творчества, его социальную обусловленность и бытование! Призванные в качестве вспомогательных дисциплин полнее раскрыть содержание искусства, так называемые точные методы переступают; однако, границы своих возможностей, прис-

ваивают себе непосильные и несвойственные задачи. Слошь и рядом сторонники таких методов начинают схоластическое теоретизирование там, где идет речь о живом творческом процессе, о произведении искусства, по самой своей природе воплощающем многообразие восприятия мира человеком и богатство и многообразие отношений человека к действительности. Многообразие искусства никак не может быть представлено одной лишь, пусть и значительной своей функцией, как это, каждый в отдельности, и делают информационный, моделирующий, семиотический подходы.

Дав развернутую аргументированную критику таких «точных методов», М. Б. Храпченко показывает поистине неограниченные возможности в достижении новых научных результатов историко-генетического, историко-функционального методов, дающих всестороннюю панораму движения и бытования искусства. Принципиальное значение имеют новые идеи, столь полно обоснованные в трудах ученого. Здесь наглядно раскрывается вся важность типологического изучения искусства, когда выявляется не только самобытность художественных явлений, сходство их черт и связей как таковых, но и раскрываются те принципы и начала, которые позволяют говорить об известной эстетической общности, о принадлежности данного явления к определенному типу, роду. Типологическое изучение позволяет установить общность эстетических принципов, которые присущи тому или иному художественному направлению.

Автор говорит о различных уровнях типологических исследований: типология художественных направлений, типология жанров, стилей, типология художественных процессов, типология исторического развития искусства. Столь различные типологические уровни позволяют выявить виды, типы художественных процессов в различные исторические эпохи, у народов разных стран.

В трудах М. Б. Храпченко отчетливо показано и непреходящее значение историко-функционального изучения искусства. Вне выявления бытования художественных явлений, утверждает автор, наши знания о художественном процессе будут неполными, односторонними. Однако и историко-функциональное исследование в отрыве от историко-генетического может привести к субъективизму. Здесь исключительно важна органическая взаимосвязь того и другого подходов.

Плодотворность и огромные возможности синтеза историко-генетического и историко-

функционального подходов убедительно демонстрируются самим автором в работах, посвященных творчеству Гоголя и Толстого, в тех главах третьего тома, где говорится о современном звучании наследия Достоевского, Тургенева, Горького.

Крупно и всесторонне рассмотрена на страницах собрания сочинений проблема соотношения творческой индивидуальности художника и развития искусства. Это позволило автору проанализировать все уровни художественного творчества — идейность, мировоззрение, творческую самобытность, стиль, — поднять такую тему, как значение эпохи в развитии художественной культуры, прогрессивное поступательное движение литературы и искусства.

Творческая индивидуальность художника выступает как цементирующее начало всех компонентов творчества. Это не умаляет, разумеется, роли социально-политических, мировоззренческих, идеологических факторов, а лишь подчеркивает истинное значение личностного начала, без которого нет ни настоящего искусства, ни подлинной литературы.

Работы М. Б. Храпченко, в центре которых находится индивидуальность художника в ее соотношении с развитием общества (они в основном сосредоточены в третьем томе), надежно подкреплены анализом творческой индивидуальности, включенной в ту систему координат, которую красноречиво очерчивает название широко известной книги ученого — «Художественное творчество, действительность, человек». Это речь о том, как движение социальной действительности обуславливает развитие искусства, расширяет художественную палитру, средства обобщения. Как функционирует художественное создание в той или иной конкретно-исторической ситуации. Как, наконец, оно воздействует на человека и его отношение к миру.

В нынешних условиях крайнего обострения идеологической борьбы как никогда важна идеологическая действенность и социальная эффективность искусства. Важна критика тех западных концепций, что стремятся ограничить художественное творчество от решения мировоззренческих проблем. Но искусство, пишет М. Б. Храпченко, лишённое идеологической точки зрения, четкого выражения мировоззренческих позиций, бесконечно далеко от реальных проблем времени, это есть не что иное, как бессодержательное формотворчество. «Позиция художника не перестает быть важной и необходимой в той мере, в какой

он затрагивает проблемы, волнующие людей. Мнение, что художник может достигнуть полной объективности в подходе к явлениям жизни, отказавшись от идейных воззрений, какими бы они ни были, представляет собой заблуждение, уже неоднократно встречавшееся в истории искусства. Иное дело — какие это воззрения. Консервативные, реакционные взгляды, как это подтверждает опыт мирового искусства, мешают художнику понять мир, увидеть его истинный облик. И в то же время передовые идеи открывают ему динамику жизни, ее определяющие начала».

Когда искусство вдохновляется передовыми прогрессивными идеями, когда оно вооружает читателя, зрителя, слушателя идеями гуманизма, добра и социальной справедливости, такое искусство достигает подлинных высот, живет долгие столетия, помогая людям в усовершенствовании мира. Критика эксплуататорского строя, вера в историческую миссию народа, патриотизм предопределяли создание Гоголем и Толстым произведений, ставших вершинными в художественном развитии человечества. Вместе с тем, как убедительно показывает исследователь, идеи гоголевских «Выбранных мест из переписки с друзьями», толстовская ориентация на патриархальную общину, его желание вместо попов «по казенной должности» видеть попов «по нравственному убеждению» — такие моменты в творчестве великих художников становились источником идейных кризисов самих писателей, мешали им до конца прозреть подлинные причины народных бедствий, истинные пути совершенствования общественных отношений.

Во всех работах, составивших собрание сочинений, автор обращается прежде всего к реализму как самому плодотворному и самому прогрессивному творческому направлению. Реалистический творческий метод (и это доказано всей историей мировой художественной культуры) имеет неоспоримые преимущества перед всеми другими методами буквально во всех отношениях: в целостности отображения людей во всем многообразии и богатстве их связей с миром; в глубине воссоздания внутреннего мира, чувств, стремлений; в выявлении действенной роли отдельных элементов художественной структуры, как и в их взаимосвязях внутри системы художественного создания; наконец, самое главное — в способности подвергать творческому анализу различные аспекты жизни. Реалистическое искусство прошлого и настоящего, показывает автор, отличают верность в изо-

бражении действительности в ее существенных проявлениях, глубина обобщения, высокое художественное совершенство, мастерство. Этим и определяется как активность искусства, так и его роль и значение в жизни общества и каждого человека.

Представляется принципиально важным обращение ученого к подлинным завоеваниям мирового реалистического искусства, коренное качество которого состоит в целенаправленном обобщении явлений действительности, раскрытии типического, общезначимого в жизни человека на основе изображения его меняющихся связей и отношений с действительностью. Реализму дано обобщать во многих формах (порой в существенно отличных друг от друга) характерные черты действительности, внутреннего мира человека, его динамичные связи с окружающим миром. «Реализм, — пишет М. Б. Храпченко, — всегда был и остается пытливым исследованием действительности и человека, исследованием, раскрывающим глубинные процессы жизни, сложность внутреннего мира людей. И именно потому, что выдающиеся художники-реалисты в полной мере достигают этого, их произведения несут в себе ту творческую энергию, которая заражает многие поколения». На примерах творчества Сервантеса, Бальзака, Стендаля, Гёте, Флобера, Радищева, Пушкина, Шолохова, Горького автор показывает богатство творческих индивидуальных многообразий, многообразия путей и способов художественного воссоздания действительности.

Не менее важны и существенны для нашей теории соображения автора, касающиеся отдельных аспектов теории реализма. Так, к примеру, некоторые исследователи представляют воссоздание характера в реалистическом искусстве как воплощение наиболее типического для определенной общественной среды, ибо характер всегда-де обусловлен обстоятельствами, в пределах которых он живет и действует. Опираясь на положение «Немецкой идеологии» о том, что «обстоятельства в такой же мере творят людей, в какой люди творят обстоятельства», и приводя в подтверждение многочисленные примеры из произведений Шекспира, Пушкина, Гоголя, Толстого, М. Б. Храпченко показывает, что художественный образ соотносится в реалистическом искусстве не только со средой, которая является как бы его первой родиной, но и «со многими другими социальными явлениями, нередко находящимися весьма далеко от этой прародины как в пространстве, так и во времени. Возникновение характера в

той или иной социально-бытовой среде ни: как не означает постоянного его «прикрепления» к ней».

Далее. Автор показывает, что, например, воссоздание типических характеров вовсе не является единственным способом обобщения явлений и процессов действительности. Обобщение может выступать и через типизацию общих свойств социальной жизни, когда в фокусе художественного внимания оказывается не судьба отдельного героя, а раскрытие характерных черт, присущих общественной действительности, рассматриваемой в целом, свойств определенного общественного строя. Такой способ обобщения характерен для произведений Радищева, Салтыкова-Щедрина.

Не секрет, что в современных работах даже весьма серьезных авторов можно встретить произвольное перенесение характерных особенностей одной национальной культуры и индивидуального стиля одного художника на выявление особенностей других культур и творчества других художников. Достаточно в этом отношении указать на ставшее ныне модным перенесение идей М. Бахтина о «смеховой культуре», «карнавальном начале», диалогичности, полифонизме, скажем, на произведения Гоголя, хотя особенности исторического развития русской национальной культуры вряд ли правомерно связывать с тем, что было характерным и специфичным, скажем, для итальянской ренессансной культуры. В работах М. Б. Храпченко убедительно показана органическая, коренная связь творческого метода и стиля Гоголя и Толстого с русской национальной художественной традицией, как и их самобытное, индивидуально неповторимое в искусстве эпического повествования, своеобразие сатиры, мастерстве психологического анализа и т. д.

Особо важно в рассматриваемых трудах обоснование концепции историко-функционального изучения художественных явлений. Автор показывает, что произведения литературы и искусства обладают особенностью не только заключать в себе черты времени, которому обязаны своим возникновением, но и возможность вступать в живое соприкосновение с последующими эпохами. Без этого невозможно исследование таких аспектов искусства, как проблема традиции и новаторства, преемственности, жизнь художественного создания в веках. На огромном фактическом материале, примерах из творческого наследия Сервантеса, Гоголя, Чехова, Горького показы-

вается, каким образом в различные исторические эпохи меняются трактовки произведений, выявляются их различные стороны, обусловленные особенностями включения произведений в духовную жизнь отдельных периодов времени, разных стран. При этом, однако, автор подчеркивает, что содержание художественных созданий, как бы изменчиво оно ни представлялось читателям и зрителям различных исторических эпох, не привносится извне, а заключается в них самих. Об этом полезно помнить не только исследователям литературы, весьма произвольно трактующим в наши дни, к примеру, наследие Гоголя, Гончарова, Островского, но и кино- и театральным режиссерам, использующим подчас содержание классических произведений для поверхностных аналогий с современными событиями, для всякого рода аллюзий, создания такой образной идейной системы спектакля, фильма, которая представляется режиссеру ультрасовременной, а на деле находится в глубоком противоречии со всем строем, творческой концепцией, внутренней логикой классического произведения.

Основной материал, анализируемый в собрании сочинений М. Б. Храпченко,— произведения русской классической литературы XIX века, основные теоретические положения касаются проблем литературоведения. Однако принципиальное значение этого издания состоит в том, что сформулированные в нем идеи, концепции, принципы анализа художественного явления выходят далеко за рамки русской классической литературы и литературоведения. Они имеют общеметодологическое значение для всего искусствознания, для нашей эстетической науки, для анализа широкого круга вопросов развития всей многонациональной советской художественной культуры.

За последние годы на страницах периодических изданий появились новые статьи М. Б. Храпченко, посвященные таким важным проблемам художественного творчества, как природа художественного образа, эстетические и художественные ценности, взаимообогащение социалистических культур, воссоздание действительности «через призму восприятия героя». Нетрудно предположить, что в ближайшее время нас ожидает встреча с новой книгой, которая существенно дополнит четырехтомное собрание сочинений.

Ю. А. ЛУКИН,
доктор философских наук.

Политика и наука

ПОИСК ГЕРОЯ

Анатолий Злобин. *Встреча, которая не кончается*. Очерки. М. «Советский писатель». 1981. 352 стр.

КамАЗ открывался не всем и не сразу. Особенно в первые дни рождения, когда первозданность стройки легко было принять за хаос, потрясавший немислимой масштабностью. Легко ли увидеть на этих неохватных глазом просторах вздыбленной земли человека, по воле которого возникала здесь жизнь. Легко ли не потерять его след меж бесчисленных глубинных котлованов, слышать его голос за оглушительным лязгом и скрежетом металла. Подвластно ли журналисту, вооруженному, как и десять и тридцать лет назад, лишь блокнотом и ручкой, найти высотку, откуда можно разом охватить все наиглавнейшие проблемы стройки, шагнувшей в XXI век, глубже распознать человеческие судьбы?

Ну, разумеется, невозможно в столь невероятных трудных обстоятельствах обойтись без чудес, и они, как и следовало ожидать, незамедлительно возникают, свидетельствуя, что очевидное и невероятное шагают по жизни рядом. Так появляется на страницах книги А. Злобина некий магический кристалл, помогающий автору подобно волшебному заклинанию все увидеть, все услышать и заставить сезам открыться.

Мне очень понравился фантастический аппаратик, ласково названный А. Злобиным камазенком, напоминающий, несмотря на свое явно НТРовское происхождение, своих сказочных прародителей. Вооружившись им, писатель смог проникнуть в тайное тайных стройки, проследить с первого колышка до первой машины, сошедшей с конвейера, как зачинался и рос гигант на Каме, точнее — как строили здесь, в Набережных Челнах, свою жизнь камазовцы.

Но камазенки возник не сразу, а лишь после того как, исходив десятки километров, наполнив не один блокнот цифрами, беседами, наблюдениями, корреспондент А. Злобин, отправленный московским литературным журналом в командировку за очерком в неведомые пока еще читателям Набережные Челны, близкий к отчаянию, признается: «Чем больше путешествую по стройке, тем меньше ее понимаю. Впечатления никак не складываются в единое полотно. Встречи и добытые факты существуют как бы разрозненно...»

Думаю, большинство коллег писателя, побывавших в те дни на КамАЗе, подписались

бы под этими словами, признав, что раскинувшаяся на широком раздолье стройка трудна не только для строителей, ее одолевших, но и для пишущих о ней. Именно в те мгновения, когда «я горевал,— пишет Злобин,— не смея даже подумать о том, что в ближайшем будущем со мной произойдут самые невероятные приключения», и возник всевидящий камазенки.

Что ж, если читатель принял предложенные ему писателем правила игры, можно пускаться в длительное, растянувшееся на годы путешествие по неведомой вначале, могучей стране Камазии, как назовет эту землю Злобин. Путешествие, в котором интересные встречи, серьезные раздумья, об увиденном перемежаются шуткой, смешными придумками о добром друге камазенки — некоем банке памяти и всемогущем связном.

Передо мной рядом с книгой А. Злобина лежат три томика — три выпуска, объединивших все, что печаталось в «Новом мире» о КамАЗе за годы его строительства. И хотя по неписаным этическим канонам не положено вводить в рецензию публикации, увидевшие свет на страницах того же журнала, в данном случае нельзя не нарушить это правило. Читая книгу «Встреча, которая не кончается», обязательно обратись мыслью к тому, что написано уже о КамАЗе. А о гиганте на Каме, по существу, создана летопись, в которой главы ее (газетные и журнальные очерки, повести) взаимосвязаны, дополняют и развивают главную тему — о человеке, построившем КамАЗ.

Третий выпуск открывается письмом секретаря Набережнечелнинского горкома КПСС Р. Беляева редколлегии журнала «Новый мир» в связи с замечательной трудовой победой — вводом в эксплуатацию первой очереди комплекса. С благодарностью говорит секретарь горкома об участии писателей, журналистов в создании КамАЗа, благодаря которым «о делах строителей, монтажников, автозаводцев, всего коллектива участников Всесоюзной ударной стройки узнали миллионы людей».

Справедливо, что на трудовом празднике рождения новой машины добрым словом помянут и нелегкий труд журналистов, многие из которых заслуженно носят на груди почетную награду «Ударник строительства КамАЗа». Среди тех, кто создавал летопись

КамАЗа, мы встречаем имена и молодых литераторов и ветеранов журналистики, которым пришлось не по архивным документам, а, что называется, визуально проследить пройденный страной путь от Кузнецкостроя, поднимавшегося лопатой и тачкой, до КамАЗа — необъятного индустриального эксперимента, нигде никогда еще не предпринимавшегося. Резонно, что и те и другие в своих очерках о КамАЗе неизменно обращаются мыслью к его прародителям, без которых немислим был бы автомобильный на Каме. Речь идет не о прямых родительских связях — о ЗИЛе или ВАЗе. О родне дальней: Магнитке, Днепрогэсе, Кузнецкострое... В свете минувшего глубже познается настоящее, одни глубокие корни питают это древо жизни. Нерушима связь времен, связь меж историческими этапами индустриализации страны. Все в ней взаимосвязано.

Точно и увлеченно об этом у Злобина: «Каждое новое поколение с упоением и пафосом находит себе новые центростремительные «точки» для приложения своей энергии. После войны ими стали великие стройки. Затем целина... Потом нити центростремительных маршрутов снова свились в единый жгут: направление на Братск. Шли годы — и загорались новые звезды: Дивногорск, Абакан—Тайшет, столица алмазного края Мирный, Усть-Илимская, а за нею и Саянская ГЭС, тюменская нефть, автозавод в Тольятти».

К тем же истокам — далеким и близким годам — нередко обращаются и авторы новомировской летописи о КамАЗе. Одна и та же мысль занимает писателей, изучающих характер современного героя: присутствует ли среди побудительных причин, приведших молодых строителей на КамАЗ, романтика тех далеких времен. Ответом на этот вопрос мог бы служить лозунг, растянутый над вагончиками-общешитиями: «Отцы Магнитку строили, а мы — КамАЗ».

Разговор о стройках, с которых начиналась советская индустрия, отдаленных от КамАЗа десятилетиями, об атмосфере тех лет, о трудовом героизме отцов возникал неизбежно. И чем больше накапливалось в блокнотах записей бесед с молодыми строителями, тем убежденнее звучал возглас писателя: как они похожи на тех далеких от нас комсомольцев Магнитки, ударников первых пятилеток!

Похожи? Чем? Ведь сами стройки претерпели столь ошеломительные перемены благодаря усилиям последующих после Магнитки поколений, что впору говорить не о схожести отцов и детей, а о непохожести их. Порой на беглый взгляд так оно и представ-

ляется. Феномен, именуемый научно-технической революцией, не мог пройти бесследно для поколений, его породивших, не внеся своих примет в их этические, философские взгляды.

Но какие же перемены внесло время в их жизнь, в их психику, в отношение к миру окружающему, к труду? Сумели ли они сохранить нетленным и бережно пронести через десятилетия то, что составляло сам воздух тех далеких лет, когда поднимались цехи первенцев пятилетки? Нет, никто из создателей летописи КамАЗа не проводит прямых аналогий, не пытается своих собеседников дотошными вопросами — близка ли им возвышенная романтика строителей Магнитки, безоглядный энтузиазм и бескорыстие создателей Комсомольска-на-Амуре? Кто же из нынешних парней, любящих напускать на себя этакую чешковскую сверхделовитость, чуждую «всяким там сантиментам», сознается, что те же потоки, когда-то несшие молодежь 30-х годов на стройки первых лет индустрии, влекут и нынешнее поколение на крупнейшие строительные площадки!

Так каков же он — новый герой новой стройки одиннадцатой пятилетки? Что приобрел он, чем обогатил духовное наследие отцов, что утратил из него? Этот наиважнейший вопрос — во всех интервью, очерках, репортажах, повестях.

Летопись КамАЗа по сути и есть поиск героя. О том же и книга А. Злобина «Встреча, которая не кончается». Подкупает в этом писательском исследовании предельная искренность, отсутствие какой-либо заданности. Он не отворачивается, не захлопывает блокнот, сталкиваясь с явлениями явно негативными, не спешит с готовыми выводами там, где его одолевают сомнения. Чаще, да, пожалуй, всегда, он идет по КамАЗу рука об руку с читателем, вовлекая его в свои заботы, раздумья.

Поиск героя немислим вне дела, которому он служит. Но чтобы понять всю грандиозность проблем КамАЗа, надо понять самую дерзновенную идею его технического замысла. Каждая поездка на стройку становится для корреспондента и временем ученичества — упорного, неотступного. Цикл за циклом по годам, а они условно обозначались как год Земли и Бетона, год Сваи, год Колонны, год Крыши, год Монтажного Гула и, наконец, 1976-й — пусконаладка, год Первого Колеса. Без усвоения этой науки не открыл бы своих тайн КамАЗ.

Невозможно в рецензии воспроизвести сам интересный процесс вхождения автора в круг наисложнейших технических проблем стройки — ее находок и потерь, удач и

ошибок,— чтобы понять, как невысказано труден был перевод в натуру того, что столь величественно и четко рисовалось в чертежах. Приведу лишь один отрывок из книги, весомо и зримо рисующий этот процесс:

«Строители спешат претворить чертеж в реальность, натура желает освободиться от зависимости чертежа. На этом стыке и возникают главные производственные (они же и нравственные) конфликты...

Чертеж диктует натуре свою волю. Натура сопротивляется, не желая становиться увеличенной копией чертежа. Чертеж — светлое будущее природы. Натура — безвозвратное прошлое чертежа. В идеале они должны слиться в единую гармонию. Однако натура не только стремится подняться до уровня чертежа, она пытается и сломить свое начало, исказить чертеж... Чертеж чист и безмятежен. Натура залпана грязью, мусором. Дожди выполаскивают природу, ее обдувают пыльные бури, метели. Горы отходов, мусора, шлама размывает реальность... Натура не хочет считаться с возможностями чертежа. Тогда начинаются, как говорят, правки проекта: бумагу легче подправить, чем природу...

Надо быть сверхинженером, обладать сверхфантазией, чтобы среди вывороченной, разъятой на тысячи фрагментов природы увидеть гармонию и строгость будущих линий».

И эта гармония возникала на глазах писателей — летописцев КамАЗа. Возникла в облике нового города, заводов.

Человек, впервые попавший в Набережные Челны, будет ошеломлен, писал Сергей Наровчатов после своей поездки на Каму, — перед ним встает город XXI века.

Даже самые сдержанные в выражении своих чувств литераторы, полавшие на перенец КамАЗа — РИЗ, буквально немели от восторга, сетуя на себя за слишком расточительный расход превосходных эпитетов до встречи с этим чудо-заводом. О нем написано много очерков, воспет он в стихах. Кстати, КамАЗ породил не только более современные методы управления, поднял на новый уровень мастерство всех строительных профессий — за годы стройки здесь возросло племя поэтов. Один из новоиришских сборников целиком отведен поэзии. Достаточно ознакомиться с ним, чтобы понять, какой путь прошли его авторы не только в своем профессиональном мастерстве строителей, но и как поэты.

За РИЗом один за другим вступали в строй другие заводы, поражая и выдавая виды ветеранов журналистики слитностью красоты и совершеннейшей техники. С особой наглядностью выдвигалась здесь подчиненность

всего сущего интересам и требованиям человека. Об этом любопытный разговор у А. Злобина с архитектором А. Гурджи. Беседа проходит в прессово-рамном корпусе, внутренняя структура которого напоминала собеседникам, как это ни покажется странным, Парфенон. Сопоставление с одним из самых гармоничных творений древности возникло лишь из одного посыла: если величие храма подавляло своими размерами человека, хотя архитекторы учитывали все пропорции, то как будет чувствовать себя человек в гигантских корпусах, размеры которых продиктованы в буквальном смысле железной необходимостью?

— Выход один, — резюмирует Гурджи, — ввести внутрь корпусов иную, более благоприятную биологическую среду. Ведь тут человек проводит свое основное время, тут совершается творческий акт его жизни.

Далее рассказ об эстетических оазисах, зонах отдыха, о том, как искусство — монументальная живопись, панно, мозаика — вступает в единоборство с индустриальной гигантоманией, создавая благоприятный для человека микроклимат и гармонию внутренней структуры.

Совершеннейшая технология плюс забота об эстетическом микроклимате. Главнейшие ли это приметы, отличающие КамАЗ от его прародителей?

Новую главу — встречу третью — Злобин называет «В поисках героя». Собственно, этот поиск он ведет с первой же встречи, ради этого зачастил на КамАЗ, обзавелся камазенком, ставшим для него лоцманом в безбрежном и бурном камазовском океане. «Снова я утопаю в технологических проблемах, сваях и балках, трубах и патрубках, — жалуется он. — Вокруг меня то и дело затвердевает бетон, режут трактора и структуры, гудят телефонные провода. А как же проблемы нравственные? Ведь новая нравственность рождается — во всяком случае, должна рождаться — именно в этой сфере производственных отношений: организация управления — машина — человек. Именно человек есть исходная точка всего. И он же конечная цель».

Что ж, напомнить об этом — даже столь открыто, прямолинейно — не лишне: не подсчитать ведь, сколько жизней загублено в так называемых производственных романах, пьесах, где человек неизменно вытеснялся трубами и патрубками.

Автор ждет встречи со своим героем Сергеем, с которым познакомился в первый приезд на КамАЗ. И хотя именно тогда Сергей, опережая вопросы журналиста (видно, встречался с ними не раз), деловито сооб-

щил ему: «Приехал за квартирой», писатель не очень-то поверил подчеркнутой однозначности причины, позвавшей Сергея в путь, заподозрив в нем неутомимого романтика и искателя. Именно с ним и разгорались позже у писателя наиболее жаркие споры — о счастье и романтике, о жизни и работе, искусстве и литературе.

Напрасно было бы искать в книге Злобина точные, исчерпывающие ответы на многие вопросы, возникавшие у него в процессе горячих обсуждений в общежитиях и на шумных летучках. Не пытался он уложить в рамки жесткой формулы свое представление о характере камазовского героя.

Однако это не привело к размытости портрета. Черты его проступают не вдруг, не сразу, а постепенно. И по мере знакомства с людьми — от рабочего до руководителей партийных и административных — возникает некий групповой портрет, в котором, может быть, тщательнее других прописан сварщик Сергей, сфокусировавший в себе чуть больше типичного и характерного и чуть больше личного, индивидуального — с крутыми поворотами в его судьбе, трагическими событиями и стремительным духовным ростом.

За плечами у Сергея Абакан — Тайшет. Были и палатки, и тяжкий неустроенный быт. Не потому ли ведет он на Злобина вовсе не спровоцированное им столь энергичное наступление:

— Какая романтика в нашей глине? Для романтики нужны тайга, горы. Я свою отбыл на Абакан — Тайшете. И потом: разве романтика и лишения — это одно и то же? Я мерзну в палатке — следовательно, я уже романтик, так, по-вашему? А я думаю, такая романтика уже отжила свой век. На голом энтузиазме теперь далеко не уедешь. В Челны, честно вам скажу, девяносто девять процентов строителей приехали из-за того, что через два года каждому обещана отдельная квартира...

На этот раз спора не возникло. Корреспондент попытался понять, что стоит за этим утверждением. Память вернула его к неблизкой дороге на Алтай, на целину. Вот так же, пытаясь выяснить, что позвало его спутников в дорогу, он обнаружил: у каждого своя конкретная причина, бытовая или, наоборот, возвышенная, начиная от несчастливой любви и кончая ссорой с мастером. И она, эта причина, являлась вроде бы решающей. Причины были различными, заключает автор. Но цель оказалась общей. Общим был и порыв. Именно этот мощный порыв, позволивший за немислимо краткое время поднять миллионы гектаров земли,

остался в памяти целинников как самое яркое в жизни, предав забвению и несчастную любовь, и ссору с мастером, и пустые честолюбивые помыслы.

И тем не менее каждая новая встреча убеждает писателя, что тема романтики труда отнюдь не канула в Лету, а в спорах возникает чаще других. Поминают же ее нередко со знаком минус: одни с усмешкой (тает-де романтика), другие убеждены, что «КамАЗ преодолел пик романтизма», скептики полагают, что «романтика трансформируется, подлаживаясь к обстоятельствам». На проверку же выходило, как убеждался автор, что между теоретическими посылами и поступками тех, кто отбрасывал само понятие романтики как нечто архаичное, существовал наиочевиднейший разрыв: все то высокое и доброе, что извечно вкладывалось в это понятие, присутствовало и в помыслах и в деяниях людей, окружавших писателя на КамАЗе.

Размышления об этом парадоксе приводят Злобина к проблеме, прямо связанной с предыдущей. Одна из собеседниц писателя формулирует ее так: перегрузки и их преодоление; перегрузки возникают из трудностей, трудности же порождены сроками.

Но так ли уж неизбежны, так ли уж необходимы перегрузки? Вопрос очень и очень не простой. На обсуждение его писатель с помощью все того же безотказного камазенка созывает форум.

Сколько людей, столько мнений. Остановлюсь на одном утверждении: «Перегрузки возникают в результате бесхозяйственности». Вот так — вне времени и пространства! Мне приходилось и ранее слышать подобное. Вспомнился разговор с юным коллегой, яростно и возмущенно громившим газетчиков 30-х годов, писавших о трудовом подвиге строителей Кузнецкстроя:

— Там, где следовало бить по расхлябанности и безрукости, они — вздох: ах, герои, ах, романтики! Работают-де на морозе без рукавиц, руки к металлу пристывают...

Проблема перегрузок вызвала разные суждения, часто противоречивые, много высказано разумного, немало последнего. Емко и убедительно прозвучали в этом хоре раздумья автора: «Когда-то было сказано, что мы отстали от передовых капиталистических стран на 50—100 лет. И мы должны пробежать это расстояние в несколько лет, иначе нас сомнут. И мы побежали вперед: вспарывали землю, взметывали в небо трубы и дымоны, тянули дороги, нити каналов, линии сверхнапряжения. Скорей, скорей, иначе нас сомнут. И нас не смяли. Мы сумели выстоять и победить в самой беспощадной войне».

ной схватке, какую знала история человечества. Победа пришла вместе с развалинами — и снова надо было спешить: поднимать порушенные города, протягивать дороги, нефтепроводы, ставить гидростанции. И снова дыбилась земля, дымился на морозе бетон, ракеты уходили в небо, разливались моря, алмазы вспыхивали в глубинах кимберлита, скорей, скорей, догнать и обогнать. И мы, стиснув зубы, продолжали идти вперед, мы так спешили, что уже казалось: пришла пора передохнуть. Но тут выяснилось, что и другие народы, несмотря на войны, победы, поражения, бежали вперед не менее резво, и потому мы не имеем права на передышку. Минувшие победы отцов не могут дать успокоения сыновьям. И каждое поколение нуждается в своей Магнитке, так записано в лозунге. Более того, сыновьям кажется, что самое главное должны сделать они: завоевать космос и океан, поставить на земле небывалые города и заводы. Возможно, так оно и есть. Только вот на передышку нет ни времени, ни права. И сыновья готовы принять свою ношу». И совсем неожиданным вопросом заключает он свои размышления: «Ну а все-таки? Необходимы ли при этом перегрузки?»

Обсуждение продолжается. Автор дает возможность своим героям высказать все, что они думают, не тая сомнений, горьких обид, срывов в их неустанном поиске нравственной высоты, с которой видно, как жить.

Сам процесс самопознания героя с особой силой обнажается в монологах Сергея, открывая его трудный и сложный путь к высокой идейной убежденности.

...Вопросы, вопросы, вопросы. Они возникают во множестве, как только формула «управление — машина — человек» обретает жизненную основу, переводится на язык практики. Злобин не пытается отвечать на них, призывая читателя размышлять, самому искать ответы. Это чрезвычайно разгневало некоего профессора, вызванного из небытия озорным камазенком, не пожелавшим довольствоваться лишь ролью фиксирующего устройства. Профессор грозно:

— Почему вы уходите от ответов?

Злобин убежденно:

— Постановка вопроса важна не менее ответа.

В диалоге, занимающем главу, позиция оппонента не так уж слаба, а доводы не столь уж беспочвенны. Достаточно весом и аргумент автора.

— Я пишу не научный трактат, — говорит он, — где каждый параграф требует своей посылки и своего вывода, я пишу художественное исследование КамАЗа... Для меня посылка важнее вывода.

Ой ли! Так почему же, закрывая книгу, читатель вовсе не испытывает чувства растерянности, оставшись без автора-поводыря? «Встреча, которая не кончается» свела нас с интересными людьми, позволив пройти с ними долгий нелегкий путь и понять главное: путь этот не был простым повторением пройденного отцами, а новой высшей ступенью в вечном движении к нравственному совершенствованию.

Валентина ЕЛИСЕВА.



ГОРОД-ЛЕГЕНДА

Киев революционный, боевой, трудовой. Киев.
«Вища школа». 1982. 320 стр.

Слово о Киеве. Стихи и рассказы украинских писателей. Перевод с украинского.
М. «Детская литература». 1982. 191 стр.

Киев вчера, сегодня, завтра. Фотоальбом в двух томах. Т. 1. 152 стр. Т. 2.
244 стр. Киев. «Мистецтво». 1982.

К 1500-летнему юбилею Киева вышло в свет немало научно-исследовательских, художественных, художественно-публицистических книг и фотоальбомов. Мы рассматриваем в этой рецензии только три книги, но и они могут открыть перед читателем богатейшую историю города, которому, по словам Павла Загребельного, «суждена была доля одновременно и трагическая и величаво-прекрасная».

Фотографией нового киевского памятни-

ка, созданного по мотивам Древней легенды, открывается альбом «Киев вчера, сегодня, завтра». Мы будто видим, как из утреннего тумана, простелившегося над Днепром, выплывает ладья, а в ней три брата Кий, Щек и Хорив и сестра их Лыбедь. Еще не причалили они к берегу, еще только любуются красотой покрытых лесами холмов...

Рассказ об этих легендарных основателях города, как бы продолжает Старик, один из

героев драматической поэмы Наталии Забилы «Трояновы дети», отрывок из которой помещен в книге «Слово о Киеве»:

..Но, верится, теперь я знаю точно:
Они идут наперекор волне
И будут здесь,

и здесь осядут прочно —
Так сердце говорит сегодня мне.
И будет город здесь, подобный чуду,
И будет отражать его река,
И славен станет этот край повсюду —
Весь мир узнает

эти берега!..

В книге «Слово о Киеве» цитируется и литературный первоисточник легенды — «Повесть временных лет»: «Сидел Кий на горе, где ныне подъем Боричев, а Щек сидел на горе, которая ныне зовется Щеквица, а Хорив — на третьей горе, которая прозвалась по нему Хоривицей. И построили город во имя старшего своего брата, и назвали его Киевом». Возможно, все это действительно лишь легенда, возможно — предание, сохранившее народную память о реальных исторических лицах; как бы то ни было, сегодня историю возникновения Киева часто начинают рассказывать именно так — с героев летописи Нестора...

В IX веке Киев становится столицей древнерусского государства — Киевской Руси, одним из богатейших и красивейших городов Европы. В 1037 году, повествует летописец, «заложи Ярослав город (кремль.— С. М.), великий Киев, у него же града суть Златая врата, заложи же и церковь святых Софья». Даже спустя века этот собор останется непревзойденным по красоте и изяществу архитектурным ансамблем Киева. Чешский дипломат Эрих Лясота, побывав в Киеве в 1594 году, записал в дневнике: «Среди церквей киевских особенно чудесна и красива та, которая зовется Софией...» В том же 1037 году Ярослав Мудрый «собра писцы многы», и переводили они с греческого на славенское письмо и «исписаше книги многы». Так рождалась при Софийском соборе первая библиотека.

В школе, основанной при Софии, получили образование дети Ярослава. Три его дочери стали королевами: Елизавета в Норвегии, Анна во Франции, Анастасия в Венгрии. Здесь, при дворе киевского князя, воспитывались английские королевичи Эдвин и Эдуард, сын изгнанного норвежского короля Олафа Тобольского малолетний Магнус, прославленный викинг, поэт-скальд, будущий король Норвегии Гаральд Смелый.

Чтению и письму в древнем Киеве обучались не только знатные горожане. Об

этом свидетельствуют надписи на глиняной посуде, пряслицах и особенно на стенах Софии, собранные и прочитанные доктором исторических наук С. А. Высоцким.

Вот потемневшее фото начала нашего века (первый том фотоальбома). На нем Печерский монастырь, основанный в 1051 году, а в XII веке преобразованный в Киево-Печерскую лавру, которая, как и Софийский собор, была центром религиозной жизни и одновременно одним из центров культуры, науки и искусства.

Не только величие и славу познал Киев. В XIII веке, захваченный Батыевой ордой, тяжело ступает он во мрак монголо-татарского ига. В 1362 году город захвачен Литвой, в 1569 году — Речью Посполитой.

Но с конца XVI века Киев вновь обретает силу, пересеченный крест-накрест уже не мечами, а торговыми путями. Они протянулись из России и Белоруссии, западноевропейских стран и стран Востока. Город становится крупным центром международной торговли и культуры в Восточной Европе. И, как прежде, восхищались его гости чудесными творениями талантливых зодчих: корпусом лавры, построенным крепостным архитектором Степаном Ковниром, знаменитой лаврской колокольней Шеделя, парящей над самым Днепром Андреевской церковью Варфоломея Растрелли... Невозможно всего перечислить, лучше вновь обратиться к фотоальбому — и архитектура XVII—XVIII веков сама расскажет о том Киеве, который называют златоверхим...

Историческая дата — 1654 год. Московское посольство во главе с боярином В. Бутурлиным было с почестями встречено в Киеве. 16 января на площади перед Софийским собором под перезвон колоколов киевляне и вместе с ними весь украинский народ присягнули на вечное братство с великим русским народом. Духом эпохи воссоединения проникнута известная поэма Лины Костенко «Маруся Чурай», роман Костя Басенко «Пролог», отрывки из которых помещены в «Слово о Киеве».

Киев и его история, древняя и новая, всегда привлекали писателей. Гоголь, любивший бродить по улицам старого города, быть может, именно в эти часы обдумывал свои киевские пейзажи для будущих «Страшной мести», «Тараса Бульбы», «Вия». Марко Вовчок, Н. С. Лесков... А вот останавливается дилижанс Оноре де Бальзака, и мы слышим его голос: «Даже если бы у меня не было друзей, живущих возле Киева, я все же приехал бы в Киев в интересах литературы и этнографии».

Киев освятили своим творчеством Пушкин и Шевченко.

Пушкин был проездом в Киеве в доме Н. Н. Раевского, героя Отечественной войны 1812 года. Здесь же собирались будущие декабристы из Южного общества.

По следам Южного общества пошло и Кирилло-Мефодиевское. В состав его членов входил сотрудник Киевской археологической комиссии Шевченко. Ничто так не поднимало угнетенный дух закрепощенного народа, не вселяло достоинство и веру в человека, как слово великого Кобзаря. Даже тогда, когда казалось, что вся Россия — это одна большая казарма, сплошная муштра под свист шпицрутенов, Шевченко не отрекся от своих революционных заветов.

В книге «Киев революционный, боевой, трудовой» находим такие строки: «...Киев превратился в один из опорных пунктов для транспортировки из-за границы и распространения в России искровских изданий... В октябре 1901 года Н. К. Крупская сообщила: «Пишут, что спрос (в Киеве, Харькове, Екатеринославе) на литературу громадный. Рабочие и читают и понимают „Искру“».

Книга «Киев революционный...» рассказывает о событиях, происшедших в городе после кроваво памятного 9 января. О молодом подпоручике В. П. Жадановском, который поднял солдат на вооруженное восстание. А на выцветшем фото начала века, помещенном в первом томе фотоальбома «Киев вчера, сегодня, завтра», — Галицкая площадь пригорода Шулявки, где царскими войсками это восстание было жестоко подавлено.

Яркими документами на страницах книги «Киев революционный...» предстают великие дни 1917—1918 годов: борьба рабочих завода «Арсенал», члены боевого штаба и стачечного комитета киевских железнодорожников во время январского вооруженного восстания 1918 года, телеграмма, полученная Центральным Исполнительным Комитетом Украины от Главнокомандующего советскими войсками на Украине Ю. М.

Коцюбинского, сына классика украинской литературы, об успешных действиях Красной Армии на подступах к древнему городу...

На холме над Днепром возвышается монумент Родины-матери, держащей в руках щит и меч. Выступая на торжественном открытии мемориального комплекса «Украинский государственный музей истории Великой Отечественной войны 1941—1945 годов», товарищ Л. И. Брежнев сказал: «Уверен, что этот грандиозный памятный комплекс, вставший на днепровских кручах, будет дорог всем советским людям. Он всегда будет символизировать победу жизни над смертью, разума над безумством, добра над злом».

Город-легенда, город — колыбель Руси, город-герой, столица Украины Киев. Слово былинный богатырь встает он, молодой, прекрасный, с гроздьями цветущих каштанов и голубями на плече. Вот белокаменные терема Дарницы, Борщаговки, Лесного и Минского массивов, Оболони, Святошино, священные урочища, о которых Шарль де Голль сказал: «Я видел прекрасные парки в городах, но город в прекрасном парке вижу впервые».

О сегодняшней жизни и труде киевлян рассказывают и главы книги «Киев революционный, боевой, трудовой». Теперь это город науки, промышленности и культуры, украшенный новыми оригинальными работами украинских архитекторов. Такими, как дворец «Украина», Дом художника, Дом кино, Дом профсоюзов, величественная площадь Революции и беломраморный дворец — филиал музея В. И. Ленина.

Перелистывая страницы фотоальбома, мы видим даже проекты 2000 года, проекты будущего. На древних холмах поднимутся здания необычных конструкций. Но город сохранит все наиболее ценное из своего прошлого, из своей истории, которая зримо предстает перед нами в новых книгах о Киеве.

София МАЙДАНСКАЯ.

Киев.



НЕОБЫКНОВЕННЫЙ ПОЛКОВНИК

А. Володин, Б. Итенберг. Лавров. М. «Молодая гвардия». 1981. 319 стр.

Одна наша соотечественница побывала недавно в зарубежной командировке. В Париже она посетила Монпарнасское кладбище и отыскала гранитный валун с потемневшей надписью: «П. А. Лавровъ.

1823—1900». Могилу прибирала старушка. «Мой муж похоронен рядом, — объяснила француженка, — вот я и об этой забочусь».

Прах на чужбине. Имя — в центре Москвы, на обелиске у кремлевской стены и не-

гасимого Огня. Ибо Петр Лаврович Лавров — боец, павший за свободу родины. Вдали от нее, но за нее.

Смолоду он служил в артиллерии. Ровным шагом прошел от фейерверкера до полковника. Удостоился орденов Анны и Станислава, бронзовой медали на андреевской ленте и знака отличия за выслугу.

Неизмеримо ценнее отличия, в формуляр не занесенные. Матушка природа иногда щедра до расточительности. Она одарила полковника талантом философическим. И могучим талантом математика: знаменитый академик Остроградский восхищался: «Он еще прытче меня». Лаврову бы и обретаться в звездных сферах умозрительных категорий. Но близорукий книжник обладал зорким сердцем. Ни домашний уют в собственном доме на Фурштатской, ни аудитории закрытого учебного заведения на Выборгской не заслонили от штаб-офицера измученную Россию, повитую горьким дымом севастопольских пожарниц.

Русское «быть или не быть?» стояло неотступно: освобождение крещеной собственности из-под ярма крещеных собственников. Лавров заострил перо публициста. Опыты жизни убили его иллюзии. Они сменились непримиримостью. И неизбежное совершилось: арест, следствие, высылка из Петербурга, трехлетняя тоска в сумраке северных лесов.

Лавров бежал. «Мне очень больно было эмигрировать», — печально признавался Петр Лаврович. Боль эта и печаль не унимались тридцать долгих лет — до последнего вздоха на парижской улице Сен-Жак.

По улице Сен-Жак пролегал некогда дорога в древний Рим. Дорога, избранная полковником пешей артиллерии, вела не к вечному городу, а к извечному идеалу. Именно он, Лавров, сложил грозную песню баррикад «Отречемся от старого мира».

Герцена уже не было в живых, когда Лавров появился в эмигрантской среде. Агент III отделения К. Роман, шпион проникательный, донес на Фонтанку: «Я его считаю важнее Бакунина и Огарева». Уточнил: Бакунин устал, Огарев разрушается, а Лавров полон энергии. Да, лазутчик обнаружил прибытие в неприятельский стан осадного орудия крупного калибра.

Лавров обладал упругим терпением, он умел убеждать. Деликатный и даже, казалось, кроткий, не умел поступаться убеждениями. Потомственный дворянин, он жил спартапцем и работал за письменным столом, как блузник у верстака. Друзья ценили не только его ум и поразительную эрудицию, но и общительность, вроде бы не

свойственную кабинетным затворникам. Авторы биографии воссоздают «густоту» его общения с людьми: русскими студентками из Цюриха, коммунарами, известными учеными, симпатичным доктором Белоголовым, пылким Лафаргом и, конечно, с самым близким из ближайших — Германом Лопатыным, бесстрашным партизаном революции, любимцем семьи Маркса, переводчиком «Капитала».

Агент III отделения не ошибался: Лавров был полон энергии. Не порывистой или взрывной, а рассчитанной на десятилетия. Он вступает в Интернационал, участвует в Парижской коммуне, переписывается и беседует с Марксом и Энгельсом. Издает журнал и газету «Вперед!», адресованные пропагандистам социализма в России. Редактирует «Вестник „Народной воли“». Публикует статьи в немецкой социал-демократической печати. Обращаясь к прошлому, но размышляя о настоящем, пишет «Опыт истории мысли нового времени». Размышляя о прошлом и настоящем, но обращаясь к грядущему, пишет «Государственный элемент в будущем обществе», «Социальную революцию и задачи нравственности»...

Воспоминания о Лаврове появились вскоре после его кончины. М. М. Ковалевский, даровитый ученый, брался за роман о Лаврове, сохранились наброски. Художник Рафаэлли создал групповой портрет современников-социалистов «Митинг в цирке Фернандо»; на холсте изображен и седобородый Петр Лавров. Сочинения «ветерана революционной теории» (так назвал Лаврова В. И. Ленин) издавались и переиздавались в наши дни. Сравнительно недавно в Голландии напечатан увесистый двухтомник связанных с Лавровым архивных материалов, оставшихся за границей. Десятки исследователей не запнувшись произнесут: «Тысяча семьсот шестьдесят два» — номер лавровского архивного фонда, находящегося в Москве.

Все так, все верно. Однако полной и емкой биографией этого замечательного человека мы доселе не располагали.

История вовсе не сумма биографий, а процесс общественной жизни. Так полагал Лавров. Хорошо, но вообразим ли этот процесс безликим? Конечно, нет. Потому, должно быть, биографические книги не то чтобы не залеживаются, а мгновенно исчезают с магазинных полок. О биографическом жанре спорят при весьма высокой температуре дискуссий. И о том, как «делать» биографию — романзированной или сугубо документальной? И о том, годен или не годен такой-то или такой-то к призыву в когорту

замечательных людей. Словом, биографический жанр не только в потоке литературы, но и на стрежне времени.

Не погружаясь в пучины дебатов, на дне которых пристрастия и антипатии, так сказать, общеисторические, хотелось бы задержаться на двух статьях. Обе опубликованы в академической периодике. Первая, полагаю, имеет значение новаторское. Вторая содержит ряд ценных наблюдений, впрямую относящихся к нашему сюжету.

Статья Я. Гордина озаглавлена «Индивидуальная судьба и система биографий» («Известия Академии наук СССР. Серия литературы и языка», т. 37, № 6, 1978). Речь идет не о сумме, а именно о системе. Системе взаимовлияний и взаимоотрицания индивидуальных практики мые, к сожалению, часто стоим на позиции слишком просто понимаемого дидактизма,— замечает Я. Гордин, рискуя вызвать гневливое фырканье педантов.— В результате читатель получает биографии «замечательных хороших людей», но «замечательные плохие люди» остаются вне круга читательского внимания... Постепенно мы вырабатываем представление об истории как о продукте деятельности «хороших людей». А это все равно что представлять себе земной шар только с Южным полюсом, но без Северного...» Вот ведь что предлагается — системы биографий. Велики трудности, да задача-то привлекательная. Как и мечта Флорбера о вершинном слиянии науки и искусства. Мы цитируем Я. Гордина отнюдь не в укор биографам. Нет, так же, как и он, пригласаем к почину, хотя и сознаем, что почин требует отдачи не только творческой, но и ломающей консерватизм издателей.

Автор другой статьи, Э. Соловьев, пристально рассматривает «Биографический анализ как вид историко-философского исследования (Биографии великих мыслителей в серии «Жизнь замечательных людей»)» («Вопросы философии», 1981, №№ 7, 9). Э. Соловьев свежо, убедительно написал о книгах, родственных рецензируемой, и мы держим на уме многие его соображения, вникая в анализ, представленный авторами «Лаврова» — философом А. Володиным и историком Б. Итенбергом.

Капитальное в их книге как раз то, что капитально в натуре Лаврова,— мысль. Возможно, читатель, вкусивший острую отраву детективов, посетует на основательность изложения. Но ведь замедленная съемка позволяет наблюдать постепенность перемещения предмета, неторопливость изложения—движение мысли. Едва авторы надали ходу, опасаясь, вероятно, наскучить нам,—

и слишком быстро миновали такую узловую станцию, как «Исторические письма» Лаврова. И на столе и под подушкой держала их демократическая молодежь. «Письма» не возносили героя над толпой, а звали интеллигенцию оплатить народу долг, быть, по слову Радищева, людьми «первого маха»...

Есть ли нужда подчеркивать, что авторы «Лаврова» не падают ниц перед Лавровым? Конечно, не падают — биография не кумирня. Казалось бы, и толковать нечего, все ясно. Ох кабы так... Мне случилось однажды упомянуть о том, что молодой Нахимов бывал скор на затрещины нижним чином; для того и упомянуть, чтоб ярче осветить зрелого Нахимова, поистине отца-командира. И что же? Анонимщик возопил: «Очернительство! Клеввета!» Это смешно. Суть дела не в слепой любви, а в любви зрячей. Суть дела в становлении души, ее выпрямлении. Лакированные штатулки могут быть и хороши, лакированные биографии хороши быть не могут.

Авторы «Лаврова» не мажут своего героя липовым медом. Боюсь, похвалы на сей счет покажутся им обидными. И если я говорю об этом, то только ради того, чтобы оттенить жесткую приверженность А. Володина и Б. Итенберга к вскрытию противоречий, ибо в их правде правда истории, правда исторической личности.

На закате века маститый народник напоминал раненого льва. «Не виною — большою бедой, духовной драмой Лаврова, человека, всей душой преданного идее социализма, все силы отдавшего неустанной борьбе с российским самодержавным деспотизмом, была эта неспособность его найти себе новое место в изменившихся исторических условиях», — констатируют авторы. В этой констатации нет холода высокомерия, а есть сердечное проникновение в давно угасшее бытие.

А. Володин и Б. Итенберг отдали биографии Лаврова годы. Те, что обозначены строкой аннотации: «Авторы использовали в книге малоизвестные материалы, хранящиеся в советских архивах». Прибавлю: и вовсе неизвестные. А равно и рассеянные в периодике и отдельных изданиях, давно залягшихся в разряде редкостей и потому не отмеченных в краткой библиографии. К широкому кругу источников ведут извилистые, тернистые тропы. И не вдруг, не в одночасье вспыхивают над ними знаки зодиака. Не те, по которым ворожат, а те, по которым ориентируются. Это не значит, что биографическая книга «Лавров» лишена недостатков.

Это значит, что она не лишена достоинств — добротности, весомости, точности.

Каждая биография — урок. В лавровской звучит тема впечатляющая и выразительная, возникшая еще в Петербурге, когда Лавров писал о воспитании чувства нравственной свободы, личного достоинства, свободы от фанатизма. В эмиграции общие замыслы обретают конкретность: Лавров, указывают биографы, «пристывает к непосредственно рассмотрению глобальной социально-нравственной проблемы — соотношения революционного насилия и нравственности». Лавров пишет, а затем публикует, адресуясь к бойцам-практикам, брошюру «Социальная революция и задачи нравственности».

Смею предположить, идеи Лаврова в «Социальной революции...» в определенной мере тождественны идеям Достоевского: оба не приемлют «бесов», оба не приемлют «бесовщины». О, конечно, дистанция, разница, но все же... Обозначим главное: революционная среда поддерживала Лаврова. Не единодушно, однако и не «единогласно». Только охранники и охранители метили всех крамольников поголовно черным тавром «бес». Клеймению рьяно пособляла умственная гольгѣба, объявившая войну русской интеллигенции.

Глобальной для Петра Лавровича проблеме посвящены многие страницы книги. Что это: авторская забота о его живом духовном облике? отрицание гуртовой нечаевщины русских социалистов? Да, несомненно. А вместе и четкое осознание ценности заветов Лаврова для нынешнего мира, увы, не избавленного от псевдореволюционности, от экстремистов всяческого разбора. Высказывания мыслителя не выхвачены авторами из плот-

ного исторического контекста. Однако компасная стрелка не зависит от того, где помещен компас — на устаревшем ли миноносце или на современном крейсере.

«Революций искусственно вызывать нельзя, — настаивал Лавров, — потому что они суть продукты не личной воли, не деятельности небольшой группы, но целого ряда сложных исторических процессов».

«...следует осмотрительно выбирать людей, которым вручается власть, — внушал Лавров. — Самые жестокие, самые опасные удары, которые могут быть нанесены партии, суть удары, наносимые ей нравственной несостоятельностью ее членов».

«Привычка к террористической деятельности, — предупреждал Лавров, — выдвигает на первые места движения людей с энергией, но весьма часто людей, очень слабо понимающих и деи».

«...без крайней необходимости никто не имеет права рисковать нравственной чистотой социалистической борьбы, — убеждал Лавров».

Мы не продолжаем потому, что испытываем живейшее желание «приманить» читателя и к книге «Лавров», и к упомянутой выше брошюре, текст которой помещен во втором томе избранных сочинений Петра Лавровича.

Писатель и критик В. Ф. Одоевский еще в прошлом веке сетовал на биографии, напоминающие «какой-то ненужный отсед, оставшийся в химическом кубе, из которого выпарился могучий воздух, приводящий в движение колеса огромной машины». В книге А. Володина и Б. Итенберга этот могучий воздух явственно ощутим.

Юрий ДАВЫДОВ.



ПЕРВЫЕ ШАГИ ВСЕЛЕННОЙ

Стивен Вайнберг. Первые три минуты. Современный взгляд на происхождение Вселенной. Перевод с английского. М. Энергоиздат. 1981. 209 стр.

В 1973 году академик А. А. Арцимович, стоявший тогда во главе Отделения общей физики и астрономии Академии наук СССР, опубликовал статью, которую озаглавил «Будущее принадлежит астрономии». Видный советский ученый, занимавшийся вопросами физики ядра и ее приложений, полагал, что в ближайшее время именно в астрономии, астрофизике можно ожидать появления фундаментальных открытий. Эта точка зрения, базировавшаяся на анализе развития астрофизики в последние годы, на открытии новых типов

звезд и генерируемых ими излучений, на практических возможностях, появившихся с выходом человека в ближний космос, находит все большее признание среди ученых — представителей точных наук.

Открытия, предсказанные Арцимовичем, действительно совершаются. Причем их с нетерпением ожидают не только профессионалы, но и самая широкая аудитория, поскольку проблемы астрофизической науки смыкаются с мировоззренческими вопросами, издавна волновавшими человека.

Как возникла наша Вселенная? На этот

вопрос отвечает книга крупного физика-теоретика, лауреата Нобелевской премии Стивена Вайнберга. Эпиграфом к книге могла бы стать взятая из нее же мысль: «...стремление проследить историю Вселенной назад, к самому началу, непреодолимо». Автор имеет здесь в виду не только научные гипотезы прошлого, но и древние сказания. Так, он начинает книгу рассказом о фиксированном во времени происхождении мира в соответствии с «Младшей Эддой» — собранием норвежских мифов, обработанных в XIII веке (время в них, разумеется, не физическое, а сказочное). Можно вспомнить и о других мифах — библейских: как в Ветхом, так и в Новом завете тоже содержится констатация Начала («В начале Бог создал небо и землю...», «В начале было слово...»).

Однако возможна ли научная постановка вопроса о Начале? Ведь еще сравнительно недавно представление о человеческой жизни, «подвешенной» между двумя бесконечностями (одной — стремящейся в бесконечное будущее и другой — уходящей во времени в бесконечное прошлое), — это представление характеризовало именно научное, освободившееся от религиозных пут сознание. Иными словами, Вселенная для человека была неизменной, почти такой же, как сейчас, не рожденной и не умирающей, вечной. Но под натиском новых астрофизических открытий эта философски привлекательная (оценка Вайнберга) теория уступила место другой теории, принятой ныне большинством ученых, которую часто называют стандартной моделью или моделью горячей Вселенной. Она базируется на двух экспериментальных фактах, открытых в XX веке. Первый из них был предсказан в 1922 году советским физиком и математиком А. А. Фридманом, сделавшим вывод о нестационарности Вселенной и ее расширении. Теория Фридмана была подтверждена в 1929 году наблюдениями американского астронома Э. Хаббла. Вторым таким фактором было обнаружение в 60-е годы микроволнового излучения. Это излучение, получившее название реликтового, которым пронизана Вселенная, является, по мнению ученых, продуктом эволюции теплового излучения, соответствовавшего фантастически высоким температурам первых секунд жизни Вселенной. К нашему времени излучение остыло — ему отвечает температура в 3 градуса Кельвина.

Именно на основе этих открытий и была построена модель горячей Вселенной, возникло представление о Начале, о «большом взрыве». «В начале был взрыв», — пишет

Вайнберг, в результате которого около двадцати миллиардов лет назад образовалась наша Вселенная. Рассказ об этом взрыве автор ведет с помощью своеобразного мультфильма, нарисовав картины (или кадры) первых трех минут Вселенной в соответствии с экспериментальным и теоретическим материалом современной астрофизики, умело опираясь на весьма простой математический аппарат и общие сведения, известные читателю из программы средней школы.

Стоит заметить, что доступность изложения автора объясняется не только его популяризаторским талантом. Дело в том, что классическая механика и оптика, восходящие к Ньютону и получившие дальнейшее развитие в XIX веке, являются в известном смысле предельными формами современных теорий. Поэтому в их рамках удается понять и эффект расширения Вселенной, и происхождение черных дыр — этих экзотических объектов, вошедших в арсенал понятий астрофизики совсем недавно. Правда, такое «простое» описание мира получено постфактум: сначала соответствующие результаты были выведены на основе новейших теорий. Как бы то ни было, Вайнберг, закончив рассказ о расширении Вселенной, делает вывод о том, что астрономы прошлого без труда бы в нем разобрались.

Итак, первый кадр, на котором запечатлена Вселенная через одну сотую секунды после своего рождения: «Температура Вселенной равна 100 миллиардам градусов Кельвина.. Вселенная проще и легче поддается описанию, чем когда-либо в будущем. Она заполнена везде одинаковым, однородным по свойствам супом из вещества и излучения, причем каждая частица в нем очень быстро сталкивается с другими частицами. Поэтому, несмотря на быстрое расширение, Вселенная находится в состоянии почти идеального теплового равновесия. Составные части Вселенной определяются правилами статистической механики и вообще не зависят от того, что происходило до первого кадра». Вселенная населена электронами, позитронами, фотонами и нейтрино, а ее плотность такова, что нейтрино (которые, не рассеиваясь, простреливают земной шар и могут пройти сквозь фантастические по толщине слои свинца) интенсивно взаимодействуют со всеми другими микрочастицами, в том числе и с себе подобными.

Затем автор рисует второй кадр, отделенный от первого 0,11 сотыми секунды, и третий — через 1,09 секунды. Плотность вещества уменьшилась, она «всего» в 380 ты-

сяч раз больше плотности воды, температура упала в 10 раз, начинаются процессы аннигиляции позитронов и электронов — процессы, которые спустя миллиарды лет, в 30-е годы нашего века, воссозданы в физических лабораториях Земли. Кадр четвертый. Вайнберг не без юмора пишет: «Теперь уже достаточно прохладно для того, чтобы образовались различные стабильные ядра вроде гелия».

Так мы видим (и понимаем!) Вселенную в первые три ее минуты. За кадром остается первая сотая доля секунды — ей посвящена специальная глава книги, в которой автор пытается проникнуть в еще более ранний период истории Вселенной. Однако последнее исключительно трудно. «Незнание микроскопической физики стоит как пелена, застилающая взор при взгляде на самое начало», — замечает автор. Интересная мысль! Именно в области огромных температур и плотностей, соответствующих «самому началу», физика элементарных частиц и высоких энергий (основная специальность С. Вайнберга) смыкается с астрофизикой. Именно в специфических, экспериментальных, если хотите, условиях первых минут Вселенной возникают те многочисленные частицы, которые были открыты учеными в послевоенные годы с помощью гигантских ускорителей. Можно сказать, что эти частицы давно сошли с реальной физической сцены, а их появление в современных физических лабораториях — своеобразный анахронизм (как если бы в лабораториях биологов были воссозданы экзотические животные, оживлявшие ландшафт нашей планеты сотни тысяч лет назад).

Интересна и другая, чисто психологическая причина сложности понятий стандартной модели, о которой говорит Вайнберг: «Физикам было чрезвычайно трудно серьезно воспринять любую теорию ранней Вселенной... Первые три минуты столь удалены от нас по времени... что мы стесняемся применять наши обычные теории статистической механики и ядерной физики. Такое часто случается в физике — наша ошибка не в том, что мы воспринимаем наши теории слишком серьезно, а в том, что мы не относимся к ним достаточно серьезно...»

Открытия в области астрофизики и физики элементарных частиц оказывают сейчас, пожалуй, наибольшее влияние на развитие представлений о пространстве и времени. Изложенные и разъясненные в книге данные теории и эксперимента помогают углублению и расширению этих представлений. И здесь гипотезы о будущем нашей Вселенной не менее важны, чем ее прошлое. Оценка

этого будущего также дается в книге и в одном из приложений к ней, написанных академиком Я. Б. Зельдовичем, ее редактором. На сегодня дальнейшая судьба Вселенной видится ученым в двух возможных вариантах.

Если средняя плотность вещества во Вселенной превосходит некоторую критическую величину, вычисленную на основании данных теории, то наша Вселенная, пройдя стадию расширения, свидетелями которой мы являемся, начнет сжиматься до состояния с бесконечной плотностью и ее последние три минуты можно увидеть, прокрутив ленту «мультифильма» Вайнберга в обратном направлении. Если же средняя плотность меньше критической, силы тяготения не смогут удержать процесса расширения Вселенной, который будет продолжаться бесконечно.

Пока мы, к сожалению, не знаем точного значения этой средней плотности. Найти плотность твердых, жидких или газообразных тел в земных условиях — задача более чем несложная. Иное дело определить среднюю плотность вещества во Вселенной, где области его концентрации (звезды, галактики, скопления галактик) отделены друг от друга «пустым» пространством, в котором обитают лишь относительно редкие нейтрино, фотоны, атомы (иногда, как показывают опыты, и молекулы). Так, большую поправку в значение средней плотности внесли недавние эксперименты московских физиков, возглавляемых В. А. Любимовым, обнаружившие у нейтрино массу покоя.

Какова же будет судьба далеких потомков тех, кто за крайне малый в сравнении со временем существования Вселенной срок сумел столь глубоко проникнуть в понимание ее природы, — какова будет судьба наших далеких потомков? Парадоксально, что, зная, сколь коротка человеческая жизнь, мы не можем удержаться от размышлений о фантастически далеком будущем. Выводы, которые можно в этом отношении почерпнуть из книги Вайнберга, не слишком утешительны. При бесконечном расширении Вселенной ее обитателями останутся в конце концов только фотоны и нейтрино. В случае сжимающейся Вселенной через несколько десятков миллиардов лет начнется период сжатия, а затем Вселенная, пройдя через состояние с бесконечной плотностью, вновь после своего рода взрыва восстановит из пепла, подобно легендарной птице Феникс, и опять наступят ее первые три минуты. С этой точки зрения мы можем, вероятно, рассматривать весь наш мир и человека как результат развития материи

во время одного из качаний своеобразного маятника, каким и является «пульсирующая Вселенная» (Ньютон когда-то, говоря о мире, утверждал, что должен существовать некий часовщик, заводящий его механизм. Для осциллирующей Вселенной этот ньютоновский образ особенно впечатляет — часовщиком является сама природа).

Последняя модель может, как нам кажется, служить источником сдержанного оптимизма, если воспользоваться языком дипломатов, поскольку цикличность природных процессов, возможно, включает и повторяемость возникновения органической материи, жизни, человека. Впрочем, и в теории расширяющейся Вселенной имеется ряд нео-

пределенностей: как пишет Вайнберг, «некоторые космологи видят в этих неопределенностях луч надежды». Наконец, в принципе можно надеяться и на мощь человеческого интеллекта, который уже сейчас, на ранней стадии своего развития, достиг очень многого и, не исключено, сумеет активно вмешаться в будущее Вселенной.

Однако эти несколько грустные размышления не могут уменьшить чувства удовлетворения и радости познания, которые испытываешь, закрывая последнюю страницу «Первых трех минут».

В. ФРЕНКЕЛЬ.

Ленинград.



КОРОТКО О КНИГАХ



ВЛАДИСЛАВ ШОШИН. Интернационалисты — МЫ! К проблеме взаимодействия национальных литератур. Л. «Советский писатель». 1982. 367 стр.

Книга В. Шошина посвящена теме, которая с каждым годом становится все более значительной и ответственной. Все четче линии взаимных влияний, синтезируются черты национальных традиций и фольклорных, активнее распространяется влияние более передовых, более мощных и сложившихся на данном этапе литератур. В. Шошин не впервые подходит к этой высокой и благородной теме — она разрабатывается и в его книгах «Литература народов СССР» и «Поэт романтического подвига...» (о Николае Тихонове), в ряде статей, очерков.

Новая работа В. Шошина своеобразна по замыслу. Материал, использованный автором, многосоставен. Исследователь сосредотачивает внимание не только на самих литературных произведениях, но и на фактах историко-литературных. Более того, он побывал в тех краях, где творили его герои-писатели, постарался прочувствовать жизненную атмосферу, которая их окружала.

Большое место занимают и теоретические размышления автора. Он совершенно справедливо связывает развитие национальных литератур, а то и возникновение их с развитием русского революционного движения, справедливо и точно говорит о влиянии прогрессивной, гуманистической русской литературы.

Серьезное исследование важных явлений советской многонациональной литературы вряд ли возможно без обращения к именам Горького, Луначарского, Брюсова, Маяковского. И не случайно первыми по времени книгами, посвященными влиянию русской советской литературы на литературы братских народов, были исследования о роли Горького и Маяковского в развитии национальных литератур. Немало написано о связях Брюсова с армянской литературой, Н. Тихонова и Б. Пастернака с грузинской и т. д. Еще в 40—50-х годах вышли работы Н. Пиксанова, К. Зелинского, П. Беркова и других критиков, их учеников. Были ошибки, печальные умолчания, подчас неверное понимание процесса воздействия, но изучение взаимосвязей литератур было непрестанным. В. Шошин называет имена писателей и исследователей, обращавшихся к интернациональной теме, — Лариса Рейснер и Константин Федин, Виссарион Саянов и Эльмар Грин, Николай Никитин и

многие другие. Автор показывает поступательное движение взаимообогащения литератур, с высот современности обозревает этот долгий путь.

Разумеется, в одной работе обо всем не скажешь. Интересно было бы поговорить о влиянии Павла Корчагина на героев Шарафа Рашидова, о воздействии «Индийских стихов» М. Гурсун-заде (возникших под несомненным влиянием зарубежных циклов Маяковского) на всю многонациональную советскую поэзию. Но повторяю: раскрыть огромную тему в одной книге невозможно.

В. Шошин проследил интернациональную тему в творчестве большого числа современных прозаиков, сумев дать короткие и точные характеристики их работы. Эпос и первые страницы литературной прозы, много томные романы и повести, открывающие новую форму, — обо всем этом сказано достаточно значительно.

Завершается книга образным обобщением: «Мы сравнили как-то инонациональную тему русской советской литературы с могучей горной цепью, величие которой не только в заоблачной непоколебимости отдельных вершин, но и в бесчисленности окружающих средних и младших собратьев». Оттого тема, избранная В. Шошиным, остается всегда живой, актуальной.

Дм. Молдавский.

Ленинград.



ЮРИЙ РАЗУМОВСКИЙ. Вереница. Стихи. М. «Советский писатель». 143 стр.

ЮРИЙ РАЗУМОВСКИЙ. Цикл стихов. «Литературная газета» от 23 декабря 1981 года.

Что может быть более чуждым поэзии, чем расхожий образ, равный самому себе? Но задача поэта в том, чтобы преодолеть чуждую поэзии равнину прямоты и... войти в поэзию. Эту смелую операцию и совершает Юрий Разумовский.

Мы знаем, что душевный порыв может обернуться жестом фигляра, факт судьбы — легкой интрижкой, строка навзрыд — бытовой перебранкой. Но с Разумовским этого не случается. Потому что сухая публицистика художественно преображена. Исполненная высокой культуры, поэзия переплывала речь с трибуны во вчутреннюю речь, а потом и в сокровенную мысль, явленную в слове.

Муза Разумовского несуетловна. Стройный сюжет. Сцепленность строк в строфе. Ла-

конизм речи, тяготеющей к афоризму. Вот стихотворение «Хороший парень»: «Комэск, с которым на войне летал я в паре, сказал однажды обо мне: «Хороший парень»... Война закончилась, и тут — в дыму, в угаре — пришел с войны в Литинститут хороший парень. Пришел, медалами звеня, как на гитаре, и снова звали все меня: «Хороший парень». А я на Пушкинской сидел — в четвертом баре. И кто-то на ухо шепнул: «Хороший парень». Меня та кличка жгла до слез. Почисте брани: никто не брал меня всерьез — хороший парень. Стихи пишу я много лет и не бездарен, но для поэтов — не поэт, хороший парень. А графоманы перли ввысь, как на опаре. И мне кричали: «Сторонись, хороший парень!» Редактор не пускал в печать: хозяин — барин. Не мог я кулаком стучать — хороший парень. И сомневаться уж привык в своем я даре. Уже не парень, а старик — «хороший парень». Когда закончу путь земной в дощатой таре, вновь кто-то скажет надо мной: «Хороший парень»...»

Стихотворение-судьба. Да и вся книга — судьба. И, как во всякой судьбе, есть в этой книге многое: война и любовь, творчество и дружба, беды-радости страны и собственные радости-беды, творчески обретенные в мучительном диалоге с самим собой. Преодоление себя другого — открытие себя.

То, что делает Разумовский, трудно и потому редко. Но у него есть опора. Она в социально заостренной направленности, укорененной в определенной традиции русской поэзии.

Поэту не грозят и соблазны ложного поэтизма.

В книге, конечно, есть образы, эпитеты, сравнения и прочее. Но странным образом, все эти тропы не подвергают эрозии прямую речь поэта. Более того, они сообщают этой прямоете энергический импульс:

Злаки в колос колосили,
Бабы в голос колосили,
Билась пламени волна —
Шла смертельная война.

Шла по склонам, шла по долам,
Шла как полая вода,
По земле мела подолом
И сметала города.

В чем здесь дело? Образ всегда сработан — выверен, неизбыточен, естествен. Он законченный элемент живой обыденной речи, но речи, исполненной пафоса времени и нравственных исканий.

Собственно, личность, имеющая судьбу, все определила. Жесточайший художественный запрет, напрочь исключаящий ложный поэтизм, с одной стороны, и прямолинейную публицистику — с другой сделал свое дело.

А куда поэт пойдет дальше? Новый его цикл — в «Литературной газете». То же простое разговорное слово, казалось бы лишенное в своей наготе метафорической поэтичности, та же ясная лаконичная речь... И все же иной, более высокий, уровень духовности:

Словно птица рядом провистела,
По лицу прохлада проплыла.
Ветер вправду птицы, но без тела —
Только два распахнутых крыла.

Вадим Рабинович.



АЛЕКСАНДР ИСПОЛЬНОВ. Мед великанов. Стихи. М. «Современник». 1981. 94 стр.

Стихи А. Ипольнова продолжают ту традицию русской поэзии, которая связана с ранним Тихоновым. Потом были другие поэты — Светлов и Смелков, Асеев и Кирсанов, Казин и Уткин, Шубин и Недогонов, Лутовской и Евтушенко, Ваншенкин и Фирсов... Я нарочито и наудачу выхватываю имена поэтов из прошедших и идущих еще десятилетий, и надо бы назвать сотни имен от Твардовского до Риммы Казаковой. В этой поэзии было все: и пограничники, и комбайнеры, и хлопкоробы, и космонавты, и победа, и смерть, и любовь, и печаль, и заводские проходные, и ситцы, и рельсы, и пустыни, и тундра... Она оперировала (и оперирует) определенным, современным нам словарем, она спроецирована на современную нам действительность, хотя традициями своими (если уж о них зашла речь) может тянуться и к Фету, и к Некрасову, и к Есенину, и к Маяковскому. Все это так. И все же есть осязаемая разница между такими замечательными строками, как, с одной стороны: «Знаешь, Зинка, я против грусти, но сегодня она не в счет, дома в яблочном захолустье мама, мамка моя живет...» — или, скажем: «Жди меня, и я вернусь, только очень жди»... А с другой стороны —

Созидающий башню сорвется,
Будет страшен стремительный лет.
И на дне мирового колодца
Он безумье свое проклянет.

Я сравниваю те и эти стихи не для того, чтобы одними умалить другие, но чтобы показать, что наша великолепная поэзия несколько отошла тем не менее от той доли приподнятости, романтичности, умозрительности (в хорошем смысле этого слова), которая была присуща ей еще во времена раннего Тихонова.

Хорошо или плохо, что стихи А. Ипольнова тяготеют к наследованию этой прервавшейся в нашей поэзии традиции? По-моему, хорошо. Почему бы в нашей поэзии не звучать строфам:

Поэзия — мед великанов,
Ни с чем не сравнимый мед,
И это веселое племя
Его с наслаждением пьет.

Но если каной-нибудь карлик
От зависти или со зла,
На длинные встав ходули,
Взберется на край стола
И несколько пролитых капель
С огромных досок слизнет,
То удивленно скажет:
— Он горек. Да это не мед!

Но думать будет недолго;
Его через миг убьет
Целебный для великанов —
Смертельный для карликов мед.

Да, стихи А. Ипольнова во многом литературны, во многом идут от начитанности, эрудиции (впрочем, не последнее дело для поэта). Но они идут и от собственных размышлений, собственного опыта, собственного видения. А главное — от собственного осмысления мира. Молодой поэт отстаивает высокие идеалы человека, чистоту помыслов и поступков.

Книга А. Ипольнова — это зрелая книга,

которая отличается от книг его сверстников и мыслями и системой образов, но это и хорошо.

Владимир Солоухин.



ВЛАДИМИР РЕЦЕПТЕР. Представление. Стихи. Л. Лениздат. 1982. 111 стр.

Это уже четвертая книга Владимира Рецептера; но скажу сразу и откровенно: многие стихотворения сборника не представляли бы интереса, если бы их автором не был замечательный актер. На мой взгляд, лирический монологизм вообще не его стихия и даже самое уязвимое место его разностороннего дарования. Подлинный же его дар открывался нам, например, в незабываемом «Гамлете», когда актер на пустой сцене один играл шекспировскую трагедию, мгновенно перевоплощаясь в ее героев. Именно театр, а точнее то, что называют театром одного актера,— его настоящее дело; и я верю, что стихотворец Владимир Рецептер не нуждается в наших критических реверансах. Вот одно из стихотворений:

Присядь на колени ко мне,
как Саския, вполоборота,
посмотрим, как тихо в окне
плывут облака без расчета

на вечность... И пусть облакам
на миг мы увидимся сами
без муки, с грехом пополам,
сквозь пыль в нерасставленной раме...

Как это мило, «культурно» и — как знакомо! Как все это уже отработано русской поэзией и ленинградскими поэтами в том числе. Многие стихотворения Владимира Рецептера не хватает не то что живого нерва, а просто той пресловутой изюминки, без которой и все хорошее ни к чему. И почти неразличимо в сборнике по-настоящему хорошее стихотворение «Ты заметил, как чайка сварлива...»; а стихотворный цикл «Театр «Глобус» с подзаголовком «Предположение о Шекспире», увы, не содержит ничего существенного, ради чего стоило бы беспокоить тень великого драматурга.

К счастью, есть в сборнике драматические сцены «Петр и Алексей» — произведение, существующее на стыке поэзии и театра. Автор специально оговаривает в примечании возможность сценического воплощения своего сочинения (в котором он действительно смог отчасти реализовать свое несомненное чувственное драматическое), но в силу лаконизма и отрывочности сцен они явно не могут стать обычными театральным спектаклем. В этих сценах Петр Первый предстает перед нами одержимым властителем, но не фанатиком собственного хотения, а исполнителем предначертания, исполнителем, который сам страдает от выпавшего ему жребия. Особенно сильная сцена — участие Петра в допросе сына, когда он, сам ужасаясь, слово и не волен изменить совершающегося:

Вери его!. Что встал?. Вери, палач!..
Хватай клещами плоть мою живую!..
Гляди, слеза!. Поплачь, сынок, поплачь..
Ведь я с тобой Россию соревную!..

...О господи, как я устал смертельно!..
О господи!.. Ужли живу бесцельно?!
И ты устал, Алешенька?..

Алексей

Устал..

Мысль о том, что не волен, звучит и в последней сцене в словах таинственного ночного гостя, явившегося умирающему Петру.

И хотя гость — Петров двойник («Я — твой бессмертный дух! Я — Петр Великий!») и его мысль может быть истолкована как самосознание Петра, но слова гостя в контексте всего произведения звучат, думаю, даже независимо от авторской воли, как нравственный итог. Один из эпиграфов к сценам таков: «Оставь герою сердце! Что же он будет без него?..» Всякий продолжит по памяти пушкинские строки — «Тиран». В произведении Владимира Рецептера у героя есть сердце, и сердце страдающее (именно за это упрекает Петра ночной гость: «Тебе дано величие, а ты в себе забыть не можешь человека!..»), но он не перестает от этого быть тираном; душевные муки не индульгенция. Вероятно, всякое истинно художественное сочинение о Петре Первом явно или неявно тяготеет к его аполлогии (хотя мы знаем и иные, не слишком удачные прецеденты), может быть, потому, что у художника нет возможности дать рядом с Петром противостоящего, но равного ему героя — таких конкурентов у Петра не было. И странно было бы требовать от художника окончательных ответов (хотя нравственной определенности ожидать можно и должно) — за неоднозначностью образа Петра стоит действительная неоднозначность Петра исторического. На мой взгляд, «Петр и Алексей» — плод серьезных и долгих раздумий, работа, заслуживающая внимания, хороший пример того, как важно, чтобы художник творил в согласии с истинной природой своего таланта.

Андрей Василевский.



ПАВЕЛ ЮЛАЕВ. За окном метель. М. «Молодая гвардия». 1981. 30 стр.

Павел Юлаев — участник VII Всесоюзного совещания молодых писателей, учится заочно в Литературном институте имени А. М. Горького и работает на Камском автомобильном заводе. «За окном метель» — первая его книга.

Участие молодого поэта в коллективном труде камазовцев накладывает отпечаток на весь строй его мировосприятия. Посмотрите, в каком живописном обрамлении видятся ему столь давние атрибуты лирических сюжетов, как луна и облако:

Там, над темным котлованом,
Облачно луну кусает,
Экскаваторным черпаком
Ковш Медведицы свисает.

Образ родного строящегося города встает за строками этой книги.

Многие стихи П. Юлаева навеяны картинами детства, памятью о родных и люби-

мых людях. Доверительное и доброе отношение к природе, а через нее и ко всему миру, к каждой ее малой частице — дереву, зверю, птице, беспокойство за их будущее проходит лейтмотивом через его творчество. Особенно ярко передано чувство любви к природе в стихотворениях «Каприз», «На охоте». Своеобразно по сюжету и композиции стихотворение «Метельные страдания». Здесь в шести двустопиях из семи рефреном повторяется строка «Замела метель, ой да замела...», и она, прекрасно вписываясь в контекст, привносит сюда удивительные напевность и лиризм.

Павел Юлаев умеет по-особенному увидеть вроде бы обыденное явление:

Удивлялись три старушки
Из деревни Вислоушки
И смотрели на царь-пушку
Как на синего слона...

Рядом девочки-подружки
Засмотрелись, хохотушки
Как на новую царь-пушку
На приезжую старушку...

Павел Юлаев, осознавая, насколько высока миссия поэта, часто размышляет о тайнах мастерства:

Мы в юные года не замечаем,
Что против нас порой слова бунтуют,
Поэт слова в стихи не закладывает,
Наоборот — свободу им дарует.

В стихах П. Юлаева есть и неподдельность гражданского чувства, и проникновенность лирического переживания, что позволяет надеяться на успешное продвижение молодого поэта к рубежам зрелости.

Николай Старшинов в предисловии к книге справедливо сказал: «Судя по тем стихам, которые уже написаны Павлом Юлаевым, и по его биографии, от молодого поэта можно ожидать большего: у него для этого все есть — и способности, и жизненный опыт».

Мансур Сафьяв.



К. РУДНИЦКИЙ. Мейерхольд, М. «Искусство». 1981. 423 стр.

«Если революция может дать искусству душу, то искусство может дать революции ее уста». Эти слова Луначарского подходят для эпиграфа к книге, посвященной Всеволоду Эмильевичу Мейерхольду. К его биографии — первого советского режиссера, вступившего в большевистскую партию. К исследованию его творчества, мощно выразившего конкретное время и потому ставшего искусством на все времена. К легенде, которая рано или поздно дается в спутники каждому Мастеру.

Собственно, явление по имени Мейерхольд не просто легенда, она двуедина — о великом художнике, совершившем за свою жизнь столько открытий, что давно стала расхожей фраза: «Все это было у Мейерхольда», — и о человеке ошарашивающе противоречивом, в котором уживались мелочная подозрительность и почти детская доверчивость, мощная организаторская

хватка и болезненная неуверенность в себе, безоглядная влюбленность и мгновенно сменяющее ее презрение...

Но как рассказать эту легенду разом? Видимо, только так, как сделал это К. Рудницкий: не обвиняя и не защищая, а объясняя личность и судьбу Мейерхольда. С одинаковой тщательностью доискиваясь причин его творческих побед и творческих поражений. Скрупулезно поверяя алгеброй равно гармонии и дисгармонии.

Пусть не возникнет впечатление, что книга написана с бесстрастной академичностью научного исследования. Правда, беллетристике пришлось потесниться, дав место театроведению. Потому что невозможно рассказать о художнике вне его дела. И книга разъясняет, например (по возможности популярно), понятия «биомеханика», «агит-спектакль», «конструкция» — короче, целый словарь терминов, из которых сложилась сценическая лексика Мастера, ставшая неким международным театральным эсперанто.

На этом языке давно и уверенно говорит и советский театр. Речь идет не о прямом заимствовании режиссерских приемов, хотя такой плагиат распространяется не по дням, а по часам, вернее не по сезонам, а по премьерам. Клиширование спектаклей Мейерхольда и следование по открытым им законам — занятия разные. Говоря о времени мейерхольдовских «слов» на сценах театров и экранах кинематографа, я имею в виду последнее. Яростную образность в творениях его учеников — режиссеров С. Эйзенштейна, С. Юткевича, Б. Ровенских, Л. Варпаковского, В. Плаучека. И в созданном учениками учеников. А сегодня и в работах тех, кто не был одарен непосредственным ученичеством у Мастера, но по воспоминаниям о нем проходит школу Мейерхольда — школу страстной гражданственности, неповторяющейся образности, безграничности поиска. Я бы добавила — школу первооткрывательства, ибо Мейерхольд, проторивший столько путей, прежде всего учит идти в искусстве путями непроторенными. Об этом и книга Рудницкого.

Серьезных изданий, посвященных творчеству Мейерхольда, немало. Назову лишь некоторые: «О режиссерском творчестве В. Э. Мейерхольда» Б. Ростоцкого; сборник «Встречи с Мейерхольдом»; двухтомник биографических материалов — статей, писем, речей, бесед; исследование К. Рудницкого «Режиссер Мейерхольд». Все они адресованы деятелям театра. Книга, о которой идет разговор сегодня, предназначена самому широкому кругу читателей и зрителей. Именно им рассказывает она о жизни и творчестве человека, который был изменчив в своих симпатиях и антипатиях, но никогда не изменял своему пониманию назначения театра в революции.

Книга рассказывает о Мейерхольде с любовью, даже влюбленностью. Самые лихие гипотезы пронизаны в ней интонацией юношеского преклонения. Так, еще о том времени, когда Всеволод Эмильевич Мейерхольд был Карлом Теодором Казимиром Мейергольдом, читаю озорное: «Одна из бабушек Карла... была французской. Само по себе это как будто ничего не значит. Странное совпадение состоит, однако же, в

том, что одна из бабушек Станиславского тоже была француженкой. Гипотеза: быть может, четвертая доля французской крови в какой-то мере стимулирует театральный инстинкт?.. А почтенные ученые мужи, признающие одни только бесспорные аргументы, — они пусть посмеются над нами». Или ниже горькое: «Но Бабанова не вернулась. И Мейерхольд никогда об этом не пожалел: он так и не понял, что вместе с Бабановой его театр покинуло счастье».

Думается, что и читатель, помимо знания биографии Мейерхольда, плотно связанной с биографией страны, познает от встречи с книгой, с личностью Мастера чувства гордости и боли, уважения и понимания. И благодарности за прикосновение к легенде. Потому что как бы тщательно ни были изучены творчество и жизнь Всеволода Эмильевича Мейерхольда, легенда остается. В необъяснимости таланта — единственной новости, по словам Пастернака, которая всегда нова.

Светлана Овчинникова.



ПОКОРЕНИЕ БЕСКОНЕЧНОСТИ. Сборник. Составитель В. Митрошенков. Библиотека журнала «Дружба народов». «Известия». М. 1981. 734 стр.

За последние десятилетия поток литературы, посвященной проблемам космонавтики, настолько расширился, что ее читатель, как библейский Ной, остро нуждается в некоем спасательном судне. В интегральных сводах знаний, где было бы все, но понемногу. Поэтому время от времени (хотя и не часто) появляются книги о космонавтике, составленные, а бы сказал, по энциклопедическому принципу Ноева ковчега. Именно такой подход к организации материалов отличает и сборник «Покорение бесконечности», в который вошли научно-публицистические статьи, художественная проза, хроника, репортаж, стихи и поэмы о человеке и космосе. Авторы сборника — известные советские писатели, журналисты, ученые, космонавты.

Эффект соединения в одной книге научной и художественной информации, преломленной в разных жанрах, весьма интересен. Читатель видит своеобразную стереопанораму, то есть весь круг горизонта темы, причем с различных точек зрения. Для восприятия такой «пространственной» темы, как покорение бесконечности, это, пожалуй, необходимо.

Осмыслить — а значит, и покорить — временную составляющую бесконечности помогает и жанр сборника в целом, определенный уже в предисловии Сергея Баруздина: книга представляет собой летопись — летопись космонавтики. В ней Кибальчич и Циолковский, Годдард и Оберт, Королев и Гагарин, лунный полет американских астронавтов, советские орбитальные станции...

Летопись опирается не только на события реальной истории, она использует всю глубину человеческой памяти, часто мифологической. Той, что дает ответы даже на «запретительный» для нее вопрос, «откуда есть пошла» Земля, вообще мир, космос. Вот как об

этом говорит А. Вергелис в «Космической поэме», помещенной в сборнике:

Небо... и земля... сотворены...
Но еще незыблема основа
Миллиардолетней тишины...
Спору нет, вначале было Слово.

Миф, сказка, фантазия, открывшие для человека процесс постижения бесконечности пространства и времени, могли выразить себя лишь в слове. С этой точки зрения сотворение мира в человеческой душе вполне материалистично, а слово, мысль действительно были вначале. Остались и сейчас. В статье П. Поповича рассказывается, например, о том, что каждому из американских астронавтов, проходивших психологическую проверку, следовало ответить на 566 (!) вопросов, среди которых встречались, положим, и такие: «Объясните чернильную кляксу». К сожалению, автор не приводит ответов, что было бы, по-моему, чрезвычайно интересно. Возможно, клякса — это взорвавшаяся точка. Как и наша Вселенная согласно одной из популярных космологических теорий. Так или иначе, но в любом случае слово сборника тревожит, тренирует мысль читателей.

И объединяет их. Освоение космоса, разгадка тайн Вселенной несомнимыми с враждой и злом — такова основная гуманистическая идея всех произведений сборника. Думается, это не только традиционный призыв к добру, характерный для русской литературы, — это еще и результат влияния самой темы книги, самого космоса, наконец, который действует на людей подобно луне у Шекспира, когда «она, как видно, не в меру близко подошла к земле и сводит всех с ума». С той, правда, принципиальной разницей, что космос, приближаясь; напротив, приводит в чувство. Так, в чуждой для жизни космической среде, где, по красивому, но холодящему сердце описанию П. Климюка, солнце необычно яркое, звезды немерцающие, небо темное, почти как черный бархат, где нет погоды, нет климата, вечная пустота и вечное безмолвие, по его же словам, «иногда человек ведет себя... не так, как на Земле, то есть странно. Ну, например, проявляет повышенную сентиментальность, обостряется реакция на доброту, на известия Земли».

В сущности, это поразительно: мы начинаем считать странным вполне естественное. И космос подобно искусству порой способен выправить этот крен. Разумеется, лишь порой, и было бы наивно, к примеру, полагать, что Пентагон, проникнувшись поэзией вечности, тут же аннулирует свои планы милитаризации космоса. Но все-таки это планы тех, кто в нем никогда не был. А вот как описывает в сборнике В. Степанов Нила Армстронга, железного и хладнокровного, точно компьютер, человека, во время его визита в Звездный городок (для сокращения не цитирую, а пересказываю автора, сохраняя его лексику).

Выступая в Доме культуры Звездного, Армстронг попросил выйти на сцену жен Гагарина и Комарова. Он порывисто шагнул к ним навстречу, бережно, словно подерживая, обнял Валентину Гагарину. Валентина уткнулась ему в плечо. Армстронг внешне переменялся в лице, задрожали губы,

Он сделал какое-то слепое движение в сторону переводчика, который держал предназначенные женщинам сувениры, но бессильно махнул рукой, а луч юпитера высветил выступившие у него на глазах слезы. Армстронг попросил что-то сказать, но только покачал головой и опять обнял Валентину...

Идею космического братства выразили и другие авторы сборника. Чаще менее эмоционально, так сказать, в рабочем порядке. Это не достоинство и не недостаток. Это просто иная форма очень важной по содержанию мысли. Той самой, что будто специально для эпиграфов и цитат рецензентов лаконично сформулировал Экзюпери, один из любимых писателей Юрия Гагарина: «Чего ради нам ненавидеть друг друга? Мы все заодно, уносимые одной и той же планетой, мы — команда одного корабля».

А. Белорусец.



И. ОВСЯНИЙ. 1939: последние недели мира. Как была развязана империалистами вторая мировая война. М. Политиздат. 1981. 319 стр.

Об истоках второй мировой войны, о предшествующих ей событиях написано множество книг, исследований, диссертаций. И все же некоторые, подчас важные факты истории предвоенной Европы окончательно проясняются лишь теперь, когда рассекречиваются сейфы и бронированные комнаты, в которые на долгие годы были упрятаны архивные документы дипломатических служб и разведок буржуазных правительств. Эти материалы легли в основу художественно-документальных очерков доктора исторических наук И. Овсяного, составивших его книгу.

Империалистические противоречия накануне второй мировой войны между западными «демократиями» и третьим рейхом отнюдь не изменили их общую стратегическую линию: сокрушить первое социалистическое государство — Советский Союз. Как известно, практически с согласия Лондона и Парижа готовился захват гитлеровской Германией Австрии и Чехословакии, разгром Польши — Запад рассчитывал направить вермахт на восток, против СССР. Активную роль в реализации этих замыслов правительства ведущих европейских держав отводили тайной дипломатии и разведке.

Особенно циничный и опасный для народов характер приобрела деятельность дипломатического корпуса и разведок Запада летом 1939 года. Например, в августе, когда политический кризис в Европе приближался к кульминации, английский правительство через эмиссара гитлеровцев в Лондоне сделало Берлину секретное предложение о заключении союза между Англией и Германией. Чемберлен предложил Герингу тайно прибыть в Лондон. Однако подписание советско-германского пакта сорвало планы создания этого антисоветского союза.

Поглощенные политическими интригами против СССР, многие западные лидеры игнорировали, как правило, не только интересы безопасности народов других стран, но и собственных народов, борющихся с фаши-

змом. Так, используя беспечность французских властей, гитлеровская разведка с поразительной легкостью узнавала планы французского правительства, располагала достоверными данными о вооруженных силах Франции, об укреплениях «линии Мажино», о закрытых решениях Национального собрания. По свидетельству бывшего начальника французской контрразведки генерала Пайоля, для абыера во Франции не было секретов. Даже сам Пайоль, по должности обязанный бороться за сохранение в тайне информации государственной важности, порой мог лишь с удивлением констатировать ее утечку. «Это невероятно!» — пишет он в своих мемуарах, вспоминая, в частности, как протокол одного из драматических секретных заседаний комиссии по иностранным делам сената был дословно передан абыверу.

В Англии по заданию Канариса с 1936 года беззащитно орудовал гитлеровский агент Треек, который близко сошелся с заместителем начальника Интеллидженс сервис Мензисом. Некий барон де Ропп был двойным агентом немецких и британских спецслужб, о чем было известно и в Германии и в Англии. Де Ропп снабжал Берлин ценнейшей информацией и в то же время, будучи ближайшим советником фюрера, как правило с его ведома, передавал некоторые соображения Гитлера английской разведке. Ряд новых данных позволил автору сделать вывод, что шеф гитлеровской разведки Канарис играл роль «дремлющего партнера» Интеллидженс сервис. О его подлинной роли в годы войны знали лишь три человека — Мензис, Черчилль и Иден.

Приведенные в книге факты и документы, относящиеся к тайнам политики империалистических держав, раскрывают авантюризм и недалекость буржуазных политических деятелей в подходе к вопросу о войне и мире, разоблачают тех, кто способствовал подготовке и развязыванию второй мировой войны.

С. Таров.



А. И. РАКИТОВ. Историческое познание (Системно-гносеологический подход). М. Политиздат. 1982. 303 стр.

С тех пор как место устного поэтического рассказа, легенд и героического эпоса заняла письменная проза, а история постепенно выделлась как самостоятельная отрасль науки, о ней постоянно высказывались самые различные суждения, подчас противоположные. Аристотель относил историческое знание к проявлениям памяти и полагал, что оно ближе к поэзии, чем к науке; Маркс и Энгельс писали: «Мы знаем только одну-единственную науку, науку истории». И в наши дни одни с благоговением произносят: «исторический опыт», «история учит»; другие смеются над наивной верой в возможность избежать ошибок, изучая прошлый опыт человечества, иронизируют по поводу «переписывания» истории — вечной служанки политики.

Между тем обращение к историческому

опыту — естественная норма поведения человека, живущего в обществе. Так же как человек, утративший память, перестает быть человеком, историческое сознание — непременная черта любого человеческого общества. Поэтому в периоды социально-экономических и политических сдвигов, в дни революций и в смутное время междуцарствий, когда ускоряется процесс созревания классового, этнического или группового сознания борющихся социальных сил, всегда и повсюду усиливается интерес к истории. Интерес этот проявляется по-разному: в стремлении передового класса познать объективные законы развития общества, в желании уходящих с исторической арены классов идеализировать прошлое, в манипулировании реваншистов различными мастей историческими фактами (хрестоматийные примеры такого манипулирования — попытки пересмотра истории второй мировой войны милитаристскими кругами ФРГ и Японии). Но в любом случае — истинное или ложное — историческое познание активно участвует в формировании социального самосознания народа, класса или определенной общности людей.

Об этой непреходящей функции исторического познания, так же как и о других его функциях, рассказывает новая книга видного советского специалиста по логике науки, теории познания, методологии и философии науки А. Ракитова. В ней затронут очень широкий круг тем — генезис исторического интереса, историческая реальность и историческое познание, структура исторического исследования, историческая истина и ее связь с идеологией, исторический факт (связанные с ним дискуссионные проблемы разбираются особенно подробно), исторический закон и историческое предсказание. Перечень этот далеко не полон, и любая из названных тем в свою очередь включает в себя немало сложных вопросов.

В монографии А. Ракитова критически анализируется огромный материал: труды Гегеля и Ключевского, сочинения Геродота

и индийский эпос «Махабхарата», работы современных западных историков и философов Л. Голдстайна, К. Ясперса, К. Поппера, видных и начинающих советских исследователей. Причем в своих рассуждениях автор опирается не только на историко-философский фундамент, но и на данные физики, математики, достижения техники, произведения художественной литературы. На страницах книги идет речь об истории Греции, античной философии, дискретных автоматах, специальной теории относительности, применении в истории математических методов (клиометрии); цитата из Светония с описанием внешности Гая Юлия Цезаря соседствует с математической формулой закона свободного падения тел вблизи поверхности Земли, а неосуществимость желания Фауста остановить мгновение объясняется его неисторичностью. Такой выход на стык наук, информация из разных областей знания, умело используемая автором, помогает ему более убедительно и даже, я бы сказала, более наглядно обосновать собственные мысли и выводы.

Помогает этому, на мой взгляд, и та форма, в которую данные мысли и выводы облечены. Сам автор, впрочем, анализируя проблему образности в сфере исторического познания, присоединяется к мнению ряда исследователей о вспомогательности образа и стиля при достижении главной цели исторической науки — истины и подчеркивает, что «в научно-историческом исследовании существует особая эстетика рационального мышления, которая отнюдь не идентична эстетике художественно-литературного мышления». Тем не менее образность языка монографии А. Ракитова следует отнести к тем ее достоинствам, которые безусловно расширяют круг ее читателей, интересующихся историей и философским обобщением опыта исторического познания.

С. Кузнецова,
доктор исторических наук.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



ПОЛИТИЗДАТ

И. Евдокименко, О. Ярыгина. Великое братство народов. Цифры и факты. 222 стр. Цена 40 к.

Советский Союз. Политико-экономический справочник. 351 стр. Цена 4 р. 20 к.

Н. Эйдельман. Вольшой Жанно. Повесть об Иване Пущине. («Пламенные революционеры»). 366 стр. Цена 1 р. 30 к.

Экономическая политика КПСС. 352 стр. Цена 70 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

Д. Авотыня. Малые гавани. Стихи. Перевод с латышского. 103 стр. Цена 35 к.

М. Вега. Ночной корабль. Стихи. Составление и предисловие И. Фоянкова. 175 стр. Цена 75 к.

Н. Дементьев. История моей любви. Роман. 239 стр. Цена 1 р. 10 к.

П. Загребельный. Роксалана. Роман. Перевод с украинского. 639 стр. Цена 3 р. 10 к.

Ю. Помозов. Нет земли прекрасней. Повести, рассказы, сказания. 272 стр. Цена 1 р. 20 к.

Ф. Халваши. Надежда. Стихи. Перевод с грузинского. 127 стр. Цена 55 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

В. Кханденар. Любовь и ненависть. Роман. Перевод с марахити. 391 стр. Цена 1 р. 50 к.

Д. Мильтон. Потерянный рай. Поэма. Перевод с английского. 414 стр. Цена 2 р. 20 к.

В. Монтилла. Ночи без ночлега. Стихотворения. Перевод с литовского. 238 стр. Цена 65 к.

Туан Нгуен. Избранное. Повесть, рассказы, очерки. Перевод с вьетнамского. 527 стр. Цена 3 р. 60 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

С. Бобков. Судьба. Стихи. 112 стр. Цена 50 к.

Д. Досжанов. Ветер Львиная Грива. Рассказы. Перевод с казахского. 320 стр. Цена 95 к.

Истоки. Альманах. Стихи и проза молодых. 367 стр. Цена 1 р. 50 к.

В. Липатов. Собрание сочинений в 4-х тт. Т. 1. 590 стр. Цена 2 р. 30 к.

Б. Худайназаров. Приглашение в Каракумы. Стихи. Перевод с туркменского. 110 стр. Цена 45 к.

«СОВРЕМЕННОК»

А. Абрамов. В соавторстве со временем. Исследования, статьи, литературные портреты. 334 стр. Цена 80 к.

К. С. Аксаков, И. С. Аксаков. Литературная критика. («Библиотека «Любителям российской словесности. Из литературного наследия») 383 стр. Цена 3 р. 30 к.

А. Кончиц. Под отчим небом. Повести и рассказы. 351 стр. Цена 1 р. 60 к.

А. Старцев. Черный ячмень. Повести. 240 стр. Цена 1 р. 10 к.

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

М. Алексеев. Цена ему — жизнь. Слово о хлебе. 110 стр. Цена 30 к.

Л. Волынский. Лицо времени. Книга о русских художниках. 238 стр. Цена 2 р.

В. Корсунская, Н. Верзилин, В. И. Вернадский. Научно-художественная книга. 95 стр. Цена 40 к.

Е. Пермьяк. Рассказы и сказки. 398 стр. Цена 80 к.

«ПРОГРЕСС»

Из современной аргентинской поэзии. Сборник. Перевод с испанского. 215 стр. Цена 1 р. 30 к.

Р. Лоуэлл. Избранное. Стихотворения. Перевод с английского. 263 стр. Цена 1 р. 50 к.

Э. Роблес. Морская прогулка. Однажды весной в Италии. Иступленное лето. Романы. Перевод с французского. 415 стр. Цена 2 р. 60 к.

Ж. Сарамаго. Поднявшиеся с земли. Роман. Перевод с португальского. 391 стр. Цена 1 р. 60 к.

МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Р. Бородулин. Поэма признания. Стихи и поэмы. Перевод с белорусского. Минск. «Мастацкая литература». 206 стр. Цена 1 р. 20 к.

Горы и звезды. Лирика Горного Алтая. Перевод с алтайского И. Фоянкова. Горно-Алтайск. Алтайское книжное издательство. 334 стр. Цена 1 р. 30 к.

А. Каландадзе. Неншевская клятва. Роман. Тбилиси. «Мерани». 568 стр. Цена 2 р. 40 к.

Пою мое Отечество. Поэзия Советского Киргизстана. Составление и предисловие В. Вакуленко. Фрунзе. «Кыргызстан». 168 стр. Цена 55 к.

Примокшанье мое. Литературно-художественный сборник. Составители А. А. Долгачев, Н. М. Мирская. Саранск. Мордовское книжное издательство. 263 стр. Цена 1 р. 90 к.

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР» ЗА 1982 ГОД

В дни визита в ФРГ: Евгений Григорьев. Высокая миссия мира; Владлен Кузнецов. Кто мы? II — 3.

В. И. Ковотоп. Дорожить землей. IX — 3.
Георгий Марков. Советская многонациональная. XII — 1.

Ш. Рашидов. Великое братство народов. VI — 3.

Станица Вёшенская, Шолохову М. А. IX — 2.

РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ

Федор Абрамов. Рассказы. V — II.

Витаутас Бубнис. Час судьбы. Роман. Перевел с литовского Виргилиус Чепайтис. II — 56; III — 65.

Борис Васильев. Вы чье, старичье? Рассказ. V — 41.

Феодосий Видрашку. Набережная Надежды. Современные челнинские картины. IV — 5.

Андрей Вознесенский. О. XI — 111.

Даниил Гранин. Ты взвешен на весах... Рассказ. IX — 72.

Ион Друцэ. Белая церковь. Роман. VI — 15; VII — 42.

Николай Задорнов. Гонконг. Роман. I — 90; II — 129.

В. Каверин. Верлиока. Сказочная повесть. I — 6.

Владимир Карпов. Полководец. Документальная повесть. V — 64; VI — 65.

Валентин Катаев. Юношеский роман моего старого друга Саши Пчелкина, рассказанный им самим. X — 9; XI — 162.

Надежда Кожевникова. Елена прекрасная. Повесть. Предисловие Юрия Нагибина. IX — 15.

Анатолий Кривоносов. Провинция. Повесть. VIII — 7.

Юрий Нагибин. Терпение. Рассказ. II — 25.

Б. Носик. Запах пшата. Рассказ. V — 34.

Георгий Пряхин. День и час. Повесть. X — 106.

Александр Рекемчук. Тридцать шесть и шесть. Роман. XI — 9; XII — 12.

М. Роцин. Шура и Просвирняк. Маленькая повесть. III — 15.

Роберт Пенн Уоррен. Потоп. Роман. Перевела с английского Е. Гольшева. IV — 128; V — 132; VI — 163; VII — 147; VIII — 131.

Илья Штемлер. Универмаг. Роман. VIII — 82; IX — 110; X — 170.

СТИХИ И ПОЭМЫ

Михаил Басманов. Из лирики. VIII — 81.
Бахтияр Вагабзаде. Моей стране. Стихи. Перевела с азербайджанского Римма Казакова. I — 3.

Константин Ваншенкин. Жизнь человека. Стихи. IV — 3.

Андрей Дементьев. Три стихотворения. IV — 124.

Владимир Дюков. Читала женщина стихи. Стихотворение. III — 64.

Евгений Евтушенко. Мама и нейтронная бомба. Поэма. VII — 3.

Из поэзии Узбекистана: Уйгун, Аскад Мухтар, Мухаммад Али, Зульфия, Эркин Вахидов, Рамз Бабаджан, Раим Фархади, Жиенбай Избасканов (с каракалпакского), Джуманияз Джаббаров, Тураб Тула, Гульчехра Джураева, Абдулла Арипов, Аман Матчан, Шухрат, Шукрулло, Мирмухсин, Хикметулла Аимбетов (с каракалпакского), Мухаммад Рахманов, Самариддин Сирожиддинов, Х. Даврон, Шукур Курбанов, Шавкат Рахманов. Перевели Александр Наумов, Раим Фархади, С. Северцев, Александр Файнберг, Альберт Налбандян, Римма Казакова, Евг. Евтушенко, Юлия Нейман, Н. Габриэлян, Г. Резниковский, Сабит Мадалиев. VI — 9, 154.

Из стихов Эрве Базена. Перевод с французского М. Кудинова. III — 61.

Из украинской поэзии: Микола Бажан, Андрей Малышко, Борис Олейник, Платон Воронько, Василь Гей, Микола Нагнибеда, Виталий Коротич, Дмитро Павлычко, Александр Пидсуха, Савва Голованивский. Перевели Юрий Саенко, Лев Смирнов. XI — 3, 107.

Яков Козловский. Наш союз разноплеменный. Стихи. VIII — 126.

Вячеслав Костыря. Песня горожанина. Стихи. VIII — 129.

Март: Евгения Славорова, Надежда Кондакова, Евгения Гай, Марина Тарасова, Татьяна Николаева, Фарида Расулова, Валентина Сляднева, Ольга Кондратьева, Эльмира Блинова, Анна Колесникова, Ниша Габриэлян, Людмила Олзоева, Татьяна Митрофанова, Лорина Дымова, Алла Тер-Акопян, Светлана Кнопина, Наталья Стрижевская, Лидия Григорьева, Мария Арбатова, Наталья Зайцева, Корнелия Войткевич, Наталья Грачева, Елена Нестерова, Вера Киселева. Стихи. III — 3.

Александр Межиров. Огни. Стихи. VIII — 78.

Владимир Михановский. Из цикла «Часы». Стихи. IV — 177.

Мужество: Николай Флёров, М. Богословский, Владимир Нежданов, Иван Петрухин, Борис Репин, Н. Рудой, Игорь Селезнев, Игорь Тарасевич, Феликс Чуев. Стихи. II — 19.

На трассе поиска: Сергей Бобков, Карен Джангиров, Николай Добруха. Стихи. I — 158.

Память: В. Татаренко, Рустем Кутуй, Сергей Каратов, Д. Нечаенко. Стихи. IV — 125.

Юрий Поляков. Воспоминания о райкоме. Стихи. IV — 178.

Поэтическая тетрадь: Александр Коваль-Волков, Вадим Сидоров, Глеб Пагирев, Николай Петропавловский, Николай Арсеньев, Иван Кнуру, Владимир Бут, Ник. Кутов, Виктор Боков, Александр Куницын, Татьяна Андропова. V — 3.— Карло Каладзе (перевел с грузинского Лев Озеров), Владимир Диваков, Гилемдар Рамазанов (перевел с башкирского Р. Бухараев), Александр Пахомов, Борис Куяев. VIII — 3.— Василий Федоров, Валентин Сорокин, Елена Николаевская, Игорь Жданов, Марк Лясянский, Николай Година, Аркадий Соловьев, Виктор Смагин, Ян Вассерман, Валентин Резник, Сергей Агальцов, Юрий Говердовский, Юрий Михайлик, Геннадий Калашников. X — 3, 164.— Сергей Смирнов, Григор Абашидзе (перевела с грузинского Елена Николаевская), Эмилиян Буков (перевели с молдавского Александр Големба, Алексей Смирнов), Бурдыназар Худайназаров (перевел с туркменского О. Шестинский), Расул Гамзатов (перевел с аварского Яков Козловский), Джубан Муддагалиев (перевел с казахского Вл. Савельев), Юстинас Марцинявичюс (перевел с литовского Лазарь Шерешевский), Уно Лахт (перевел с эстонского Александр Големба), Сибгат Хаким (перевел с татарского Николай Беляев). XII — 7, 121.

Вадим Рабинович. Пять стихотворений. II — 54.

Д. Самойлов. Три стихотворения. I — 87.

Владимир Соколов. Вальс. Стихи. I — 88.

Галина Шергова. Смертный грех. Поэма. IX — 87.

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

К. Деревянко. Военное счастье. III — 199.

Мануил Семенов. Быть тринадцатым. Из крокодильского прошлого. VIII — 195.

М. Г. Ярошевский. Встречи с Орбели. VIII — 183.

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

Сильва Капутикян. На стыке веков и века. Перевела с армянского Т. Смоленская. XII — 191.

ПУБЛИЦИСТИКА

Юрий Азаров. Самое человеческое. Записки о нравственном воспитании. VI — 193.

Александр Вольф. Арагонитовый туман. XI — 228.

ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

Альфред Коц. Бессменная вахта Александра Нерога. II — 217.

Александр Левиков. Горькая сладкая жизнь. IX — 184.

П. Ребрин. Улица воспрянувших. VII — 192.

В МИРЕ НАУКИ

Игорь Бубнов. Пред будущим мы только дети. X — 201.

Константин Феоктистов, Игорь Бубнов. В ближнем и дальнем космосе. I — 208.

В МИРЕ ИСКУССТВА

Елена Давгулова. Содружество. Беседы с народным художником СССР Д. А. Шмаринным. V — 224.

НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

Федор Бурлацкий. Междуцарствие, или Хроника времен Дэн Сяопина. IV — 205.

Г. Герасимов. Физиогномика ядерного Марса. I — 197.

Александр Овчаренко. Размышляющая Америка. III — 184.

С. Потапов. Канада перед выбором. VII — 225.

Эдуард Розенталь. На берегах Конго. IX — 211.

Что с Америкой? Диалог В. И. Кобыша и Г. А. Арбатова. IV — 194.

Юрий Ярцев. Реальность зла. XII — 153.

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Сергей Наровчатов. «Во Имя...». Публикация и комментарии Д. Тевекелян. I — 176.

Ксения Некрасова. Стихи. Публикация и предисловие Л. Рубинштейна. II — 215.

Письма Л. Н. Толстого брату Сергею Николаевичу. Предисловие Э. Е. Зайденшур. IX — 202.

Николай Тарасов. Голос за кадром. Публикация Елены Тарасовой. V — 193.

«Художник, очень серьезный, талантливый и зоркий». К 90-летию со дня рождения К. А. Федина. Публикация Н. Фединой. Предисловие Е. Краснощековой. I — 161.

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

Борис Вахтин. Гибель Джонстауна. II — 230.

А. Дудко, Л. Любич. Генерал Тхор. VIII — 205.

Из переписки К. Г. Паустовского. Публикация Г. А. Арбузовой. VII — 182.

Маризгта Шагинян. 50 писем Д. Д. Шостаковича. Публикация и предисловие Елены Шагинян. XII — 128.

З. Шейнис. Страницы жизни Коллонтай. IV — 179; V — 195.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Вадим Баранов. Дело критики — выносить профессиональные суждения. II — 248.

А. Бочаров. Экзаменует жизнь. VIII — 226. Анатолий Бочаров — Евгений Сидоров. Это десятилетие. Диалог. II — 255.

Лидия Гинзбург. Человек за письменным столом. По старым записным книжкам. VI — 235.

Константин Кедров. Звездная книга. IX — 233.

Вадим Ковский. Вечнозеленое древо жанра. Заметки о современном грузинском рассказе. XII — 215.

Феликс Кузнецов. «Нигилизм» и нигилизм. О некоторых новомодных трактовках творческого наследия Писарева. IV — 229.

Л. Лазарев. Долг и мужество. Заметки о поэзии Константина Симонова. I — 232.

В. Пискунов. Авторитет истории. XII — 200.

И. Роднянская. Предчувствия и память. X — 227.

М. Синельников. Роман и политика. Над страницами «Победы» Александра Чаковского. XI — 250.

И. Стрелкова. Человек, время, надежды. IX — 227.

Д. Текекелян. Сотри случайные черты. V — 236; VI — 216.

Точка отсчета: Валентин Берестов. Секундная стрелка истории; Владимир Огнев. Виктор Шкловский учит мыслить; В. Каверин. Старый друг. III — 212.

В. Турбин. Тогда, теперь и потом. Над новыми страницами прозы. III — 206.

Семен Фрейлих. Динамика современности. X — 238.

Арка. Езяшевич. Учителя и ученики. VII — 237.

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Литература и искусство

Леонид Бежин. Осмысление традиций (А. Лебедев. Грибоедов (Факты и гипотезы). Ст. Рассадин. Фонвизин). III — 240.— Ответственность за слово (Д. С. Лихачев. Литература — реальность — литература). IX — 256.

Г. Белая. Не только дорога — все поле (И. Дедков. Во все концы дорога далека). VII — 258.

Сергей Белов. Вечные поиски истины (Эмилиян Станев. Похититель персиков. Повесть. Когда тает иней и другие рассказы. Повести и рассказы последних лет). VIII — 253.

Александр Борщаговский. Длиною в жизнь (Юозас Балтушис. Сказание о Юозасе). IV — 256.

Марина Борщевская. Музыка и слово (Давид Самойлов. Избранное. Давид Самойлов. Залив). VII — 252.

Григорий Бровман. Постигая связь времен (Вадим Кожевников. Корни и крона. Роман. Михаил Алексеев. Драчуны. Роман. Александр Проханов. Дерево в центре Кабула. Роман). XII — 227.

И. Винокурова. «Есмь я, и буду...» (Марина Цветаева. Сочинения в двух томах. Марина Цветаева. Мой Пушкин). IX — 245.

Иосиф Герасимов. Поиск своего пути (Франц Таурин. У времени в плену. Роман. Книга первая). III — 232.

Я. Гордиг. Неизбежность прозрения (Чингиз Гусейнов. Неизбежность). II — 270.

И. Грекова. Счастливым дар сказочника (Корней Чуковский. Стихи и сказки. От двух до пяти). III — 233.

Уран Гуральник. Грани критического анализа (Михаил Синельников. Право отвечать за все. Рабочий человек в прозе

70-х годов. Александр Панков. Вечное и злободневное. Современная проза: конфликты, темы, характеры). III — 244.

А. Зверев. Будни забытой улицы (Луи-Поль Боон. Избранное. Из современной бельгийской поэзии). IX — 252.

А. Зись. Действенный тип исследования (А. Караганов. Не только отражает, но и творит). X — 254.

В. Камянов. Из первых рук (Виталий Семин. Плотина. Роман). I — 246.

Руслан Киреев. Транзитом через жизнь (Анатолий Курчаткин. Через Москву проездом. Рассказы прошедшего года). IX — 242.

А. Кондратович. Каждый из нас все еще воюет... (Василий Субботин. Избранные произведения в двух томах). V — 255.

В. Косолапов. Наша многонациональная литература (Вместе с партией, вместе с народом. Летопись литературно-творческой деятельности Союза писателей СССР между VI и VII съездами. Содружество литературы и труда. Материалы всесоюзных творческих конференций писателей и критиков 1978—1980 гг.). IV — 254.— Память неотступная (Георгий Холопов. Иванов день. Повести. Рассказы. Воспоминания). VIII — 251.

Марк Лисянский. Поэзия в строю (Из фронтной лирики. Стихи русских советских поэтов). V — 263.

Ю. А. Лукин. Проверка современностью (М. Б. Храпченко. Собрание сочинений в четырех томах). XII — 239.

Вл. Новиков. Философия метафоры (Андрей Вознесенский. Соблазн. Стихи. Андрей Вознесенский. Безотчетное. Новая книга). VIII — 246.

О. Новикова, В. Новиков. Чистый звук (Анатолий Жигулин. Избранное. Стихи). III — 247.

В. Оскодкий. «Строки поэтов живут века...» (Пиримкул Кадыров. Звездные ночи. Роман). VI — 251.

Г. Петрова. Постпроизводственные приключения инженера Холина (Евгений Дубровин. Курортное приключение. Повесть. Евгений Дубровин. Мама № 236 в бочонке с яблоками. Юмористические рассказы и фельетоны). IV — 260.

Ст. Рассадин. Биография легенды (М. Туровская. Бабанова. Легенда и биография). I — 252.

А. Рубашкин. Не только о войне (Алесь Адамович. О современной военной прозе. Алесь Адамович. Война и деревня в современной литературе). XI — 262.

Б. Рунин. Снимается кино (Энн Ветмаа. Сребропярхи. Роман). III — 236.

Ким Селихов. Ступени наших дней (Джубан Мулдагалиев. Голос любви. Стихи и поэмы). VII — 250.

Светлана Соложенкина. Современность современного (Сагдулла Караматов. Золотые пески. Роман. Уктам Усманов. Наедине. Роман). VI — 246.

Е. Старикова. Встреча и разлука с Померанцевым переулком (Ирина Велесбовская. Вид с балкона. Повести и рассказы). XII — 234.

В. Турбин. Аул и мир (Оралхан Бокеев. Поющие барханы. Повести). XII — 224.

Владимир Туркин. Журнал и стихи (Отдел поэзии в ежемесячнике «Дальний Восток» (1979—1981). II — 267.

А. Турков. Живая вода памяти (Наталья Ильина. Судьбы. Из давних встреч). II — 273.

Сергей Чупринин. Дар бескорыстия (А. Михайлов. Тайны поэзии. Книга критических эссе. А. Михайлов. Два ключа. Литературные споры). I — 255.— Ясным светом (Вацлав Михальский. Стрелок. Повести, рассказы, роман. Вацлав Михальский. Все уносящий ветер... Роман, повести, рассказы). VI — 252.

В. Шитова. В прозе и драме (Михаил Рощин. Река. Повести и рассказы. Михаил Рощин. Рассказы с дороги. Михаил Рощин. Пьесы). V — 259.

Н. Эйдельман. Вклад в пушкиниану (Ю. М. Лотман. Александр Сергеевич Пушкин. Биография писателя). VI — 255.

Р. Юреиев. Чудо братьев Васильевых (Д. Писаревский. Братья Васильевы). II — 274.

Великие белорусские писатели

Г. Киселев. Уроки Якуба Коласа (Якуб Колас. Собрание сочинений в четырех томах. Т. 1. Стихотворения и поэмы. 1904—1950. Якуб Колас. Избранное). X — 249.

Вл. Короткевич. Он один такой — Янка Купала (Янка Купала. Собрание сочинений в трех томах. Т. 1. Стихотворения. 1904—1917. Т. 2. Стихотворения. 1918—1942. Поэмы. 1906—1939. Янка Купала. Избранное). X — 252.

Политика и наука

О. Алякринский. «Тихое десятилетие»?.. (Американская художественная культура в социально-политическом контексте 70-х годов XX века). VIII — 256.

Ю. Амиантов. Новое о российско-финляндских революционных связях (Ю. Ф. Дашков. В. И. Ленин и финляндский путь «Искры». Ю. Ф. Дашков. У истоков добрососедства. Из истории российско-финляндских революционных связей). IV — 263.

В. Баевский. Стиль историка (Из литературного наследия академика Е. В. Тарле). VIII — 259.

Р. Баладин. От освоения к взаимодействию (Стратегия освоения). VI — 260.

А. Беляк. Философия «партии середины» (П. С. Шкуринов. Позитивизм в России XIX века). III — 260.

Дм. Биленкин. Социальный ключ экологии (П. Г. Олдак. Современное производство и окружающая среда. П. Г. Олдак. Сохранение окружающей среды и развитие экономических исследований). III — 256.

В. Бузов. Что в действительности говорил Мао Цзэдун (Маоизм без прикрас. Некоторые уже известные, а также ранее не опубликованные в китайской печати высказывания Мао Цзэдуна) III — 252.

Евг. Воеводин. Повесть о труде (Юрий Помпеев. Движение. Документальная повесть. Юрий Помпеев. Имя подлинное — рабочий). III — 250.

Эрвст Генри. Тон эпохи (Михаил Озеров. От Гринвича до экватора. Очерки). IV — 266.

А. Грунт. Изучая опыт русских революций (Борьба за массы в трех революциях в России. Пролетариат и средние городские слои). XI — 264.

Юрий Давыдов. Необъкновенный полковник (А. Володин, Б. Итенберг. Лавров). XII — 251.

Александр Егорович. Энергия наших побед (Рассказы о партии. Том IV). IX — 260.

Валентина Елисеева. Поиск героя (Анатолий Злобин. Встреча, которая не кончается. Очерки). XII — 245.

Ю. Каграманов. Путешествие в историю Дикого Запада (Ирвинг Стоун. Достойные моих гор. Открытие Дальнего Запада, 1840—1900). VII — 261.

Вик. Казаринов. Синхронный перевод с военного (И. М. Левин. Записки военного переводчика). X — 257.

Вл. Карцев. Эталон (Воспоминания о И. Е. Тамме). VIII — 261.

Айдер Куркчи. Восток: из средневековья в современность (С. Л. Агаев. Иран в прошлом и настоящем (Пути и формы революционного процесса). Мусульманский мир. 950—1150). IX — 262.

В. Лобачев. «Дом со многими комнатами» (А. Г. Глухов. ...Звучат шаги письма. Судьбы древних библиотек). VII — 263.

София Майдаевская. Город-легенда (Киев революционный, боевой, трудовой. 1982. Слово о Киеве. Стихи и рассказы украинских писателей. Киев вчера, сегодня, завтра. Фотоальбом в двух томах). XII — 249.

В. Мордкович. Как делается физика (Элевтер Андроникашвили. Воспоминания о жидком гелии). III — 258.

Ю. Орфеев. Что такое научный факт (В. П. Лебедев. Научные принципы и современные мифы). IX — 265.

В. Победовосцев. «Общего дела водители» (А. Гаврилов. Мужество и человечность). V — 265.

А. Преображенский, М. Курмачева. История и публицистика (Ф. Нестеров. Связь времен. Опыт исторической публицистики). I — 263.

К. Преображенский. На скамье подсудимых — милитаризм (Л. Н. Смирнов, Е. Б. Зайцев. Суд в Токио). II — 282.

В. Прищепа. Автоматы на орбитах (П. А. Агаджанов, А. А. Большой, В. И. Галкин. Спутники связи. А. А. Большаков. Космические методы в океанологии). X — 262.

С. Тихвинский. Древнекитайская философия и политическая борьба в КНР (Л. С. Переломов. Конфуцианство и легизм в политической истории Китая). I — 257.

Г. Федоров. В мире богов и героев (Мифы народов мира. Энциклопедия. В двух томах). VIII — 262.

Лев Филатов. Игра для всех (Валерий Винокуров. Шаг к истине. Статьи, очерки, интервью. Михаил Сушков. Футбольный театр). VI — 262.

В. Френкель. Первые шаги Вселенной (Стивен Вайнберг. Первые три минуты Современной вселенной на происхождение Вселенной). XII — 254.

П. Черкасов. Правда о фашизме (Д. Мельников, Л. Черная. Преступник номер 1. Нацистский режим и его фюрер). II — 277.— Без родины (Л. К. Шкаренков. Агония белой эмиграции). X — 258.

КОРОТКО О КНИГАХ

А. Панкин.—Д. Е. Фурман. Религия и социальные конфликты в США. А. Гордин.—Восстановление памятников культуры (Проблемы реставрации). Н. Климонтович.—Тимур Зульфикаров. Поэмы странствий. Ирина Шевелева.—Равиль Бухараев. Редкий дождь. Стихи. Е. Хомутова.—А. Л. Остров. «Как слово наше отзовется...». А. Майкапар.—Исполнительское искусство зарубежных стран. Эр. Ханпир.—В. П. Козлов. Колумбы российских древностей. I — 266.

Антон Иванов.—Евгений Чернов. Этот высокий девятый этаж. Рассказы и повести. Евгений Чернов. День до обеда. Рассказы и повести. Т. Шеханова.—Виктор Гончаров. Летящий мальчик. Поэма. Н. Еремин.—Б. Я. Розен, Я. Б. Розен. Металл особой ценности. И. Дрейцер.—Е. Н. Пердик. Город в Сибири (Проблемы, опыт, поиск решений). II — 285.

Евгений Осетров.—Вячеслав Куприянов. От первого лица. Стихотворения. Светлана Соложенкина.—Майя Луговская. Кольцо. Стихи. В. Стрелецкий.—Арсений Гулыга. Искусство истории. Д.м. Молдавский.—О. Смола. Лирика Асева. Юрий Давыдов.—А. Г. Тартаковский. 1812 год и русская мемуаристика (Опыт источниковедческого изучения). Т. Мотылева.—С. Вайман. Бальзаковский парадокс. Н. Минаева.—Л. С. Пустильник. Жизнь и творчество А. Н. Плещеева. Алексей Парин.—В. Красовская. Западновропейский балетный театр. Очерки истории. От истоков до середины XVIII века. В. Красовская. Западновропейский балетный театр. Очерки истории. Эпоха Новерра. Ю. Поляков.—Живое слово науки. Очерки об ученых-лекторах. Валентин Ерашов.—И. Донков, С. Морозов. Из когорты несгибаемых. Очерк жизни и деятельности С. Я. Аллилуева. Ю. Грицкий.—И. Н. Арцибасов. За пределами законности (О преступлениях империализма против мира и человечества). III — 263.

Владимир Дагуров.—Юрий Лобанцев. Дальний свет. Стихи и поэмы. Б. Львов-Анохин.—Юрий Мочалов. Композиция сценического пространства. Поэтика мизансцены. Б. Исаев.—Ю. П. Шапрапов. Рукою Владимира Ильича. О ленинских пометках на книгах, журналах и газетах. А. Грунт.—Е. Н. Городецкий. Советская историография Великого Октября. 1917 — середина 30-х годов. Очерки. IV — 269.

Евгений Папернов.—Равиль Файзуллин. Короткие стихи. Равиль Файзуллин. Снег новогодья. Стихи. Петр Ткаченко.—Владимир Малахов. Жили мы на войне. Фронтовые рассказы. Андрей Василевский.—Виктор Горн. Характеры Василия Шукшина. Василий Макарович Шукшин (1929—1974). Библиографический указатель. П. Черкасов.—В. М. Далин. Историки Франции XIX—XX веков. V — 268.

Б. Брайннина.—Цвет абрикоса. Повести и рассказы армянских писателей в переводах С. Хитаровой. Лидия Мешкова.—Наталья Соколова. Осторожно, волшебное! Сказка большого города. Роман. Владимир Осинин.—Виктор Федотов. Позднее признание. Стихи. Вл. Котовсков.—Часть общепролетарского дела. Литературная критика в дореволюционных большевистских изданиях. Русская советская литературная критика (1917—1934). С. Овчинникова.—Рина Зеленая. Разрозненные страницы. Юрий Давыдов.—Е. И. Меламед. Джордж Кеннан против царизма. А. Белорусец.—Фантастика-81. VI — 266.

Евгения Зубарева.—Александр Кулешов. Избранные произведения в 2-х тт. Вл. Блок.—В поисках реалистической образности. Проблемы советской режиссуры 20—30-х годов. Ст. Золотцев.—Георг Эмин. Избранные произведения в двух томах. Георг Эмин. Стихи. В. Переведенцев.—А. Удайцов. Поезд надежды. Экологические меридианы и параллели. А. Преображенский.—Г. П. Куропятник. Россия и США. Экономические, культурные и дипломатические связи. 1867—1881. VII — 266.

Андрей Василевский.—Мака Джохадзе. Человек из маленького двора. Рассказы и повесть. Ирина Гитович.—Л. Левин. Дни нашей жизни. Книга о Юрии Германе и его друзьях. Владимир Приходько.—Зоя Велихова. Качели весны. Стихи. Н. Макарова.—Александр Кухно. Слова, зовущие к добру.. Стихи, проза, письма. Е. Краснощекова.—Н. Г. Полтавцева. Философская проза Андрея Платонова. Виктор Горн.—В. Лавров. Человек. Время. Литература. Ю. Попков.—К. С. Горбачевич. Нормы современного русского литературного языка. А. Андреев.—И. С. Вдовина. Эстетика французского персонализма. VIII — 266.

Г. Койранская.—Рассказ-80. Ирина Шевелева.—Лидия Григорьева. Майский сад. Стихи. Эдуард Пронилов.—Леонид Попов. От океана до океана. Стихотворения и поэмы. Леонид Попов. Близкое солнце. Стихи и поэмы. Леонид Попов. Стихи. В. Павлов.—Николай Паниев. Болгария: годы и люди. Л. Попов.—Х. Юкава. Лекции по физике. IX — 268.

Виктор Козько.—Алексей Дударев. Святая птица. Рассказы. Владимир Богатырев.—Юрий Авдеенко. Вдруг выпал снег. Роман. З. Соколова.—Созвездие лиры. Избранные страницы латиноамериканской лирики. Вадим Ковский.—И. Янская, В. Кардин. Пределы достоверно-

сти. Очерки документальной литературы. А. Тахо-Годи.— И. М. Нахов. Киническая литература. И. М. Нахов. Философия киников. Ю. Стрехнин.— Юрий Полухин, Любовь Руднева. Сквозь годы и горы. И. Забелин.— Р. Баладин. Перестройка биосферы. А. Васильев.— Н. М. Пегов. Далекое — близкое. Воспоминания. В. Буров.— История Кампучии. Краткий очерк. X—265.

Б. Багаряцкий.— Борис Костюковский, Семен Табачников. И нет счастливее судьбы. Повесть о Я. М. Свердлове. Ксения Бродер.— Людмила Уварова. Соседи. Михаил Степанов.— Цянь Чжуншу. Осажденная крепость. Ю. Здоровов, Б. Хлебников.— Александр Кушнер. Канва. Из шести книг. Ю. Попков.— С. В. Белов. Братья Гранат. XI—268.

Д. М. Молдавский.— Владислав Шощин. Интернационалисты — МЫ К проблеме взаимодействия национальных литератур.

Вадим Рабинович.— Юрий Разумовский. Вереница. Стихи. Юрий Разумовский. Цикл стихов. Владимир Солоухин.— Александр Исполюнов. Мед великанов. Стихи. Андрей Василевский.— Владимир Рецпер. Представление. Стихи. Мансур Сафин.— Павел Юлаев. За окном метель. Светлана Овчинникова.— К. Рудницкий. Мейерхольд. А. Белорусец.— Покорение бесконечности. Сборник. С. Таров.— И. Овсяный. 1939: последние недели мира. Как была развязана империалистами вторая мировая война. С. Кузнецова.— А. И. Ракилов. Историческое познание (Системно-гносеологический подход). XII—258.

Из редакционной почты. VII—270.

Памяти Маризтты Шагивян. V—271.

Памяти Валерия Алексеевича Косолапова. VI—271.

Книжные новинки: I—272; II—288; III—XI—272; XII—265.



Главный редактор **В. В. Карпов**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, [И. Н. Бубнов], Ф. К. Видрашку (зам. главного редактора),
Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, В. М. Литвинов, М. Д. Львов (зам. главного редактора),
Д. Мулдагалиев, А. И. Овчаренко, Б. И. Олейник,
Г. И. Резниченко (ответственный секретарь), **А. Е. Рекемчук,**
А. Я. Сахнин, Д. В. Тевекелян

Адрес редакции: 103806 ГСП, Москва К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29
Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»
Москва К-6, Пушкинская пл., 5

Сдано в набор 04.10.82 г.	Подписано к печати 22.11.82 г.	А. 08929.
Формат бумаги 70×108 ^{1/16} .	Высокая печать. Объем 18 п. л.	(25,2 усл.-печ. л.)
29,22 уч.-изд. л.	3 бум. л. Тираж 350 000 экз.	Зак. 05169.

Ордена Ленина комбинат печати издательства «Радянська Україна», 252047, Киев-47,
Брест-Литовский проспект, 94.

Цена 1 р. 20 к.

70636

Новый мир, 1982, № 12, 1—272